

НИКОЛАЙ
ТИХОНОВ



МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
1975

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В СЕМИ ТОМАХ

МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
1975

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ПЯТЫЙ

ПОВЕСТИ

МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
1975

Р 2
Т 46

Примечания
И. ГРИНБЕРГА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Т $\frac{70302-168}{028(01)-75}$ **подписное**

ОТ МОРЯ
ДО
МОРЯ

Глава первая

I

В начале тысяча девятьсот восемнадцатого года северная Латвия и Эстония были брошены в котел войны. Правда, этот котел уже сильно поостыл: русские отступали повсюду поспешно, не сопротивляясь. Полки бросали старые, царские знамена и поднимали новые, на которых торопливо неровными буквами писали: «Мира и хлеба».

Большие и малые отряды блуждали по всем направлениям, и самая короткая дорога на родину казалась им длинной. Один из таких отрядов, всего двенадцать всадников, кружил уже целый день среди сплошного леса и сплошного снега. Ледяной ветер, казалось, сопровождал всадников нарочно. Так неотступно и пронзительно дул он без перерывов. Снег переставал и вновь засыпал еще видные тропы, всадники все ехали. Они с утра не встретили ни одной крыши и не развели ни одного костра. Они надеялись, что хоть к вечеру выберутся куда-нибудь, где есть человек и огонь. До сих пор лес не показал им ни того, ни другого.

— Эй, Степанов,— сказал один из солдат, обращаясь к головному,— а ведь это жилье небось?

Там, куда он указывал, торчали из снега два шеста, по торчали так неуверенно и криво, что нельзя было понять, что они означают. За этими шестами виднелся угол крыши, но какой! Тощие разбитые черепицы не прикрывали черных дыр, откуда выглядывали концы старых бревен. Если там кто и зимовал, то разве крысы.

Всадники сгрудились и рассматривали издали постройку.

— Жилье-то это чертово,— сказал Степанов,— но, видно, деревня рядом. Попробуем, что ли...

Но, проехав несколько десятков шагов, они убедились, что и эти жалкие признаки близости человека обманули их.

Тогда солдаты начали ворчать. Они ворчали на все: на голод, который их мучил уже давно, на мокрые грибы и седла, на вечер, грозивший им ночлегом в лесу, на войну, таскавшую их за собой уже четвертый год без передышки.

Степанов стоял во главе этого отряда. Он был солдат, казалось самый простой, такой же простой, как темный, зеленый лес вокруг и серый снег с синими пятнами, лежавший повсюду. Нет, он был не совсем простой солдат. В полку его звали большевиком. Еще осенью начальство послало его с разъездом на запад ловить дезертиров в самых глухих местах. Он поехал, но ловить не ловил. Пока всадники ездили по пустынным дорогам, фронт лопнул, как пружина, куски которой свернулись в разные стороны. Степанов знал, что рано или поздно — так будет. Он знал, что они потеряли свой полк и им нужно выбираться как можно скорей из мрачных и безлюдных мест.

Он никогда не был раньше в этой стране, и она ему не нравилась. Компас вел их на северо-восток, и они доверились ему, как единственному другу. Тропинка оборвалась у высокой мачтовой сосны, ударившись в большое скопище кустов.

Лошади внезапно шарахнулись. Прямо из кустов вышел на тропинку мальчик в черной шапке с ушами и с рогаткой в руке. Из-за пазухи свисал беличий хвост. Все заговорили разом. Мальчика обступила толпа высоких и хмурых людей. Лошадиные морды тянулись к нему, обнюхивая.

— Обожди,— Степанов наклонился к мальчику,— парень, а где же твоя хата?

— Нет у меня хаты никакой. А вы кто?

— Мы-то,— люди,— ответил солдат насмешливо,— а ты не разговаривай, на морозе язык отмерзнет, а прямо веди; русский ты, что ли?

— А тебе какое дело? — отвечал мальчик.— Захочу — сведу, захочу — нет.

— Ишь еж, языком берешь, а звать тебя как?

— Димкой,— нехотя отозвался мальчик. Вдруг он нагнул шапку на уши, засунул поглубже белку за пазуху и бросил: — Идем, так и быть, поворачивай за мной!

Макая копыта в снег, лошади тяжело повертывались. Мальчик шагал рядом со Степановым.

Они говорили, как давние знакомые.

— Куда ведешь-то нас?

— К Струнке.

— А кто это твой Струнке?..

— Хозяин мой — черт лесной.

— Что же ты у него, служишь?

— Да, уйду скоро. Мамка меня из Питера с одним знакомым сюда послала — пожить. А он взял да и помер. Я и попал к этому Струнке. Уж у него работай — так работай. От жадности весь трясется. Ну, да мы сейчас его до конца растрясем. Я наперед вам скажу все: как придете вы — сейчас есть спросите; он скажет: «Ничего нет», — и плюнет. Тогда идите за мной. Я все покажу, он все позапрятал. Так нипочем не найти — хоть год ищите, а я все знаю.

— Кулак он, значит, — сказал Степанов, — мы теперь войну будем с ними вести, чтоб не прятали...

II

У Струнке были желтые, как заржавленные, глаза и рыжие волосы. Он по горло был налит злостью. Когда она вскипала, он бил жену, и батраков, и скот.

Сейчас Струнке выбежал во двор, громко ругаясь, с охотничьим ружьем в руках. Две черные собаки, бешено лая, крутились у его ног.

Молчаливый батрак вышел с вилами из сарая и смотрел исподлобья. Жена Струнке стояла в дверях дома и недружелюбно осматривала пришельцев. У нее было равнодушное, холодное лицо, и она немного косила одним глазом.

— Драуги, драуги (друзья, друзья), — сказал Степанов, слезая с лошади.

— Драуги, — повторил Струнке, плюя в сторону, — на-рауй велс (черт поberi) таких друзей.

Однако он отозвал собак и прислонился к стенке.

— От вацешей (немцев) бежишь?

— Домой еду, — отвечал Степанов, — сено есть? овес есть?

Струнке завертелся как ошпаренный.

— Нав никас, нав никас, ничего нет, ни крошки — обы-

пци, если не веришь.— Он говорил по-русски, перевирая ударения и непрерывно ругаясь.— Обыщи, обыщи...

— Обыщу,— сказал Степанов и ударил себя нагайкой по сапогу.

Димка подмигнул ему и повел солдат за овсом и сеном. Латышка шла за ними и плакала от страха. Хорошо прятал Струнке, и, если б не Димка, ничего бы не отыскиали солдаты. А теперь они стали сгибаться над охапками сухого сена, уже утратившего запаха лугов. Потом зашуршалсыпаемый золотой овес. Лошади ржали на дворе от нетерпения.

Запылал костер. Над костром выросли почернелые чайники и котелки. Лошади у сарая под навесом хрустели зубами, перетирая овес и трясая торбами. Оружие, положенное на седла, блестело тревожным блеском.

Струнке то садился на крыльце, скребя желтой рукой грудь, то бегал по двору, качая головой, грозя куда-то в сторону кулаками.

Солдаты следили за ним с угрюмой усмешкой усталых людей, которые даже на отдыхе не теряют настороженности.

— Бегай, Струнке, по струнке,— сказал один, беря чайник и бросая в него черный кубик плиточного чая,— заместо собаки на цепи. И чего человек зря носится...

Но Струнке носился не зря. Он выслеживал Димку. Димка был хитер и ловок, но сейчас струсил. Ему было всего четырнадцать лет, и он умел бить из рогатки ворон, ловить белок, работать, как взрослый, и легко переносить побои. Но такое дело, как сегодня, он совершил впервые. Никогда еще так не желтел его хозяин от ярости и так не рвались с цепей собаки.

И он сидел у костра рядом со Степановым и думал: прав он или не прав. Наконец сомнения совершенно переполнили его, и тогда он спросил:

— Задаст мне теперь Струнке?

— Обязательно задаст,— сказал добродушный солдат со шрамом на подбородке,— как же не задать, столько добра даром ушло!

— Не посмеет он ни черта,— прервал его Степанов.— Димка — правильный парень. Тут у людей ни куска, лошади не жрали, а он сидит на сене собакой.

— Так и у нас ведь все так сидят,— упорствовал солдат со шрамом,— в России-то...

— Не будут сидеть,— отрезал Степанов,— мы отучим, дай вернуться.

— Значит, я верно сделал? — спросил Димка. Ему нравились эти чужие, запорошенные снегом люди, увешанные оружием и не боящиеся ни капли Струнке.— Без меня вы бы ничего не отыскиали. Запрятано-то как было!..

— Что и говорить, молодец-огурец,— засмеялись солдаты,— парень не ворона.

Димка загордился. Он так загордился, что не мог сидеть больше. Ему нужно было размахивать руками и ногами. Он вскочил и побежал по двору. Тени от костра хватались за его длинные в драных чулках ноги и перебегали через заплатанные сапоги.

За углом он натолкнулся на Струнке.

В руках у латыша темнела палка. Он поднял ее над Димкиной головой, шипя от ярости, но мальчик был увертлив. Он наклонился, нырнул в снег и побежал от палки, пущенной ему вслед. Палка догнала и обожгла ему спину и плечи. Глаза Димки заволокло слезами.

— Я тебя не так, я тебя не так еще,— шипел Струнке, догоняя его, но Димка уже снова сидел среди солдат. Он не сказал им ни слова. Он глотал слезы и сжимал кулаки. Солдаты дали ему котелок с кашей. Иногда Димка оглядывался, не подкрадывается ли Струнке, но хозяин исчез.

— Хорошо,— вдруг сказал Димка,— я запомню, я запомню.— И он вернул ложку солдату. Солдат обтер ее о снег и сунул за сапог.

Потом поили лошадей, назначали часовых и укладывались спать на сене в большой хуторской комнате, где было жарко и запах холодной амуниции смешивался с запахом пота и тяжелых сапог.

Струнке высунул из своей комнаты нос, посмотрел, как устраивались солдаты, и исчез, пробормотав:

— Лавбакар — чтоб вам сдохнуть к утру.

Потом остались на улице часовая и лошади, и ветер стал забрасывать снегом костер. Огни в доме потухли. Храп пошел бродить от стены к стене.

На заре, только что жена Струнке вышла посмотреть коров в хлеву, легкая тень скользнула в комнату. Струнке еще спал. Он и во сне ворочался, мычал и шипел. Он и во сне злился — толстые, красные руки его разметались по сторонам. Над ним в шкафу лежал начатый окорок, а над окороком на полку был втиснут большой мешок белой му-

ки, который он сам привез из Пернова. Он берег этот мешок, как самого себя.

Димка секунду всматривался в спящего. Димкина спина еще помнила удар. Он открыл шкаф, и перед ним в мутной полутьме забелел мешок с замечательной мукой. Тогда мальчик приподнялся и изо всей силы ударил в мешок ножом и дернул нож книзу. Белой лентой упала на латыша мука, просыпалась на живот, завалилась за рубаху, ослепила глаза. Он вскочил, ничего не понимая. Протянутая рука ударилась о раскрытую дверцу. Мука все сыпалась. Чем яростнее сотрясал он шкаф, тем сильнее лились белые мягкие потоки. Латыш думал, что это он видит во сне. Но, взглядевшись, он вскочил с постели и побежал в соседнюю комнату.

Кое-кто из солдат проснулся, приподнялся на локтях — и грохот дружного хохота опрокинул латыша. Перед солдатами стояла такая дикая и смешная фигура, залепленная белым, махавшая в воздухе руками, что нельзя было не смеяться.

Латыш невероятно выругался и захлопнул дверь. Он стал одеваться, злобно торопясь. Он вытаскивал, одеваясь, ножи из стола и пробовал их лезвия. Все они казались ему недостаточно острыми.

Потом он шмыгнул на двор.

Когда Степанов вышел на двор, умылся снегом и сунул руку в карман за платком, он нащупал записку. На листе, вырванном из его же полевой книжки, значилось:

«Я буду вас ждать у той же тропинки. Димка. А то он меня теперь убьет».

Степанов усмехнулся. Мальчишка ему нравился. Когда все лошади были оседланы, он сказал солдату со шрамом:

— Мальчонку мы увезем с собой, молчи в тряпку пока, вдвоем в седле сладишь как-нибудь?

— Сладим — а то нет, — отвечал солдат, — дошлый жук какой, а...

Отряд выехал за ворота. Лай собак, рев латыша и плач его жены долго слышались в отдалении.

Из-за той же самой мачтовой сосны, как и вчера, вышел Димка.

Теперь он был не один. Он вел в поводу рослую темную лошадь. Вместо седла на ней красовался вчетверо сложенный половик. Он вскочил на лошадь и повис на животе, подобрался и сел верхом.

— Вот и я, — сказал Димка.

— Где лошадь-то спер? — загалдели солдаты.

— Чего с ней делать будешь?

— Я-то? А вам какое дело? Я теперь с вами, я тоже — большевик! — пустил он в ход последнее объяснение.

Солдаты глядели вопросительно на Степанова.

— Пусть покатается, — сказал тот, — только слезь-ка. Переседлать надо. Этаким студентом далеко не уедешь! Дай-ка я тебе справлю.

И он сам переседлал ему лошадь, пожертвовав своим потником и несколькими ремнями.

— А ты знаешь, куда мы едем-то?

— Куда? Домой.

— Правильно, — смеялись солдаты.

III

Они ехали уже несколько дней по людным местам. Им встречались помещичьи баронские усадьбы с выбитыми стеклами, со сломанными гипсовыми оленями в парках, с порванными книгами, лежавшими грудami на погасших кострах, ибо здесь проходила отступавшая армия. Эта армия четыре года сражалась с немцами по царскому приказу. Четыре года сотни тысяч людей, оторванных от своего мирного труда, только и делали, что уничтожали все вокруг себя, превращая страну за страной в пустыню.

Солдаты степановского отряда уходили все глубже к востоку, в край, еще не разоренный войной.

Им встречались чистенькие крестьянские домики с каменными сараями, в которых зимовали сельские машины, им попадались срубленные рощи, каждый пенек которых был занумерован. Иногда по дороге шли беженцы в одинокую, иногда — целыми обозами.

Димка ехал теперь рядом со Степановым. Ему раздобыли в одном обозе седло, и он был одет в шинель, перетянутую солдатским поясом и подрезанную. Он просил и винтовку, но Степанов не дал.

— Тяжела еще — погоди, подрастешь, а так еще себя прострелишь...

Они ехали и разговаривали.

— А батька есть у тебя?

— Батьки нету. Помер батька. А мать — прачка. Стирать ходит. Сестренка есть. В городской школе учится. Десять лет ей. А ты — большевик вправду?

— Большевик.

— А что мы делать будем? Драться?

— Драться. Наши в Питере верх взяли -- мы им на помощь идем. Чтоб больше войны не было никакой, ни с турком, ни с немцем — ни с кем.

Димка понимал туго.

— А много вас — большевиков?

— Здесь не так чтобы. А в Питере, в Москве — тьма.

— А что такое большевик? Солдат?

— Дурень, всякий большевик, кто по-нашему думает, — немудрыми словами пробовал объяснять Димке Степанов, — во-первых, чтоб мир был у всех, чтоб хозяев ни у кого над душой не стояло, чтоб всем жилось свободно...

— Вот это здорово! — согласился Димка. — А то все работай, куда ни иди — все работай, иначе жрать не дают.

— Так и тогда работать придется — для себя только. Тебя Струнке за что кормил, даром?

— Как даром, я ему в пять часов вставал и свиней кормил, и коров кормил, и дрова таскал, и двор убирал, и комнаты мел, и все работал до самой ночи. Он дерется больно, черт лесной.

Спина у Димки зачесалась при этих словах.

Степанов хотел ему что-то ответить, но тут из соседней рощи раздались крики, потом они услышали выстрелы — пули провизжали над головами.

Люди схватились за винтовки. По дороге, спотыкаясь, спешили латыши и русские и кричали: вацеши, вацеши, немцы — спасайся...

«Откуда здесь немцы?» — подумал Степанов. По его знаку солдаты спешили и залегли в кусты. Паника вокруг продолжалась. Простучала лошадь с телегой без кучера, несколько испуганных женщин бежали за ней. Из рощи показался солдат, он тащил на спине большой и тяжелый мешок. Солдат спотыкался, трудно дышал, запыхавшись, и все же не расставался с мешком.

Пальба прекратилась. Солдат с рябым потным лицом и сивой бороденкой поравнялся с кустами, где залегли кавалеристы.

— Брось мешок-то, дурья голова, — закричал Степанов, — бежать легче ведь без мешка-то...

Солдат остановился, снял мешок, отдышался, подумал и вытряхнул из мешка на снег большие стенные часы. Часы еще шли. Какое-то кряхтенье сопровождало стрелки, но стрелки ползли.

Его обступили солдаты.

— Ишь позарился,— говорили они,— больно жаден ты, видно...

— Это верное слово,— отвечал беглец,— жадны мы немного, очень уж вещь фартовая — зачем пропадать...

— Да куда ж ты с ней денешься? Ведь в свою губернию не донесешь? Три месяца поди бежать надо?

— Это верно. Зачем в губернию? На рынок можно.

Солдаты захохотали.

— Немцы там, что ли, были?

— Какие немцы? Зачем немцы? Это товарищи по мне палили. Жалко, что я вот унес вещь хорошую. Да обсчитался — до места, вижу, теперь никак не донести...

— Ну и ну,— вмешался Степанов,— бить тебя надо, балда...

— Не балда я,— серьезно отвечал солдат.— Козел наша фамилия. А что жаден я, так мы, Козлы, все жадные — сызмалетства. А часы хорошие...

Он посмотрел на них и вдруг ударил ногой. Часы задребезжали умоляюще, он ударил еще раз, часы развалились.

— Чего ты, ополоумел? — сказал Степанов.

— Да чтоб никому не оставить.— Козел со злобой плюнул на снег.— А то что: я тащил, а другой пользоваться будет!

Степанов выругался.

Солдаты уже сели на коней.

К вечеру они пришли в большое, занятое пехотой имение.

Лай собак, звон оружия, дым кухонь и нестройный крик висел по обе стороны дороги.

IV

Димка родился в большом городе. Его с детства окружали четыре высоких стены. Стены становились ему на дороге, куда бы он ни шел. От этого он часто плакал и чувствовал себя очень маленьким. Потом он подрос и стал играть с другими мальчишками в палочку-воровочку и казаки-разбойники. На черных узких лестницах и в глубине душных дворов между каретным сараем и помойной ямой играть было невесело. Тогда ребята выбегали на улицу и бегали взапуски, пересекая улицу между извозчиками и телегами.

Когда Димка попал в леса, на хутор к знакомому латышу, этот больной старик так скоро умер, что мальчик сам не помнит, как быстро очутился в плену у Струнке. Там он одичал, постоянно убегал в лес и блуждал там в одиночку, воображая себя дикарем. У него не было друга. Теперь у него появился друг и была возможность новой, волнующей игры, а Димка был азартным мальчиком.

В имении толпилось много солдат, и, указывая на них Димке, Степанов заметил:

— Смотри да запоминай — это твои враги, Димка...

И тут Димка увидел, что действительно они одеты по-другому, чем его спутники. Они носили на рукавах черные полосы, а на их фуражках и папах был череп с белыми костями.

Димка вспомнил о пиратах капитана Моргана, о которых он прочел в свое время в городе с большим упоением. Он поискал глазами их знамя и нашел. Знамя тоже было черное, с черепом и костями. Все было как в рассказе, верно.

— Они — разбойники, что ли? — спросил он. — Они нападут сейчас?

— Да, может, и нападут, — ответил Степанов и пошел в большой дом, стоявший посередине имения.

Димка никогда не скучал на новом месте. Он потерялся среди обозных и своих кавалеристов, привязывавших лошадей в разломанной и наполовину сожженной конюшне. Обозные шумели о разном.

— Иди поищи вокруг — ничего нет, — говорил один, — все сожрали. Вон лошади конюшню съели с голоду. Все столбы обгрызли — она и рухнула. Столько народу-бездельников вокруг шляется — есть и не стало чего...

— А помнишь, как в Пруссии, — поддержал другой, — в четырнадцатом году? В магазине цилиндры заберешь... Лошадей из цилиндров овсом кормили, пообедаешь — за скатерть дернешь, вся посуда на полу, а там не посуда, а фарфор, только брызги!

— То-то и есть! Все перебили — надо домой подаваться.

— А немец придет, — он, брат, памятный.

— А что немец, — немец человек такой же.

— Своих надо по шапке, — вставил кавалерист, — а немцу дадим мир, — тогда и жизнь будет.

Тут они загалдели все разом, и Димка ушел. Он долго не решался переступить старой тополевой аллеи, за кото-

рой начиналась страна людей с черными нашивками на рукавах.

Вдруг он увидел, что среди них стоит его недавний знакомец, солдат со странной фамилией Козел, таскавший на спине мешок с часами; солдат продавал широкий пестрый ковер.

Тогда Димка решительно перешел границу. Когда он подошел к толкучке, торговля уже окончилась.

Ковер был куплен, и Козел отсклонивал на ладони кренки.

— Да, мало спросил! — сокрушенно говорил он. — Такой ковер, было б к дому ближе, ни за что не продал, а так себе дороже. Да что поделаешь...

— Ну, не вопи, — прерывали его, — сам-то почему покупал?

— За пять пальцев! — крикнул кто-то.

— А может, и за все десять? — осклабился Козел. — Оценщик нашелся.

Он спрятал деньги, вытащил из кармана большую булку и стал жевать ее желтыми, как у лошади, зубами. Тут он заметил Димку.

— Старшóго ищешь? — сказал он сочувственно. — Старшóй в штаб пошел, вон туда, — указал он рукой на дом, и Димка двинулся дальше.

Козел остановил его.

— Иди со мной, малец, мне помощник нужен. Как я, значит, домой иду, а ты по всему виду — бездомный. Кантонист, что ли... А со мной пойдешь — торговать будем. Научу уму-разуму.

Димка не знал, что такое кантонист, но Козлу надо было ответить.

— Не хочу с тобой, — сказал он, — ты воевать не умеешь.

Солдаты кругом захохотали.

— Вот бы к нам в батальон смерти подходящий. Хочешь к нам, эй, вояка?..

Они потрясали винтовками и были увешаны подсумками вдоль и поперек.

— А вы за кого?

— А ты за кого же? — спросил один. — Нет, постой, нечего наутек, а ты за кого?

— Чего пристали, — крикнул он, — за себя я, за Степанова — вот.

— А кто твой Степанов?

Но Димка не слушал. Он ловко ускользнул от них и направился к дому. У самого крыльца он натолкнулся на Степанова. Он спорил сразу с двумя...

На одном были погоны со звездами. Другой затыкнул голову в белый башлык и громко ругался при каждом слове.

Степанов, серый от злости, тоже кричал, но сдержанно. Все трое размахивали руками.

Наконец Степанов ушел в сторону конюшен.

— Большевики развелись, — крикнул ему вслед офицер, — всех приберем к рукам. Вояка выискался. Ты, брат, держись!

Человек в башлыке взял его за рукав и снизил голос:

— Его надо обезвредить. Сколько с ним человек?

— Подождите, капитан Рыкачев, идемте-ка сюда.

Они вошли в дом.

Димка последовал за ними. Оказалось, что попасть в канцелярию ничего не стоило. Но оставаться там без дела было нельзя. Поэтому Димка вкатился в комнату, очень быстро ее осмотрел и так же скоро выкатился, успев только поймать слова офицера:

— Пусть идет туда, — Псков-то у немцев...

Задержавшись у двери, Димка увидел, как капитан Рыкачев вынул книжку, что-то написал на листке, оторвал листок, положил в желтый конверт, заклеил его и позвал вестового.

Вестовой дремал в углу. Сонными руками он взял пакет и сунул его за обшлаг. Димка упорно думал. Он знал, что это приказание, написанное на листке, касается Степанова. Такая же книжка была и у Степанова, — он сам видел.

Димка пошел за солдатом. Вестовой не спешил исполнять приказание. Он направился сначала к кухне, дымившей во дворе, и там стал требовать обеда.

Кашевар не хотел давать раньше времени.

— Да я — вестовой, мне идти сколько, — лениво оправдывался солдат, щупая рукав. Когда он получил суп и полез в сапог за ложкой — обшлаг у него оттопырился и желтый пакет ударил в глаза Димке.

Через минуту Димка удирал за кухню. Здесь среди только что сваленных деревьев и обломков телег он присел, легко расклеил конверт лучинкой и стал читать украденный листок. Буквы плясали и выгибались, но он понял главное. Какой-то поручик будет что-то делать со всем отрядом Степанова. Что делать — он понять не мог. Такого

слова он не знал. Он дважды прочел и не понял. Тогда он заучил это слово, всунул бумажку в пакет и был снова около котла.

Солдат ел не торопясь, кончив, он облизал ложку и тут оглянулся. У его ног лежал желтый конверт.

— Ишь ты, вывалился,— сказал он спокойно, подняв пакет, сунул теперь уже в папаху и пошел за винтовкой.

Когда Димка пришел к кавалеристам, они тоже обедали. Он сел около Степанова, преисполненный необыкновенной гордости.

— Начальник, а начальник,— начал он.

Степанов взглянул на него насмешливо.

— Ну, что, разведчик, видел? Где шлялся? Не до тебя сейчас, брат!

— А может, и до меня. Скажи-ка, с кем ты лалялся давеча?

— С комитетчиками. Ты не поймешь. Они царя нам хотят опять навязать...

Тут Димка нагнулся к уху Степанова.

— Скажи-ка, что за слово такое: ли-кви-ди-ро-вать...

— Что ликвидировать-то? Где ты нашел его? От кого услышал?

— Не что, а тебя, Степанов, и нас с тобой. Так и сказано.

Тут Димка открыл ему весь свой секрет.

— Ну, а еще что слышал? — спросил Степанов, когда Димка кончил.

— Да, что еще? — Димка стал вспоминать. — Да, еще говорили, что Псков немцы забрали...

— Ага! — Степанов подозвал единственного в отряде латыша Лелупа, и они стали совещаться.

Потом оба хлопнули Димку по плечу.

— Ты — настоящий красногвардеец!

— Не ругайтесь,— обиделся Димка,— я столько узнал, а вы ругаетесь...

— Да это похвала, дурень! Теперь нет солдат больше. Есть Красная гвардия. Из рабочих, понимаешь, и крестьян. Теперь все наше...

— И мое, значит?

— И твое,— сказал Степанов, оглядев строго мальчика, точно видел его в первый раз,— только это крепко держать надо, уж так и быть, я тебе покажу, как стрелять, пока наши отдыхают.

И целый час учился Димка стрелять. Винтовка была тяжела, как целый пуд железа, и сначала он не мог удерживать ее на весу.

К вечеру кавалеристы оседлали лошадей так быстро, что никто не успел оглянуться, и бросились галопом в лес. Димка кричал от страха, но скакал за Степановым не отставая.

Через много часов они приехали к широкому замерзшему озеру. Другого берега не было видно. Синий туман подымался навстречу.

— Ну, товарищи, будем махать на ту сторону, — сказал Степанов.

Тут Лелуп подъехал к нему, и они обнялись.

— Значит, остаешься?

— Иначе нельзя, — отвечал латыш, — я тут пригожусь больше, там вас хватит, а у нас людей мало, очень мало, надо помочь своим...

— Ну, вали, — сказал Степанов, — доброго пути!

Лелуп остался в Латвии.

Когда наконец они добрались до железной дороги, Степанов, несмотря на все протесты Димки, посадил его в поезд, и Димка покатил в Петербург. В вагоне все непрерывно шумели и спорили, но Димку поразили только две вещи: то, что действительно на свете есть Красная гвардия и что в Петербурге большевики победили, захватили всю власть, и что во главе их стоит человек, которого зовут Лениным.

Глава вторая

I

Тетка Елена жила около Тучкова моста. Она гордилась тем, что умеет воспитывать своих племянников. Старшего из них звали Карлом, младшего — Эриком. Они жили бедно, но строго. Накрахмаленные воротнички подпирали их подбородки, всегда наваксенные сапоги отсвечивали так, что улица отражалась в них, когда они спешили в школу. Мальчики учились старательно, были послушны и очень дисциплинированы.

Квартирка тети Елены сияла свежестью и чистотой. На кухне блестели кастрюли, в столовой — буфет и стол, в го-

стиной — рояль и окна, на которых самодовольно чирикали чинные канарейки.

Тетя Елена сияла от сознания, что она умеет жить и воспитывать.

Племянники попали в плен к тетке Елене, когда были еще очень малы, после смерти своей матери. Тетка Елена никогда не была замужем. Поэтому она перенесла на Эрика и Карла всю материнскую строгость без материнской нежности.

Характером братья были различны, как морковь и стреляющий огурец. Карл был скрытен и молчалив. В нем спал мятежник против дома и теткиных законов. Эрик — покорен и разговорчив.

Больше всего на свете тетка не любила революции.

— В революции нет ничего хорошего, — говорила она Эрику, — революция — это сплошной беспорядок. Дети не ходят в школу, прислуга становится дерзкой, и всем не хватает хлеба. Потом убивают очень много людей. Я надеюсь, что ты никогда не будешь принимать участия в революции?

— Что вы только могли подумать, тетя? — отвечал Эрик. Он был послушным до конца своих пятнадцати лет. Он хорошо усвоил теткины законы: не сидеть, когда старшие стоят, на все отвечать почтительно и думать, что тетя все знает и все может.

В нем не было ни капли того мятежа, который переполнял Карла. И вдруг Карл совершил худшее, что мог, в глазах тетки. Он стал революционером. Это случилось так.

Однажды вечером тетка дожидалась его, стуча пальцами по столу. Она сердилась, был уже поздний час. Прислуга убрала ужин со стола. Эрик пошел спать, а Карла все не было.

Потом раздался не столько смущенный, сколько скорый звонок. Тетка встала в дверях столовой, чтобы грешник, опоздавший к ужину, почувствовал свой ужас во весь рост. Но из темноты на нее смотрели большие лукавые смеющиеся глаза, ничуть не испуганные.

— Где ты был? — тихо спросила тетка Елена.

— Вам это очень интересно знать, тетя? — спросил мятежник.

— Очень... — едва шевеля губами от негодования, сказала тетя.

— Я был в Смольном.

Тетя тихо зашаталась и села в кресло. У нее была еще одна надежда.

— Тебя забрали на улице?

— Нет, я пошел сам туда. Меня спросили, что я хочу. Я сказал, что знаю три языка, что мне восемнадцать лет и я хочу работать с большевиками. Меня обещали завтра послать на работу. Вот и все.

Это был бунт с большой буквы. Тетка подавилась словами и отступила из комнаты. Мятеежник сел к столу и стал пить холодный чай.

На другой день тетка позвала Эрика и посадила его против себя.

— У тебя был брат — у тебя больше нет брата! — Тут она заплакала. — Он пошел в большевики. Он теперь может все, может убить меня, тебя...

— Ну, что вы, тетя, что я, не знаю Карла? — пробормотал Эрик, и тетка поняла, что сказала лишнее.

— Ты не знаешь его, погляди на меня, Эрик, погляди пристальней, от всей души.

Эрик повиновался. Он так выпучил глаза, что они стали похожи на стеклянные шары. Вся круглая и ясная душа Эрика вылезла на лоб.

Тетка успокоилась.

— Дай мне слово, дай мне слово, дитя мое, что ты никогда не пойдешь в Смольный...

Эрик дал слово.

Вскоре Карл уехал в Москву. От него пришло маленькое прощальное письмо. Больше о нем тетя не слыхала ничего.

Она стала теперь редко выпускать Эрика на улицу и следила за каждым его шагом. Она дала ему читать «Историю Парижской коммуны» Лиссагарэ.

— Прочти, какие это ужасы: что не поймешь, спроси у меня.

Эрику книга понравилась. Он все понял. Он даже признался в этом тетке. Он даже многих запомнил: храбреца Домбровского, строгого Варлена и Делеклюза, пошедшего навстречу смерти, как на прогулку.

— Но это все фантазии, дитя мое, — объясняла тетка, — злые фантазии.

— Не знаю, тетя, — невпопад сказал он и отпросился прогуляться.

Тетка кричала ему вслед:

— Ради бога, не связывайся только с уличными мальчишками. Они все задиры и зоры и все большевики...

Эрик шел по улицам. Стояла ровная осень. Клены в садах были раскрашены в желтое и красное. Песок хрустел под ногами. Лужи металлически светились. Эрик не был таким мятежником, как Карл, но о многом он думал посвоему. Он был сильным для своих лет подростком, потому что много занимался гимнастикой и спортом.

Теперь он шел и думал о Карле. Карл внес беспорядок в его душу. Оказывается, кроме теткиной правды, есть еще другая, еще более сильная. Она управляет сейчас всеми этими людьми, что бегут перед Эриком по улицам. Они все большевики, но почему? «Это — злая фантазия», — говорит ему тетя. Нет, это не просто злая фантазия. Он знал брата. Брат был храбр и честен всегда, но никогда не обладал фантазией. Он не прочел ни одного романа с приключениями. Он занимался химией и любил ее очень. И все же он ушел и от химии, и от тетки, и от Эрика. Почему?

Тут он остановился у решетки одного дома в удивлении и негодовании.

Хорошо одетый малыш играл в железную дорогу. Это была замечательная железная дорога. Рельсы начинались от подъезда дома и трижды огибали клумбу цветника. Станция блестела синей и красной краской. В вагонах сидели опрятные тряпичные куклы, семафор действовал вовремя, над рельсами у станции висел решетчатый мост. Это была, несомненно, хитрая заграничная игрушка.

Тут из-за стенки вышел скрывавшийся там мальчик, тот уличный, страшный мальчик, от которого так предостерегала его тетя, и, спокойно отодвинув малыша, стал забирать под мышки вагоны и рельсы.

Эрик налетел на него, как воробей на корку. Он тряс мальчишку за плечи со всей силы, крича: «Не стыдно тебе, не стыдно тебе?» Тогда мальчишка бросил наземь свою добычу и ударил Эрика. Эрик отступил, прыгнул, и драка разразилась с неизбежностью вихря.

Мальчишка был ростом с Эрика и зол от неудавшегося покушения.

Но Эрик знал систему ударов. На беспорядочные тумакки противника он отвечал крепкими затрещинами в самые чувствительные места. Наконец мальчишка вышел из битвы, отбежал к стенке и остановился, тяжело дыша. Эрик глядел на него с любопытством и вытирал кровь с расшибленной губы.

— Тебе что за дело? — бурчал мальчишка. — Откуда сорвался?..

— А зачем ты у него вагоны отнял?

Так начался их разговор.

— А тебе жалко? У него вон их сколько. Я хотел несколько штук. Сестренке снести — она и не видала никогда таких, а ты драться. Сказал бы твои — я бы не брал. И дерешься ты не по-нашенски. Жульничаешь, когда дерешься...

Эрик вспыхнул.

— Дурак, — сказал он, — я не жулик, я дрался по правилам. Меня учили драться. — Тут он остановился, видя, что сказал глупость.

— Тебя учили драться? — спросил мальчишка. — Кто же тебя учил? Разве есть такая школа?..

Эрику вдруг захотелось ближе узнать этого растрепанного мальчишку. Он подошел к нему вплотную и неловко протянул ему руку.

— Ну, ладно. Плюнь на вагоны. Это злые фантазии, — сказал он, вспомнив теткинны слова. — Зачем девчонке вагоны? А тебя я, хочешь, научу так же драться, хочешь?

Это было сказано тоном заговорщика.

— Хочу, — согласился мальчишка, — если недолго учиться. Я учиться не ловок. А как тебя звать?

— Меня — Эриком, а тебя?

— Да зови Димкой. Меня все так зовут. Я бы тебе не простил — я, брат, боевой человек, — но уж так и быть. Только ты научи.

Они условились, что встретятся у Народного дома на другой день. Когда Эрик повернул за угол, Димка все же засунул в карман три куклы из числа пассажиров и, хлопнув по плечу малыша: «Ну, ну, не реви, хватит тебе добра», — ушел.

В этот вечер тетка говорила со своей старой знакомой, такой же старой девой; Эрик сидел в углу и переводил Шиллера.

— Как хорошо, что у моего Эрика нет этих грубых уличных товарищей, — сказала она, смотря в его сторону, — зато Карл, этот Карл... нет, я не могу вспомнить!

Она прослезилась.

— Ничего, — сказала ее приятельница, — Эрик станет вашим утешением...

Эрик взял книгу и вышел из комнаты. Уши его горели, как после драки. Он начинал все больше понимать брата Карла.

На другой день Димка аккуратно поджидал Эрика у Народного дома. Они отправились вместе по темным и узким улицам, заставленным двух- и трехэтажными домами. По дороге Эрик поучал Димку:

— Я тебя веду к одному человеку, Яну Коростецкому. Это мой очень хороший друг. Он тебя научит — я попрошу его. А ты ничему не удивляйся. Дядя Ян себе на уме. Он не дурак.

Дверь отворил сам дядя Ян.

Он походил на маленький куст, подстриженный искусным садоводом.

На толстеньком теле, облаченном в зеленую мягкую куртку, сидела беспокойная острая голова с пронзительными глазками. Черные волосы вставали как птичий гребень. Усики его были похожи на тараканьи, маленькие ручки засунуты были уютно в карманы. Приятнейшая улыбка появлялась на его губах. Изредка он щелкал языком и по-ребячьи звонко смеялся.

— Проше, пане,— сказал он, галантно разводя ручками,— во внутренние апартаменты. Я вас ждал, Эрик, но вы не пришли вчера...

Эрик вспомнил драку и рассказал о ней.

— Только без ссоры, только без злости — не будем ссориться из-за такого пустяка,— сказал дядя Ян.

Эрик представил ему Димку.

— Будем знакомы,— приветствовал его дядя Ян,— я от души люблю знакомиться. Очень, очень рад. Как говорится: падам до ног.

И он, подпрыгивая, повел гостей к себе в комнату. Комната его вмещала такое количество вещей, что Димка растерялся.

Тут висела клетка с попугаем, пристроившимся вниз головой, чучело рыси и чучело волка, много книг на этажерке, в шкафу, на столе и просто на полу, старый щит, костюм японского самурая, охотничье оружие, ваза, большая медная труба — неизвестного Димке назначения, какие-то пустые чехлы и чехлы с таинственными предметами, высовывавшими на свет только ножки, а в углу висел мешок с нарисованным черным кругом на груди и с человеческой головой.

— Ударь его, ударь его со всех кулаков,— сказал дядя Ян, подталкивая Димку к чучелу.

Димка, робея, шагнул и ударил кулаком по лицу набитого человека. Человек обидчиво откатнулся и возвратил удар с такой силой, что Димка растянулся на полу.

— Ну, ну, зачем падать? — сказал поляк, заботливо поднимая мальчика. — Я покажу тебе потом, как биться с этим паном...

Дядя Ян был чрезвычайно подвижен. Он вытащил из шкафа рапиры, натянул мальчикам громадные, по локоть, перчатки, надел на головы железные клеточки и сам встал с палкой посредине.

Мальчики дрались, как петухи, и все время неверно.

Димке это не понравилось.

— Дядя Ян, — кричал в азарте Эрик, — покажи ему бокс. Он очень хочет заниматься боксом.

— Бокс — ол райт, бокс, — смеялся дядя Ян, — мы тебя сделаем чемпионом. Ты знаешь, что такое чемпион?

Димка не знал.

— Это первый драчун.

И он показал Димке первые уроки бокса: поверни плечо, руку так, вперед, выпад ногой, — молодец! Это называется кроше. Так, теперь стронг — прямой удар в лоб, теперь назад — защищайся, малыш. Потом он поставил его против чучела, и Димка не раз летел на пол с криком, не успевая отскочить.

— Нокаут! — кричал тогда дядя Ян. — Первый раунд — второй раунд — свисток...

Наконец Димка сказал:

— Ну его к черту, — и сел на громадную раскрытую книгу.

— Ой, — испуганно закричал дядя Ян, — он садится прямо на небо.

Димка вскочил. Эта комната так ошеломила его множеством непонятных вещей, что он не знал, куда девать руки и ноги. Дядя Ян вытащил из-под него большую книгу и развернул на коленях. Перед Димкой открылись громадные чертежи, синие с белым.

— Это — карта звездного неба, понимаешь, юноша...

— Кто же знает, что на небе? — не поверил Димка.

— Я знаю, — крикнул дядя Ян, — я знаю. Вот видишь белую муку — это Млечный Путь, это пыль от солнца, а здесь Большая Медведица — вот так и так, — он сделал ручкой — рисунок повис в воздухе, — а это Альдебаран, а это Полярная звезда. Ты глядел когда-нибудь на небо, мальчик?..

— Глядел,— неуверенно отозвался Димка,— только там ничего не разберешь...

— Приходи ко мне как-нибудь вечером, и мы с тобой прогуляемся по небу. Пусть я старый чудака, как говорит твоя тетя, Эрик, для которого не существует времени и пространства, пусть, но вы хорошие ребята, а я вас держу без еды,— неожиданно закричал он.

Подскакивая, дядя Ян понесся в угол, и сейчас же там загудел примус. Потом они пили чай и рассматривали его собственные рисунки.

— А теперь я сыграю вам на сладкое,— сказал дядя Ян,— я сыграю вам одну песенку на флейте. Флейта эта — моя маленькая любовь...

Но тут вдруг Димка заторопился уйти. Эрику стало неловко. Дядя Ян обидится, если откажутся от его песенки. Эрик взглянул на Димку самыми выразительными глазами. Димка почувствовал свой промах.

Дядя Ян следил за ними и спросил наконец:

— Вам нужно домой? Обедать? Заниматься?

— Нет,— твердо отрубил Димка,— на службу...

— На службу? — удивленно спросил дядя Ян. Где же вы служите?

— В Военном комиссариате.

— В Военном комиссариате? Что же вы там делаете? Помилуйте, панове, дитя в Военном комиссариате!

— Я не дитя,— обиделся Димка,— я боевой, во какой. Я разношу бумаги разные — значит...

И он ушел, обещав заходить и сердечно пожав руки обоим.

Дядя Ян провожал Эрика до угла улицы. Они говорили о разном: Эрик начал учиться английскому языку и астрономии. Вдруг дядя Ян спросил:

— А где ты нашел этого мальчугана?

— Я подрался с ним,— чистосердечно признался Эрик,— и после того, как подрался, немного подружился. Он смешной. Он очень хотел учиться боксу.

— Дружи с ним, пане Эрик,— сказал нараспев дядя Ян,— кто узнал друг друга в борьбе — тот узнал хорошего друга. Ну, кланяйся тете, я дальше не пойду. Я ушиб вчера ногу и хочу полечить ее немного дома.

Тетя встретила Эрика такая сердитая и тихая, что он забыл передать ей поклон дяди Яна.

Она подождала, когда Эрик пообедал, и привела в свою комнату.

Значит, дело было крупной важности.

— Мое дитя, — за последнее время она постоянно нежничала с Эриком, — ты знаешь, как я тебя люблю, сколько стоило мне твое воспитание.

Эрик поморщился. Он не любил, когда тетка размякала.

— Я копила лишний кусок накормить тебя и лишнюю копейку на то, чтобы ты был одет, я дала тебе образование — да, это так, и все же нам придется расстаться...

Эрик не верил ушам. Тетка продолжала:

— Я должна тебе открыть все. Ты знаешь сам, что твои отец и мать — моя сестра — давно умерли. Вечная память. Они были достойные люди. Твоя фамилия — Эрик фон Торрен — славная фамилия. Твои предки были достаточно ленивы и тупы, чтобы копить деньги, они не откладывали ничего в сберегательную кассу. Да их никогда и не было. Ну, одним словом, денег у нас нет. Ты жил у меня все счастливое детство... Теперь наступают тяжелые времена. Большевики... Голод... Холод... Я уже мерзну по вечерам, а у нас квартира еще теплее других... Россию, вероятно, завоюют немцы. Ты — австриец. Я должна позаботиться о твоём будущем. Дядя Ян показывает тебе попугая и ломает рапиры, как будто все хорошо... Все не хорошо... Эрик, я уже говорила с австрийским консулом, и он ответил, что не имеет препятствий к твоему отъезду в Австрию. В Вене живет твоя крестная мать. Не расстраивайся, мой друг. Там ты найдешь новую семью и умных друзей... Я сделала все, что могла. Сил моих больше нет, если б не этот Карл...

Эрик знал, что тетя в этом месте будет плакать. Поэтому он опередил ее и спросил:

— Хорошо, тетя, я — австриец, я должен ехать в Вену к своей крестной. Но я никогда не видел ее.

— Она видела тебя, мое дитя, а потом это все равно. Больше у тебя там нет родственников.

— А когда же я поеду?

— Когда пожелает господь бог и австрийский консул, мой дорогой, — сказала тетя, уже открыто плача.

III

С самого утра районный Военный комиссариат гудел, как улей. Машинистки стучали на бесчисленных машинках, шурша листами приказов и копий. Управдомы, ища справок, толкались по всем направлениям. Командировочные сновали из комнаты в комнату. Дым махорки оставал-

ся висеть за ними в воздухе. Голоса комиссаров догоняли уходящих и возвращали обратно. Эта перекличка голосов и стуков наполняла все комнаты и лестницы небольшого дома.

В нижнем этаже висела на дверях почти алтарной величины маленькая записка с косыми буквами: «Всевобуч». Здесь обитали инспектор Соколов, мотоциклист Кармыза и Димка.

У инспектора Соколова была комната, где Димка стоял всегда навтыяжку. Комната страшила его и волновала гордостью маленького солдата. Здесь жил герой. На полу в углах возвышались ящики с ручными гранатами всех систем. К ним прислонялся разобранный пулемет. Винтовки висели на стене. Уборщица отказалась убирать комнату Соколова, сказав, что она женщина нервная и не может быть долго в комнате, которая вот-вот взорвется. На столе ворохом клубились планы и чертежи. Они влезали на черпильницы, свешивались на пол и щеголяли подписями необычайной звучности: Париж, Берлин, Лондон, Рим. Это были планы европейских столиц. Соколов считал себя специалистом по баррикадной городской войне.

— Рано или поздно пролетариату придется бороться на баррикадах всех столиц. Приготовимся к этому заранее.

Сам он готовился необычайно ревностно. Он натаскивал инструкторов с уверенностью испытанного полководца. Он день и ночь развивал теоретические планы защиты и нападения городской войны. С падавшими до плеч жесткими волосами, с таким же прямым молодым и жестким взглядом, в поношенной кожаной куртке он пролетал сквозь комиссариат, как воплощение упорства и сознательности. При всем том он был еще очень молод.

Когда он находил, что необходима передышка, он приказывал Димке позвать Кармызу.

Димка шел на двор, где в угрюмом, черном гараже сидел Кармыза со своим мотоциклом. У Кармызы на лице застыла навсегда какая-то слабая улыбка, точно он сейчас готов был в чем-то сознаться. Временами Кармыза наклонялся к мотоциклу и подставлял под него стаканчик — доил машину, как корову. Мотоциклячье молоко он называл: автоконьяк. Это была смесь бензина и спирта. И раз Димка ее попробовал. Ему показалось, что горящий примус опрокинули ему в рот. Он сел на снег и не мог закрыть рта.

Кармыза останавливался на пороге комнаты Соколова и ждал. Если инспектор говорил одно слово «едем» и за этим не следовало адреса, более точного, то Кармыза знал, куда ехать.

Он гнал по сугробам снега, загромаздившим улицы, свой мотоцикл на проспект 25 октября. Там у первого встречного кинотеатра он осаживал своего черного коня, а Соколов, такой же торжественный, мрачный и длинноволосый, проходил в зал, садился на свободный стул и смотрел. Ему было все равно: середина ли это драмы, конец комедии или начало видовой картины. Картина катила перед ним свои нескончаемые метры. Он сидел, стараясь ни о чем не думать,— и смотрел. Это был его отдых. Через полчаса он таким же быстрым шагом покидал зал и бросался в кабину мотоцикла. Кармыза нередко вываливал его в снег. Он хладнокровно вставал, отряхивался и ехал дальше. Они отлично понимали друг друга. Ни в каком деле нельзя ручаться за повороты.

Димка с осени бывал довольно часто у дяди Яна в комнате Эрика. Он подружился с попугаем, и с книгами, и набитой куклой. Поляк научил его боксу, показал, как плавают и как дерутся на рапирах. Потом у Димки было много дел в комиссариате, и он очень редко выбирался на Петербургскую сторону.

В Димке жило много воинственного задора. Но этот задор был очень слабо организован. У Соколова он учился стойкости характера.

Инструкторы — бывшие солдаты, обучавшие рабочих и служащих военному строю,— большие, суровые, затянутые в серые шинели люди, молчали как рыбы, слушая лекции Соколова.

Раз один из них повернулся, стараясь не шуметь, и тихо пошел к двери. Он думал ускользнуть незамеченным.

— Куда? — спросил Соколов, не двигаясь от чертежа, разостланного по столу.

— Я хочу выпить воды,— сказал инструктор.

— Я тоже, может быть, хочу пить! Но мы сейчас ведем атаку на предместье Берлина. Все должны быть на фронте. Прошу остаться.

Инструктор врос в пол и больше не двигался. Так он простоял еще два часа.

Димка вышел потрясенный.

В этот вечер он пошел навестить мать и сестренку. Он не баловал домашних частыми посещениями. Мать стирала белье, а сестренка перешивала по своему вкусу добытых им когда-то с бою тряпичных пассажиров. Он посидел немного, выпил чаю из сушеных листьев малины и пошел обратно в комиссариат.

Его остановил крик на дворе. Две женщины, старая и молодая, в сопровождении дворника и кучи мальчишек бегали вдоль стены и смотрели вверх, кого-то поминутно призывая.

Димка посмотрел тоже. По карнизу бегала кошка, такая страшная, что он сначала и не подумал, что это кошка.

Ее морду пересекали черные полосы, а лапы, серые, толстые и короткие, упирались в карниз неуверенно и испуганно. Она не умела бегать по карнизу и, казалось, вот-вот полетит вниз. Вопила она тонким и противным голосом.

Дворник говорил вслух сам с собой:

— Хозяева сбежали за границу, а животных бросили. Сиамская кошка, самая буржуйская что ни есть на свете, вон какая морда — плюнуть хочется... Дай-ка я ее метлой.

Но женщины закричали на него и стали приставлять лестницу, подманивая кошку на хлеб, крошенный в блюде с молоком.

«Вот черт,— подумал Димка,— так и с человеком не возьмется». — Он уже хотел запустить в кошку снегом, но тут мимо ворот прошел Бронька, и такой странный, что Димка бросил и кошку, и готовый снежок и стал догонять Броньку.

IV

Бронька был вторым посыльным мальчиком при отделе. Все у него было хитрое: и лицо, и руки, и ноги, и он даже не ходил, а любил или мелко бежать, или красться, как лисенок. Он был несговорчивым и плохим товарищем. Сейчас он мелко семенил, придерживая обеими руками пальтишко на животе. Под мышкой у него была серая рассыльная книга для пакетов. Он озирался по сторонам и держался у стен домов.

— Бронька,— догнал его Димка,— стой, ты куда идешь?

Бронька притворился, что не слышит. Тогда Димка схватил его за руку.

— Тише, ну чего хватаешься? — взорвался вдруг Бронька.

— А что ты, сахарный стал? — рассердился Димка. — Тебя и взять за руку нельзя. С пакетами строчишь?

— Я уже разнес, — глухо отозвался Бронька.

— Как ужé, — давно ли ушел ты...

— Да я на трамвае, в одну минуту — я ведь не ты...

Но тут он поскользнулся, пальтишко его распахнулось, и Димка увидел, что он так бережно прижимал к животу. Там покоились одна на другой три тарелки. Димка сразу узнал их. Они были из столовой комиссариата. Тарелки пестрели раскрашенными цветами и узорами.

— Что это такое? — спросил Димка.

— Что, не видишь, тарелки — да не пяль глаза. Чего уставился? Твои, что ли... На столовку и так хватит. Чего сам не берешь — все берут...

— Врешь, — твердо ответил Димка, — все не берут. А зачем тебе их...

— На хлеб перегоняю, — сказал Бронька, — хочешь, пойдем со мной — поделюсь. Может, у тебя есть что смеяться. Поищи-ка!

— У меня ничего нет...

— Ну, так у меня найдется еще кое-что, пойдем, а то опоздаем. Иди за мной...

Улицы были плохо освещены, мальчишки путались в темных переулках и вышли наконец на канал. Единственное мутно-желтое пятно разливалось в темноте набережной в первом этаже. Это была чайная. У чайной стояли и сидели бабы и продавали черные, пригорелые лепешки, куски сахару и мороженые яблоки. В самой чайной пар застилал потолок. Все столы были заняты. Почти около каждого сидевшего лежал под столом мешок, или куль, или корзина. Тут пили чай приезжие спекулянты. Это были спекулянты из мелких, уже обделавшие свои делишки и отдохавшие перед новым походом.

Бронька отыскивал кого-то глазами. Вдруг навстречу ему повернулся человек в меховой заячьей шапке и сказал полупьяным голосом:

— Пришел-таки. А я уж думал, закатился — не придешь...

— Что же мне не прийти...

Димка стал расспрашивать незнакомца. Перед ним сидел Козел, тот Козел, который хвастал своей жадностью и предлагал учить Димку торговать. Теперь он изменился.

Если сверху на нем была та же солдатская шинель, для отвода глаз, то под ней он носил новый пиджак и полосатые штаны, вправленные в новые высокие сапоги. И он узнал Димку.

— По походу товарищу, — и он ударил его шутливо по животу, — садись, чайком угощу. Что же, сам в купцы выбился? Из-под курицы навоз продал и разбогател?..

Димка так озлился, что хотел пустить в него стаканом, но вдруг вспомнил про стойкость характера и присел к столу.

Между тем Бронька сказал шепотом: «Товар принес», — и стал передавать, выбирая из карманов, под столом, разные свертки.

— Да ты зачем втемную, — прохрипел Козел, — ты, брат, учись товар лицом показывать...

На столе очутилось несколько пачек химических карандашей, три банки чернил, конверты, бумага, несколько резинок.

— Вы что ж, вдвоем — компаньоны? — усмехнулся Козел.

Димка снова промолчал, но уцепился за палец. Бронька тоже не торопился отвечать.

— Тарелки еще, — сказал он, выкладывая их на стол.

— Посуда фасонистая, — отозвался Козел. — Пейте чай-то, хлебайте — воды много, озябли ведь. Карандаши мне нужны до зарезу — так уж я приберу, а бумага — дело плевое, — сказал он, отстраняя конверты и забирая в карман остальное.

Один из пьющих за соседним столом обернулся и захотал.

— Связался черт с младенцами!

— А ты помалкивай, — побагровел Козел, — эти младенцы тебя проведут и выведут — моей выучки ребята.

— Врешь, — сказал Димка и плюнул.

Козел засмеялся.

— Ну, парнишки, вы по мелочам все проходитеесь — ничего, вырастете. Хотишь ко мне в службу, — вдруг толкнул он локтем Димку, — кататься по всей России, с одного края до другого. Деньга, брат, плохо бежит сейчас — зато вещей не обносишься. Я такое слово знаю, что все и вся обведу. Всякие заградилочки побоку. Одно слово — свободный торг, и никаких. Чего ж вы не пьете? Самогону, может, хочешь, я весь урезонил уже, ничего не осталось.

Димка отхлебнул немного чая, обжегся и отодвинул стакан.

— Ну, давай расквитаемся,— сказал Козел Броньке,— в карман али куда возьмешь?

— Давай в карман.— Бронька покосился на Димку.

Козел вытащил полбуханки хлеба и отрезал от него кусок.

— Мало,— сказал Бронька.

— Что мало, сала дам еще,— мне самому на сей раз не хватит. А ты мне пригони, знаешь, чайник, что ли, фарфоровый или кофейник, что говорил вчера...

— Трудно это,— запнулся Бронька.

— Трудно — не купецкий ответ, без труда, брат, даже блоху не поймает. А ты потрудись...

Козел отдал ему ломоть сала, на котором блестела соль.

— А сахар забирай со стола,— сказал он, небрежно махнув рукой.

Бронька сгреб несколько кусков и стал допивать чай, хлебая с шумом с блюдечка.

Козел хотел обратиться снова к Димке, но подошедший молодец с синим лицом и черными цыганскими глазами позвал Козла:

— Старик, мясо-то где же? Забыл, курва. Я валандаться не могу долго.

— Сейчас, сейчас,— заторопился, ерзая на месте, Козел.

Бронька воспользовался суматохой, нахально сказал:

— Прощайте и до свиданья,— и вынырнул на улицу.

На повороте у моста они остановились.

— На тебе хлеба — пошамаеть,— сказал Бронька, отламывая кусок.

— Зачем мне-то?

— Ну, сестренке снесешь, дарю — так бери.— И, оставив хлеб в руке Димки, сам первый сказал: — Ты насчет карандашей сомневаешься, так у меня матка магазин такой держала. Сколько хочешь добра этого. Мы и меняем теперь. Ей некогда, она дома стряпает, а я вот бегаю после службы. А Козел — дурак,— вдруг прибавил он.

— Он — гадюка, я его знаю.— И Димка обругал Козла самым страшным словом, которое он знал.

Бронька побежал через мост.

Димка вернулся к сестренке, отдал ей хлеб, посидел немного, потом, тяжело обдумывая все, пошел в комисса-

прият; он сел в комнате, где они с Бронькой раскладывали свое барахло и спали. Иногда к ним заходил спать Кармыза, когда на него находило особое настроение.

Бронька уже пришел раньше и растопил печь. Она трещала на все голоса. Сам он шатался по другим комнатам, не желая попадаться на глаза Димке.

Димка присел у печки.

К нему пришел и сел рядом полудохлый серый котенок. Он с обожанием смотрел на огонь и выпячивал свои похожие на спички мохнатые лапки. Димку раздирали вопросы: что он сделал? Ничего не сделал. Если Бронька своровал тарелки — верно, больше не будет. А что менять вещи ходил — кому какое дело. Он, говорит, мамке помогает. А если он и карандаши ворует откуда-нибудь?..

Из набитой тесно печки выскочила свернутая трубочкой короста. Димка открыл дверцу, чтобы поправить дрова. В печке корчился целый пук бумаг. Бумаги то вставляли ребром, то перегибались пополам, чернели, и на смену им ползли другие, буквы становились огненными, и Димке вдруг эти бумаги показались до ужаса знакомыми. Он вытянул шею и ждал, когда перевернется следующий лист. Потом он прочел огненные буквы и отшатнулся, придавив хвост котенку.

На синем листе было написано: «В Губвоенкомпет № 435. Весьма срочно».

Димка поворотил огненный пук. Номера замелькали перед ним, самые свежие, самые последние пакеты — почти сегодняшнего дня горела в печке.

Димка испугался. Он выхватил несколько обгорелых листков, но пламя доело их у него в руке. Черный пепел летел на железку перед печью. Так, то выхватывая, то бросая обратно в огонь бумаги, Димка провел несколько минут.

Он был поражен до того, что не знал, что делать. Перед ним была та контрреволюция, с которой так яростно призывал бороться Соколов. Димка потащился, от волнения еле передвигая ноги, к кабинету инспектора. Но войти он не решился. Он посмотрел в замочную скважину.

Соколов сидел, наклонившись над картой. Его сухое лицо горело. Он откидывал длинные волосы назад и разговаривал сам с собой. Карандаш бегал по бумаге и сталкивался с циркулем на карте. Димка понял, что Соколову

не до него. В ушах инспектора гремело сражение, и крик невидимо атакующих покрывал голоса пушек.

Димка побежал искать Броньку. При виде его Бронька накрыл с шумом чернильницу и быстро переложил несколько канцелярских книг. Димка понял, взглянув на него, что Бронька ни за что не откроет тайны.

Он сказал только:

— Бронька, тебя дежурный зовет,— и стал ждать.

Бронька ушел.

Тогда Димка снял книги. Под ними лежала распластанная на столе серая разносная книга для пакетов. Димка перелистал ее и нашел сегодняшнюю почту. Во всех графах, против всех пакетов стояли расписки в приеме их.

И даже против № 435 «Губвоенкомпет. Весьма срочно» протягивалась малоразборчивая подпись.

Чернила еще не просохли.

Димка взгляделся и понял: в приеме всех пакетов расписывался сам Бронька.

V

Димка не спал всю ночь. Едва он закрывал глаза, на него начинали падать пакеты, полуобгорелые, черные, огненные — все с надписями: «Весьма срочно». Они требовали мщения, и Димка знал это. Пойти утром к Соколову и все рассказать ему. Это не по-товарищески. Но пакеты начинали снова кружиться. Димка ворочался с боку на бок. Решение не приходило.

Утром он отыскал Кармызу. Мотоциклист, закусив очередной стаканчик автокопьяку замусоленным в кармане ломтиком шпика, свертывал невероятной кривизны чертову ножку.

— Хочешь затынуться, Димка? Не табак, это — настоящая регалия капустиссима, карга-иволга.

Он любил запоминать особой трудности и непонятности слова. Иногда он сам выдумывал их.

Предложив Димке затынуться, он стал приготавливать машину к бегу.

— Хочешь, прокачу? — сказал Кармыза, когда Димка отказался от табаку. — Я на площадь Урицкого дую. Там буду дожидаться комиссара.

«По дороге все расскажу», — решил Димка и влез в кабину. Машина загудела и вырвалась на улицу, как волк

из клетки. Сначала из-за трескотни было бесполезно говорить — все равно не слышно. Потом Кармыза попал в кучу извозчиков, и грузовиков, и трамваев и стал вертеться, как черт, то одним, то другим боком.

Наконец они выбрались на свободное место, и Димка окликнул:

— Кармыза, слушай-ка. Ты ездил с пакетами?

— Ну, ездил — так что?

— А ты никогда не терял их...

— Так их, брат, нельзя терять, карга-иволга...

— А что было бы?

— Да ничего, к стенке б пошел...

— Вот так история,— ужаснулся Димка,— а если так, понимаешь, Кармыза, нарочно потерять — это, по-моему, контрреволюция уже...

— Обязательно и даже да,— сказал Кармыза, изворачиваясь от автомобиля.

Тут Димка решил. Когда автомобиль обдал их вонючим облаком и осколками льда, а мотоцикл взлетел на дыбы, Димка наклонился к Кармызе и начал:

— Бронька...

Но здесь случилось неожиданное. Мотоцикл боком занесся на сугроб и опрокинулся. Кармыза недаром не любил поворотов. Димка влез по грудь в снег и барахтался в нем, как медвежонок. Кармыза, отплеываясь, вернул мотоцикл в стоячее положение, потом вынул стаканчик, подоил себе немного автоконьяку, выпил, крикнул и вскочил на машину.

— Садись,— как ни в чем не бывало предложил он, обтирая тряпкой свое залепленное снегом лицо, но Димка больше не сел.

Прямо перед ним в раскрытую пасть громадной арки Штаба виднелась площадь Урицкого. Значит, рассказывать Кармызе о Броньке было уже некогда.

Димка поплелся к Эрику на Петербургскую сторону. Димка никогда не был у Эрика, хотя адрес был записан у него на бумажке, что твердо лежала в кармане вместе с перочинным ножом и удостоверением личности. Он отыскал длинный со множеством изворотов дом, похожий на желтый скучный холм,— прошел на второй двор и побрел неуверенно по лестнице.

На звонок открыла сама тетка Елена. Сначала лицо ее выразило негодование, потом — удивление.

— Можно Эрика позвать? По делу тут надо его,— храбро вышалил Димка, смущаясь черной и строгой тетушки, гневно осматривавшей его.— Я не нищий какой-нибудь, не беспокойтесь!

Тут тетка закричала:

— Эрика нет. Эрика нет,— и отступила в глубь передней, очищая дорогу.

Димка ожидал всего, только не этого.

— Где же он? — спросил Димка, не закрывая дверь и не входя.

— Он уехал, он уехал в Австрию.

— А,— длинно произнес Димка и пополз вниз по лестнице, не прощаясь.

Тетка Елена минуту стояла неподвижно. Потом она вышла из столбняка и, выбежав на лестницу, перегнулась через перила.

— Мальчик,— закричала она,— мальчик, вернись!

Но внизу хлопнула дверь. Димка был уже на дворе.

Он шел, погруженный в невеселые мысли, и не знал, что ему делать, чтобы от них избавиться.

VI

Канцелярские принадлежности в отделе Всевобуча хранил хиленький стриженный, с бульонными ножками человек, очень рассеянный и легковверный, товарищ Жемалючкин. Всегда он сидел тише мыши и грыз карандаш в задумчивости, как грызун — корку.

В одно утро его вскрик поднял на ноги товарища Соколова из-за его заваленного баррикадной войной стола. Он только что распланировал проект похода в пригород на ближайшее воскресенье, для всевобучников, как в дверях появился стриженный и дрожащий Жемалючкин.

— Товарищ инспектор,— трясся он,— ей-богу, я не виноват, только сейчас, по обязанности...

— Что у вас случилось? — жестко спросил Соколов. Прямые его волосы еще более выпрямились, а пальцы рокотали по ручной гранате английского образца, круглой, как апельсин. Он не любил, когда его отрывали от прямого дела.

— У меня кража.

— Так заявите в милицию!

— Не у меня кража, товарищ Соколов,— у стола, то есть из стола у меня. Карандаши, чернила, перья, конверты — ей-богу...

Он все более трясся.

— Ах, так,— сказал уже совсем жестко Соколов,— когда украли?

— Сегодня ночью, или утром, или вчера вечером после занятий...

— Кто оставался дежурным?

— Сейчас узнаю...

Он появился через минуту, таща за собою Димку. Димкино лицо было и зло и тревожно. Димка почувствовал, что его приперли к стенке, но его ясные глаза могли выдержать без смущения взгляд Соколова.

— Ага, Вадим,— ну, так позовите Броню...

На шум уже заглядывали сослуживцы, Броня явился впопыхах, дожевывая кусок хлеба и смотря каким-то жалким, растерянным взглядом. Димке вдруг стало немного страшновато.

Соколов заложил руки за спину.

— Вадим или Броня — вы это сделали или не вы? Если вы — сознавайтесь сейчас же... Я не шучу...

Он весь поблескивал гневом.

Бронька начал давиться хлебом и всхлипывать. Это была его военная хитрость. Димка тер пуговицу и рассматривал гранату.

— Не я дежурил, чего ж на меня,— плаксиво затынул Бронька.

Дверь кабинета распахнулась, и, прежде чем Соколов сказал «сюда нельзя», в комнату ввалился, наполняя всю ее громыханьем шпор и особенным звоном льдинок, представших к сапогам, Степанов.

— Я помешал,— сказал Степанов, оглядываясь,— эге, да здесь старые знакомые,— он заметил Димку,— рад, добро, добро. А почему скопище?

Соколов в двух словах объяснил.

— Соломонов суд,— засмеялся Степанов,— но знаешь что, я этого парня,— он хлопнул по спине Димку,— я знаю, он — слушай меня, Соколов,— он этого сделать не мог. Я за него ручаюсь. Погоди теперь — судить потом будешь. Отпусти раньше меня. Какого черта ты бумаги тут задерживаешь на двух людей. Они со мной ехать должны. В губвоенкомпете срочно была заслана бумага, а от тебя ответа нет...

— Как нет... Я сам подписывал ее — сейчас скажу — в среду, нет, — во вторник...

— А ну-ка, справься...

Броня тихо юлил в уголку. Он посерел, как его пальтишко. Знаменитая разносная книга лежала на столе, раскрытая всем глазам...

— Видишь: сдано, — сухо сказал Соколов.

Вдруг он наклонился к столу и долго смотрел на подпись.

Потом он перевел глаза на следующую, потом проследил страницу кверху, перевернул, снова проследил до конца...

— Ах, так, — сказал он, ощетинившись, как кот, — а ну-ка, Броня, распишись здесь еще раз...

Он протянул Броне блокнот и ручку.

Броня уже собрался завопить во весь голос, но здесь еще был не конец.

Простой парень, рослый и беловолосый каптер Ефимов, раздвинул двух подсудимых и басом рявкнул инспектору:

— Товарищ Соколов — извиняюсь. Я мимоходом зашел — вы поясней, пожалуйста, пишете фамилию, когда присылаете за хлебом Броню, а то с нас спрашивают, для порядку...

— Когда я посылал? — холодно спросил Соколов.

— Да хоть бы сегодня утром, — ответил каптер, — да вот у меня и записка еще в кармане...

Записка легла, точно камень, на стол инспектора.

Соколов закусил губу. «Разорвет Броньку на части», — подумал Димка.

Наконец Соколов разжал губы и процедил:

— Я не посылал сегодня за хлебом никого. Броня, иди сюда...

Броня шагнул, как лунатик, закрыв глаза и болтая руками. За кабинетом Соколова была маленькая комната, в которой была свалена старая, негодная мебель, — так, чуланчик, и больше ничего. Броня вошел в эту комнату, как в клетку с тигром. Замок щелкнул. Ключ нырнул в карман к Соколову.

— Дима, ты можешь идти, — сказал Соколов и занялся Степановым.

Конечно, жалкая распущенность Броньки и его ленивая хитрость не могли остановить движение громадного аппарата. Колеса комиссариатской машины вертелись с такой же скоростью.

Степанов в полчаса получил копии бумаг.

Около выхода он натолкнулся на Димку.

— Эх, ты,— сказал он,— такой парень, а зря мохом зарастаешь... Такие сейчас вовсю нужны, а ты с хулиганьем дружбу свел — с Броньками разными...

— Да я не сводил,— огрызнулся Димка,— так вышло...

— Так вышло,— а я, брат, на фронт еду...

— Когда? — спросил с надеждой Димка.

— Сегодня вечером. С Николаевского вокзала. Сначала на Москву в эшелоне, а там гуляй по степи...

— Ну что же,— ответил вдруг Димка резко, как взрослый,— твое счастье. Воюй за меня.— И он исчез раньше, чем Степанов успел его остановить.

Димка прибежал к матери. Дома он с яростью наколот дров, посидел с сестренкой, подарил ей свои книжки с картинками и спросил у матери две пары чистого белья.

— Да на что тебе сразу две?

— Так велели,— строго объявил Димка,— сбор завтра в поход — начальник такой Степанов приказал — в Лигово, говорят, пойдем на неделю.

Мать заворчала, но белье дала. Димка поужинал картофельным супом и сел думать.

Он думал об отъезде Эрика, о веселом дяде Яне, которого он забыл последнее время, о Броньке, который влип и которого погонят в приют для малолетних воров, а может, и хуже куда, о Степанове и о своем худом, но честном житье на этом большом и часто непонятном свете.

Потом он поцеловал мать и сестру и выбежал на улицу.

Воинский эшелон был задержан на путях перед Москвой из-за передачи срочного артиллерийского груза.

Стояла хлюпающая снегом, расцвеченная огнями вокзала и паровозными вспышками ночь.

Степанова вызвали солдаты в теплушку.

— Взгляни-ка, товарищ командир,— что тут делать?

— Примазавшись,— сразу не заметили...

Степанов, тяжело приминая снег, влез в теплушку и чиркнул спичкой. На верхних нарах лицом к нему устало спал Димка.

Степанов усмехнулся и сказал:

— А пусть едет. Дайте ему, ребята, выспаться...

I

Эрик первый раз в жизни ехал один в далекое путешествие. До сих пор все его время было размерено по часам. Над всеми уроками, обедами, книгами, развлечениями стояла, как главнокомандующий, тетка. Теперь на месте тетки утвердилась полная неизвестность.

Мимо вагона летели, ползли, спотыкались, скользили озера, губернии, реки, города, леса — их было столько, что одними их названиями можно было исписать всю записную книжку. Точно громадная география с картинками перелистывалась за окном.

Эрик стал оглядывать спутников. Тетка часто говорила ему: «Эрик, все люди делятся на людей, отдающих приказания, и на людей, эти приказания исполняющих. Так вот, ты выбирай сам, что лучше...»

Худой, с ястребиным лицом немец сидел против Эрика и говорил, глядя в окно:

— Это все будет наше, это уже почти наше. Мы заняли Баку, Тифлис, Ростов, мы взяли Украину, мы вышли на Волгу. Нет ничего на свете сильнее немецкой империи. Гох...

И он замолкал, подавленный собственным величием.

Увы, он не знал, что менее чем через месяц эта железная империя лопнет, как воздушный пирог.

Другой спутник, необычайно разговорчивый, смотрел на мальчика с хитрым сочувствием.

— Не верьте ничему, молодой человек, никто из нас не знает этой страны. Когда я в нее приехал и учился русскому языку, мне сказали, что нужно погонять извозчика словом «осетрина», что значит по-русски: скорей. И я послушно кричал на всю улицу: «Осетрина, осетрина». Надо мной хохотали. Мне кажется, что мы сейчас все кричим «осетрина» вместо какого-то путного слова. Это опасно, молодой человек. Вы едете в Вену? Читали вы наши последние газеты...

— Нет.

— Тогда прочтите. Учитесь читать между строк...

Незнакомец дал ему Фоссову газету. Среди разных сообщений о победах и завоеваниях он прочел, что в Австрии мобилизованы все юноши, достигшие шестнадцатилетнего

возраста. Значит, по приезде в Вену, через два месяца, он попадет на войну. Это, вероятно, имел в виду его спутник, давая ему газету.

Действительно, вечером он снова обратился к Эрику:

— Завтра мы приедем в Гомель, молодой человек. Там будет пересадка для тех, кто едет на Украину, и для тех, кто едет в Австрию. Подумайте, — сказал он вдруг, наклонившись к самому носу Эрика, — подумайте, нет ли у вас родных в южной России? Я вам ничего не советую, но подумайте...

Эрик за время дороги многое передумал. Он увидел, что принадлежит к людям, которые пока отдают приказания, а другие их исполняют. К их вагону на станциях устремлялись толпы пассажиров, но они отскакивали, как от стены, от серых солдат в касках, с винтовками наперевес. Перед немецким комендантом — безусым прапорщиком — самые маститые начальники станции брали руку под козырек. Вычищенный и аккуратный вагон Эрика плыл, как стройная яхта, среди моря разбитых вагонов и вагонов с выбитыми дверями, проломанными крышами и разбитыми стеклами, в которых ехали все, кроме немцев. Немецкие опрятные пассажиры казались господами рядом с оборванными, серыми от пыли и заботы толпами, облепившими, как пчелиные рои, все вокзалы и железнодорожные пути.

Эрик всю жизнь прожил в России. Немцев он не знал и не понимал. И он боялся войны. А ему предстояло прямо по приезде встать в ряды этих неподвижных серых людей с винтовками наперевес. Было над чем задуматься. Тогда он стал вспоминать, кто из его знакомых и родных живет на Украине. Он вынул записную книжку, где были записаны все адреса, все его вещи, все, что он должен делать ежедневно.

В Екатеринославе жил его двоюродный дядя Александров...

Приехали в Гомель...

В Гомеле Эрик распрощался с немцем, говорившим о величии Германии, и с немцем — сомневающимся. На вопрос железнодорожника: — Ваша станция назначения? — Он твердо сказал:

— Екатеринослав!

А дальше поезд свистнул, и потянулись, полетели, заскользили поля, леса, города, где каждый клочок земли имел несколько названий, все более странных и новых.

Эрик в вагоне играл в шахматы, изучал английскую грамматику, решал алгебраические задачи и ел в определенные часы.

В Екатеринославе сразу же, как только он оставил вагон, весь этот порядок был опрокинут.

Взвалив чемодан на плечи, сунув грамматику в карман, Эрик пустился в долгое странствование пешком. У него не было лишних денег, чтобы нанимать извозчика. Он изредка спрашивал у прохожих дорогу. Идти пришлось очень далеко. Уже светлые и оживленные улицы остались далеко позади. Он несколько раз садился отдыхать. Мимо него прошла торговка с пирожками и с теплым квасом. Он ничего не купил. Дома у дяди поужинать в час, положенный для ужина,— это другое дело. Разве можно покупать еду на улице?

Он прошел еще с полверсты и тут понял, что он устал, как муха, летавшая целый день, от дороги, от людей, от мыслей, от всего виденного.

Стало совсем темно, падал сухой редкий снег, когда он отыскал дом под номером, записанным в его книжке.

Дом стоял, как тихий слепой, с темными окнами и наглухо закрытыми воротами. Эрик поднялся на крыльцо и позвонил. Звонок был испорчен, и никто не подошел к дверям. Тогда Эрик поставил чемодан аккуратно рядом — на сухое место и принялся стучать. Сначала он стучал, как воспитанный гость,— осторожно и тихо. Никто не отвечал. Через несколько времени ему стало холодно. Он стучал все сильнее. Молчаливая дверь темнела перед ним. Тогда он ударил в нее кулаками, заколотил по дереву непрерывно, изо всех сил.

Из домика напротив выглянула старуха...

— Чего шебаршишь зря, хлопец? — спросила она.

— Стучу,— сказал Эрик, переминаясь с ноги на ногу.

— Да кому же ты стучишь...— зашамкала старуха.—

Никого нет там. Пусто.

— Как пусто? — удивился Эрик.

— Да уж год как пусто.

— Почему? — испугался Эрик.

— А рази ж я знаю... Вот дурной. А чего ж мне мерзнуть? — сказала старуха и ушла к себе в домик.

Эрик огляделся. Его окружала ночь. Ему хотелось пить и есть, и ноги подгибались от усталости. На него нашел припадок слепого упрямства. Он взял чемодан и пошел прямо, сам не зная куда. В его голове носились все прочи-

танные когда-либо рассказы о заблудившихся путниках. Чемодан становился все тяжелее, а снег — мокрее.

В одном месте на него выбежала стая собак. Это были псы-бездомники, псы с взъерошенной шерстью, грязной, как старый войлок, с лохматыми хвостами и тощим животом. Оскаленные зубы были настороже. Они хрипло лаяли и держались друг около друга.

Эрик с удовольствием бы лег и уснул. Наконец он остановился и огляделся еще раз. Последние искры энергии вспыхнули и потухли. Тогда он ринулся к ближайшему зданию, тусклевшему желтыми замерзшими окнами, и ударил в дверь чемоданом. В следующую минуту он сполз по каменным ступенькам подъезда, ноги его подогнулись, голова упала набок, и он уснул.

Проснулся он в теплой комнате, наполненной людьми. На столе кипел самовар, стояли бутылки, в сахарнице горкой блестел сахар.

К нему подошел высокого роста человек в синих военных штанах и распахнутой гимнастерке. Он сказал растерянному Эрику, не понимавшему, где он и что с ним:

— Вставайте, красавец, выпейте-ка чайку, согрейтесь. Мы проверили без вас ваши документы. Каждый дворянин — Эрик фон Торрен — наш гость... Рыбак рыбака видит издалека... Мы союзники. Не беспокойтесь. Вы в доме капитана Рыкачева...

II

Теплушка, в которой ехал Димка, никак не походила на чистенький вагон Эрика. И народ, населявший ее, был пестрый и шумный. Димка подружился со всеми красногвардейцами. То были настоящие сыновья революции: от городских окраин, из деревенских пустырей, с заводов, из казарм.

Разно заплатанные шинели, шапки из драного меха, опорки, обмотки, реквизированные полушубки, папахи, высокие сапоги — все это разнообразие уборов и костюмов толпилось в тесной, обкуренной, натопленной до пару теплушке.

Все говорили разом, переругивались, спорили, пели песни, высыпали на станциях искать поесть. Они были по душе Димке. Притом особое веселье владело ими.

На одной станции на куче тряпья сидела сморщенная, как лимон, старуха и с лихой жадностью уничтожала

свои запасы. За толстым с рисовой начинкой пирогом в рот ее путешествовал сдобный сухарь. За сухарем — вяленая рыба, потом сухой компот, все она закусывала куском сахара, который долго сосала.

— Что ты делаешь, бабка, — закричал Димка, — все съешь, домой ничего не привезешь...

— Я подальше прячу, — шамкала старуха, — подальше прячу, чтобы вам, батюшка, грабителям, не досталось... Из живота не вырвете...

— Эх ты, карга-иволга, — вспомнил любимое кармызовское словечко Димка, — все равно все не съешь, померешь раньше...

— Иди, иди, ирод, — не ты меня хоронить будешь...

Тут старуха взвизгнула от страха, и кусок сахара выскочил у нее изо рта. Она закрестилась и затряслась...

Красногвардеец выстрелил над ее ухом в ворону, сидевшую на телеграфном столбе.

На выстрел примчался Степанов. Он стал ругать красногвардейца последними словами.

— Да я нечаянно, — оправдывался солдат, — я ружьем об ногу, а оно и выстрелило. Разве я хотел — нипочем не хотел.

— Черт тебя знает, чем ты думаешь, — кричал Степанов, — что ты, обращаться с винтовкой не умеешь?.. Не умеешь, так иди в пастухи коров пасти... Что ты в самом деле...

Он заметил Димку и увел его с собой.

— Ну, как едешь?

— Ничего, — сказал Димка, — они парни хорошие, лаяться могут — лучше не надо, песни петь тоже здоровы, в жранье не сдадут — как-то драться будут...

— Знатно будут драться. Такой революции, как у нас, Димка, нигде нет. Что ты сейчас? Оборвыш, и ничего больше. А после, когда все кончим, ты до всего своим ходом дойдешь. Ты дошлый, обязательно умным будешь, если не укокают...

— Меня-то не укокают! — сказал Димка. — Я сам еще кого укокаю.

— Народу земля нужна, а генералы ее под себя жмут, — говорил Степанов, — и немцы с ними и знать разная. Вот как сойдемся, будет драма. Ты не подкачай смотри...

— Не подкачаю, — заверил Димка, — я люблю, чтоб дело было самое трудное.

В вагоне дружеская перебранка потрясала воздух. Ее хватало на целые версты.

— У нас в Рязани — грибы с глазами, их едят, а они глядят...

— А у вас Орел да Кромь — первые воры...

— Что ж воры — ловкачи, значит, а не вологодские кушачники — векшееды.

— А мы из Ельца, — вмешался еще голос, — у нас на Ельце, на Сестре-реке курица щенка вывела.

— Врешь... Ври легче...

Матрос в полушубке, с открытой грудью, на которой синел выжженный якорь, продолжал длинный, давно начатый рассказ:

— Так, значит, ловили мы одного германского капитана по всем океанам. Судно его «Эмдин» называлось; как война началась, он и ударил в море, в Китайское. Мы на него из Японии, а он в Японию, мы в море, а он из моря. Днем нигде не видать его, как утоп, а на ночь вылетит и бух по нам, только щепки летят. Даст залп — нет судна! Даст залп — нет судна! Вон как, братишки. Что тут делать? Гонялись за ним, гонялись. Прижали к берегу, шестнадцать дней палили в него из громадных пушек — все мимо. Наконец попали в трюм ему — ну, конечно, кишки вон. А капитана был приказ за его храбрость живьем взять. Судно, значит, ко дну идет, а капитан вплавь. Плывет и плывет — сдаваться не хочет. Ну, что тут делать? Эскадра за ним плывет. А он плещется и по волнам дует — старый моряк, опытный. Подъедут к нему на лодке, спрашивают, сдаетесь, ваше благородие, а он головой мотает — нет, мол. Два дня так плыл — надоело уж всем, а он и усни на воде. Смотрят с эскадры — не барахтается человек, а качается, как в качалке. Так и взяли сонного. Уж как проснулся он, давай на всех языках ругаться, да уж ничего не поделаешь! Потом мы из Индии людей возили на войну — черномазых. Так на убой и везли тысячами. Поедем, привезем — перебьют их, мы опять обратно за новыми. Перебьют этих — опять гоним. Так и мотались. А пришли в Архангельск, говорит братва: даешь замирение!

Советская власть против войны. Офицеры нам отвечают: не хотите в союз с англичанами, катитесь к черту. Мы возьми и подорви крейсер. Так он, сердечный, боком и лег... Ну, нас по шее на берег. Мы прямо в Москву, а оттуда на фронт — где тут контрреволюция? Будем ее добивать.

— С какого судна сам-то? — раздался голос из толпы.

— Я-то с «Аскольда»!

Вагон остановился с такой силой, что рассказчик прикусил язык, спавшие на нарах вылетели из своих гнезд, собеседники стукнулись лбами. Винтовки громко зазвенели. Фонарь погас. Поезд стал.

— Крушение! Вылезай!.. — раздавались голоса.

Из всех вагонов выскакивали люди и смотрели вперед.

Там, где полагалось быть станции, рос красноватый столб пламени.

— Что это такое? — спрашивали друг друга.

Наконец все выяснилось: белые заняли станцию и жгут постройки.

— Первая рота в цепь!..

Согнутые фигуры, пригибаясь к снегу, побежали к станции. Димка бежал со всеми.

Красногвардеец в черном пальто, перевязанный веревкой, в сибирской папахе, остановил Димку за рукав.

— Слушай, — шепнул он.

Вдали пронесся свисток...

— Стреляй! — сказал красногвардеец, и Димка вскинул винтовку.

Плечо онемело от удара, винтовка качнулась, и Димкина пуля полетела среди множества других в красное разгорающееся пламя.

Так Димка вступил в великую гражданскую войну.

III

Уже многие края и города были отвоеваны советскими войсками, уже генерал Корнилов был убит гранатой около Краснодара, уже генерал Каледин застрелился в Ростове, уже Колчака съели страшные сибирские дебри, ополчившиеся на адмирала, уже батька Махно перемахивал несколько раз от белых к красным и от красных к белым, и все же каждый день был подобен ледоходу, что швыряет льдину на льдину и несет грохот по всей стране.

Генерал Деникин в полном генеральском азарте на черном коне скакал через сожженные деревни, и сотни пушек стреляли по его приказу. Его конница топтала поля и сжигала хлеб. В последний раз генерал решил сломить красную силу.

Конная батарея капитана Рыкачева зарылась на холме и стреляла, не жалея снарядов. Чего их жалеть? Англичанам все равно девать их некуда — дома у них война кончилась, а за эти снаряды генерал Деникин заплатит русским золотом, когда разобьет красных.

И батарея вышлепывала снаряды так далеко, как могла. К вечеру она замолчала, подъехала кухня, и артиллеристы стали ужинать.

Во время ужина к котлу подошел мужик. В серой рубахе, в лаптях, с седой бородой, ошпаренной солнцем, старик попросил поесть.

— У большевиков проси,— ответил ему со злостью один, но потом смиростивился: — На́ уж, пожри...

— А чего у большевиков — большевики всегда дают.

И тут старик, захватывая ложкой кашу и чмокая ветхими губами, стал говорить солдатам, что, мол, бросили бы они против своих же ребят воевать, землю опустошать без конца и что гнали бы командиров в шею, а то им делать нечего, кроме как воевать и богатеть на крови...

Не знал старик, кому говорит. Сидели перед ним не свои ребята, хотя и были они в шинелях и загорели, как мужики, и ругались попросту. В рыкачевской батарее служил цвет белого студенчества, преданнейшие бойцы Деникина.

Они переглянулись, и не успел старик опомниться, как один из них сказал с усмешкой:

— Хорошо поешь — где-то сядешь...

Старика тут же схватили за руки и за ноги и представили самому Рыкачеву.

Старик насупился и смотрел в землю.

— Хороша цаца,— пренебрежительно бросил капитан,— а ну, замаринуйте его до завтра...

Утром батарея двинулась по шоссе дальше. Рядом с лошадью Рыкачева шел на аркане старик.

Вдоль дороги росли кусты, густые и низкие. Дорога извивалась под горку. Рыкачев развязал старика и крикнул: — Беги, леший!

Старик знал, что ему в спину будут стрелять. Он шел, спотыкаясь, несколько шагов и вдруг прыгнул в сторону. Капитан вытянул руку и нацелился, старик бежал между кустов к маленькой рощице.

Капитан выстрелил. Не попал. Старик пополз немного на коленях и снова вскочил. Вторая пуля оцарапала ему плечо. Он упал от страха и снова поднялся.

Рыкачев поморщился. Он снова хотел целиться, но догнавший его молодой солдат приподнялся на стременах и приложил руку к козырьку.

— Господин капитан, разрешите, я добыю...

— Ну, дуй,— сказал капитан.

Юноша рысью проскакал в кусты и настиг старика. С дороги их не было видно. Зеленая стена кустов и деревьев плотно смыкалась за ними. Юноша вертел наганом в воздухе. Он наехал на старика почти в упор и закричал:

— Беги, дурак, направо — налево опять влопаешься. Там — наши. Да держи язык за зубами...

Потом он два раза выстрелил в воздух. Догнав колонну, юноша поехал шагом за четвертым оружием.

Это был Эрик. Уже шесть месяцев путался он с батареей Рыкачева по всем сражениям и дорогам. Тетка Елена не узнала бы его, а узнав — упала бы в обморок тотчас же. От походной жизни и верховой езды ноги его окрепли, плечи расширились, он почернел от солнца, как чугун, и не боялся никакой простуды.

Деваться ему из батареи было некуда. Он стал человеком без роду и племени. И был очень одинок. С товарищами по батарее, русскими студентами, розовыми маменькиными сынками или огрубелыми спортсменами он не мог сойтись. Он принадлежал другому народу по крови и по воспитанию. Русские были ему чужды. Он не понимал ни их шуток, как ему казалось, глупых и грубых, ни их любви к толстым и свирепым генералам, изредка наезжавшим на батарею. Он упорно возил за собой жалкие клочья, оставшиеся от английской грамматики и сборника алгебраических задач. Разрозненные шахматные фигурки катались в его переметной суме.

Сначала Эрик очень мучился тем, что участвует в деле, которое ему непонятно. Он с удовольствием узнал о германской революции, но не сказал никому о том, что он обрадован известием, потому что это означало конец войны. Не зная, к кому обратиться за разъяснениями мучившего его вопроса, он попробовал раз пустить в ход свое знание английского языка.

На батарее жил целую неделю английский инструктор, сержант Харрисон, доставивший партию снарядов.

Харрисон не знал, что видит перед собой австрийца, и потому говорил откровенно.

— Я был в Египте, в Китае, в Турции, во Франции, в Италии, в Греции. О, я много где был...

— Вы путешествовали? — спросил Эрик.

— Да, да, путешествовал с пушкой. Я дрался. Почему я выбрал артиллерию? Я люблю точные и сложные механизмы — раз, во-вторых — ведь битва сводится к артиллерийской дуэли. Если противник сбил ваши пушки — вы бежите, и армия бежит за вами. Это игра на равных правах, битва пушек — спорт, такой же, как футбол. Но у вас в России я бы не мог драться. Здесь дерутся не по правилам, а точно в лесу медведи или волки. Это неинтересно. Это не спорт, это — мясная лавка. Поэтому я отказался стрелять здесь в людей, вооруженных палками... Мне сбавили жалованье, но я получаю командировочные.

Эрика с детства учили жить по правилам.

— Так, значит, — сказал он, — безразлично, за кого дерешься, если дерешься по правилам... Ведь играет же футбольная команда, переезжая из страны в страну, не спрашивая, кто там правит: президент или султан?

Англичанин засмеялся...

— По правде говоря, мне хорошо платят, и я сражаюсь. Но есть война и война. В России война и личные сче-ты. Конечно, — вдруг сказал он, — конечно, богачей надо побить, да и с генералов посбить позолоту.

— Как? — удивился Эрик.

— Вы посмотрите, — сказал англичанин, — ваш царь был хуже султана, а ваши генералы хуже царя. Разве можно бить свой же народ? Это — измена. Когда у нас, в Англии, случилось такое — о, наш старый Кромвель пришел в парламент с палкой — в парламент! — и сказал: уходите все вон, вы — не правители, вы — ослы... И он их вытолкнул в шею: министров, судей, церковников. Пожалуй, вам будет лучше, — закончил Харрисон, — если мы возьмем вас под свою руку.

— Вы так говорите, — сказал Эрик, — вы не боитесь, что я донесу на вас?

— Кто же вам поверит, вам, с трудом понимающему английскую речь. Сержант Харрисон за храбрость два раза упомянут в приказах по армии. Донести на него — не простое дело. Ну, прощайте...

Потом англичанин уехал.

Эрик был ошеломлен и сбит этим разговором с толку. Кроме того, он боялся крови и не мог смотреть на мертвых. Как привязанный, ездил он всюду за пушкой, пушка стала его требовательной и суровой хозяйкой.

Об одном он избегал думать. О том, что будет с ним, если победят большевики. А что они победят рано или поздно, он был уверен. Как глубоко ни заходили белые в сторону Москвы, они неизменно бежали назад. А у них были несчетные горы снарядов и тысячи специалистов, умеющих воевать.

В некоторых деревнях их встречали с колокольным звоном и с хлебом-солью, но при отступлении через несколько дней в тех же деревнях им стреляли вслед.

Тут была загадка, которой не понимал Эрик. Воспитанный в комнатах, воспитанный как городской школьник, он не знал ничего о жизни и о людях.

Однажды под вечер батарея въехала в брошенный жителями хутор. Лошадей повели на водопой к колодцу.

Что бы сказал Эрик, узнав, что из колодца час тому назад пили два красноармейца и одного из них звали Димкой.

IV

Димка отстал от отряда, потому что не хотел бросить раненого товарища. У Красавина пуля пробила насквозь ногу, не задев кости, и он мог идти только с большим трудом, хромая и плюясь сквозь зубы.

— Да брось ты меня,— говорил он Димке,— я и сам доползу куда-нибудь...

Димка не соглашался.

— Молчи в тряпку, куда наши-то отступили. Далеко ведь. И на здоровых копытах не догонишь, а ты — калека. Кругом белыми кишит. Надо ударить в сторону.

И они ударили в сторону от главных дорог, по которым толпились деникинские войска.

Отойдя верст тридцать, в глубоком овраге, у родника, они сели и стали совещаться.

— Есть у меня в мешке черные очки, с автомобилиста одного я снял,— сказал Димка.

— А ты что, ослеп уже? — засмеялся Красавин.

— Это ты ослепнешь,— ответил Димка,— сделаю я тебе костыль, будешь ты на меня опираться и сойдешь за слепого. Так незаметно можно и на людях идти. А я за поводыря буду...

— А как с оружием...

— Ружья захороним наши, а наган у меня есть, с собой возьмем. У тебя нож громадный. Хватит...

Они переоделись и пошли. Правда, издали их, пыльных и едва волочащих ноги, никак нельзя было признать за солдат. Таких инвалидов и в обозе не держат.

Вблизи было дело другое...

Первый же крестьянин, встретивший их в лесу, сказал им:

— Скрываетесь. Чи не зеленые ли будете?

Димка сел на землю от неожиданности. Красавин сплюнул сквозь зубы, снял черные очки и обтер потное лицо рукавом.

— Зеленые, батька,— сказал он, готовясь к самому худшему.

Но крестьянин вынул два ломтя хлеба, посыпал их солью, достал арбуз и предложил закусить.

— Сынка моего не видали где? Придет когда, перекусит что и опять в лес закатится. Время такое.

После встречи с мужиком они решили двигаться только по вечерам, ближе к ночи, а днем сидеть где-нибудь в глухих местах. Одиноких баб, встречавшихся иногда у деревень или в степи, они обманывали легко. Нога у Красавина зажила, и он хромал только для виду.

В одной деревне Димка вытащил из колодца кошку — баба дала ему яиц и шпику. В другой раз они поспорили с местной колдуньей, что она ничего с ними не может сделать. Баба колдовала целый день, собрав толпу народа, а вечером Димка перебил ее горшки с заколдованными травами, вылил воду на голову колдуньей кошке и переломал заговоренные палки. Народ гнался за ними, но они бежали, как на крыльях...

Верстах в пятидесяти к северу от этого места они набрели на полузаброшенный хутор. Дом сгорел, и сиротливо торчала почерневшая печь. Огород был вытоптан. Арбузы валялись на дворе. Нигде никакого признака жизни.

Димка открыл дверь в сохранившуюся баньку и тут услышал, что на печке что-то шевелится...

— Кто там? — крикнул он, щелкая наганом.

С печки раздался старческий голос, дрожащий и шепелявый.

— Слепенькому не дайте помереть, добрые люди,— нараспев ответили с печки,— не умучайте... милостынькой живу, попечители...

— Заходи-ка,— сказал Димка Красавину,— ишь ты, раньше нас слепым заделался. Ну, предупредил ты нас,

дедка,— ты не запел бы, мы бы запели,— обратился он к человеку на печке...

Димка зажег лучину и осветил внезапно баньку.

Из темноты вынырнули доски, скамья, на которой стоял чайник, почти целая свеча и горбушка белого хлеба.

— Эге,— прошептал Красавин,— старик-то слеп, как мы с тобой... Да тут и закусить есть чем,— продолжал он,— запалим-ка огоньку. Слезай, дедушка, поужинаем. Что рань такую на боковую залег... бока отлежишь...

— Да не вижу я, детушки, все равно — ешьте себе и без меня...

— Без хозяина стол — сирота,— сказал Красавин,— добром, дедушка, просим — слезай, хуже будет, гляди, и впрямь на два глаза по бельму получишь...

Тогда с печки разом слетел человек, точно его ветром сдуло. Человек ринулся к двери. Но Красавин перехватил его на дороге и отбросил назад. Человек тяжело сел на пол. Димка осветил его. Перед ними сидел небольшого роста мужик в синей рубашке, в жилете с цветочками, в черных лакированных сапогах со сборами. Кудельный волос падал на жирное красное лицо, испуганно покрывшееся морщинами.

— Разбойнички,— начал он тем же певучим голосом, но Димка сказал:

— Брось, Козел,— я тебя знаю. Садись, почавкай с нами. Мы тебе зла не сделаем...

И он подтолкнул товарища...

Козел посмотрел на Димку и не узнал его.

— Да как же, Димку не помнишь? В чайной в Питере карандаши тебе нужны были. Бронька тебе из комиссариата воровал. Пришили Броньку к делу. За тобой очередь...

— Вспомнил, голубчик,— сказал Козел, пропуская мимо ушей последние слова Димки,— вспомнил, так вы, значит, свои, а я думал...— Он не договорил и стал отряхивать сор с колен.

— Красные, ты думал? — докончил Красавин.

— Да ты не пугай меня, ради бога,— от белых бегу я, уже который день бегу.

— Все убежать не можешь,— сказал Красавин,— чего ж тебе от белых бежать? Ты же купец. Самая торговля при белых. А ты уж своей наживы не упустишь.

— Да где уж там,— отвечал Козел,— тут и почину не было. А вы-то куда сами бредете?

На Красавина напала самая злая злость.

— Мы-то,— сказал он, запивая хлеб чаем,— мы пожертвования собираем на Красную Армию. Особая комиссия Чека — полевая, избуная и запечная...

— Хорошее дело,— протянул Козел,— а я думал, вы в бандитах состоите.

— Ну что, ты — купец. Мы — люди честные. Ты от белых бежал — к своим. Красная Армия тоже своя. Поделись с нею по-честному...

— Как поделись? — спросил Козел, поглядывая на дверь.

— Что ты все на дверь глядишь? Ведь почивать тут собрался. А прежде сна — чтоб сон был хороший — ты нам пожертвуй что можешь на Красную Армию...

— Да есть у меня мелочишка кое-какая — махновские деньги тут...

— Ну, махновки себе на старость побереги, а позвонче чего нет ли. Тебя тряхнуть — так посыплется...

— Да что вы, братцы.— Козел попятился к печке...

— Стой, брат, стой.— Красавин схватил его за рубашку и нащупал толстый мешочек, висевший на шее.— Вот ты где казначейство пристроил!

Козел рванулся. Красавин был сильный казак, и лапа у него что медвежья. Шнурок лопнул. Мешочек развязался, и полетели вниз серебряные и золотые монеты.

— Только подбирай. Ну, с тебя довольно. Теперь лезь на печку...

Козел пожелтел. Он хрипло дышал и искал руками, чем бы ударить. Наклониться за упавшими деньгами он не решался. Димка вынул наган и прогнал купца на печку.

Там Козел начал ругаться и плакаться.

Красавин подобрал деньги и завернул в свободную портянку.

— Пиши ему квиток, квитанцию, а то он человек законный. Бумажки любит. Читай, что написал,— сказал Красавин.

И Димка прочитал:

— «Квитанция о том, что спекулянт и враг революции...»

— Здорово, прибавь только: «буржуй третьей степени»...

— «...и буржуй третьей степени Козел дал после драки десять золотых и три серебряных рубля на Красную Армию, чтобы бить белых».

— Так. Поставь печать...

Димка стукнул кулаком по квитанции.

— Получай, Козел!

Козел схватил бумажку и хотел на нее плюнуть, но Димка закричал снизу:

— Только плюнь на казенную бумагу! Я тебя взгрею по военному закону! Принимай и храни на память, морда запечная.

Потом они ушли из бани, подперев дверь колышком. Ночевали они в лесу и перед сном долго хохотали, вспоминая Козла, певшего под слепенького.

Через неделю они вышли на передовые заставы Красной Армии и пристали к первому же отряду, где и сдали в коллектив половину денег, полученных от Козла.

— А другие где? — спросил Димка.

— Помалкивай, — ответил Красавин, — на что мы деньги брали?

— На Красную Армию.

— А мы сами кто? Красная Армия. Значит, и нам полагается...

Глава четвертая

I

Не удалось генералу Деникину сломить красных!

Покатались обратно его полки из лесов в степи, из степей — к Азовскому морю.

Батарея Эрика существовала только наполовину. Всего два орудия тряслись в толпе обескураженных и злых людей. Не было и капитана Рыкачева. Исчез капитан, и никто не знал, что с ним случилось. Идти походным порядком разбитому войску было невесело. Днем холодный дождь хлестал отступавших, ночью лужи замерзали, деревья для костров почти не было. Жгли фуры, пустые зарядные ящики, разбирали дома по пути. Наконец наступила зима. Она пришла неожиданно.

В этот вечер лошадь Эрика провалилась в глубокую яму с ледяной водой. Эрик вымок по шею. На полях лежал снег. Необходимо было во что бы то ни стало переодеться. Он достал из переметной сумы сухое белье и, стуча зубами, начал рездеться среди поля. Пронзительный

ветер обжигал его голую спину, руки, ноги — Эрик прыгал на месте и, прыгая, одевался.

Наконец он влез в седло и погнал лошадь крупной рысью, чтобы согреться. Лошадь бежала с версту, потом стала. У нее была сбита седлом спина, так как ее не расседлывали три дня. Каждое движение Эрика причиняло ей острую боль. В лиловых глазах ее стыли слезы. Тогда Эрик слез и пошел, волоча ее за собой, как больную, испортившуюся куклу. Лошадь все больше хромала, и слезы все сильнее текли из ее глаз.

Так отступал Эрик еще несколько дней. На пятый день, когда он наклонился к орудию, у него закружилась голова. Зеленое тело орудия и желтая с черным земля исчезли из глаз. Он сел на лафет и не мог понять, что с ним.

Ему удалось достать другую лошадь. Но теперь верховая езда стала для него мучением. Его бил озноб, он не мог ничего есть. Воспаленные глаза ввалились, руки дрожали. Он думал, что умирает.

Эрик обратился к поручику, командовавшему батареей, и попросился в обоз.

— Нет, нет, — сказал поручик, — скоро мы будем в Ростове, и тогда иди в госпиталь. А то у орудий почти не осталось людей.

Он был прав. Те, что ехали с орудиями, были очень плохими артиллеристами. Они испортили прицел у одного и сломали лафет у другого орудия от неумения обращаться. Тут ничего нельзя было поделать.

Эрик понял, глядя на рассыпанные и нестройно шагавшие ряды пехоты, что конец этой оборванной и усталой армии не за горами.

Ему не хотелось ни о чем думать. Боль пронизывала его насквозь, точно какой-то невидимый сапожник прошивал его своей иглой, как сапог. Временами он привязывал себя к лошади и увеличивал вьюк, чтобы не упасть от слабости.

В невеселый зимний полдень, на последней позиции перед Ростовом Эрик заснул в шалаше сном лихорадочного. Тысячи людей, знакомых и незнакомых, приходили к нему и приставали с глупыми вопросами. Но их трескучие голоса покрывали какие-то далекие завыванья. Одно из завываний пронеслось над самым ухом Эрика.

Он вскочил и прислушался. Крайнее орудие стреляло без перерыва. Эрик бросился к своему. Потный и всклокоченный, он огляделся с недоумением. От холма, на котором

стояли два орудия, бежала грязная полевая дорожка к шоссе. Там, где они встречались, приютилась маленькая деревушка, хлопавшая остатками дверей и ставен. Ни над одной трубой не было видно дыма. Ни в одном окне не виделось человеческого лица. Несколько собак с диким воплем метались между засыпанных снегом огородов. Голые деревья корчились от ветра. И все это оглашалось карканьем ворон, тучей носившихся над полями.

Впереди позиции Эрика, около небольшого овражка, чернели окопы. Там сидели стрелки. Стрелки стреляли мало, зато пушки выходили из себя. Через голову Эрика бухала тяжелая артиллерия. Тяжелые снаряды, точно старые трамвайные вагоны, стонали и звенели, мчась по воздуху.

Мысли путались в голове Эрика. Он подошел к своему орудию и начал стрелять. Ему помогал Орлов, молодой солдат с рябым испуганным лицом. Пороховой дым окутал их с головы до ног. В полевой телефон какой-то неприятный голос шепеляво и тонко выговаривал цифры. Красные отвечали залпами. Эрик вспомнил англичанина и его слова об артиллерийской дуэли.

Он взглянул на окопы стрелков. Его поразило то, что он увидел. По эту сторону окопов, ближе к Эрику, копошились какие-то толпы.

— Подкрепление — контратака. Что это может значить?..

Он прыгнул к полевому телефону. Телефонист перевязывал раненую руку. Телефон больше не отвечал. Телефон умер. Тогда Эрик посмотрел в бинокль. На шоссе метались всадники, блистали пашки и трещали выстрелы.

— Буденновцы, — закричал он без испуга и даже не удивленный. — Буденновцы прорвали фронт!

Ему стало ясно, что за толпы ворошились на дороге. Это бежала пехота, бросив окопы.

«Сначала бегут пушки, потом армия», — говорил англичанин. — Тут было наоборот. Армия бежала, оставляя пушки.

Через полчаса пушки будут отрезаны от шоссе и погибнут.

— Орлов, — закричал он товарищу, — снимаемся. Давай уносы...

Крайнее орудие еще стреляло. Поручик исчез. Они закрепили орудие и помчались к деревне. Папахи виднелись все ближе. При въезде в селение лошади встали на дыбы.

Шрапнель гулко потрясала воздух, стуча по крышам. Ездовые бросили оружие на въезде и побежали. Из солдат при оружии остались только Эрик да Орлов. Они оглянулись.

Крайнюю пушку на холме окружили буденновцы. Артиллеристы сидели на земле, подняв кверху руки.

Все было кончено.

— Бежим отсюда, — сказал Орлов.

Они бросились в ближайший дом и забрались на чердак. Там они зарылись в кучу хлама и сена. Пальба и крики со всех сторон доносились к ним сквозь щели чердака.

Они просидели часа два. Начало уже темнеть, когда Орлов толкнул Эрика.

— Пойдем на авось — двух смертей не бывает. Найдут здесь — все одно.

Они вышли на улицу. Улица была переполнена красной пехотой. Кое-где тускнели плохо разгоравшиеся костры. Один дом ярко горел, доски и балки трещали и падали. Ветер тряс деревья и разносил головни в разные стороны. Ветер стучал котелками, тесно прижимавшимися друг к другу над огнем.

В первую минуту на Эрика и Орлова не обратили внимания. Погон у них не было. Они их сорвали. Рваные английские шинели мотались на их худых плечах.

Орлов взял за рукав одного солдата.

— Где тут у вас сдаются? — сказал он нетвердо.

— Катись туда, — сказал красноармеец, осматривая их и показывая на крайний дом, — там все объяснят. Ты кто будешь-то?

Орлов не успел ответить, как на них наскочил всадник в серой папахе. Разорванные края ее трепались по ветру.

— В чем дело? — спросил он красноармейца.

— Товарищ Степанов, белые тут — сдаваться вышли. Простые...

Степанов посмотрел на них и спросил:

— Кто такие?

— Солдаты — из батареи.

— Это ваша пушка? Там — на въезде?

— Наша, — ответил Эрик.

— Иди за мной! — сказал всадник.

Провожаемые красноармейцем, они подошли к оружию. Лошадей держали несколько человек, о чем-то споривших.

— Дай дорогу! — закричал Степанов.

Люди расступились.

— Садись и за мной...

Эрик и Орлов хлестнули по лошадям. Шесть всадников окружили их. Степанов скакал впереди. Они съехали с шоссе и помчались в сторону.

Степь краснела на закате. Далеко впереди виднелись дымки и перекатывалась стрельба.

— Ставь орудие, — приказал Степанов, — снаряды здесь — крой по отступающим!

Орлов был простой крестьянин, мобилизованный Деникиным. Избранный состав батареи давно вышел в расход. Орлов чувствовал всем существом, что он будет цел и жив. Рядом с ними, неподалеку, стояли красные пушки. Он был рад плену. Его деревня была уже в руках красных. «Значит, можно скоро идти домой», — радовался он.

Он, не задумываясь, приступил к стрельбе. Эрик навел пушку. Выстрел рванул уши. Хобот орудия качнулся и вздрогнул. Орлов зарядил снова.

Эрик не помнил, какой он взял прицел. Лихорадка била его. Ему стало тяжело наклоняться.

Степанов смотрел в бинокль, приподнявшись в седле. Снаряды рвались, не долетая.

— Кадет, щучий сын, — закричал он, — куда бьешь?..

Эрик собрал последние силы.

— Я не кадет, — сказал он громко, — они рвутся так, потому что плохой тротил...

— Ну, разговаривай, — сказал Степанов и снова оглядел Эрика. Перед ним стоял оборванный загорелый юноша, в черных обмотках и в сапогах, из которых торчали пальцы. Большие глаза, воспаленные и темные, смотрели прямо, почти не мигая.

— Командир батареи, — закричал так громко Степанов, что люди у красных пушек сразу обернулись. — Командир батареи, примите этих двух к себе, вместе с орудием. Оно в полной исправности.

И он поехал рысью вдоль батареи.

К вечеру следующего дня Ростов был взят, а через день Эрик, отставший по болезни от батареи, лежал в палате немецкого госпиталя, и доктор Штраух, добродушный австриец, хлопал его по плечу и говорил по-немецки:

— Ничего страшного, ничего худого. Мы имеем здесь брюшной тиф. И вы перенесли его на ногах. Только и всего. Вам необходимо отлежаться.

Эрик не слушал и не отвечал. Остатки сознания покинули его.

Доктор Штраух не только вылечил Эрика, он подружился с ним. Почти весь состав госпиталя состоял из австрийцев, взятых в плен еще в царскую войну, потом они застряли в Ростове и не сумели вовремя уехать.

Они были рады соотечественнику, расспрашивали его и ухаживали за ним, но Эрик никому не рассказывал до конца свою историю.

Они уговаривали его остаться и работать при госпитале. Но доктор Штраух был другого мнения.

— Эрик, — говорил он, — довольно вам шататься, как беглый школьник. Разве можно юноше ваших лет начинать жизнь с того, что убивать людей, да еще в чужой вам стране. Вы могли совсем одичать. В городе есть комиссия, которая отправляет всех иностранцев на север — в Москву, в Петербург. Я устрою вам проезд к вашим родным. В Австрию ехать сейчас нельзя. Очень плохи сведения из Австрии. Одним словом, приходите ко мне вечером, и мы решим вопрос так или иначе...

Но Эрик не пришел ни в этот вечер, ни в следующий, — никто не знал, что с ним случилось. Доктор, беспокоясь, не знал, с чего начать поиски. Ростов — большой город. В то время он походил одновременно и на лагерь, и на ярмарку, и на котел, в котором варились люди. Как невозможно было найти иголку в колодце — так человека в этом котле.

Кроме того, Эрик находился в таком месте, где доктору Штрауху никогда бы не пришлось в голову искать его.

Эрик зашел в какую-то харчевню и попросил пить. Едва он успел поднести стакан к губам, как харчевню наполнили солдаты. У всех сидевших проверяли документы.

— Я — иностранец! — сказал Эрик.

— Есть и такие, — ответил ему хмурый человек, командовавший отрядом, — возьмите его.

Эрика взяли.

Суд революции в те времена был скор и строг. Судьбу человека, здания, корабля, города революция решала в одну минуту, и если они были осуждены этим судом — здание рушилось, корабль тонул, город загорался с четырех концов, а человек умирал так быстро, что не успевал вспомнить, как его зовут.

Эрика привели на допрос. Он знал, что из комнаты, куда его привели, есть только два выхода: на свободу и туда, откуда никто не возвращается.

Судья революции сидел перед ним, темнея квадратным подбородком и холодными, точно электрическими, глазами. Порой они горели острым огнем. Он был, как сама революция, прост и страшен. Он курил и пропускал дым сквозь сжатые зубы.

— Кто вы такой? — спросил человек.

— Эрик Торрен.

— Неправда, — сказал человек.

— Как неправда? — удивился Эрик.

— Вас зовут Эрик фон Торрен...

— Я никогда не называл себя так. И никто меня так не называл.

— Так, — сказал судья. — Вы иностранец? Сколько лет?

— Австриец. Семнадцать лет.

— Значит, вас силой взяли в белую армию?..

— Нет, я вступил добровольцем.

— Почему?

Эрик рассказал. Ему было нечего терять. Он рассказал, как он должен был погибнуть с голоду в Екатеринославе, как он попал к капитану Рыкачеву, как капитан заставил его служить в батарее, как он служил и как попал в плен...

— Так, — сказал судья второй раз. Он говорил очень мало, но много смотрел. Он смотрел так, точно читал в мозгу Эрика и сличал прочитанное с услышанным.

— Родные есть?

— Есть.

— Кто?

— Тетка в Петербурге и брат...

— И брат... Где брат?

— Брат Карл... в Красной Армии...

— Как? — Человек прищурил глаз, не доверяя. Он так сжал папиросу, что она сломалась.

— Он — коммунист...

— Расскажите все о нем...

Эрик рассказал, точно на экзамене, все, что знал о брате.

Эрик почувствовал себя пустым, как бочка. Он сказал все — больше ему нечего было говорить.

— Так, — сказал человек в третий раз и выплюнул сломанный окурочек изо рта — можете идти. Следующий.

Три дня Эрик не знал, что с ним будет. Потом Эрика привели в канцелярию. Юркий человек, у которого двигались сразу и руки, и ноги, и глаза, сыпал словами в таком изобилии, что Эрик сначала ничего не понял...

— Эрик Торрен — есть, конечно, — вот здесь, да — постановление я вам прочту сейчас, сейчас... Принимая во внимание вашу молодость и то, что вы иностранец, действовавший неосознанно как по молодости лет, так и по незнакомству с революцией, — вы свободны. Может быть, вы хотите службой в Красной Армии искупить свою вину перед народом?..

— Хорошо, — сказал Эрик, — хочу! Даю слово!

Он дал подписку. Какими хорошими, блестящими, шумливыми, свежими казались улицы Ростова, когда Эрик бежал к доктору Штрауху в этот вечер.

III

Когда доктор Штраух волновался, он шагал по комнате большими шагами, заложив руки за спину, и толстый нос его вздрагивал, как слива.

Эрик сидел у стола и следил за решительной речью доктора.

— На волосок от гибели, на волосок от гибели. Сумасшедший. За этим я лечил вас, довольно авантюр, снимите военную форму, сидите дома, никуда не показывайтесь. Я сегодня же через консульство pošлю вашей тете телеграмму. Да, да, да — вы будете учиться, а не воевать и не путаться под ногами у других, когда в стране такая горячка, такая война и никому нет дела до детей...

— Хорош ребенок, — вставил Юрик, — стреляющий из трехдюймовок!..

— Трижды глупо, — воскликнул доктор. — Трижды глупо, будь прокляты трехдюймовки и тот день, когда один негодный человек изобрел эти мясорубки. Довольно. Я сам отвезу вас на вокзал, и вы поедете и сядете за учебники.

Эрик засмеялся...

— Не смейтесь, — закипел доктор, — эта война для вас игра, потому что вы еще молоды. У вас нет ответственности. А завтра люди увидят, когда кончат войну, — что они увидят?..

— Не знаю, — сказал Эрик, — что-нибудь увидят...

— Не что-нибудь, а землю, разрытую и негодную зем-

лю, не родящую хлеба, дома без крыш и людей без ног и рук... Это все придется чинить, все: и поле, и человека, и крыши — все в ремонт. И этот ремонт — дело молодежи. Вы еще вспомните мои слова... А если эта молодежь не будет ничему учиться — все к черту! — Вдруг он ударил себя по лбу и закричал: — Я дурак. Я трижды дурак. Вот кто придет мне на помощь. И берегитесь, юноша!..

Затем он сказал, обращаясь к двери:

— Вас ожидает большая новость — очень большая новость. Подождите меня здесь...

Он исчез за дверью и когда появился снова, Эрик увидел, что доктора сопровождает не кто иной, как дядя Ян. Дядя Ян обнял Эрика с пламенностью юного энтузиаста. Он сильно постарел. Прядь седых волос лежала поперек головы, и худое, птичье лицо потемнело, усы повисли, как растрепанные перья.

Эта тень прежнего дяди Яна извергала, однако, целые фонтаны любезностей и радостных криков:

— Эрик, Эрик, ты стал взрослым. Покажи мускулы — ого! Повернись-ка... Мой спорт пошел впрок. Даже глаза у тебя другие. — Он трижды, четырежды обежал вокруг Эрика, тряся его и рассматривая.

Доктор Штраух вышел.

Дядя Ян сразу стал серьезным.

— Эрик, теперь ты мне расскажешь, как ты жил это время...

Эрик рассказывал долго, ничего не пропуская. Дядя Ян скручивал папиросы, и по временам губы у него дрожали.

— Какая школа, какой урок нам всем! — шептал он.

— Дядя Ян, — вскричал под конец Эрик, — вот все, что было со мной. Но я жажду слышать вашу повесть.

— Моя повесть очень глупа и очень печальна, мой дорогой. Я решил удрать из Петербурга, как испуганный муравей из встревоженного муравейника. Это была круглая ошибка, да, да! Я человек, который всегда весело жил: спорт, астрономия, флейта и маленькие друзья... Этого мало оказалось для жизни, Эрик. Я легковесный человек, и меня судьба швыряла, как мяч, куда ей хотелось. Около Гомеля я встретил хитрого человека, которого звали Ковел. Он обокрал меня и унес мои десять царских золотых, как собака кость с блюда. Но он унес их хитро. Он продал мне велосипед, чтобы я мог уехать в Польшу... Зачем, спросишь ты. Я сам не знал. Разве я когда-нибудь знал,

что я сделаю завтра. Я сел на велосипед и поехал в Польшу. Через три версты я почувствовал, что нарушаю законы природы, ибо переднее колесо покатилося вперед, заднее назад, а я остался посередине, как дурак, Эрик, как мокрый дурак, ибо посередине стояла лужа. Меня били поляки с утра и до зари и кричали, что я большевик. Они не верили, что я не шпион. Они говорили, что ни один порядочный человек не поедет в Польшу на велосипеде открыто, что все порядочные люди ночью ползут по канавам на четвереньках через границу и платят еще деньги за это им — полякам. А знаешь, почему развалился велосипед? Раму спаивали и, когда спаивали, перегрели трубку. Поляки выбросили меня, как пыльный мешок. Мой попугай сдох...

— Как, — изумился Эрик, — и попугай был с вами?..

— На кого же я мог его оставить? Он сопровождал меня, как герой. Я блуждал затем, одинокий и нищий, и немного побирался. Я набрел на какую-то банду и с ней прошел Украину, — но как прошел! Взгляни на меня и заплачь, Эрик. Дядя Ян был акробатом. На старости лет я ходил на голове и жевал горящую паклю. Меня тошнило, но я жевал... И знаешь, Эрик, в конце концов мне вдруг это понравилось. Я увлекся этим. Я дошел до того, что укреплял на носу палку, ставил на другой конец тарелку и так танцевал. Но раз баба кинула мне в тарелку камень. Тарелка упала и разбилась о мой лоб, Эрик. Потом я встретил того мальчугана, Эрик, которого ты приводил ко мне. Его звали, кажется, Вадим. Он сидел на лошади, как большой пан. У него был знаменитый вид, и он кружил шашкой. Я не встал перед ним на голову, но я снял шляпу, дырявую, как крыша, и спросил, как его здоровье. Сначала он показал мне кулак и сказал: «Видал Большую Медведицу?», — но потом он разговаривал со мной добрые полчаса и спрашивал о тебе. Потом он слез с лошади, дал мне яиц, хлеба и сала и провожал до конца села. Из него выйдет настоящий человек. И когда мы вышли на конец села, он сказал: «Дядя Ян — ей-богу, он так сказал при всех: тут были коровы, несколько деревьев и два дома — и он сказал: дядя Ян, покажи-ка бокс».

Я очень ослаб, и у меня седая завитушка среди головы, но я дал ему теплого тумака, а он не покачнулся даже, Эрик. Я просил, я очень слезно просил, чтоб он меня ударил, но он хлопнул меня по плечу, и я присел чуть-чуть. Такой кулак у этого мальчика. Потом мы расстались. Случай привел меня к доктору Штрауху. Возьмем резуль-

таты, Эрик. Я возвращаюсь. Революция переехала через меня, и я остался жив по ее милости. Я возвращаюсь в Петербург. Я привезу поклон твоей тете, Эрик. Может быть, я привезу тебя самого?

Дядя Ян замолчал и стал рассматривать свои пальцы.

— Нет,— сказал Эрик,— я не вернусь. Еще рано возвращаться. Я тоже скоро уйду отсюда.

— Но доктор Штраух...— заикнулся дядя Ян.

— Доктор может говорить все, что ему угодно. Я не противоречу ему — он спас мне жизнь. Моя дорога не кончена! Я вижу все ясно...

Тут он вспомнил Степанова, вспомнил его коня, осклизшего зубы на закат, и его бинокль с черными стеклами, и его лицо, точно вырезанное из красной сосны. Он даже вспомнил его голос: «Ну, разговаривай...»

— Дядя Ян,— очень издали прозвучал голос Эрика,— держать ли слово, данное раз, или можно бросить его, как камень в собаку?..

— Нет,— воскликнул дядя Ян,— гонор, пан Эрик, гонор, слово держать, как ружье в битве, как флейту в оркестре, как собственную голову,— прямо и твердо...

— Ты все сказал, дядя,— ответил Эрик,— ты остаешься у доктора Штрауха?

— Нет, мы выйдем вместе, Эрик...

Дядя Ян собрал свой чемоданчик, потертый, рыжий, неизвестно откуда добытый им, и они вышли на улицу.

Яркий по-весеннему день сверкал на всех стеклах, камнях, дверных ручках, трамваях, колесах, винтовках. Проходившие красноармейцы пели широкую и звонкую песню.

Дядя Ян и Эрик растворились в весенней толпе, затоплявшей улицы.

Доктор Штраух больше никогда не встретил их...

Глава пятая

I

На берегу моря стоял лагерь. Вокруг огней лежали и стояли солдаты. Одни грелись, колотя себя руками, другие боролись и возились. Часть спала, примостившись как можно ближе к огню. В нескольких местах кипела беседа. Димка прислушивался к ней. Он штыком расковырял кон-

сервную банку и глотал холодное сало. Сало прилипало к горлу и пахло жестью.

— Вот тебе и Крым побоку,— слышал Димка.— Все беляки повывелись... Теперь и по домам айда. Конец — делу венец. До края земли дошли.

— Как это конец? — прервал его молодой, острый голос.

— А что — с рыбой в море воевать будешь?..

— Не с рыбой, товарищ, куда убежали белые? За границу — к буржуям. Есть там рабочие и крестьяне, которых жмут и давят,— есть; есть там цари, и бумажные, и стеклянные, и железные,— есть. Значит, нужна и там революция.

— Загнул, братишка. Кишка тонка на весь мир идти! И так без порток ходим...

— Я не согласен,— не унимался споривший.— Конец будет тогда, когда все народы восстанут... А в битве портки, товарищ, нужно у врага в лагере брать. А пока и голым походишь... А то поклонись буржую иди — он тебе шелковые подарит штаны с бубенчиками...

— Молод ты посылать... Плюю я на шелк. Мне домой хочется. Ты по городу камни ганил, а я, друг, горбатился за сохой да с топором до седьмого пота потел. Ты-то придешь к себе, на трамвай сейчас, в ванну влезешь мыться — в городе теперь все твое, а мне сесть негде, домой-то приду, от деревни угольки одни. А ты — мир, народы!

— С тобой не сговориться. Все будет: и деревню твою отстроят.

— Ты книжный, тебе видней...

Разговор прервался.

— Кто это такой,— спросил Димка соседа,— что спорил давеча? Я его раньше будто не видал.

— Молодой-то? — сказал сосед, почесываясь.— Да это немец один из русских, коммунист.

— А не знаешь, как его имя?

— Знаю — Карл Торин... чудное имя...

— Торин,— повторил Димка.

Что-то знакомое, очень даже знакомое. Ну, как же. Воспоминание ударило ему в голову. Да это же брат Эрика. Димка доел сало, бросил банку и поддал ее ногой. Банка укатилась, дребезжа по камням. Димка встал и осторожно между спящих пошел отыскивать Карла. Но, когда он нашел его, Карл спал. У него было такое же узкое лицо,

как у Эрика, но все черты его четче и смелей. Димка постоял над ним и раздумал будить.

«Завтра спрошу об Эрике», — решил он и пошел по тропинке в сторону от лагеря.

Он шел и думал, а прямо перед ним клубилось Черное море. Димка никогда в жизни не видал моря. Оно казалось ему страшным уже потому, что ему не было конца. И потом оно дышало, как живое. Если бы просто вода, ну как на тарелке, в ведре, в озере наконец, — спокойная и ровная. А тут откуда-то издали шли, бежали, летели, шумя и сталкиваясь, целые стены, ударялись о берег, трясли его, и снова уходили, и снова возвращались. У них были свои привычки, свои игры, свои битвы. И они плевали на Димку и на все на свете.

Димка вспоминал прошлое, и оно само в эту ночь бежало к нему, подобно волнам, стремящимся к берегу. Точно ночь вызывала и приводила в память Димке его друзей и врагов.

Он увидел инспектора Соколова, с прямыми волосами, падавшими на плечи, лицо освещалось лампой, он впился в карту горящими глазами, и руки его сжимали гранату, он увидел дядю Яна — вертлявого, прыгающего, веселого, непонятного, потом встал Степанов, суровый и холодный. Он проехал в воспоминании на большом сером коне номер десять, за ним шел Эрик — мальчик со вспотевшими от драки щеками и открытым взглядом, последним проковылял Козел, нагнувшись к земле, точно он что-нибудь обнимал или хотел лечь плашмя... Положим, он был не последним — последней пришла Димкина мать и привела за руку сестренку...

Тут Димка проснулся. Он сам не помнил, как это вышло, но вышло глупо... Он зашел далеко от лагеря, задумался, сел и уснул. Ему стало холодно. Он поднял воротник своего черного бушлата. Море совсем близко переливалось зеленой бездной. Луна то пряталась, то показывалась снова. Шум от воды непрерывно влетал в уши.

Вокруг вверх и вниз громоздились камни, и кусты чернели, как западня. Не успел Димка отыскать тропу наверх, как среди камней появились две темные фигуры. Увидав Димку, они присели и спрятались.

«Что за черт, — подумал он, — бандиты, что ли?..»

Между тем люди приближались ползком. Димка был безоружен. Винтовка его осталась в лагере. Он побежал по

камням вниз. Люди догоняли его, так как знали местность лучше Димки. Один из них закричал:

— Это он, бей его! — И камень прорезал воздух рядом с Димкиным плечом.

Оглядываться не приходилось, Димка скакал с отчаянием вниз, не отдавая себе отчета, куда бежит. Погоня продолжалась. Димка с трудом пробрался сквозь какой-то кустарник, попробовал спрятаться за выступ, соскользнул — загремел камнями, прыгнул в сторону к самой воде и увидел лодку... Лодка притаилась у скалы. Он видел отчетливо корму. Она была пуста. У него мелькнуло в голове:

«Утеку, подъеду к лагерю с другой стороны...»

Он добежал до лодки и вскочил. В ту же минуту лодка скакнула вперед и понеслась. Димка, остолбенелый, смотрел перед собой. В лодке лежал, притаившись, человек, который при виде Димки молниеносно вскочил, схватил весла и сейчас же отогнал лодку от берега.

Крик преследователей затерялся сзади. Димка, согнувшись, прирос к корме. Темнота мешала разглядеть человека на веслах как следует. Димка только установил, что он низкого роста, горбится, но руки его двигают веслами со странной, как показалось Димке, нечеловеческой быстротой. Но Димка никогда не видал хороших гребцов. При всем том человек этот молчал как убитый...

Лодка плыла уже в море. Волны подбегали к ней и подымали так высоко, что Димка не мог посмотреть вниз. Порой ему казалось, что он еще спит, порой — что он уже на том свете. Темнота стала непроницаемой. Одни волны шумели по сторонам. Совершенно неожиданно прямо над лодкой выросло что-то большое и черное, черней темноты. Лодка ударилась об эту черноту боком и залясала на месте. Вверху сверкнул свет, и Димка увидал высоко над собой руку с фонарем. Фонарь осветил бок темноты, о которую стукнулась лодка.

— Корабль, — прошептал Димка, чувствуя, как страх пробежал по его телу. Он боялся воды, потому что никогда не плавал на корабле.

— Привез? — спросил сверху голос.

Человек на веслах еще более скрючился и ответил на непонятном языке. Сверху сползла веревочная лестница. Фонарь закачался наверху, точно рука у человека, державшего его, задрожала.

Человек в лодке придержал конец, чтобы дать Димке возможность ухватиться.

— Пожалуйте, господин,— нараспев сказал он.

Димка погиб: его принимали за какого-то господина. Ничего не поделаешь... Приходилось лезть. Едва нога его ступила на веревочную лестницу, как Димка, сам не зная почему, ощутил свою прежнюю дерзость.

Перевалив через борт, он ступил на палубу. В отдалении стоял какой-то толстяк и, без всякого намерения приблизиться, держал полузакрытый фонарь. Толстяк сказал тихим и жалобным голосом:

— Не сердись, Георгий, не сердись, пожалуйста...

Димка не отвечал. Он засунул нос за воротник и сунул руки в карман. Толстяк сейчас же забежал вперед и жестом пригласил за собой. Шагая через какие-то канаты, ящики и крюки, Димка спустился в каюту. Толстяк боялся оглянуться на него. Он поставил вдруг фонарь на стол и исчез, точно его сдуло ветром. Димка оглядел каюту. Стол был уставлен едой: хлеб, какая-то каша в горшке, яблоки, варенье; в углу висели халаты и плащи. Койка была накрыта красным одеялом.

«Что же,— подумал Димка,— похрюпаем напоследок. Э, да здесь и нож. В случае чего — сойдет за оружие...»

Он оглянулся на дверь. Все тихо. Корабль качался на легкой волне. Димка сел за стол и приступил к насыщению.

II

Между тем толстяк, тяжело отдуваясь и вытирая пот, вышел на палубу. Его уже ждал человек из лодки.

— Киракоз,— сказал толстяк,— ну, как он ехал? Он говорил что-нибудь тебе?..

— Ничего он не говорил. Молчал он...

— Ай, это плохо, Киракоз, он и со мной молчал. Он сердится...

— Пусть сердится.

— Как пусть? Если он сердится, значит, мы ему не нравимся, если мы ему не нравимся — он может и тебя и меня побросать в воду... Где Магдалица?

— Магдалица спит, что делать прикажешь?

К ним подошел, протирая глаза, косолапый матрос.

— Мамуна, Петрос мне передал, что будто к нам идет лодка...

— Петрос оглох как котел. Лодка уже пришла. Георгий приехал, Енуля...

— Где он?

— Он сидит в каюте и молчит. Может, он ужинает сейчас. Я не знаю, как к нему подступить...

— Он — твой брат, Мамуна?

— От одной матери, от одного отца. Он мой младший брат. Мы с ним ссорились два года. И сегодня он просил выручить его из беды. Ему грозили на берегу. Я пришел и послал с лодкой Киракоза. А Киракоз — дурачок, божий человек — говорит, что Георгий молчал всю дорогу. Ты, верно, его плохо вез, Киракоз?..

— Я хорошо вез — вода теплая...

— Вода теплая. Так ты его облил, глупая мамалыга, водой. Он боится воды как огня...

— Я его не обливал, — сказал Киракоз, ковыряя в носу.

— Он, верно, хочет согреться. Дать ему вина...

От мачты через все судно чей-то голос закричал:

— Капитан, лодка к нам...

— Это орет Петрос. Тише, Петрос, море разбудишь...
Какая лодка?

Все прислушались.

— Правда его, — заметил Енуля, — лодка сейчас стукнется...

— Кто же это? — недоумевающе протянул Мамуна.

— Надо светить...

Енуля поднял фонарь и в сопровождении Мамуны пошел через ящики и канаты.

Внизу прыгала лодка.

Из лодки на свет вознесся громовой голос:

— Мамуна, ты утопить меня хочешь? А, Мамуна?

Мамуна съежился и затрясся.

— Ой! ой! — брат мой зовет меня...

— Как брат, — закричал Енуля, — это обман. Брат уже здесь...

— Ты не брат, — закричал Мамуна, — Георгий сидит и ужинает...

— Дай мне забраться к тебе, я покажу, кто я, тухлая капуста! Всю ночь, что ли, я буду плавать вокруг твоей посудыны, вонючая селезенка. Слышишь ты — дыра моего кармана!..

— Нет, это он — никто так не ругается, как он, — в испуге сказал Мамуна, — дай ему лестницу, но сам не уходи.

Енуля сбросил лестницу. Человек снизу оттолкнул лодку и полез. Пустая лодка исчезла в темноте.

Когда его голова выросла над бортом, Енуля осветил его фонарем. Разъяренный человек плюнул на фонарь и, отряхиваясь, прыгнул на палубу.

— Где Мамуна? Где мой любезный братец? — заорал он.

— Тише, господин, — разбудишь Магдалицу, — сказал Киракоз.

— А ты что за ящерица? Я тебя между пальцев раздавлю. Где Мамуна? Я сейчас разобью фонарь...

— Темно будет, — равнодушно заметил Енуля, — у нас фонарей не много.

— Где Мамуна? — ревел Георгий, направляясь в глубь палубы.

Он споткнулся и упал. Поднявшись, он остановился и потер коленку. Он был похож на кабана, вставшего на дыбы.

— Братец, — сказал Мамуна, выглядывая осторожно из-за ящиков, — перекрестись и обними меня. Не будем ссориться...

— Я трижды тебя перекрещу, — заорал Георгий, — да покажись ты, ради милости...

Мамуна вышел на свет.

— Старый дурак, — сказал Георгий, — с того бы и начал. Так ли встречают брата?

Мамуна трясся, как обрывок веревки на ветру.

— Что с тобой, братец, не схватил ли ты лихорадку?

— Не могу, — сказал Мамуна, — не могу, ведь ты же приехал...

— Приехал, как видишь, — ну и что, ну и приехал. А ты пьян — нет, заснул, что ли, не вовремя?

Мамуна не мог говорить. Зубы его стучали.

— Правда его, — сказал Енуля, — ты-то уже приехал...

— Как? И ты туда же, — снова повысил голос Георгий, — да говорите толком. Я пить хочу, есть хочу, буди Магдалицу.

Киракоз почесал затылок и засмеялся...

— Так я, значит, черта вез... черта вез... Он все молчал и в море смотрел, колдовал...

— Правда его, — еще раз сказал Енуля, — он черта привез. Ведь за тобой, Георгий, лодку посылали. Киракоз ездил. У него в голове сноп подгнил. Он и привез черта. А Мамуна его в темноте в каюту свел. Он там и сидит. А чего же ты к лодке не вышел?..

— Я не вышел? Меня окружили так, что податься не-

куда. Вдруг кто-то всех их спутал и увел за собой. Я переполз через скалу, а там у меня осталась лодка. Татарье с носом осталось. Так и выбрался. Идем смотреть черта...

Киракоз отодвинулся. Енуля вздохнул. Мамуна не двигался с места.

— Так я и один пойду! Где это? — сказал Георгий, разминая ноги. Тут в свет фонаря вступила высокая темная фигура, так тихо появившаяся, что Киракоз закричал.

Енуля чуть не выронил фонарь. Мамуна пошатнулся.

Фонарь осветил фигуру, и Мамуна вздохнул с облегчением.

— Мы тебя разбудили своим шумом, Магдалица...

— Что случилось? — спросила женщина. — Я думала, что мы тонем. Так вы топали по палубе...

— Георгий приехал, — сказал Мамуна неуверенно...

Георгий выступил вперед, сразу присмирив.

— Здравствуй, Магдалица, — эти дурни держат меня мокрого и не пускают согреться. Распорядись поесть что-нибудь!

— Сейчас, — ответила Магдалица. — Мамуна, води Георгия в каюту.

— Туда нельзя, — закричал Киракоз, — там черт ужинает...

— Киракоз, — ответила мягко женщина, — я знаю, что у тебя за голова. Тебя бог ушиб — ты молчи лучше...

— Магдалица, каюта занята, — робко начал Мамуна, — ты знаешь, что я храбр до всего, но чертей, особенно в море, не люблю. А там черт по всем признакам. Мне глаза отнял, вид Георгия принял... и сел в каюте...

— Помилуй, муж мой, — сказала Магдалица, идя к каюте. — Я там только что была. Каюта пуста...

Все обменялись взглядами.

— Дайте фонарь!

Георгий очутился впереди всех на лестнице и, спустившись, распахнул дверь.

Все столпились за ним. Каюта была пуста.

Мамуна перекрестился, но в ту же секунду рука вспрыгнула на воздух.

— Стол, — сказал он шепотом, — стол...

Все взглянули на стол. Объятки хлеба и яблок валялись по столу. Горшок с кашей опустел, банка с вареньем точно высохла.

— Черт хорошо поужинал! — сказал Енуля, подталкивая Киракоза.

III

На столпившихся людей напало смятение. Выручил всех Георгий.

— Не верю,— сказал он, входя в каюту и садясь на койку,— я знаю, в чем тут дело... Идите, дураки, на палубу и ищите его. Он, наверное, спрятался там. А ты, Магдалица, умная женщина, дай мне поесть и попить.

Магдалица открыла шкафчик в стене и вынула оттуда бутылку вина и хлеб.

Енуля и Киракоз пошли на палубу, громко зовя Петроса. Мамуна стоял, разводя руками.

— погоди, брат, погоди, Георгий,— попросил он.— Магдалица, не наливай вина. Я поговорю с ним...

— С кем? — рявкнул Георгий.

— Дух ты или кто,— сказал, дрожа, Мамуна, обводя каюту глазами,— если ты дашь знак, что будешь слушать меня...

Не успел он окончить этих слов, как дверь каюты раскрылась и закрылась с шумом.

Георгий подавился хлебом. Магдалица выронила стакан. Мамуна отскочил от двери, крича:

— Прошу тебя, прошу тебя...

Дверь раскрылась вторично. На пороге стоял парень в черном бушлате с ножом в руке, одновременно дерзкий и смешной.

— Что дурака валять,— сказал он,— поговорим по-хорошему. Никакой я не черт, а зовут меня Димка. Не трепыхайтесь, товарищи. А хотите драться, вот нож...

Георгий захохотал.

— Положи нож,— сказал он с хохотом,— мы будем говорить с тобой. Я все угадал. Зачем в чужие лодки прыгаешь?

— Зачем? И ты бы прыгнул!

К Мамуне вернулось его хладнокровие. Он ощупывал Димкину спину, не веря еще, что это человек.

Магдалица с любопытством рассматривала Димку. Димка рассказал, что с ним случилось.

— Он спас меня,— закричал Георгий, поднимаясь с койки.— Магдалица, Мамуна, поглядите на него — они его приняли за меня. Они ослепли.

Тут Магдалица, и Георгий, и Мамуна заговорили быстро-быстро на непонятном для Димки языке.

Георгий убеждал их в чем-то и с таким огнем, что Мамуна согласился.

— Господа товарищи,— вмешался Димка,— гоните-ка еще раз лодку. Раз завезли, так и назад нужно...

Георгий усмехнулся.

— Погости немного.

— Не хочу гостить. Кто вы такие?

— Мы моряки,— сказала Магдалица,— плаваем куда придется. Море знает про то...

— И я знать хочу,— настаивал Димка,— нечего скрывать тут...

— И ты хочешь знать,— усмехнулся Георгий,— так узнаешь. Сыт — сожрал мой ужин?

— За столом сидеть — да на стол глядеть.

— Спать хочешь?

— Не хочу.

— Не хочешь — садись пить...

Мамуна вышел из каюты, чтобы рассказать все матросам.

Димка почти не спал последние две ночи. От усталости он с охотой начал пить сладковатое вино.

— Ты пей и ешь. Это за «спасибо», что спас меня,— говорил Георгий.— Успнешь, а завтра мы тебя на берег доставим. Сейчас нельзя. Море волнуется, да и убить тебя по дороге могут. А утро наше...

Димка хмелел быстро.

— А это что за баба? — вдруг спросил он пьяным голосом.

— Это тебе не баба, а Магдалица! — заревел Георгий.— Если ты ее ругать будешь, я тебя узлом свяжу и в море брошу...

Димка больше ничего не говорил. Он пил и хмелел все больше. Какие-то паутины заплетали все перед его глазами. Он сам не помнил, как уснул.

Проснулся он от легкого ветерка, трепавшего его волосы. Он лежал на палубе, на спине,— и над ним был опрокинут громадный купол синего неба. Он чихнул.

— Проснулся? — загремел над ним голос Георгия.— Вставай, пора ехать...

Димка вскочил. Он закричал от удивления. Вокруг парусника не было и признаков земли. Одно неописуемое синее море колыхалось до краев неба. Там, где кончалась вода,— начиналось небо. Ветер шумел в парусах.

— Обманули, проклятые! — закричал он.

Георгий расхохотался так, что обнажились все его зубы.

Парусник назывался «Магдалица». Костистый нос его перерезал волну, как глину; тяжелая, липкая вода вспухала по краям пеной и шумела. Мачты парусника, точно пик, не хотели гнуться. Маленький кораблик шел к юго-востоку. На руле стоял сам Мамуна.

К закату второго дня Димка уже знал всех людей на паруснике.

Судно принадлежало Мамуне. Мамуна, толстый и неповоротливый, как отъевшийся рак, был очень искусный мореход. В рыжем пиджаке, с малиново-желтым лицом, он властвовал на своем корабле безраздельно и гонял его куда хотел.

Магдалица была его женой. Весь день она проводила на палубе. Она же готовила обед для экипажа, хотя большей частью питались они не горячей пищей.

У Магдалицы матово-коричневые щеки светились здоровьем, рукава она закатывала до локтя и часами стояла у борта, не двигаясь. Димка не мог бы понять ее дум, потому что думала она по-гречески.

Георгий спал почти весь день. Он плохо переносил качку. Его часто рвало, и иногда он ругался, как греческий разбойник. Он только и умел хорошо ругаться по-гречески. Поэтому он всегда говорил по-русски, за исключением ссор или очень важных переговоров. Зачем он ехал и куда? Димка не знал, как не знал, чем занимается Георгий.

Оружия на судне не было — значит, они не разбойничали, никаких тюков с товарами тоже не замечалось — значит, они не торговали, никакого особого груза судно не имело — оно не занималось перевозкой. Значит, Мамуна странствовал для своего удовольствия. Но парусник был слишком мал и слишком грязен для праздничных прогулок и сохранял деловой, серый вид.

Димка пробовал заговаривать с матросами. Енуля презирал его и сторонился, сплевывал мимо и ничего не отвечал. Киракоз, подросток, был идиотом, очень работающим и сильным, он кричал иногда Димке: «Из моря вышел, черт, — из моря вышел», — и показывал кулак.

Третий, матрос Петрос, сам сказал:

— Какой я Петрос? Я Петр Степанович Гнездо, из Таганки. Жить-то как-нибудь надо. Да если еще короста на спине. Море всюду одно — хозяева разные...

— Давно ты служишь у Мамуны? — любопытствовал Димка.

— Без году неделя, да разве это служба? Мотанье одно...

— А куда мотаетесь?

— Куда бес поведет — я разве знаю. Далеко — да не близко. Вот и весь ответ. А ты что за рыба?

— Я рыба редкая, — сказал Димка.

Петрос вдруг рассердился.

— Такой рыбы мир не видал. Тьфу, уходи от меня, шваль соленая!

Димку заставляли работать мало. Зато он с какой-то самому непонятной радостью наблюдал море. У него было чувство, что он то едет по небу, то по морю — такие синие были небо и вода. Ветер обдавал его солеными брызгами, и все было ново до смеха.

Багровое солнце, как водолаз, лезло в воду в стеклянном надутым шаре. Золотые ряби покрывали целые морские страны. В воде играли дельфины, фыркали и пускали водяные столбы, забавляясь. Дельфины выскакивали из волн, чтобы захватить воздуху побольше, и их тела, похожие на громадные черные колеса, катались по воде.

Чайки пронеслись над парусником, ныряя с размаху в синюю пропасть. Студенистые комья медуз колыхались на воде. Над ними скользили морские лисицы, какие-то рыбы выпрыгивали из воды, чтобы посмотреть на парусник. Порой проплывало под водой что-то зеленое или черное, и нельзя было понять — зверь это, растение или просто тень.

Раз утром из моря выкурилась темная стенка утесов, потом на утесах зазеленели толпы кустов и деревьев, и парусник побежал к берегу.

Мамуна стал суетлив. Он то и дело глядел в подозрную трубу и наконец сказал: «Уфф», — и закурил трубку.

Димка с удивлением видел, как скалы росли из моря перед его глазами: вот с одной взлетел большой орел и пошел в воздухе, как аэроплан, раскинув крылья, вот на другой скале выпрыгнула крепость, домики и снова исчезли.

К полудню прошли мимо селения. На берегу, на широком желтом берегу, покрытом крупной обточенной галькой, лежало много маленьких корабликов.

— Фелюги — смотри, — сказал Георгий, — у вас таких нет. Они из каштанового дерева, не как-нибудь...

— А что рядом с ними за кучи? — спросил Димка.

— Кукуруза сушится...

На берегу рыбаки разбирали снасти. Красные фески их бросались в глаза.

— Турки это? — удивился Димка.

— Там узнаешь, — уклончиво ответил Георгий, — готовься, Дим, скоро дело будет!..

— Я на смертоубийство не пойду, — решительно сказал Димка.

— Дурак, — пожал плечами Георгий.

— И воровать не буду, — продолжал Димка.

— Хвосты собакам будем резать, вот что, — усмехнулся Георгий и отошел.

День становился все пасмурней, солнце едва светило из-за туч. Они ползли, как небесные дельфины и, ныряя, закрывали солнце.

До вечера парусник шлепался вдоль зловещих бухт, то подкрадываясь к черным утесам, то ловко отбегая от них в открытое море. Вдруг Мамуна подозвал Георгия, и они стали говорить по-гречески. Все на судне присмирели. Никто не произносил ни слова, и только братья тихо и быстро совещались.

Спустили лодку. В лодку соскочили Георгий и Енуля. Георгий положил весла и сказал тихо:

— Прыгай!

Димка с минуту сомневался. Потом схватился за веревочную лестницу и спрыгнул.

Лодка, зачерпывая воду то одним бортом, то другим, загуляла по волне. Георгий направил ее в какую-то каменную дыру... За дырой открылся тихий, похожий на озеро, канал с разными растениями и уступами. Вдруг Георгий положил весла и сказал тихо:

— Дим, если ты со мной не идешь, прыгай в воду. Сейчас прыгай в воду!

Димка посмотрел. Вода была масляная, темная, как старый суп.

— Я не прыгну — дурак я прыгать, — сказал Димка.

— Тогда идем.

Тут Димка заметил, что за кушаком Георгия заткнут паган.

«Ишь, казенный подтибрил», — подумал Димка.

— А я почему впустую, Георгий, — не по-товарищески...

Георгий поймал его взгляд и нахмурился.

— Тебе не надо...

«Вот так раз», — подумал Димка и замолчал.

Скала повисла над ними, точно хотела сейчас упасть...

Лодка ударилась о камень и остановилась.

Георгий выскочил. Енуля принял весла.

Димка вылез, отряхаясь.

— Так на пальбу, — сказал Георгий.

— На пальбу, — повторил Енуля и стал гнать лодку обратно.

Димка взглянул вперед.

Впереди были заросли, камни, и громадные деревья свешивали свои одежды со скал. Ни одной тропы не было видно. Тишина и сырость наполняли воздух.

V

Места, по которым они шли, были завоеваны камнями и лесом. Кто из них пришел раньше, трудно было сказать. Рядом с деревом торчал утес, сквозь трещины утеса пробились кусты. Местами все захватывала молодая ольха, и ее окружал папоротник. Из папоротника торчали стебли без листьев с кистями черных неведомых ягод. Зеленая лиана перебрасывалась местами с дерева на дерево.

Они шли и рвали паутину, раздвигали кусты и давили камни. Потом лес победил. Едва они выбрались на кривую тропинку, как пошел дождь. Буки и каштаны, переполнявшие лес, зашатались и зашептались угрожающе. Камни вбегали в лес и сейчас же останавливались и громоздились кучами.

Красновато-бурая земля была устлана сплошь упавшими листьями. В иных местах среди упавших листьев лежали горсти каштанов.

Невидимые потоки глухо ворчали в глубине леса.

Летали синички, и чирикали желто-красные птицы.

Георгий остановился у высоких красных скал за лесом. Кругом все перемешалось. Деревья влезли на камни, дикая зелень влезла на деревья и оплела все вокруг.

— Зиндан, — сказал Георгий. — Дим, пройди этой стеной. Там будет большой камень. Посмотри, что на нем...

Димка хотел ползти на животе, но побоялся змей, хотел на четвереньках — не пролезть. Кусты не пускают. Тогда он пошел прямо во весь рост.

Георгий ждал его, положив руку на наган. Димка вернулся. Недаром он был разведчиком на войне.

— Плевое дело,— сказал он,— сейчас их угоним. Там только двое...

Тогда Георгий отогнул особенным образом рот и свистнул, скорее крякнул со свистом.

Почти тотчас ответное кряканье взлетело над деревьями. Из чащи выглянул человек и сейчас же скрылся. Потом он появился уж с другой стороны, ведя за собой другого.

Димка, взглядевшись в них, засмеялся. Никогда в жизни он не видел так смешно одетых людей.

Один носил рубашку с длинным отложным воротником, поверх которой лежал бешмет, подпоясанный ремнем с металлическими бляхами; бешмет был рваный и затасканный. На голове человека была маленькая зеленая ермолка с кисточкой, а из-под бешмета торчали широкие рваные шаровары. Он походил на куклу еще и тем, что у него была ярко-красная борода. Серьги спускались до плеч из его ушей. Он бережно нес большой сверток, завернутый в шаль. Человек был громадного роста и широк в плечах, как шкаф.

Его почти крошечный спутник, одетый в английский френч, весь заплатаанный синими, красными и зелеными треугольниками и полосами, так вытягивал свой тонкий длинный нос вперед, точно непрерывно нюхал воздух. Почти черные пальцы его, худые и узловатые, как виноградная ветка, взлетали в воздух и вели какой-то немой разговор друг с другом. Глаза у него были разные: один голубой, другой красный, как у кролика.

— Зиндан! — сказал карлик, и пальцы его запрыгали. — Сейчас же.

Георгий поклонился и приложил руку ко лбу, к глазам, к губам и к сердцу. То же сделал и великан.

Потом молча они все пошли к лодке через каменный лес и лесной камень.

Вдруг из свертка, который нес великан, раздался писк. Димка никак не мог ничего увидеть. Они очень торопились. Вокруг шумела сплошная неприветливость. Каштаны обливали их водой с верхушек, кусты рвали руки и цеплялись за бока, камни наступали на ноги. Димка уверял впоследствии, что он видел и обезьян, сидевших на деревьях. Но он преувеличивал. Обезьян там не было.

Писк повторился, сопровождаемый вздохами. Димка подпрыгнул, но через плечо великана ничего не увидел.

Темнело. Дождь начался снова. В стороне моря ходили тяжелые, душные скопища туч.

Димка взял за рукав Георгия.

Но Георгий, обернувшись, оскалил зубы и ничего не сказал. Карлик, дойдя до камня на канале, сел и стал тереть себе ноги. Пот ручьем катился с него.

Георгий вынул наган из-за пояса, обтер его концом куртки, почему-то заглянул в дуло и, подняв руку вверх, выстрелил.

Тогда сверток на руках у незнакомца разразился диким плачем. Человек, державший сверток, закричал что-то непонятное Георгию, но Георгий поклонился и сказал:

— Так нужно, — после чего карлик стал объясняться с великаном, и его пальцы то загибались, то разгибались, летая вверх и вниз. Тогда великан заботливо закутал сверток, тоже сел и прислонился к скале.

Енуля появился так неожиданно и бесшумно, точно он выплыл из-под воды. Георгий придержал лодку. Тогда сверток раскрылся сам собой и из него в лодку прыгнула маленькая девочка, в таком же бешмете, как и отец. Только ее бешмет был весь обшит галунами, потрескавшимися и обносившимися. Смешные концы рукавов закруглялись, как кувшинчики.

Дальше рассматривать девочку Димке не пришлось.

Георгий толкнул его в лодку, за ним прыгнул карлик.

Парусник ждал их на своем месте, такой же маленький, крепкий и загадочный.

Весь этот вечер Димка не мог найти себе покоя. Тайна судна окружала его и не давала дышать свободно. Сначала он спрашивал Енулю. Енуля хитро засмеялся. Петрос почему-то сердился. Киракоз говорил, как ребенок, бессмысленные слова; Магдалица была занята девочкой, братья уединились с незнакомцами в каюте.

Димка подкрался к каюте. Ни одного слова из разговора понять было нельзя. Это был язык, верещающий, певший и подпрыгивавший все время.

Все пили вино и хлопали по рукам, ладонь в ладонь. Потом великан в ермолке вынул из-под бешмета кожаный мешочек, развязал его старательно и, не торопясь, стал сыпать монеты в руку Мамуны. Георгий следил и при каждой новой упавшей монете говорил «хык», и глаза его сверкали. Карлик сосал вино и тихо смеялся. Все были так увлечены разговором, что не замечали Димки.

Но тут сверху слышались шаги Магдалицы, и Димка выбрался на палубу. Он сел на старом ящике на корме.

Зачем он попал на это проклятое судно, — тут он обругал себя. Что они будут с ним делать? Они не заставляют его работать, он подметает палубу, чистит картошку, перетаскивает что-нибудь, что надо, помогает в работе, — но мало, и то от скуки. Зачем он им нужен? Почему они возят его по всему теперь ненавистному ему морю? Отсюда никуда не уйти. Берегов не видно. Тучи песлись за парусником, вода свирепела, и парусник качало.

Вдруг за спиной Димки какой-то слабый и очень нежный голос запел.

Песенка была непонятная, такая легкая, такая прозрачная, что Димка, как очарованный, пошел искать певицу.

Пела странная девочка в бешмете с галунами. Она сидела на коврике, закутанная в шаль, и только голова ее с черными пучками жестких волос качалась в такт песенки.

Слова песенки походили на самый легкий плеск самой легкой волны и были так же непонятны, как этот вечер, спадающий в тумане, цепи скал, тучи, заблудившиеся вместе с парусником, и хризолитового цвета вода, носившая парусник.

Девочка пела, и Димка запомнил слова:

Дидеси килер иол быге
Галалай, Галалай.
Кисеси доли хоз быге
Галалай, Галалай...

Димка сел на палубу, охватил колени руками и слушал. В песенке было что-то далекое и очень-очень знакомое. Димка не знал, что это — колыбельная песенка.

Глава шестая

I

Море сделало Димку своим пленником. Неделя за неделей уходили, а Димка все кружился по воде. Ему казалось временами, что он всегда жил на этом море, что никакого детства в большом каменном городе у него не было, и не было приключений в лесах и степях, что революция

никак не может достать этих людей, уединившихся в волнах. Один ветер имел право приказывать им.

Даже во сне море приходило к его ногам или осыпало брызгами голову. Порой его охватывала сильная тоска по земле. Ему хотелось броситься в эти голубые волны и плыть без отдыха, чтоб только добраться до родной стороны. Но берега, к которым приставал кораблик, были чужими, и оставаться на них не было никакого желания. Димка таил упорную мысль о том, что он вернется, что это плавание по синему морю скоро кончится. При первой возможности он сбежит, и больше его уже обманом ни на какой парусник не заманят.

Он вспоминал свой боевой путь, которым он по-мальчишески гордился, но с окружавшими его людьми говорить об этом было бессмысленно. Что бы только он отдал сейчас, чтобы увидеть своих братишек-красноармейцев, которые, наверное, до сих пор понять не могут, куда он пропал. Вот порасскажет он, когда вернется. А вернуться надо обязательно, скучно с этими странными людьми, которые живут, не понять чем занимаюсь.

До сих пор Димка не разгадал тайны кораблика. Они свезли на берег двух людей с девочкой, и ее сморщенные, желтые галуны, и их потрепанные одежды исчезли в лесу, почти таком же, откуда их взяли. Куда ушли эти люди, почему они заплатили так щедро Мамуне,— ответа не было.

Еще несколько раз брали они на борт людей и перевозили в другие места, и всякий раз получал Мамуна деньги, а Магдалица — подарки. Торговал, что ли, этими людьми Мамуна? Но они свободно садились и свободно уходили. И с ними нельзя было говорить, потому что они не знали ни одного русского слова. Или они притворялись?

А Мамуна говорил с ними много и порой горячо. Димка теперь тоже почти верил в то, что Мамуна заговаривает волны. Так везло этому похожему на рака, неповоротливому моряку.

Мамуна знал берега, как свои карманы. Он мог так же легко вывернуть наизнанку все их мели и бухты, как складки своего кошелька.

Они проезжали берега, на которых качались пальмы, берега, усеянные богатыми домами, берега пустые, как опрокинутая бочка, отмели с золотыми песками и скалы, одинокие, как часовые.

Однажды они въехали в огромный залив, на концы

которого выбегали два мыса: песчаный весь порос кустарником, другой одевал густой лес. Вода в бухте сверкала. На берегу раскинулся белый городок. Но он пропал, как сон, потому что Мамуна поторопился увести свой корабль опять в море.

Парусник крался вдоль берега. Димка увидел, как над желтыми отмелями, зелеными и бурыми холмами встало что-то страшно далекое, сверкающее, изменяющееся каждую минуту. Эта страшная играющая синева и белизна упиралась в небо.

Он схватил за руку Енулю.

— Что это такое?

Радуги искрились на белой крутизне над холмами. Это были шапки, такие, как у снежных дедов, которых лепят зимой, но эти снегуры держали на голове небо.

— Что такое это?

— Горы, — ответил Енуля, — горы, Кавказ.

Весь день не мог отвести от них глаз Димка. Они вошли ему в глаза так целиком, что он, даже закрыв глаза, видел их перед собой. Вечером они стали матово-белыми, молочными, потом лиловыми, потом голубыми, потом кто-то сразу уничтожил их...

Через день Георгий уехал с судна. Димка греб на лодке. Георгий был закутан в дождевик и непрерывно плевался. Когда они подъезжали к берегу, Димка увидел целые толпы птиц, птицы охотились за рыбой. То одна, то другая ныряли в воду и поднимались с трепещущей серебряной рыбой в клюве. Вода сбегала на их шейки, и перья горели, как окунутые в белое пламя. Рыбу они глотали на лету, хлопая крыльями.

Когда лодка завязла в песке, Георгий помог ее вытащить и вдруг сказал:

— Проводи меня.

Димка положил весла и пошел.

Они перешли песчаные холмы, за ними лежало болото. Виднелись кусты ежевики, и красная брусника отражалась в воде.

— Вот так раз, — растерянно сказал Димка, — этого и у нас много, в Питере...

— Дим, — начал вдруг Георгий, — я поссорился с Мамуной...

Димка осмотрел Георгия и увидел, что он пьян. Он еле держался на ногах и размахивал подобранной с земли палкой.

— Дим, скажи ему, как вернешься, что я не украл ничего, я взял свое...

— Ты спер у него что-нибудь?

— Я взял свое,— заорал Георгий,— пусть он заткнет себе горло криком, потный петух, но я разделил поровну. А теперь уходи.

И он замахнулся палкой. Димка отбежал несколько шагов и остановился.

— Георгий, ты же сдохнешь тут, в болоте.

— Ты подсматривать еще будешь? — закричал Георгий, бросая в Димку камнем.— Пропадите вы все с вашей старой посудой.

И он зашлепал прямо по болоту в глубь берега.

Димка вернулся на парусник. Мамуна валко ходил на палубе, и его уговаривала Магдалица.

— Он не брат мне! — вопил Мамуна.— Он — вор, вор он, я не хочу слушать о нем...

— Но он погибнет там, на берегу,— говорила Магдалица,— там болото всюду. До людей далеко. Неужели тебе не жалко...

Мамуна подпрыгивал и тряс головой.

— Не жалко, не жалко. Пусть шакал грызет его шкуру. Где видано, чтобы брат крал у брата.

И он грозил кулаком на берег.

Потом он ушел в свою каюту и стал пить. Шатаясь, со слезами на глазах, он выбежал на палубу снова и позвал Киракоза.

— Киракоз! Мальчик, душа моя! Постреляй немного, чтобы тот дурак, который зовется моим братом, услышал. Разве я могу слушать, как он кричит...

— Да он не кричит вовсе,— сказал Киракоз,— это чайки кричат. А он спит, наверное.

— Ты не слышишь, Киракоз,— говорил Мамуна,— ты глупый, ты безумный, Киракоз. Енуля, пусти ракету, чтобы душа моего брата не мучилась...

Енуля крикнул Магдалицу.

— Петрос-постойт на руле. Надо хозяина в каюту. Он не в себе.

— Оставь меня! — закричал Мамуна, он рвал на себе волосы и тянулся к лодке.— Ты права, Магдалица. Зачем нам эти деньги? Разве я знаю, что прилипло к ним. Плюю я на них. Топчу я их — они темные...

— Я тебе вычищу их,— сказал Киракоз,— песком вычищу. Они станут как новые.

Мамуна махнул рукой и хотел прыгнуть за борт.

Енуля, Киракоз и Димка схватили его за ноги и повалили. Он катался по палубе и незаметно уснул.

Его унесли в каюту.

Мамуна болел неделю. Всем командовал Енуля. Он привел судно в бухту, похожую на трещину. За узким входом красовалась лагуна и подымались горы. В глубине бухты висел обрыв, на вершине его стояли деревья, половина корней которых была обнажена и темной сетью висела в воздухе.

У воды росли ясень, ольха и клен... Маленькая речка, тараторя, сбегала со скал. Они отыскивали хорошую лужайку и разбили палатку.

Парусник покачивался на якоре. Тишина отрезала их от мира на целую неделю.

С вечера пылали костры, их нужно было поддерживать до утра, так как шакалы и волки приходили из леса. Раз блеснула желтая спина барса. Енуля пустил в него голову, и зверь, рыча, провалился в кусты.

Димка помогал Магдалице. Он рубил дрова, следил за очагом и ездил на паруснике, если требовалось что-нибудь привезти на берег.

Они с Киракозом нашли на берегу, выше закрытой бухты, отмель и на отмели небольшие ставные сети. В одной болтались два пузанка, маленькая форель и три селедки, в другой — белая рыба с золотыми пятнами, третья сеть была пустая.

Енуля сказал, что белая рыба с пятнами зовется золотым ершом.

Они испекли рыбу на углях.

Костер разгорался... Дерево шипело и закручивалось, треща. Темный лес вполголоса разговаривал со скалами. Одна речка болтала что-то быстрое и ночное. Димка вспомнил комиссариат и печку, в которой горели казенные бу маги.

— Контрреволюция, — сказал он вслух и огляделся.

Магдалица положила свои красивые руки на колени и дремала.

Киракоз плясал над костром, кривляясь, как обезьяна. Что было делать идиоту, он развлекал сам себя, как мог. Из огня выпал уголек на погу Магдалицы. Гречанка вздрогнула и сбросила его.

— Магдалица, — сказал Димка, — отчего Киракоз такой дурной? Голова у него не на месте, что ли?

— У него голова, как у тебя. Он от медведя дурной,— сказала Магдалина,— маленького его медведь испугал, бросил в него камнем. С тех пор он в лесу один боится.

— Магдалица, а почему вы меня не отпустите на берег совсем?

— Мы боимся, что ты донесешь на нас...

Димка оглянулся. Енуля спал и храпел во сне. Спал в палатке и Мамуна. Только речка и лес болтали теперь наперегонки.

— Магдалица,— снова спросил Димка,— каких это людей вы перевозите?

Магдалица провела рукой по щеке.

— Откуда ты? — спросила вдруг она, не отвечая на вопрос.

— Из Питера,— сказал Димка.

— Далеко-то как... Я там никогда не была. А какие там люди?

— Да такие же, как и здесь...

— Тут немирно живут,— медленным голосом сказала гречанка,— одно море хорошее, а люди — волки. Убивают друг друга. Турки — армян, грузины — горцев, горцы — грузин, а разбойники всех, кого придется. Куда бежать людям от гибели, как не в море. А в море — Мамуна. Он берет деньги и спасает. Куда хочешь, туда и перенесет. Его и ветер слушается.

Димка узнал тайну корабля. Это было совсем не так заманчиво, как он думал. Вся мрачность исчезла сразу. Мамуна потерял очарование морского волка. Он превратился в простого человека, у которого плохой, скрипучий кораблик и который тяжелым трудом зарабатывает свой хлеб, вымоченный в соленой морской воде.

— А как же вы узнаете, где люди бегут в море?

— Нам сообщают заранее. У Мамуны друзья на берегу. Весь берег друзья. Мы же никого не обижаем. Сам знаешь, как мы живем. И Мамуна не жаден. Ему обидно было, что Георгий, брат, деньги украл. Да что я тебе, чужому, рассказываю...

Она замолчала и нагнулась к огню. Шакалы завывали наверху горы.

Енуля перевернулся на другой бок. Димка встал, чтобы подкинуть сучьев в костер.

Мамуна выздоровел. Далеко на север повел он свой кораблик. Все чернее становилось море, упорнее ветер, холоднее воздух, все чаще приходилось прятаться от непогоды. Потом заболел Киракоз. Он целый день стонал, тер себе живот и плакал.

Магдалица поила его горячим чаем, но чай не помогал. Тогда Димка пошел на кухню и нагрел утюг. Утюг был старый и от старости рыжий. Обмотав его тряпкой, он велел Киракозу лечь на спину. Киракоз заревел и лег.

Димка дважды прогладил живот Киракоза. Киракозу стало легче. Боль прошла. Он ходил за Димкой и спрашивал:

— Ты колдун? Нет, скажи — ты колдун?

Мамуне надо было взять нового беглеца. Мимо судна пробежали темные горы, покрытые облаками до половины. Кругом стало уныло и холодно. Свинцово-серый день сменился ночью.

В полночь лодка с Мамуной и Димкой как-то печально и неуверенно пристала к берегу. Светила полная луна. Прибрежный песок замер и был гладок и тверд, как паркет.

Мамуна шел тяжело, мелкими шагами. Шли они очень долго. Небо уже чуть-чуть побелело на востоке, когда они прошли пастушью кошару и увидели необъятное море камыша, среди которого кое-где блестела вода.

Вдоль берега подымались кучугуры — песчаные, обрешанные с боков холмы. На холмах ползали под ветром высохшие бурьян и полынь.

На одном из холмов, во власти холода и ветра, сидели два человека. Один из них закричал хриплым, простуженным голосом:

— Мамуна!

Мамуна подошел и стал согреваться, хлопая себя по плечам. Грек-посредник, свистя и храпя, долго говорил о своих немощах и делах.

С моря налетал колючий ветер.

Потом посредник спорил с беглецом. У беглеца широкая борода намокла и замерзла. Большая меховая шапка отсвечивала инеем. Он сидел на маленьком, но тяжелом сундуке.

— Пора,— сказал Мамуна.

— Да уж ехать ли? — нерешительно пробормотал беглец.— Не знаю, право, добрые люди.

— Пора,— не обращая на него внимания, повторил Мамуна, и тогда беглец встал.

Грек-посредник помог ему взвалить на спину сундучок, и шествие тронулось.

Солнце еще не всходило. Белый туман волочился по камышу. Беглец шел и причитал всю дорогу.

— Землю родную покидаю, грех какой. Остаться нельзя, оставаться нельзя никак; иду, иду,— говорил он, если видел, что Мамуна ускоряет шаги.— Обогреться-то будет где?

Мамуна молчал.

— Будет,— сказал Димка.

На корабле Димка сразу пошел спать. Выспавшись, он пошел искать Мамуну. Мамуна сидел в каюте с беглецом и ел мамалыгу. От куска горячего кукурузного теста вился пар, и в этом пару парились торчавшие из теста куски сыра и оттаявшая борода беглеца. Масленные глазки его щурились, толстый нос его заалел, и он быстро заговорил:

— От большевиков бегу — от них от самых. А куда бежать? А тут подвернулся мне тот черномазый... «Поезжай, говорит, в Турцию. За свои деньги всегда почет получишь. Землю купишь, сядешь на нее, живи, и никаких». И что ты думаешь — уговорил меня. Вот я и еду. Единственного боюсь: не потонем мы?

— Не надо говорить так,— остановил его Мамуна,— в море нельзя так говорить...

— Ну, значит, благополучно доедем, за доброе здоровье...

— И так нельзя говорить в море,— рассердился Мамуна.

— Вот тебе раз... И так нельзя и этак нельзя. Как же можно?

— Никак нельзя. Вода умная — все слышит...

— Шутник ты, чудеса какие. Плевать мне на воду. Мне, прямо сказать, Россию кидать жалко. Шкура, конечно, к телу ближе, потому и бегу. Поживу у турок, женюсь, так, налегке,— там это, говорят, можно. Я увез кое-что, не без денег.

— Женись, купец,— сказал Мамуна хмуро,— в Магомета веровать будешь...

— Магомет тоже не дурак. Свое татарье в люди вывел. А наша фамилия издавна торговая. Можно и Магомета в оборот пустить. Не повредит...

— Козел,— прошептал Димка, отступая по лестнице наверх,— Козел.

III

Уже три дня буря трепала корабль. Дерево и железо из всех сил боролись с морем. Главным борцом, одушевлявшим это дерево и железо, называвшееся парусником, был Мамуна.

Он вел судно сквозь непримиримые, рушащиеся со всех сторон водяные башни, водопады, брызги. Никто не знал судна так, как он. Никто не умел угадывать буйные размахи моря так, как он.

Магдалица, бледная, с растрепавшимися волосами, стояла у дверей своей каюты. Козел ползал по полу в каюте Мамуны. Волны швыряли его, как бочку, от стенки к стенке.

Он то становился на голову, то терял и голову и ноги сразу. Он не мог говорить и дышал пеной.

Енуля и Петрос, как жнецы во время урожая, косили паруса то налево, то направо, канаты били их по лицам, палуба убегала с ехидством, ящики подкатывались под ноги. Все стенки корабля дрожали, как от обиды. Не запомнит такого водяного гвалта Мамуна.

Киракоз привязал себя к мачте и бродил около, точно козленок, ожидающий волка. Димка удивлялся на себя.

Зрелище взбесившейся воды было такое захватывающее, что он потерял страх. Теперь ему было не до людей. Даже Козлом он больше не интересовался. Козел не узнал Димку, потому что при первом волнении заболел морской болезнью.

Неимоверной ширины и ярости водяной дом обрушился на судно. Ломая и разбивая все, что попадалось на пути, волна кусала железо и дерево. В яркой, мнущейся зелени воды, освещенной ударом молнии, Димка видел, как Киракоз подскочил в воздух, точно в обычной своей пляске, канат, привязывавший его, лопнул, и тело Киракоза описало странную дугу по воздуху. Он с ловкостью акробата

перелетел через борт и исчез в волне. Море съело Киракоза.

Длинный крик Магдалицы прорезал воздух. В следующую минуту судно качалось в тишине. Точно дикая волна обрушила всю накопившуюся ярость и эта ярость иссякла на время. Но корабль метался, как бешеная лошадь.

Новая молния озарила корму, и Димка увидел Мамуну — уже не великого моряка, ведущего победоносно свой корабль, а съезжившегося печального человека, у которого дергалось лицо.

Мамуна первый раз в жизни испугался моря. Он не знал, почему он испугался, но страх вошел в его глаза и схватил за горло. Он крикнул что-то, чего никто не мог понять. Петрос принял от него руль. Петрос толкнул грека в плечо и показал ему вправо. Далеко-далеко сквозь туман горел огонь.

Мамуна качнул головой. Он шел через корабль, шатаясь, точно лунатик. Спустившись в каюту, он натолкнулся на Козла. Козел вытрезвел и выздоровел от последней волны. Он был торжествен, как именинник. Он стоял во весь рост, сжав губы, и борода, как доска, тянула его книзу.

И вдруг Мамуна при виде его рассвирепел так, что мокрая куртка на нем вытянулась, как спина у кота.

— Киракоз,— закричал он,— мой сын! Где мой сын Киракоз?

Козел смотрел на него в столбняке. Мамуна оттолкнул Козла, обошел его со спины и стал толкать наверх. Козел полез, как покорная собака, на четвереньках по мокрой лестнице.

За ним, шатаясь, шел Мамуна, тихий и странный. Лицо его было мокро. Никто бы не разобрал, плакал ли он или просто вода сбегала по щекам с фуражки.

Петрос правил к берегу. Огонь на берегу виднелся сквозь волны и темноту, как жирная свечка, не желающая гаснуть. Волны, точно в насмешку, подгоняли судно к берегу.

Черные снасти перепутывались и выли над головой людей.

— Енуля,— закричал Мамуна,— Магдалица, Петрос!..

Он кричал таким голосом, как кричал его брат Георгий. Он покрывал свист воды и ветра своим криком.

Козел ползал по палубе с ужасным лицом, и борода его растрепалась, как швабра.

— Я слышу, Мамуна,— сказал Енуля и бросился в каюту.

Через минуту он выкинул на палубу сундучок Козла. Козел ухватился за него обеими руками.

— Лодку,— закричал Мамуна.— Он убил моего Киракоза. Он поссорил меня с морем. Он привел мне бурю.

Берег уже лежал черной стеной, у ног которой бушевали волны.

Одним прыжком Димка выскочил на середину, упал, поскользнувшись в луже, и, стоя на коленях, крикнул:

— Мамуна, не смей его в море... Мамуна...

— Нет ему защиты, нет ему защиты,— гремел грек.

— Мамуна, тогда и я с ним,— не помня себя отозвался Димка.

Козла швырнули в лодку, как мешок. Сундучок его брякнулся о скамейку.

Енуля, как палач, распоряжался казнью деловито и быстро.

«Перевернет»,— подумал Димка, хватая весла, и в ту же минуту лодка прыгнула, словно кошка с трехэтажного дома, в следующее мгновение она превратилась в аэроплан, пролетевший над бездонной черной страной и почти сейчас же стала доской, летящей впопыхах в водовороте...

Димка сохранил на всю жизнь память об этой ночи. Волна ударила его об уключину и рассекла лоб.

Один раз молния осветила где-то далеко позади, чуть не в середине неба, как в бреду, громадный парусник, потом снова их начал швырять мрак.

Лодка металась и упорно не хотела тонуть.

Прямо впереди Димки на горе мигал огонек. Вдруг лодка заерзала на месте, накренилась и треснула, как сложенная палка.

«Если это мель — погибли»,— мелькнуло в Димкиной голове.

На их счастье, это расстился берег. На ровные отмели бешено мчались, перекатывая камни, волны. Лодка опрокинулась.

Димка выскочил и провалился по пояс в песок. Он выбрался и оглянулся на Козла. Козел с развевающейся бородой, растерзанной грудью похож был и вправду на колдуна. Он длинными жилистыми руками цеплялся за свой сундук. Молнии беспрерывно освещали его. С невероятной силой отодрал он сундук от лодки, взвалил его на плечи и понес.

Димка закричал. Димка начал ругаться всеми словами, какие он мог вспомнить. Козел шатался, стонал и шел по воде. Волна с гоготаньем свалила его с пог. Сундук упал — вода заплескала сверху его, точно обрадовалась. Козел охватил его руками и лег на него. Вторая волна накрыла его с головой, за ней шла третья, четвертая и еще без конца.

Димка побежал изо всех сил. Волны догоняли его и срывали одежду. Он бежал совсем голый, падая в ямы и перепрыгивая через камни.

Страшное возбуждение кипело в его жилах. Молнии бороздили небо. Гора чернела все ближе. Ноги и руки его горели, точно их прижигали на бегу. Димка ни о чем не думал. Он бежал и бежал, временами хрипло крича самому себе неведомые слова. Он стал первобытным мальчиком, вокруг которого бушевали стихии...

IV

Около Батуми смешанный отряд Красной Армии преследовал неуловимого бандита. Среди солдат были и конные артиллеристы. Бандит ушел в горы так же быстро, как появился. Он разделил своих людей на десятки и ускользнул, как змея, в расщелины скал.

К ночи ветер перешел в бурю, и маленький отряд расположился бивуаком на горе у самого моря. Дом был с верандой, по бокам которой шли нары. Гостеприимный хозяин угощал озябших водкой светло-пурпурного цвета и красным вином из винограда «изабелла».

Командир батареи скручивал самокрутку и глядел сквозь окно на море. Буря бушевала, как только могла.

— Белуха,— сказал высокий человек, с лицом, точно вырезанным из красной сосны,— Белуха, откуда у тебя этот паренек, что вот сегодня конька из речки спас...

Белуха зажег спичку, посмотрел на пламя, поднес свою самокрутку и, не торопясь, ответил:

— Откуда? Он добровольно приишлся к батарее, товарищ Степанов... В Ростове еще... Ну, приняли. Людей, сам знаешь, не хватало... Почему не принять — приняли. Дали лошадей чистить — чистит...

— Чистит, говоришь? — переспросил Степанов.

— За милую душу чистит. Дали за пушкой смотреть. Смотрит. Грамотен — дальше не надо. Одно слово — не-

мец. Ериком его зовут. Все делает, но ведь без году неделя человек пушку видит — что с него спросишь...

— Ты думаешь... — начал Степанов, но Белуха перебил его.

— Обожди, — выехали на учебную стрельбу. Он с нами. Просится стрелять — видал-миндал — дали. Ка-ак он бахнет, понимаешь, — мишень к черту. Вот так загадка. Так и не знаю, откуда у него такая меткость. Природное, что ли, дарование. Потом он с нами весь Кавказ прошел. В Тифлисе был, в Баку, в Батуми... Хороший солдат...

— Есть такое дело, — сказал Степанов.

Наступило молчание. Степанов и Белуха курили, потягивая кислое вино.

— Чтой-то, будто выстрел! — сказал, прислушиваясь, Белуха.

Со двора поднялись трое солдат.

— Стреляют где-то.

— В горах камни рушатся...

— Ну как, сена нашли?

— Нашли...

→ Караул есть?

— Выставили внизу на тропинке и на бугре. Да кто в такую ночь пойдет...

— Эрик, — отозвал одного Степанов.

Эрик подошел. Круглые солдатские шпоры его звенели уверенно. Он взглянул на Степанова, и вся смуглая кожа его задымилась смущением и тревогой.

— Узнаешь меня? — спросил Степанов.

Это лицо в памяти Эрика ничто не могло изгладить.

— Узнаю, — сказал он, вытягиваясь, как будто отдавая рапорт.

— Как же это ты решил с нами пойти? — спросил Степанов.

— Да так и решил. Я не знал, на чьей стороне правда, а теперь знаю. Разве можно стрелять в свой же народ? Это — измена. Я и повернул пушку, ну и себя заодно. Вот и все...

— Вот оно как, — медленно проговорил Степанов, — что ж, и на том спасибо. Так, говоришь, тротил плохой? Где же лучшего взять? Пойдем-ка прогуляемся...

Они вышли из дому.

Дождь хлестал их тысячью мокрых розог.

Они дошли до белых бурунов и направились вдоль берега. На месте моря вздымались черные бугры, пересекаемые белыми вихрями пены.

— Знал я одного такого, как ты,— сказал Степанов,— да пропал он, как щепка. Деловой парень был. Ты ведь из господских, ну, а он был свой. Жалко...

Молния осветила всю полосу прибоя.

— Постой-ка,— закричал Степанов,— человек, никак... Человек и есть.

Оба они взглянули на полосу прибоя, по которой мчался голый человек с необычайной скоростью.

Они бежали ему навстречу сотню шагов. Молнии делили небо на самые дикие куски. Человек, запыхавшись, добежал и упал им на руки.

Минуту они толпились молча, пока гроза не осветила их лица.

Тогда сразу раздались три крика:

— Степанов!

— Димка!

— Эрик!

Всю ночь они просидели у огня в доме на берегу моря. Едва прерывал свой рассказ Димка, как Эрик начинал рассказывать, и суровый голос Степанова гремел в маленькой комнате, как эскадронная труба.

Димка устал как собака, но радость, наполнявшая его, ни за что не хотела уступить свое место сну. Ветер врывался в их беседу, и море шумело внизу, стараясь ввести свой голос в эту ночную переключку голосов.

Димка поднял кружку с вином и закричал:

— Степанов, Эрик — друзья-товарищи, а здорово ведь это вышло все, а?

— Есть такое дело,— сказал Степанов.

Три кружки столкнулись так, что звон пошел по комнате.

ВОЙНА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Советская литература почему-то избегает разработки таких тем, как «Наука и война», «Техника и военное искусство», а между тем в дни усилившейся военной опасности, в дни, когда буржуазные государства вооружаются, обгоняя друг друга в лихорадочном желании увеличить свою боевую мощь, об этом следует вспомнить и литературе.

Следует вспомнить хотя бы примеры ближайшего прошлого и посмотреть, как происходило это лихорадочное перевооружение, какими путями шла история развития оружия и чьи умы работали неустанно на войну.

Недооценка этого положения в жизни государств Запада иногда ставила под угрозу самое существование даже таких чемпионов мировой бойни, как Англия. Если взять частный момент — ну хотя бы такой вид борьбы, как подводная лодка, — то, по словам Перси Скотта, во время первой мировой войны германские подводные лодки чуть не заставили англичан проиграть войну. «Если бы у германцев, — пишет этот прожженный и авторитетный империалист, — если бы у них было еще пятьдесят подводных лодок, как бы легко тогда все удалось! Сейчас они были бы победителями мира, а мы были бы германской колонией. Страшно подумать, что судьба великой нации висела на волоске из-за одной маленькой, очень маленькой ошибки!»

Военные советские комментаторы прекрасно учитывают, что значит недооценка оружия противника. Литераторы должны заняться богатым военно-техническим материалом — хотя бы в целях разоблачения подготовки будущей войны против Советского Союза.

Западные военные авторы великолепно иллюстрируют значение техники в ближайшем будущем.

«Распространенная в довоенное время и покоящаяся на недостатке технических знаний предвзятость, направленная против смелых предположений техники, должна быть навсегда изгнана. Война позволила технике доказать свою колоссальную созидательную силу при условии устранения препятствий материального характера. Достаточно будет привести несколько примеров: синтетическое получение азотной кислоты из атмосферного воздуха, развитие химической войны, сверхдальнобойное орудие, танк, подводная лодка с радиусом действий, простирающимся до восточных берегов Америки, воздушный корабль с радиусом действия от Болгарии до Хартума, испанские самолеты и маленький одноместный истребитель, который прорезает воздух со скоростью шестьдесят метров в секунду и ровно в одну минуту, поднимаясь почти перпендикулярно, достигает высоты в тысячу метров, и это после того, как самолет 1914 года принужден был полчаса, а то и более мучиться, чтобы набрать такую головокружительную для него высоту. Если мы представим себе техническую дискуссию в обстановке 1914 года, можно утверждать, что большинство упомянутых достижений, ныне само собой разумеющихся и иногда уже значительно превзойденных, вызвало бы только снисходительную усмешку у многих так называемых специалистов. Момент инерции их мыслей был крепко спаян с существующим, и оторваться от него было для них слишком трудно. Мы должны остерегаться такой усмешки. Она является результатом упрямой предвзятости и недостатка умственной гибкости».

Обращаясь к сюжетам подобного рода, литература, конечно, должна остановиться на выборе способов изложения. Обработка материалов, с одной стороны, научных, с другой — чисто военных, заставляет прозу стать прозой особого рода.

Документ, погруженный в сюжетный соус, не должен, однако, потерять ни очертаний, ни вкуса. Подробности технические не должны искривляться в угоду психологическим переживаниям героев рассказа, а сами герои — люди исторически взятые — не должны превращаться в схему.

Знакомясь с отдельными фактами эпохи мировой войны, разъясненными в специальной литературе, я не устоял перед соблазном соединить в небольшом условном повествовании, сбивающемся подчас на хронику, несколько трагических эпизодов периода так называемой газовой и огнеметной войны, почти неизвестных широкому читателю.

Должен сказать, что работа над таким заданием чрезвычайно трудна и рискованна. Сразу пришлось сокращать материал, чтобы не развернуться в необъятное повествование, любопытное легкомыслием автора, а не глубиной темы.

Совершенно очевидно, что, развертывая полную картину мировой войны, нельзя не говорить о мировом пролетариате. В моем узком задании — показать детально только обстановку и подробности развития именно огнемёта и боевого газа я, естественно, не мог поднять и разрешить громадную вышеупомянутую тему, так как для этого у меня не хватило бы ни знаний, ни возможностей моего таланта. Трудности обработки даже такого узкого учета технической силы армии, как краткая история возникновения отравляющих веществ и сжигающих веществ, заставили очень осторожно подходить к показу фактов.

Пацифизм не должен появляться даже на пороге подобного произведения. Ни о каком пацифизме не могло быть речи, также рассказ не должен был выглядеть «антантовским», то есть обличительным по отношению к Германии, как начавшей первой газовую и огнемётную войну. Конечно, вещь вышла довольно дискуссионной. Предпринимая этот опыт, я шел на неудачу, потому что учиться можно на примерах, а примеров не было, или — такие далекие, что их существование не могло пригодиться.

Соблазн нового материала заставил меня измерять и изучать одно из подводных течений мировой войны на свой собственный риск. Может быть, лот мой показал не настоящие глубины, зафиксировал только обширную мель, которую я принял по ошибке за окончательный результат.

Писать вещи на иностранном материале, где герои не могут пользоваться прирожденным языком автора, а говорят как бы на языке, с которого автор переводит, значило обеднить разговорный язык повести. Пользование афористическими фразами вышло далеко не всегда удачным. Я думаю, что тема «Наука Запада и война», представленная профессором Фабером, не исчерпала тип современного западного ученого, взяв только беспринципно или убийственно идеалистического индивидуалиста, думающего, что он является центром мира в силу своего интеллекта, и презирающего власть буржуазных империалистов, которым он обычно охотно и покорно служит своими «гениальными» изобретениями, направленными, в первую очередь, против

трудящихся, вовлекаемых в войну ради борьбы за мировое господство толпы финансистов и империалистов.

Конечно, повесть могла быть значительно сильнее — но тут ничего не поделаешь. Я хотел показать первым опытом работы на таком «боковом» материале новую область, куда советская литература должна явиться и взять под контроль факты действительности, как это она делает, участвуя в мирном строительстве социализма в СССР.

Нужно сознаться, что дерево было зарублено большое, и свалить его мне не удалось, раскатать его немного — я все же раскатал, — конечно, мир удивлен не будет так, как удивился он, когда, высмеивая известие о существовании подводной лодки «Deutschland», он неожиданно увидел ее серый корпус, вынырнувший из глубины океана и направляющийся к молу Балтимора.

Это только значит, что пока голые факты истории военной техники неизмеримо сильнее фактов литературных, но это не значит, что писатель должен раз навсегда отказываться от подобного материала. Как раз наоборот. Он должен так постигнуть политическую и военнотехническую сторону исторического факта, так поднять его, что самая подача явится новой формой. К сожалению, я пользовался обычным приемом повествования, чередуя линию личной судьбы героев (впадая в традиционные схемы) и линию развития нового оружия, за что поплатился в конце концов, получив повесть, не решающую вопрос во всей очевидности, а только иллюстрирующую частично историю вопроса. Но я твердо стою на том убеждении, что новый материал создаст новую форму, и форма эта будет небезынтересна и самому широкому читателю, и самому придирчивому критику.

Я не сумел так скоро отыскать эту форму, но это не значит, что это не удастся другому, более счастливому писателю.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Самые простые тела могут
быть сложными.

Химия

I

ВПЕРЕД

— Вперед! Вперед! Скоты, вперед! Не ленись!

Лежавшие солдаты немедленно вскочили, неуклюже согнувшись, пробежали между кустами и упали. Им ничего больше не оставалось делать. Приказ надо было исполнить сейчас же. Они упали. Это называлось перебежкой.

Лейтенант Рупрехт Шрекфус, называемый друзьями просто «Руди», стоя на одном колене позади стрелковой цепи, был наполнен азартом неопытного и прирежденного воина. Руди Шрекфус мог всерьез говорить только о войне. В другое время он был просто служакой, был лейтенантом. Он играл в карты, делал долги, жил не по средствам, хвастался автомобилями, которых не имел, рассказывал о своих конюшнях, которых у него никогда не было. Если иной раз он загонял солдата в госпиталь, исполосовав по всем правилам, то это происходило от вспыльчивого нрава, не больше.

— В больших семьях, — говорил он в оправдание, — дети тоже иногда страдают от случайного бессердечного отношения родителей, подмастерья бьют учеников, чтобы научить их уму-разуму, а мужья — жен, чтобы направить их на правильный путь. Все в этом мире благополучно, особенно в такой боевой летний день.

Ему нравилось сегодня все: жаркое солнце, кусты, в которых залегла его цепь, каски в защитных зеленых повязках, небо, сухие рокоты перестрелки, бутафорские удары орудий, скакавшие на горизонте ординарцы, свистки, трещотки, заменявшие пулеметы, — вся пестрая бестолочь маневров — это все-таки были только маневры, а не война, которую он обожает и которую он никогда не видел.

— Форт синих смолкает... Внимание, Руди! — закричал ему товарищ, махая биноклем.

На свете есть дисциплина и армия. Деревня сеет для нее хлеб, мастерские шьют обмундирование и обувь, заводы поставляют оружие и снаряды. Да здоровствует новый шанцевый инструмент, новые матовые ремни на мундире и нововведение — колючая проволока.

Ему сигнализировали с левого фланга. Он вскочил.

— Вперед! Вперед!

Солдаты бежали, не удерживая в голове устава. Они бежали слишком открыто.

— Владек! — Руди выходит из себя. — Нагни голову, винтовку не так высоко. Славянский гусь! Познанская тресбуха! Владек, тебе я говорю!

Немного утомительно вести такой образ жизни несколько часов подряд, но зато форт будет сейчас взят. Если судить по упорному надсадному шуму пушек и по трещоткам, изображающим пулеметы, по густоте цепей, ползающих в траве, сзади которых ползают такие же, как Шрек-фус, лейтенанты, — форт окружен.

Цепи обрастали восклицаниями. Неожиданно перед ними возникло то, к чему они стремились все утро: серая стена гласиса, бруствер, бойницы. Над всем этим серым, как макет, видением стало молчание. Неприятель расстрелял все патроны.

И тогда Руди крикнул последний раз, уже ни с кем не согласуя:

— Вперед! Штыки!

У него в голове плясала картина побоища, равного штурму Меца или Седана. Это было простительно: он не ел с утра. Мечты голодного человека, как известно, болезненно обостряются.

Сейчас его стрелки ворвутся в серое укрепление, его будет благодарить за службу господин майор Хольст, к нему навстречу выйдет комендант и отдаст саблю. Гордись, Руди! Сколько разговору! Сколько воспоминаний! Великие германские солдаты добежали до рва, спустились в ров и остановились в недоумении.

Вместо белого флага на стене форта появились пожарные. Штурмующие растерянно переглядывались. Штурм прервался. Это комедия или это война? Почему здесь пожарные с кирпичными щеками и большими северными глазами, в которых вот-вот появится усмешка? Но нет, она

не появляется. У них в руках брандспойты, направленные на победоносных солдат Руди.

— Что это значит? — закричал он в бешенстве. — Что это значит?

На форту раздалась команда, и брандспойты начали извергать громадные потоки мутной воды. Водяные кулаки ударили в каски, в лицо, в плечи, в грудь. Солдаты бросали винтовки, падали, спотыкались, фыркали, как лошади, и бежали из рва, да, они бежали, мокрые и униженные, мутная вода била им в спину. Это было вне правил игры, это был анекдот, и о нем долго будут говорить во всех военных клубах от Рейна до Вислы. Сам Руди был мокр с ног до головы. От утреннего изящества не осталось и следа.

— Что за животное придумало пустить в дело пожарных?

— О, за это ответит комендант, даже если он сошел с ума!

— Где посредник? Куда он девался? Где же, в самом деле, посредник?

Форт весь, как на пожаре, сверкал пожарными касками. Брандспойты неистовствовали. Атака была явно отбита. Ни один солдат не приближался к гласису. Они толпились за сценой. Они ругались вполголоса, стреляли в воздух, обтирали винтовки и выжимали штаны. Руди почти плакал. Вода стекала за гордый воротник. Мундир был испорчен, матовые ремни поблекли. Точно Руди упал с понтонного моста в реку и его выудили багром за ногу. У него не было слов — он метался среди мрачных и мокрых стрелков.

Через кусты шел господин майор Хольст, и с ним шел посредник. Повязка на рукаве делала его почти иностранцем, он был на особом положении. Он был неуязвим и бессмертен. Посредника нельзя было ни убить, ни взять в плен. Он же на каждом шагу наносил армии громадные неприятности. Ординарец вел его лошадь в поводу — рыжего гунтера с белым пятном на лбу.

— Имею честь доложить... — Руди не находит голоса, он готов идти под арест сразу, он понимает, что его мокрый вид шокирует армию. Случай слишком необыкновенен. Первый раз в германской армии на императорских маневрах случается такая дикая выходка.

— Отбой!

Ворота форта раскрылись. Склонный к полноте человек

с фиолетовым лицом и надутыми щеками, согнув нос, как клюв ястреба, выходит в сопровождении своего штаба. Посредник кричит ему, не скрывая злорадства:

— Отличная защита! Остроумнее не придумаешь! Благодарю вас! Вы открыли Америку.

Мокрые солдаты и офицеры толпятся сзади. За плечами коменданта выстроились пожарные каски. Люди шептались не зря. Уже комендант получил прозвище «Саксонского клоуна». Почему — не знал никто, но всем нравилось прозвище.

Фиолетовое лицо коменданта начинало ясно синеть, только глаза, расширенные волнением, смотрели твердо в лицо посредника. Может, он решил выкинуть еще какой-нибудь номер, которого не придумает никакой полевой устав.

Господин майор Хольст хочет начать говорить. Господину майору не удастся начать говорить, потому что откуда-то принеслось слово, действующее, как удар тока, — мокрые солдаты застыли в рядах, мокрые офицеры превратились в изваяния, посредник бросил руки по швам, его лошадь перестала перебирать ногами. Форт замер. Каски пожарных перестали блестеть.

— Кайзер! Внимание! Кайзер!

Серебристая шинель плотно обтянула плечи мерно шагавшего человека. Тяжелые глаза не мигали. Бронзовое лицо, на котором щетинились плоские усы тигра с копьёобразными концами, чуть скуластое, обращало окрестности в неподвижность. Все застывало, терялось и тянулось перед этим идущим в звонком цокоте шпор фантомом. Он придумал себе все: походку, биографию, Германию. Он хотел придумать судьбу. Но всякий раз, когда он заносил руку, глаза начинали мигать, и это был плохой признак. Каждый раз такое волнение имело название. Название последнего волнения было Агадир. Из-за этого маленького африканского сухого имени он мог двинуть армию, но глаза замигали.

Он не был пророком, хотя в поисках судьбы его и тянуло на восток. Его тянуло правильно. Судьба лежала на востоке. Там она имела имя, место и дату. Эта судьба называлась *Сараево*. И еще она называлась: эрцгерцог, но сейчас этот эрцгерцог гулял в Ишле и имел маленький насморк, только маленький насморк. Человек в серебристой шинели шел прямо к Шрекфусу, не сворачивая никуда. Собственно, он шел к армии, ибо из всех причуд он любил

одну игру больше всех, эта игра была армия, это была любимая игра, ради нее существовало все. Если бы ее отняли от него, ее — блестящую, муштрованную, белопштанную, сине-зелено-черномундирную, с громкими пушками, с храпом лошадей и вытянутыми по нитке рядами, — что бы ему осталось в жизни?

Правда, в жизни он хотел быть всеми художником, артистом, писателем, инженером, профессором, моряком, путешественником, — он рисовал картины — плохие, читал экспромтом стихи — плохие, ездил в Иерусалим — неудачно, писал статьи — неудачно, давал советы фабрикантам — легкомысленно. Он одевался в одежды разных профессий, он перепробовал все, от профессорской мантии до синего пиджака яхтмена — и все это было не то. Серебристая шинель, высокие сапоги и стек — сабли он не любил, он не владел правой рукой, она была как мертвая, сухая, глупая рука. Шинель, сапоги и каска — это шло к нему больше всего, и это называлось еще: война. И разве не для войны он готовил все эти живые игрушки, которые когда-нибудь двинутся, подчиняясь красным молниям штабных карандашей на картах Франции, Бельгии, Польши, Англии?

Разве не для него исползал лейтенант Руди Шрекфус все поля и кусты вокруг этого несчастного форта? Разве не для него пожарные не пожалели воды для защиты? Разве не для него сошел с ума комендант?

Кайзер приближался с огромной свитой. Золотоуклетчатые мундиры гусар, черные сияния дощечек на уланских киверах, черное сукно артиллеристов, расцветочный штандарт, монументальные адъютанты, зеленые мундиры пехоты, множество палашей и пашек и причудливых шпор сопровождало его.

Комендант форта был синий, точно его поразила молния. Он был синий весь до кончиков пальцев.

Кайзер прошелся глазами по мокрым каскам и мундирам. Посредник знал, что первый вопрос будет обращен к нему, но он ошибся.

Кайзер подошел к коменданту и остановился. Он любовался пронзительной синевою комендантского лица, он любовался верноподданным страхом боевой машины.

— Комендант, — он протрубил это слово, и бронзовые щеки его стали еще суше, — капитан!..

— Отто фон Штарке, ваше величество, — прерывающимся голосом ответил комендант.

— Ты, кажется, наколдовал здесь дождь?

Нет, Руди не хотел бы быть на месте коменданта. Проклятое сукно, если его хорошо пропитать водой, оно долго удерживает холод. Руди незаметно ежилась.

— Ваше величество,— без запинки кричал в исступлении Штарке, собрав все морщины на лбу,— как офицер резерва германской армии, я должен непрерывно совершенствоваться в способах ведения боя. Израсходовав все патроны и все меры к защите вверенного мне форта, я прибег к способу, позволившему мне отбить атаку превосходящих сил противника. Принимая во внимание условность маневренного боя...

Штарке задохся. Кайзер ударил стеком по сияющему сапогу. Это был жест из его коллекции жестов, и все знали, что этот жест означает недовольство.

— Да, принимая во внимание условность маневренного боя, ты дал им холодный душ. Плохой психолог...

Комендант снова обрел голос. Он уже ревел от волнения и преданности:

— Принимая во внимание условность маневренного боя, я приказал поливать ряды атакующих струями горячего масла.

Тут наступила тишина, в этой тишине водяной анекдот перерастал в нечто большее, но было еще время оставить его анекдотом. Все зависело от положения стека. Стек поднялся, но не ударился о сапог, он повис в воздухе, потому что рука уперлась в бок и сложилась в кулак. Этот жест обозначал бодрое раздумье.

— Возможно ли это? — сказал кайзер. — Возможно ли жечь горящим маслом атакующие войска?

Анекдот умер. Осталось недоумение. Осталось ответить на безумный, собственно говоря, вопрос по всем правилам субординации, но вся свита не знала, что ответить. Кивера и каски зашептались. Анекдот возвращался снова во всей силе, теперь он делал смешным и кайзера.

И тогда кайзер, взглянув в глаза коменданту, скороговоркой сказал:

— Благодарю тебя за службу,— и повернулся, как на шарнирах, к свите, не успевшей даже переглянуться.— А теперь мы разберем маневр, господа.

Сухо треснули ножки складных стульев, полевых столов и пюпитров, зашуршали карты, извлекаемые из полевых сумок и портфелей. Наступил торжественный час итога.

Штарке обтирал лоб и сгонял морщины, дрожа как заведенный мотоцикл. Плотный и очень высокий офицер взял его за руку, приблизил тонкие бритые цинковые губы к его уху и сказал отчетливо:

— Вы изложите ваш проект точно и возможно скорее и вручите его мне. Понятно, капитан?

II

МУДРЕЦЫ

В доме профессора Бурхардта гости засиделись очень поздно. Виноват в этом был сам хозяин. Он говорил больше всех.

— Все обстоит благополучно,— между прочим говорил он,— средняя продолжительность жизни увеличивается, число неизлечимых болезней падает, конституции государств год от году улучшаются. Все это делает закон превращения энергии, закон сосредоточения человека на пользу государства. Люди, занимающиеся сразу несколькими профессиями, ощущаются как случайности...

— Однако,— сказал влюбленный в свое дело Фольк, историк культуры,— однако если мы вспомним тысяча трехсотые годы, то из пяти самых великих художников: Чимабуэ, Иоанна Пизанского, Арнольфо, Андрея Пизанского и Джотто — четыре были одновременно живописцами, архитекторами, скульпторами, временами даже инженерами. Позднее живопись поглотила все. Законы Рима — Амстердама — Фьезоле, живопись, светотень и колорит, Рафаэль, Рембрандт и Фра-Анжелико охватили мир. Германские музеи приняли их в свои хранилища. Вы хотите сказать, что реализм завладел жизнью. Посмотрим же область той же живописи. Ван-Эйк был, несомненно, первый реалист. Конечно, не итальянцы. Итальянцы слишком много видели руин и старых статуй, чтобы быть реалистами до конца. Земля, которая под своим тонким слоем хранит то обломок барельефа, то отбитую руку, не может ощущаться до конца реально. Нидерландцам было легче. Там уверенно выставляли богатые купцы и их жены свои некрасивые лица и тяжелую роскошь одежд на картинах. Это, конечно, реализм. Но на тех же картинах Ван-Эйка, Петера Кристоуса мы видим выпуклые зеркала, висящие на стене, в которых отражаются фигуры, удлиненные и искаженные, а у Петера Кристоуса отражается даже то, чего нет на карти-

не, — отражаются улица и фигура на ней. Таким образом, выход из реализма был найден четыреста лет тому назад, и вот возьмите путь от этих выпуклых зеркал до Кандинского и футуризма. Автопортрет Дюрера. Вы видите даже отражение окна в глазах, и все-таки это не реально. Если форма доведена до полной чистоты, то это уже не реально. Значит, футуризм от бессилия? Может быть, и да. Я хочу сказать, что пути искусства исчерпаны, нужно начинать сначала. Великое потрясение войны может возродить германское искусство. Рост реклам и развитие промышленности вряд ли оплодотворят наших художников. Я могу учить, как историк, только прошлому. Правда, мы имеем еще некоторых изумительных мастеров, но это умирающее племя. Требуется свежая кровь.

Бурхардт взглянул на свои стены. С них смотрели на него зализанные портреты Лембаха, наивные аллегории Морица Швинда, тяжелобедрые валькирии Каульбаха, толстозадые кельнерши, выдаваемые Штуком за вакханок.

— Мы сами живем в могучий век, — сказал Бурхардт, — и я не жалею, что не живу во времена Джотто или Генриха Птицелова. Если даже на целые столетия остается действующий термин — то содержание его изменяется совершенно. Читали вы послание папы римского католическим рабочим союзам? Он, конечно, против христианских союзов, где объединены католики и протестанты, и он решительно против всякой экономической борьбы. Воображаете, какая сумятица в рядах центра и какая свалка в христианских союзах, где одни спешат целовать Ватиканскую туфлю, а другие плюют на нее. Это уже не крестовые походы. Папа подчинен статистике. Статистика обняла все. Германия учитывает каждую мировую цифру и делает вывод. Я бы не сказал, что это вывод убийственный для нее. Мы можем смотреть на будущее самыми светлыми глазами...

— Простите, уважаемый профессор, — слегка покраснев, громко сказал Эрнст Астен, называемый друзьями за свою женственность просто Эрна. При его молодости бросаться в атаку на Бурхардта было почти неприлично, но пусть смотрят Алида и господа профессора, он должен напасть. — Я хочу сказать, пока массы находятся на границе нищеты, говорить об оптимизме странно. Возьмите рост самоубийств. Они не только не прекращаются, они неизменно растут. А смертность детей? В Германии есть обла-

сти, где в первый год умирает около половины новорожденных.

— Я вам могу сказать, что это значит, молодой человек,— ответил Бурхардт,— не будем только горячиться. Индустриальное развитие буржуазного общества стоит в самой близкой связи с увеличением самоубийства. Рост эгоистических стремлений, страшная борьба за материальное благополучие, голод и нищета, ненасытная жажда наслаждений, пониженное чувство государственной ответственности и патриотизма, особенно среди неимущих...

— Добавьте бессилие личности в лабиринте капиталистического города,— сказал Астен,— угнетение рабочих...

— Вы слишком молоды, чтобы перебивать меня,— Бурхардт повысил голос,— все, что я перечислил, я знаю как ученый. Бессилие личности я не исследовал. Это меня не интересует. Я даже скажу вам цифры, очень характерные для успокоения вспыльчивых и увлекающихся молодых людей,— в Германии на сто женских самоубийств из-за любви приходится только двадцать три мужских. Почему же мне не быть оптимистом? Закон жизни отбирает сильнейших. Мы, германцы, не боимся воздействия частных фактов. Мы воспитываем свою волю не сомнительным самоистязанием славян, не арифметической истиной латинян и не спортивной мускульной логикой англичан. Вспомните французского кумира Вольтера, говорившего, что в Лондоне сто религий в одном соусе, а в Париже сто соусов и ни одной религии. У нас есть религия, у нас есть страна, у нас есть мировая задача. Что же значат частные факты? Молодой человек,— Бурхардт усмехнулся,— в европейских государствах смертная казнь, как правило, производится при помощи гильотины; так будет вам известно, молодой человек, что в Пруссии до сих пор употребляют простой топор. Простой топор. И я уважаю палача не за его искусство, а за то гражданское мужество, какое дает ему такую уверенность, что его рука не дрожит. Германский палач воспет германской поэзией, и в этом есть нечто от национального духа, как мы его понимаем. Я только объективен, как должна быть объективна наука. Последний съезд криминалистов признал смертную казнь в системе европейских законов совершенно необходимой. Наука знает только последовательность, молодой человек.

— Позвольте мне, господин профессор,— сказал юноша с квадратным лицом, иссеченным шрамами,— я слышал недавно доклад уважаемого доктора фон Троппау о

том, что Америка открыта не Колумбом, а германским выходцем Христианом Мюнстерским, отплывшим с дружиной исландских братьев Зенно из Рейкявика задолго до Колумба. Мы сидели и слушали, потеряв головы от гордости.

— В этом нет ничего невероятного, — сказал Фольк, — если это даже и легенда, то вполне справедливая. Латинская раса в области действий всегда приходит на готовое. Возьмите хотя бы мысль Наполеона о создании, по существу, Карловой империи. Самая большая легенда двадцатого века — это сегодняшняя Германия. И когда эта легенда ворвется в жизнь, это будет самое величественное зрелище века. Конечно, не надо понимать меня вульгарно. Мы не будем подражать черногорскому князьку, который, чтобы сварить себе яйцо на завтрак, поджег Европу. Нет, речь идет об обновлении мира через германскую культуру...

— Это несправедливо, уважаемый профессор, — сказал уже совершенно красный Астен, — если все народы будут так превозносить свое, то они окажутся в ловушке, ослепленные ненавистью друг к другу; к счастью, этого пока нет. Я прошу прощения, что говорю так резко.

Бурхардт ответил:

— Народы, молодой человек, ничего не значат: значат люди, стоящие во главе народов, — вожди народов и избранники. А народы разны сами по себе, и мы всегда горды тем, что мы германцы, а не англичане. Эти люди, пробующие выдать себя за римлян, не больше как величайшие сутяги, торгующие даже свободой. Когда в Португалии была объявлена республика, первым делом англичан, ссудивших португальскому королю пятьдесят тысяч фунтов, было вопить перед мистером Греем о вмешательстве. А их выборы в парламент? Знаменитое местечко Олд Сарум во время билля о реформах состояло из пяти лачуг. Десяток жителей посылал в парламент двух представителей, которых назначал поверенный владельца или его лакей. Было и такое доброе местечко, которое, собственно, принадлежало морю, так как море заливало его совершенно, с головой, и все-таки оно имело представителей. Хозяин берега уплывал сам-четверт на лодке, и выборы совершались. А в Буте, где на выборы, кроме шерифа и делопроизводителя, являлся один избиратель, он как презус делал перекличку, как избиратель сам откликался на нее, как население — подавал голос за себя и как регистратор — сам записывал, что выборы сделаны единогласно и что протеста никто не зая-

вил. Менее ста лет назад процветали эти порядки. Нынешняя продажность политических партий Англии общеизвестна. Сесиль Родс купил английскую армию для завоевания Трансвааля, оплатив все издержки из своего кармана. Страна, которая тратит ежегодно на охоту за лисицами ради удовольствия и на скачки двести пятьдесят миллионов марок, не может быть страной, которая обновит мир. Британское презрение, которое позволяет англичанам гнать в могилу целые народы, неискоренимо. Я не говорю о таких мелочах, как то, что в суде англичанин будет всегда прав против цветного; я не говорю о том, что любой английский мальчишка может в шею вытолкнуть владетельного индийского князя со всем его багажом из вагона. Я говорю о рабском труде и о систематическом голоде. За сто лет войны всего мира пожрали пять миллионов человек, за десять лет, с девяносто первого года по девятьсот первый, хроническое голодание стоило Индии девятнадцати миллионов. Вот система управления, достойная подражания.

Астен сказал на ухо Алиде:

— Мне немного страшновато от нашего уважаемого Бурхардта...

— Эрна, не кажется ли тебе, что ты ведешь себя сегодня почти смешно? Почему ты все время вскакиваешь и перебиваешь? Я не понимаю тебя. Научись воздерживаться когда-нибудь...

— Когда-нибудь научусь, — сказал Эрна, — но я не могу, я не могу, когда они так спокойны, как будто все в том, чтобы сидеть и разговаривать, и какую они накапливают ненависть!

— Перестань шептать, на нас смотрят.

Профессор Бурхардт не смотрел на них. Он внимательными глазами окинул собрание. Маститый теоретик искусств сидел, нагнувшись над машинкой для обрезывания сигар, и тщательно ее изучал. Юный корпорант с квадратным лицом смотрел глазами бульдога, готового завизжать. Молчаливый художник, не сказавший за весь вечер ни одного слова, рассматривал швиндовского рыцаря, как будто узнавал в нем знакомого и еще не решил: поклониться или оставить вопрос открытым. Две молодые женщины рассматривали альбом. Советник магистрата старательно переваривал его речь. И тогда Бурхардт заговорил снова:

— Есть народы, сохранившие в зрелом своем возрасте привычки детей, вошедшие в основной исторический их

характер. Они упорно их держатся и по временам платятся за это. Таковы хотя бы японцы. Они упрямы и нелогичны, смертельно капризны и непонятны нам. Один мой ближайший друг, профессор, недавно экзаменовал одного представителя этой нации. Молодой японец хорошо знал немецкий язык и очень плохо свой предмет. Словом, японец провалился на этом экзамене и исчез с горизонта. Прошло некоторое время, и мой друг получил следующее странное письмо от японской девушки — сестры этого студента. В письме стояло буквально следующее: «Вы опозорили нашу семью и принесли ей несчастье. Я кончаю самоубийством и жду, что вы сделаете то же самое».

Слушатели не знали, как принять это сообщение. Эрнст хотел встать, но Алида остановила его. Бурхардт смотрел холодно, как всегда. Казалось, он был даже рад, вызвав некоторое замешательство и смущение среди гостей, более глубокое, чем он предполагал. Никто, кроме корпоранта, не выразил своего мнения. Корпорант дико усмехнулся и изобразил японца, скосив глаза. Бурхардт равнодушно продолжал:

— Что касается Колумба, то среди наших ученых есть люди, о коих следует говорить с непокрытой головой. Никогда еще страна не имела такого количества умных, свободных и целеустремленных голов, как сейчас. Я упомяну только моего друга профессора Фабера, работы которого в области химии можно назвать путешествием в новую Америку. Благодетели человечества — явление довольно редкое, но те изыскания, которые произвел этот человек, и те открытия, какие он уже имеет в руках, способствуют делу мирного процветания больше, чем десять Гаагских конференций. Вот пример германского ученого. Он никогда не отказывался подвергать свою жизнь опасности, если опыты приносили добрый результат. Профессор Фабер обещал зайти сегодня после научного диспута. Возможно, что позднее время...

Дверь отворилась так, как будто человек слушал речь Бурхардта и решил прервать ее самым недвусмысленным образом. В комнату вошел гость, очень мягкий, улыбающийся, осторожный и вполне светский.

— Бурхардт, твоя речь походила слегка на разогретое мороженое, — сказал он, поправляя манжеты.

Бурхардт дружески расцвел: все знали, что профессор Фабер, большой любитель острот и шуток, сам не умеет острить.

III молодость

Скверный аппарат превращал экран в арену действия смешных призраков. Люди на нем то становились похожими на серые макароны, то расплывались в серые блины. При каждой любовной сцене зрительницы ахали и говорили: «Чудесно, чудесно», — склоняясь друг к другу. Более простые щипали друг друга от восторга.

После драмы запрыгала и засияла разноцветная феерия. Толстый добродушный дровосек натыкался, возвращаясь домой, на сморщенную маленькую замерзающую старушку, лежащую в сугробе под грудой хвороста. Дровосек звал жену, размахивая добродушными руками. Жена помогала ему привести разноцветную замерзающую старушку в разноцветный мирный их домик. Они кормили ее сытным ужином, отдавали ей свою постель и отказывались от медных денег, предлагаемых старушкой. Старушка плакала, трясла своими лохмотьями и целовала им руки. Потом супруги засыпали. Приходило розовое с синим утро. Старушка, загадочно улыбаясь, подкрепившись кофеем и сдобными булками, вела супругов на снежную поляну, где цвели среди зимы необычайные цветы. По залу шли вздохи. «Это чудесно», — перекачивалось от стула к стулу. Такие цветы увидишь не в каждом цветочном магазине. Старушка благодарно набирала огромный букет невероятных цветов и дарила его супругам. Они улыбались и бежали домой, обрадованные на всю жизнь. Старушка смотрела им вслед недолго и превращалась в фею и роскошно исчезала среди громадных пышных клумб. Качались лилии. Дровосек вносил цветы в свою комнату и ставил букет на стол. Из цветов вываливались два толстых, как поросята, младенца. Супруги подымали руки к небу и благодарили судьбу. Потом шла хроника. Летел граф Цеппелин, и ломались автомобили на гонках в Реймсе. В зале вспыхнул свет. Фисгармония дребезжаще оканчивала свой каторжный урок. Многие сморкались. Многие дожевывали бутерброды и шоколадные плитки.

— Хорошенькая благодарность, — сказал Эрн, — подкидывать младенцев. Идем отсюда, Алида, ни одной минуты больше в этом жутком месте.

Они, смеясь, вышли на улицу. Они долго гуляли по городу, не отдавая себе отчета, какими улицами они ходят, им не хотелось останавливаться.

— Смотри, какие звезды, Эрна: ведь это же Сириус, а это, несомненно, Орион; как жаль, что мы рождены не под ними. Если бы мы родились под этими звездами, мы бы не были такими маленькими. Мы были бы, как...

— Как профессор Бурхардт,— сказал Эрна,— или как профессор Фабер со всезнающей неподвижностью. Воображаю, какую Америку он откроет и какая это будет неподвижная и, как он, убийственная страна, несомненно с мягким климатом.

— Почему мы не могли смеяться там, в кино, как все, и почему я не хотела говорить «чудесно», и почему мне на вечере у Бурхардта временами хотелось плакать? Тебе не кажется, Эрна, что случай с японским студентом был не у ближайшего друга Бурхардта, а у него самого? Ты помнишь, как он медленно, с удовольствием рассказывал о самоубийстве той девушки? Эрна, неужели она в самом деле покончила с собой? Как ты думаешь?

Они стояли на берегу пруда в парке. Иней висел на деревьях. Пруд был покрыт тонким, как лимонная кожура, льдом. Эрна поднял маленький обледенелый камешек и пустил его рикошетом. Камешек со странным жалобным визгом долго подпрыгивал и бежал по льду, пока не исчез в синем тумане.

— Я думаю, милая, что профессор Бурхардт все рассказывал о себе. Разве он может рассказывать о чем-нибудь другом? Но от этого не легче. Не правда ли, моя маленькая?

Они прошли вдоль пруда и остановились у незамерзшего заливчика. Утки темной стаей теснились на воде, им было холодно, они вытягивали шеи, как бы высматривая гостеприимный ночлег. Эрна подошел к самой воде и сказал маленькую речь:

— Дорогие птицы! Вы никогда не будете профессорами, и в этом ваше счастье. Уважаемые утки, вы единственные в этом городе существа, не чувствующие страшной тяжести патриотизма, кризисов и угнетения личности. Вы ничего не знаете, чудные малютки. Вы не знаете, что преданный социализму студент Эрна Астен, враг предрассудков, вчера дрался на рапирах с корпорантом новой Германии. Эрна Астен, не любящий корпорантов, и дуэлей, и шрамов на лбу и на щеках, и рассеченных носов, проколов

руку своему противнику случайным ударом, примите это к сведению, почтенные птицы. Почему же корпорант дрался со мной? Только потому, что он не вынес моего замечания, что Америка открыта не германцем. Я обмотал свое туловище и ноги толстым пеньковым канатом, в кожаном переднике, с предохранительными очками на глазах, со специальным щитом, закрывшим сердце, сердце, принадлежащее этой девушке, а подставил свой лоб и щеки ударам рапиры и остался жив, дорогие птицы. Я стою перед вами и клянусь вашим зимним оперением, что этого больше не будет...

Утки закрикали.

— Ты глупый! — сказала Алида. — Мне холодно, пойдем.

Но они ходили еще долго по аллеям и разговаривали, прежде чем у Алиды замерзли ноги и они подошли наконец к дому Штарке.

— Что делает твой дядя теперь? — спросил Эрн, смотря на освещенные окна.

Она удивленно посмотрела на него.

— Что он делает? Одно и то же. Он тушит пожары день и ночь и ездит по всему городу. Он все-таки брандмайор.

— Кто-то мне говорил, что он изобретает нечто вроде византийского огня.

— Ах, правда, у него есть работа, которую он прячет от всех нас. Да, он что-то изобретает. Но ведь ему скучно без дела, а потом он все время повторяет, что надо работать на пользу отечества.

Она замолчала. Они стояли и никак не могли расстаться.

В доме залаяла собака.

— Это наш Бек, — сказала Алида, — прощай. Он чувствует, что я пришла.

Они поцеловались на ходу, и Алида вбежала в дом. Большой пес положил ей лапы на плечи. Проходя мимо гостиной, она задержалась на минуту. В гостиной стоял ее дядя, брандмайор Отто фон Штарке. Он стоял вытянувшись, как на параде. Перед ним, как черный столб, красовался офицер в наглухо застегнутом сюртуке. Они оба скрылись за дверьми кабинета. Алида вспомнила, что портрет этого военного она видела неделю назад на странице еженедельного популярного журнала, только там он был в каске и при всех орденах.

Черты лица высокого военного, сидевшего в глубоком кресле, были как бы вырезаны из цинка. В них напрасно посторонний наблюдатель искал бы теплоты. Это отсутствие теплоты как раз и радовало Штарке. То, о чем он собирался говорить, требовало внимания сугубого и холодного.

— Ваше превосходительство почтили меня своим личным посещением. Я готов вам рассказать все. Каким временем вы располагаете?

Генерал посмотрел на брандмайора так, точно он взвешивал рассказчика и думал по его весу определить вес рассказа. Затем он заговорил как бы сверхчеловеческим голосом, и Штарке представилось поле, уставленное колоннами войск, конями и пушками, — его ноги на минуту приросли к полу, и холодок рабского преклонения пробежал по спине. Он положил сигару и слушал, не шевелясь, генеральские слова.

— Прежде всего я хочу знать, какие наблюдения привели вас к столь неожиданному выводу. Вы изложите мне весь путь ваших мыслей, не торопясь и ничего не забывая. Столь любопытный факт освежения военного оружия, само собой подлежащий строжайшей тайне, должен быть известен во всей полноте нам и никому другому... Международное положение напряжено до отказа, я говорю это вам открыто, и, может быть, этой весной, этим летом... Словом, я вас слушаю.

Штарке дал руке генерала спокойно лечь на валик кресла и встал. Генерал легким кивком головы вернул его в кресло. Штарке сел. Он много раз рассказывал о своих бесконечных пожарах и в дружеских компаниях, и на официальных докладах, но сейчас речь должна была идти не о том: речь шла о будущем, бурные волны которого уже подкатывали к его ногам, пена неизвестных дней взлетала до колен. Нужно было сосредоточиться и решиться войти в нее — это было страшнее, чем если бы он сейчас в одном сюртуке распахнул дверь, и вышел на мороз, и пошел бы к большому театру покупать билет на «Зигфрида». И он распахнул дверь.

— Вашему превосходительству известно, что я всего только брандмайор, скромный защитник имущества, страж частной собственности перед лицом бессмысленной сти-

хин, человек, который каждый день видит огонь, видит за месяц огня столько, сколько обычные люди не видят за всю жизнь. Огонь бывает разных цветов, разной силы, разного характера. Огонь — очень большой художник. Я видел, как он фантастически играет домами, обстановкой, людьми, прежде чем их уничтожить. Он выгибается и танцует, он марширует длинными желтыми рядами, он прячется, садится на корточки и ждет, он ставит западню. Я хорошо знаю лицо огня, и я всегда чувствовал в нем врага. Так, вероятно, рыбаки ощущают море. Я знаю силу, которую веду против огня. Я люблю моих храбрых молодцов, взвизгивающих в небо по свежесмазанной лестнице, я люблю водяные смерчи, и однажды при мне огонь по чистой случайности вылетел узким и длинным языком и свалил замертво моего лучшего штейгера Людвига Кубиша. После него остался сын Иоганн — умный, добрый мальчик. Я на всю жизнь запомнил этот десятиметровый язык огня и черный труп моего солдата. В ту ночь я не мог спать, я сидел до утра и курил. Утром весь пол был усыпан окурками сигар, но мысль, рожденная в этом дыму, была так велика, что я испугался, я прятался от нее в дыму, и утро застало меня на ногах, зеленого от изнеможения и все же радостного. Почему бы нам, сказал я себе, почему бы нам не заменить дорогостоящие артиллерийские орудия легкими брандспойтами, жгущими врага, почему нельзя заменить воду горящим маслом? Я представил наших храбрых ребят, выжигающих враждебную армию, как негодную траву. Я верю в бога, ваше превосходительство, и я гордый человек. Мне не пристало быть смешным и по чину моему, и по смыслу службы, и по пониманию долга. Но если всевышний вручил мне эту мысль, если он сделал меня проводником своего дела, мог ли я отказаться от идеи, правда вначале меня испугавшей? Вначале я отгонял ее как искушение, как дело, которое выше моих слабых сил, но мысль крепла и росла. Я сам не подозревал, какие длинные ростки она пустила во мне. И когда на маневрах мне приказали защищать форт всеми возможными силами, я не знал, что через десять часов боя я буду настолько во власти моей навязчивой мысли, что отдам приказ поливать наступающих водой. Я фантазировал. Я вел себя, как зеленый юноша. Они меня не поняли, я уверен, они приняли меня за сумасшедшего. Вы были свидетелем, ваше превосходительство, этого боя — и вы оправдали меня.

Генерал смотрел не отрываясь на покрывшиеся мелким потом фиолетовые щеки Штарке. Он не двигал руками, и они лежали, цинковые, холодные, серые, на валиках кресла. Он чуть нахмурил брови, когда Штарке запнулся.

Брандмайор продолжал:

— По вашему приказу я связался с людьми, которые мне были рекомендованы. Нет, мы не создали мира в шесть дней. Это заняло гораздо больше. Но я уже, как молитву, знаю закон моего аппарата. Легко воспламеняющееся масло выбрасывается под действием сжатого газа через брандспойт на глубину от двадцати до пятидесяти метров, в зависимости от силы и размера аппарата. Когда вы открываете кран шланга, масло загорается само, вырываясь большой струей, совершенно смертельной для человека. Мы жаждали начать опыты поскорей. Мы перебрали сотню сортов и комбинаций масла, сотни резервуаров, шлангов и брандспойтов. Мы давно оставили простую пожарную трубу, мы усовершенствовали образцы наших огнеметов, и тогда, к нашей великой радости, возник огнемет, страшный для врага и удобный для нашей армии. С каким трепетом мы приступили к первому опыту! Мы взяли десятки соломенных фигур, объемом в среднее человеческое тело, мы поставили их так, что они изображали атакующих. И когда я скомандовал: «Огонь!» — я был близок к обмороку. Напряжение наших бессонных ночей сказалось. Мне показалось, что если я скомандую «огонь!» и огнемет откажется действовать, то эти соломенные чучела с яростным криком ворвутся в форт и передавят всех, перетопчут и будут танцевать на наших останках. И — о, чудо! — огненные струи зажгли их все. Они горели, трещали, и смрад закрыл солнце, но он нам казался благоуханием. Я шел через скрюченные соломенные черные тела, они падали со штурмовых лестниц, они валялись во рву, я шел по ним, как жнец после убранной жатвы.

И тогда мы повторили опыт и позвали врачей. И они смотрели во все глаза, и я задал им только один-единственный вопрос: «Достаточно ли действие этого орудия, чтобы вывести из строя неприятельских солдат?»

И один из них засмеялся, а другой сказал, что ничего более ужасного он не видел в своей жизни, — и тогда засмеялись мы все...

Генерал чуть пошевелил плечами.

— Как вел себя рекомендованный вам инженер Мориц?

Штарке почувствовал неожиданную слабость. Он понял, что генерал недоволен его выпреним, слишком отвлеченным изложением и возвращает его на землю.

— Инженер Мориц, — сказал Штарке, — вел себя как примерный патриот. Он посоветовал мне употребить густое масло, синее масло — смесь каменноугольной смолы и каменноугольного масла, так как оно дает при горении очень хорошее пламя и очень большой дым, который запугивает врага...

— При помощи какого же газа вы бросаете огненную струю?

— Мы взяли азот. Кислород разорвал у нас четыре аппарата. Он негоден. Сжатый воздух тоже не представилось употребить. Наша мысль работала все больше и больше. Инженер Мориц жил в Африке. Он рассказал мне, как негры поджигают сухую траву и пылает вся степь. Когда пожар проходит, они подбирают и едят зажаренную в огромном количестве дичину. После этого я придумал новый вариант действий с применением огнемета. Местность, по которой проходит неприятель, перед атакой поливается горючим маслом, и когда ряды атакующих попадают на нее, мы начинаем поливать их огнем из огнеметов, и все вспыхивает, и мы делаем настоящие огненные ловушки, мы располагаем огнеметы по зигзагам, чтобы враг был охвачен со всех сторон. Трещащие, как саранча, тела неприятельских солдат — вот новая музыка боя. И, наконец, когда ударит исторический час нового Седана, ваше превосходительство, мы не забудем, что у нас в тылу могут оказаться лженемцы, будут социалисты всех мастей, пацифисты и революционеры, рабочие, которые выйдут на улицу с красными тряпками, чтобы воспользоваться нашими затруднениями. Представляете себе, ваше превосходительство, какие у них будут морды, когда они увидят перед собой прекрасно начищенную сталь моих огнеметов? После команды «готовься» улицы будут пусты.

В первый раз за весь вечер легкая усмешка протянулась по лицу генерала.

— Как называется общее боевое действие огнеметов в бою? — спросил он.

— Мы называли его «фанг» — Feuerangriff, огненная атака. Это хорошее слово — фанг, оно поясняет нашу мысль и служит предостережением.

— Держите ли вы дома что-либо из чертежей, относящихся к этому делу?

Штарке развел руками почти весело.

— Ни одной чертежной линейки. Все хранится, как вы приказали, в цитадели.

— Знает ли кто-либо, кроме вас, об этом? Ваша жена, племянница, прислуга?

— Знают в этом доме только двое: вы и я.

Генерал встал и прошелся по кабинету.

— Не кажется ли вам, уважаемый Штарке, — сказал он почти фамильярно, — что это один из маленьких эпизодов начала новой военной эпохи?

Штарке испытал неожиданный прилив радости. Это было не только одобрение — это была похвала, веская, как медаль. Он стоял, опираясь на стол своей фиолетовой, в буграх и жилах, рукой, и улыбался, сам того не замечая.

— Моя жизнь будет оправдана, — сказал он, как школьник, вспомнивший давно забытую пропись.

Генерал перестал ходить по кабинету. Он подошел к Штарке и, взглянув ему в самые глаза, положил руку ему на плечо и так стоял минуту. Потом он медленно снял руку, подобрал лицо, так что весь цинковый его профиль заблестал сухим жаром, и сказал:

— Верховный шеф армии интересуется вашими опытами.

Они сели снова в кресла и беседовали целый час.

В передней Штарке сам помог генералу надеть шинель. Генерал стоял как серьезный манекен, не понимающий шуток и не позволяющий себе шутить ни в каких случаях жизни. И, однако, он понутил. Он подманил пальцем Штарке к себе и, как бы колеблясь, стараясь придать словам наибольшую невесомость, сказал почти небрежно:

— Да, между прочим, ваша племянница должна прекратить знакомство с Эрнстом Астеном. Мы не хотим этой дружбы. И потом у нас есть сведения...

V

СЦЕНА У МОЛЬБЕРТА

Весенний город лежал под ним. В городе была весна. В окно с высоты пятого этажа это казалось убедительным. Там, в городе, стояли острые колокольни с добрыми

колоколами, добрые полицейские, указывавшие дорогу, там жили добрые граждане, пьющие и непьющие, автомобили дружески гудели, парки предлагали прогуляться в майской зелени их аллей, множество газет регистрировали добрую жизнь, в Пруссии добрыми топорами кое-кому рубили голову...

Эрна отвернулся от окна. Комната была завалена холстами, альбомами, папками, рисунками, кусками разноцветной бумаги и красками. Краски в тюбиках, краски на палитрах, краски, раздавленные на полу, краски на неоконченных этюдах ощущались им как некое недоброе, а потому дружеское, начало. Краски были неблагополучны, комната была неблагополучна, Алида была неблагополучна.

Самым неблагополучным и привлекающим глаз предметом был большой загрунтованный пустой холст, дышавший полной готовностью служить искусству, но не использованный мастером. Этот пустой холст, одинокий в своей жажде быть перевоплощенным, врезался серыми очертаниями в оживленную цветными пятнами комнату. Кроме того, он стоял на черном мольберте. Эрна смотрел на него, как на друга. Этот холст походил на его думы о будущем. Готовый характер ждал применения. В чьих руках были кисти и краска? В чьих? Эрна погладил шершавую ткань.

— Мне странно подумать, — сказал он, — что в такой весенний вечер два человека в огромном городе не могут ускользнуть от дурного государственного глаза. Я не хочу, Алида, чтобы за мной по улицам шагал человек, который не сможет сказать ничего человеческого, если я к нему подойду и спрошу: «Кто дал вам право следить за мной?» Я боюсь, что они вокруг заболели шпиономанией. Я не уверен, что там, внизу, меня не клянет за долгое отсутствие такой машинный слуга полиции, механически представляющий ноги и механически запоминающий мои движения. Это началось с того дня, с того вечера, когда ты устроила сцену дяде, и твое упрямство было странно наказано: я получил тень. Что они от меня хотят?

— Эрна, развеселись! Сейчас же развеселись. Это чепуха. Ну, на что ты нужен государственному глазу? А может быть, ты, постоянный ниспровергатель порядка и протестант, действительно делаешь бомбы из старых консервных банок, как русские или болгары? Тогда признавайся и покажи, как это делается, и я тебе раскрашу

эти банки под морские щи или под абрикосы. Ну, развеселись, посмотри, какой чудный гвардеец...

Она держала за край вытащенный из кипы рисунок, сделанный цветным карандашом. Рисунок не был кончен. Гвардеец в огромной каске рассматривал в гигантский монокль, нижний край которого поддерживался сухими бескровными губами, сидевшую на его лакированном ботфорте трехцветную козьявку. Замысел был не совсем понятен.

Тут Алида, вертя рисунок, принялась хохотать:

— Я вспомнила сейчас одного такого молодого офицера со странной фамилией Шрекфус; меня познакомили с ним зимою в одном доме. Он был здесь проездом, но его родственники живут недалеко от нас. Над ним все хихикали, но осторожно, и он смутился, когда нас познакомили. Мне потом рассказали причину его смущения. Он был из числа офицеров, которых когда-то на маневрах мой дядя облил водой с ног до головы, пустив в дело по привычке пожарных вместо солдат. Ты представляешь себе таких вылощенных, самодовольных, гордых воинов, мокрых как курица? Они все время говорят: «Железный крест, железный солдат», — но они могут заржаветь от душа моего дяди. Сознайся, что он временами не лишен юмора. Когда я представляю себе этого лейтенанта заржавленным, как гвоздь, мне всегда смешно.

— Алида, ну сядь, подожди, не смейся, не смейся... ну не смейся! Мне смертельно надоела эта военщина. Я никогда не буду солдатом. Меня освободили в свое время по болезни. Обидно, когда все смеются и не боятся анекдотов, из которых любой можно премировать за идиотизм. Этот Шрекфус, вероятно, любит говорить, как наши германские казарменные мудрецы, сто раз подряд, что сначала был бог-отец, а потом ничего, а потом кавалерийский офицер, а потом ничего, а потом его лошадь, а потом ничего, а потом ничего, а потом ничего, а потом пехотный офицер. О скудость воображения! Я ненавижу этот блеск начищенных сапог, эти звенящие шпоры, эти распыленные мундиры. Я, по-видимому, прирожденный герой из серии новопридуманных конфессионлозов. Я свободен от церкви, религии и государства. Тебе запретили со мной видеться. И здесь я уверен, что это работали они: я не знаю, но здесь не обошлось без этих высокобортных сюртуков. Они все мудрят, мудрят, обманывая всю страну. Мы ничего не знаем о их настоящей политике. Ну, к черту их!

У нас есть свои дела, и тут тоже надо разобраться, Алида. Ты уедешь, тебя посылают в Померанию посмотреть гусей и дюны, которых ты не видела с детства. Большое пренебрежение, не правда ли? Мой чудный профессор язвит со мной каждый день. Он говорит шутливо, как подобает разговаривать с субъектом пониженного развития. Он говорит: «Из вас выйдет плохой ученый, плохой статистик, вы слишком много лишнего пишете на полях, вы слишком много читаете между строк. Вам не хватает хладнокровия». Да, мне не хватает хладнокровия, и, кроме того, все запуталось.

— Эрна, я сама думаю целыми днями, к чему это приведет. Я плохая художница, но я верю, что в мире свободно только искусство. Один мастер сказал, что художник должен писать не только то, что он видит перед собой, но что он видит внутри себя. Если же он не видит ничего внутри себя, то пусть он бросит писать то, что перед ним. Иначе картины его будут напоминать ширмы, которыми скрывают больных, а иногда и мертвых. Сам же он, этот мастер, писал только чистые и холодные ландшафты. Он всюду в картинах — и в парках с видом на горы, и на берегу Северного моря, и среди поля ранним утром — помещал худенькую угловатую женскую фигуру. Она же стоит у окна его ателье, а в окно видна мачта корабля. И всегда она смотрит, только смотрит, так тихо и с таким уважением, что менять в природе нельзя ничего, и оттого, пожалуй, холод, нежность и грусть от сознания своей беспомощности. Конечно, наше искусство всегда как-то женственно, но все же свободно; если бы ты был художником, ты бы не чувствовал себя таким одиноким.

— Но, милая, они бы заставили меня рисовать и генералов, и то, что они хотят. Что искусство прекрасно, глубоко и, может быть, женственно — это правда, но что искусство не свободно — это тоже правда. Самое сильное рабство — ведь это и есть то рабство, когда ты живешь в нем и его не замечаешь. Тебе кажется, что искусство свободно, но ведь это тебе кажется, и это не выход. Не будем об этом говорить.

— Эрна, я не хочу потерять тебя. Я обманываю сейчас всех, начиная с дяди и кончая ближайшими друзьями. Наш Фольк, что так пышно говорит о Фра-Анжелико и о прерафаэлитам, заметил, что я изменилась, что я стала совсем другая, и он намекнул, что это твое влияние. Но изменилось и еще что-то. И не только у нас с тобой. В до-

ме дяди никогда не было столько военных, как сейчас. Ведь не сказки он рассказывает им, в самом деле?

— Пересмотрим еще раз все сначала. Я еду в Берлин, ты в Померанию, но через два месяца, когда ты вернешься, мы встретимся и тогда убежим на все лето в горы. Какая сила — горы. Какая это мощь — горы. Я не такой кровавый бунтарь, как это кажется иным. Мы убежим в горы. Ты будешь рисовать. Я буду лазить по скалам, вечером мы будем сидеть в чудесном горном кабачке, полном горцев, где висят олени рога, трубки и ружья, предметы, полные простоты и природной честности. Хозяйка приветствует всех входящих своим «grüss Gott», ставит каждому пиво, приговаривая: «На здоровье». Мы пойдем по снегам, по которым проходят только легкие козы, спускаясь с вершин, мы будем смотреть на громадные утесы, на ледники, мимо нас будут проноситься лавины, обдавая снежной пылью. Вся наша кровь, весь наш организм обновятся в этой изумительной ванне. Ведь здесь же можно задохнуться от отсутствия воздуха. Все пропитано тайным лихорадочным жаром. Недавно я встретил туриста, какого-то англичанина; он заблудился и спрашивал дорогу: он прекрасно говорил по-немецки, и мы разговорились. Он сказал: «Ах, какая чудная ваша страна. Мне нравится голова статуи Баварии: какая огромная, свободная от мыслей голова... С нее видны чудовищные горизонты...»

— Ты плохой германец, — сказала с досадой Алида. — Я все-таки из военной семьи, и так нельзя говорить безнаказанно. Мы все родились на этой земле и как-то это чувствуем. Ты испепеляешь все.

— Подожди, Алида, подожди, этот англичанин еще сказал: «Мне нравятся ваши колоссальные магазины, скупающие товары прогоревших мелких фирм, выбрасывающие на прилавок вещи, удивляющие добротностью и дешевкой. Я в восторге от вашего умения нажить марку на марку чисто домашним путем». Он сказал: «Мне нравится Рейн, он действительно как струя вина на закате, но лампы ваших бесчисленных генералов все же еще красивее. Больше всего мне понравился один памятник в Берлине. Там сидит на коне вверху, как полагается, император, и у ног его четыре льва. И первый лев обращен к Франции, он обнимает грудь трофеев и, воинственно облизываясь, глядит вдаль, второй лев самый тихий, он полузакрыв глаза, потому что смотрит на юг — Италия все еще союзница, потом лежит славянский лев, обращенный к востоку.

О мистер, какое это чудовищное зрелище! Лев яростен, как будто его укусил скорпион. Ему не сидится на месте. И четвертый лев, готовый к внезапному прыжку, не обижайтесь,— сказал он,— смотрит в нашу сторону, он встревожен. И его глаза глядят через наш канал — на Англию». — «Почему вам нравится это?» — спросил я. Он пожал плечами и дружески тронул мое колено. Я не отодвинулся, мне было все равно. «Почему мне это нравится? Потому что, по крайней мере, это откровенно». — «И вы верите, что эти львы прыгнут когда-нибудь все сразу?» — «Если захочет укротитель, а потом не забудьте, в каждой стране есть свои львы: они пока ищут блох, но это не основное их занятие». И он исчез в тумане, но какой туман, какой липкий туман остался после его речей. Алида, почему ты так смотришь?

— Я не понимаю тебя, Эрна: это мог говорить иностранец, но ты... разве все так просто? Ты же учил меня сам, что жизнь складывается из очень сложных частей. Я боюсь, что ты запутался. Я боюсь...

— Чего ты боишься, Алида?

Она взяла свой плащ и накинула на плечи. Она надевала шляпу.

— Я боюсь, что я много буду думать в Померании, и только тогда мне будет ясен конец. Сейчас я ничего не знаю.

— Ты не уедешь в Померанию,— сказал Эрна, побелев, как лунатик. Пустой холст насмеялся над ним своей готовностью служить, но где кисть? Где краски? Серый холст ничем не мог помочь.— Ты не уедешь...

— Этого ты не можешь запретить мне,— сказала она,— а потом посмотри на часы; вероятно, уже семь, скоро придет Адольф, ему нужна мастерская, и ты торопился сегодня вечером в библиотеку.

— Алида,— сказал он, но она остановила его.

— Милый Эрна, послушай. Мне кажется, что и тебе следует отдохнуть от тяжести многих мыслей. Ты, представитель германской интеллигенции, должен взять пример воспитания воли хотя бы...

— Хотя бы с лейтенанта Шрекфуса, ты хочешь сказать? С мокрого лейтенанта Шрекфуса, который хочет казаться сухим, всегда сухим, во что бы то ни стало сухим.

— Хотя бы да,— сказала Алида, покраснев.— Я думаю, что ты переутомил нервы, тебе всюду кажутся при-

зраки. Я не верю больше и в твоих сыщиков. А теперь пусти меня.

Они молча сошли по лестнице. Когда они вышли из подъезда, человек на соседнем тротуаре неловко надвинул котелок на глаза и начал искать спички в кармане. Сигара у него действительно не курилась.

VI

РАКЕТКА И ПУГОВИЦА

Когда Алида проснулась, первое, что бросилось ей в глаза, была ракетка, желтая ракетка для тенниса, висевшая на стене перед ней, схваченная тисками. Красноватые нити жил вспыхивали на солнце. Было уже поздно. В саду пели птицы. Горячий воздух чуть колыхал занавеску.

В ее глазах еще стояли пейзажи Померании, хотя прошел уже месяц, как она покинула ее. По ночам ее преследовали серые дюны, с развевающимися вершинами сосен, и огромные серые волны, бежавшие на широкие, унылые отмели. Над волнами иногда проносились яхты. Вдали висел дым пароходов. И если смотреть сквозь ветви сосны в серую слюду волны, то в ней разбегалось лицо. И это лицо никак не могло собраться в единое целое, всегда отсутствовала какая-нибудь нужная деталь. И это лицо было лицом Эрны Астена. Два моряка из яхт-клуба были по-разному похожи на него. У одного была его походка, у другого — глаза и подбородок, а может, это только казалось.

Алида села на кровати, рассматривая ракетку. Сон оставил ее голову и освободил глаза.

— Жила-была девушка, — сказала она, — девушка портила краски и заодно жизнь близким людям. Она не умела веселиться по-настоящему, и ей не хватало характера, а близким людям тоже не хватало характера. И так шло время, и никто не жалел девушку по-настоящему... Однако уже поздно, — сказала она.

Летний день жил за спиной этого загородного домика, куда она так счастливо убежала от городской паники. Какая безумная паника в городе! Неужели они все-таки будут воевать? Алида закрыла снова глаза. Она увидела вечернюю теннисную площадку, белые, мягкие, упругие мячи, летящие вверх и вниз, сухого рефери на белой ленте. Мячи летели все быстрее, люди кричали со скамеек,

она отбивала мячи, не уставая бегать между меловых квадратов, перед неподвижной сеткой. Потом подошел профессор Фабер и сказал своим веселым голосом, от которого всегда хочется съехиться.

— К вам очень пойдет костюм сестры милосердия, да, да.— Это сказал он, и белые туфли его блистали, как меловая бумага.

Дядя уехал в Берлин и уже неделю не возвращался. Профессор Бурхардт пишет из Италии жене, что изучает норманские замки в Сицилии и что ему теперь ясно, что влечение германцев на юг всегда было исторической необходимостью.

Эрна Астен — почему сквозь четкую решетку ракетки она не видит его лица? Только три коротких письма за все время. Нет, она не поехала в горы. Он в горах один. Он один наедине со своими ледниками, скалами, снегами, горцами, и он пишет, что он несчастлив. Конечно, он приедет.

Она идет мыться. Дача совершенно пустынна. Проходя, она распахивает окно в столовой. Перед окном на ветке сидит лазоревка. Сад совершенно пуст. Садовник копается где-нибудь на грядках. Старуха ушла на рынок. Бека оставили в городе. Он нездоров. К нему вызывали врача. Неужели они все-таки будут сражаться? Люди рвали газеты на улице друг у друга. Газеты заполнили все. Она садится у окна, пьет молоко и ест бутерброды по-гамбургски. Ее научили в яхт-клубе: ломтик белой булки, ломтик шведского хлеба, посередине масло и сыр.

Кто-то хлопнул калиткой. Она слышит поспешные шаги по хрустящему гравию. Бешеный человек срывает дверь на балконе, так что целую вечность стоит грохот. В серой померанской волне вырастает лицо. Алида залила руки молоком. Она бежит навстречу, и в комнате, пустой и залитой летним светом комнате, стоит человек. Он весь серый, он зеленовато-сер с ног до головы, как будто он стоит в волне дыма. Почему у него зеленая каска на голове? Так это же солдат. Что случилось, если солдат ворвался как ураган в дом и никто не знает, что будет дальше. Она смотрит в это лицо, на котором не хватает детали. Каска падает на стул, гремит, как маскарадная ненужная чепуха. Это Эрна, но у него нет волос на голове, он наголо обрит.

— Ракетка,— говорит она, сама не зная почему,— эти партии в теннис...

— Мы начали мировую партию,— говорит Эрн.— Я думал, что я тебя не найду, никогда не найду, что я умру на дороге. Мне дали отпуск на четыре часа, а уже прошло... Мне все равно, сколько прошло. Кажется, прошло три дня, пока я тебя нашел...

И тогда они больше не находят слов. Они их и не ищут. Она бросает руки ему на плечи, и ее волосы прижимаются к незнакомой одежде, и в грудь ее врезается пуговица, толстая пуговица, огромная пуговица с золотым орлом, обшитая толстым, зеленым, проклятым сукном.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

ФАНГ

Штарке никогда, даже в детстве, не любил леса, кроме того, он ненавидел деревянные постройки еще за то, что они сгорали при пожаре очень быстро, и все его знания и усилия старого борца с огнем были напрасны. Правда, лес, в котором он сейчас находился, мало походил на обыкновенный лес.

Прежде всего деревья не имели верхушек. Верхушки лежали на земле. Расщепленные гранатами стволы и разбитые ветви были, особенно на закате, печальны так, что при взгляде на них сжималось сердце. Они пострадали в самом деле ни за что. Местами огромные просеки образовались на месте, где плясали несколько часов подряд снаряды тяжелой артиллерии. Часть леса пошла на одежду окопов и на блиндажи. Кусты были перепутаны проволокой. Ни единая птица не пела, и не кричал ни один зверь.

Несколько тысяч людей притаились в лесу ниже поверхности земли, иные так и не подымались из своих нор. Вместо них на родину приходила узкая бумажка с кратким извещением: «На поле чести...» — но это было не поле, это был все же лес.

И в этом лесу стоял Штарке наедине со своей мировой идеей. Она была шире леса и выше самого высокого гранадера. Она наполняла душу Штарке особым пламенем, когда с наблюдательного пункта он смотрел в глубину леса и ждал той минуты, когда он, Штарке, станет народным героем. Колумб, на борту своего добродушного коры-

та, показался в сравнении с ним простоватым мужичком, который должен был обмануть голых дикарей, тогда как перед Штарке, на расстоянии пятидесяти метров, скрывались вооруженные с ног до головы враги кайзера, и он делает так, что они побегут, как стадо, забыв все и не рискуя сопротивляться. Америка Штарке — это путь в Париж, это конец войны, сожженной дотла. И войну сожжет он, Штарке, и никто другой.

Не так сильно ему верили в разных штабах, где сидели привыкшие ко многим головоломкам люди. Разве их чем-нибудь удивишь? А потом было столько неудачных изобретателей. Единственное оружие — честные гранаты, тысячи гранат, миллионы гранат, вот настоящие плуги, взрывающие поля войны. Нет, ему не верили до конца.

Штарке выпрямился. В темных квадратах леса сверкнули косые лучи, сошлись и снова сверкнули отдельно. Это вернулись разведчики.

В тесных впадинах перед бруствером у проволоки неслышно возились люди. Они старательно очищали узкое пространство от обломков, от груды сухих ветвей, от камней. Они сами не знали, зачем это нужно. Кроме того, их могли застрелить каждую минуту. Они привыкли за долгие месяцы войны к скотскому образу жизни — ползанию на четвереньках, лежанию часами на животе; они, как крысы, рыли землю, как собаки, прятали в нее свои припасы, как быки, бежали с красными глазами вперед, чтобы поднять на штыки все, что будет встречаться. Остывшие от постоянной грязной, тяжелой работы, от страха, не допускавшего других мыслей, они ползали сейчас между бруствером и проволокой и, стараясь не шуметь, работали.

— Помешает ветер, — сказал Штарке.

— Последняя сводка: сила пять метров. Это пустяки, — отвечал наблюдатель.

— Чтобы ничего не было перед бруствером, — сказал Штарке.

— Там осталось только двое убитых на проволоке, но это не мешает.

— Посмотрим ступеньки, — сказал Штарке, — никогда нельзя быть спокойным, пока не проверишь всего.

Он поймал себя на том, что волнуется больше, чем ему полагается. Они прошли по окопу и маленькими

электрическими фонарями нащупали ступеньки. Ступеньки были вырезаны тщательно и плотно. По этим ступенькам должны были его огнемечники найти дорогу к славе.

— Поправьте эту лесенку, здесь можно поскользнуться,— сказал он, и сейчас же саперы осторожно, напирая на лопаты, начали сглаживать неровности. Они обрезали торчавшие корни тесаками.

Несколько человек прыгнули в окоп. Земля сыпалась с их грязных плеч. Они только что, ползая между проволок, очистили проходы. Шинели их, замызганные и скоробившиеся, сейчас еще порванные о собственную проволоку, представляли целую многострадальную повесть.

Штарке не обратил на них никакого внимания. Люди в его представлении всегда были слишком мягким воском в опытных руках государства. И воску этого было много, во всяком случае, достаточно.

Тут он подошел к аппаратам. Закрашенные в защитный цвет, стояли детища его сердца и ума. Он погладил их. Он вспомнил, как несколько месяцев назад случайно попал в место расквартирования пленных. Вокруг него сидели и стояли французы, русские, бельгийцы, сербы, англичане. Низкие нары не могли вместить всех, и все же им всем хотелось лежать, и они лезли, как тараканы, набивая все щели, и, наконец, нары не выдержали. Постройка была возведена в безбожно краткий срок. Нары не выдержали и рухнули. Все народы Европы барахтались с ругательствами в общей куче. Они вылезали один за другим из свалки и мрачно потирали ушибленные места. Штарке равнодушно смотрел на них. Ни ругань, ни мучительные гримасы, ни стоны не могли его вывести из себя. Наконец из-под нар появился англичанин, и когда он встал, грязный, запыленный, мятый, он оглядел всю рухнувшую постройку и сказал язвительно (он скорее выплюнул, чем сказал), подмигивая на развал:

— Made in Germany.

Штарке погладил вторично холодную сталь аппарата.

Он не мог ответить иначе сейчас этому неожиданному воспоминанию. Что у него есть, кроме двух слов: кайзер и аппараты? Может быть, Штарке вообще не существовал? В дымном воздухе окопа среди людей-теней стояло нечто

в капитанских погонах, сосредоточенная энергия, воображение, обернувшееся предметностью, — он не замечал, как равнодушно смотрели на него из своих нор окопные люди, он видел только тьму леса, где иногда разноцветные молнии чертили один и тот же шифр: война, война, война.

Штарке и его свита осторожно курили сигары. Они прятали их, как новобранцы, в руку и закрывали рукавом. Сейчас эти сигары вошли в словарь войны, потому что при слабом свете их красновато-злых, раскаленных огрызков люди проверяли манометры. Коленчатые отростки азотных бутылей были серы и неподвижны и казались безобидными. Их могли найти мальчишки среди мусора и поиграть ими. Здесь они были на положении мировых статистов. Малейшая неисправность сгубила бы всю их карьеру.

— Сверим наши часы, — сказал Штарке.

Красный блеск пробежал по шести стеклам и удостоверялся в одинаковом положении всех стрелок. Все стрелки, как одна, держали свой путь, но когда Штарке пыхнул снова своей сигарой, она вырвала из ночи белое пятно, на котором стоял красный крест.

Красный крест был ни при чем; он был даже не совсем приятным намеком. Человеку с таким знаком нужно было сказать что-то начальственное, чтобы он не загордился своим одиночеством и независимостью от начальства.

Сигара исчезла, прикрытая рукавом, и Штарке спросил санитарного унтер-офицера:

— Если брызги холодного масла попадут в глаза...

— Так точно, мазь от ожогов и кокаин...

Штарке стоял против огнеметчика. Сколько труда он положил на этих людей, рабочих и служащих, не подозревавших за всю свою мирную жизнь, что они понадобятся мрачному изобретательству Штарке. Сколько он положил труда, чтобы сделать из них нерассуждающих, забывших иные привычки рабов огнеметных аппаратов... Не всегда это удавалось. Высокий солдат стоял у блиндажа, вытянувшись, как будто его подвесили за воротник на крюк.

— Лейтенант, — сказал Штарке, — проверьте вооружение.

Лейтенант направил свет фонаря на чье-то посеревшее

лицо с водянистыми глазами. Лицо не входило в вооружение. Оно было совершенно безоружно перед этим желтым лучом фонаря и черными руками своих повелителей. Лицо было нейтрально. И это взорвало лейтенанта. Как на аукционе, сопровождая тихое ворчание невидимыми ударами молотка, лейтенант выкрикивал про себя, на самом деле он спрашивал вполголоса:

— Котелок...

Котелок висел сбоку, он показал свой выгиб и кольцо и уступил место брандспойту с рукавом.

— Мешок для инструмента на шейном ремне...

— Мешок...

— Один комплект прокладок...

— Прокладки. Так.

— Клещи для труб...

— Клещи.

— Кольт.

— Кольт.

Лейтенант перенес свет.

— Сумка на портупее. Откройте сумку.

Солдат исполнил приказание, оставаясь напряженным. Он чуть не качался от напряжения. Впрочем, он мог качаться и от усталости.

— Запасная вилка зажигателя,— сказал лейтенант,— покажите зажигатели. Что вы с ним сделали? Он сырой?

Штарке вздрогнул. Солдат закачался, как будто его удурили.

— Я сидел в блиндаже,— сказал он.— В блиндаже, господин лейтенант.

— В блиндаже, будьте вы прокляты, вы сидели в воде, черт возьми! Сейчас же перемените зажигатели. Идите сейчас же!

— Фамилия? Его фамилия? — задыхаясь, пробурчал Штраке.

Солдат обернулся.

— Ганс Немландер.

— Лейтенант, когда кончится бой — лейтенант, мы проверим всех после боя и всех таких в пехоту, обратно в пехоту, к черту!..

Штарке вспотел при мысли, что со всеми зажигателями может произойти то же самое. Тогда он положит свое брюхо на французскую проволоку и умрет. Высочайший

шеф армии интересуется этими опытами... Высочайший шеф — ради этого стоит умереть...

— А факелы...

Факелы были тут же, факелы стояли в стойке. Солома, окрутившая палки, была суха, действительно суха. Штарке смягчился. Он осматривал людей поодиночке. Все было в порядке. Порядок мог быть лучше, но тут уже ничего не поделаешь.

«Огневая струя состоит из горящего масла и горящих масляных газов...» — пронеслось в мозгу.

— Соберите людей,— сказал Штарке.

Команды стояли на второй линии, их было совсем немного. Штарке сказал несколько слов. Собственно, говорить не стоило, но устав предписывал разговоры. Душа Штарке не имела, кроме устава, никакого символа веры.

— Солдаты,— сказал он,— бодрость, бодрость прежде всего. Вы, спортсмены войны,— вы должны стать чемпионами. Бейте их в глаза, сожгите им морду, смотрите, чтобы не было протечки масла, помните команду «стой», останавливайтесь сразу, не зарывайтесь, наше дело — дело чести. Через заградительный огонь несите во что бы то ни стало, во что бы то ни стало огнеметы. Вперед, вперед, вперед!

Солдаты стояли, как отобранные к закланию молодые быки. Они здоровые ребята, они пронесут огнеметы через заградительный огонь. Они спортсмены — пусть будет так, в чем дело? Этот пожилой человек мог говорить все, что приходило ему в голову. Это ведь не меняет дела. Дело состояло в том, что нужно выйти из окопа и поливать первый раз в жизни людей горящим маслом. На празднике в деревне, конечно, бывает веселее, чем здесь, но там не увидишь такого зрелища. Кроме того, за это могут дать отпуск или бело-черную ленточку. Попробуем!

Штарке ощутил прилив нежности. Он отыскивал на дне своего сурового сундука красноречия особые слова, которые, несколько заикаясь, сошли с его языка. Ему захотелось приласкать этих людей, как будто он стоял перед пожаром, перед огнем, куда лезут его пожарные, и лучший штейгер уже погиб.

— Ребята,— сказал он,— вы получили сегодня колбасу, да, правда, хорошую колбасу, вы получили сегодня сигары и какао, вы получите завтра славу, которую еще никто не имел. Бодрость, бодрость, прокричим в душе трижды верховному шефу армии «ура».

Кричать было нельзя. Кричали ли в душе солдаты «ура» — Штарке не сильно беспокоило. Он верил, что они кричали. Что они съели колбасу, выпили какао и выкурили сигары — это он знал. То был особый паек для невиданной специальности.

Штарке протянул руку к каске и резко опустил ее. Ходы сообщений поглотили людей. Штарке долго курил сигару. Часы на руке выросли в огромный циферблат, качавшийся и стучавший на весь лес. Легкая перестрелка часовых проходила через него полетом одиноких ос.

Стрелка качнулась и замерла.

Пора!

Это могли сказать сотни людей одновременно. Светящийся снаряд прошел по лесу и, расхлестывая мрак синим светом, сгорал, обкуривая пространство. И сейчас же люди устремились вверх по ступенькам. Сквозь лес шли облака, через которые с белым свистом летело горящее масло. Оно горело на блиндажах, на ветвях, на столбах с проволокой, на пулеметных гнездах, оно горело на шинелях, на винтовках, на шлемах, шипя и свертываясь.

Раскаленные струи настигали врага на бегу, и уже горели мясо и кожа, и уже лопались глаза и жилы. В лесу поднялся вой, сквозь который шел Штарке, непоколебимый выходец из легендарных саг. Сага разворачивалась перед ним. Его огонь сжигал все. Западня действовала. Ослепляющие струи текли безостановочно. То они взывали вверх, то, переменяв цель, сбоку ударяли по неприятелю, ночь ожила вспышками гранат и гулкими ударами, непонятными, как все в ночном бою. Западня захватила врага врасплох. Однако враг пробовал еще стрелять без прицела, с отчаяния.

Перед Штарке упал огнеметчик, сраженный, видимо, в голову, так как он поднял руки и не донес до лица. Из пробитого пулей аппарата вытекало масло. Горящий аппарат, казалось, корчился на земле, извергая живые внутренности. Штарке нагнулся и закрыл кран. Он стал легким, как самый молодой солдат его роты.

Огонь жег лес, людей и все препятствия. Враг или умер, или был от страха, закрыв глаза. Люди закрывают глаза, они больше всего боятся потерять глаза, они до конца хотят видеть все.

Пехота бежала рядом с огнеметчиками. Штарке соскочил в окоп. Это был французский окоп. Под бруствером и над бруствером лежали люди, но они не были людьми. Они были теми черными обугленными мешками, соломенными куклами, в какие играл Штарке, когда его огнемет переживал первые огненные дни юности.

Вокруг Штарке бесновалось масло. Казалось, оно только и ждало этой ночи, — всю свою долгую жизнь бок о бок с человечеством оно ждало этой ночи, чтобы прыгать, свистеть, жечь, истреблять. Надо было подавать отбой. Надо было не давать изнеможеть этому могучему потоку.

Наверху, над окопом, появился человек, и три струи обдали его, как таракана. Он завертелся на месте, стал подпрыгивать, и пламя крутилось на нем, точно щекотало его со всех сторон. Человек скакал на одной ноге, и при свете горевшей одежды видны были его горевшие волосы и черный лоб, широко раскрытый рот, беззвучно захлебывающийся от горя. Человек пропадал. Вдруг он начал трещать, как хлопушка. Огонь дошел до подсумка, который он не сумел сбросить. Подсумок вспыхнул, подсумок взорвался, пламя взметнулось к лицу человека, серому, как пемза. Взорвался второй подсумок, и человек свернулся, как бабочка, долго кружившая в ламповом стекле и наконец упавшая пеплом.

Гренадеры с гранатами в руках стояли у входа в блиндажи и предлагали сдаться оставшимся в живых. Бой был кончен. Аппараты гасли один за другим. Французские пушки били по окопам, и снаряды швыряли обугленные тела, ставя их на голову, перевортывая и разрывая на куски, чтобы убедиться, что действительно произошло нечто необычайное. И тогда начали приводить пленных.

Мимо Штарке прошел толстый французский сержант, кровь текла с него, как с барана. Он твердил одну и ту же фразу:

— Так воевать — это дерьмо, это дерьмо, как это называется...

Штарке остановил его и взял за руку.

— Это называется фанг, — сказал он.

Но француз скинул его руку и пошел вперед, обливаясь кровью, твердя все одно:

— Так воевать — это дерьмо, это дерьмо, как это называется...

Это не было простой попойкой, собственно говоря, это была вовсе не попойка. Офицеры частей особого назначения сидели на разрушенных диванах и на уцелевших стульях. И посреди них возвышался Штарке. Он возвышался, развернув плечи, и серые брови его, и загорелые до полной багровости щеки, и неподвижность фиолетового подбородка, и тяжелые, медленные движения рук делали его похожим на нечто богоподобное. Такое богоподобное существо из военной мифологии пило большими глотками вино, потому что оно имело право пить.

Вино было завоевано, ночь была завоевана, кресло, в котором он сидел, было завоевано. Это называлось жизнью, другой не было. Стаканы стучали. Все пили, крича.

— Тысяча четыреста пленных, два полковых командира, шестьдесят восемь пулеметов.

Под лейтенантом сломался стул, но он пересел на ящик с санитарными принадлежностями. Он не упал.

— Четырнадцать орудий, склады ручных гранат.

Все топали ногами от удовольствия. Штарке разбил стакан об пол. В его глазах сиял четырехугольный огненный загон фанга. В этом слове было даже нечто восточное, китайское. Можно было изогнуть это слово в огненного дракона, испечелявшего все живое. Только этого и хотел Штарке. Но сегодня он был великодушен. Он мог делиться победой.

— Слава пехоте, — сказал он, — слава кротам, роющим вражескую землю. Слава артиллерии, кроющей их с перцем... Шеф армии...

Все вскочили и пили стоя. По темным лицам ходило пламя керосиновых ламп и фонарей, висевших на веревках. Трехцветное пламя делало каждое лицо трехцветным: красным от загара, черным от возбуждения и пятнисто-золотым от вина. Штарке был багров, как никогда.

— Последнее донесение французов, — закричал человек с перевязанной рукой, — пресвятая дева и святая Елизавета ранены шрапнелью... Плевал я на этих баб. Пророки валяются в обломках. Да здравствует святая Берта и ее сорок два сантиметра, хлопающие их по боку. Колокола слетели к чертям. Святой Ремигий сбежал — от него не нашли следа. К черту все соборы! Пьем здоровье артиллерии!

— Они засовывают своих наблюдателей во все дыры. Все дороги кишат их шпионами. Они добивают раненых. Отравляют колодцы.

— Резервуар с маслом, шланг и брандспойт очищаются сырым бензолом,— сказал Штарке,— дорогу огнемету, пришли новые времена...

Денщики и вестовые, серые большие обозные лошади, убирали битую посуду с ящиков, изображавших стол.

— Прошу слова,— сказал лейтенант, его скулы ходили от возбуждения. В клубе гольфа он считался лучшим оратором. Он был возбужден так, что мог взлететь над столом от возбуждения.

— Слово лейтенанта Геринга...

— Лейтенант Геринг...

— Пришли времена, о которых мы мечтали, играя в гольф, мы, в сущности говоря, играли все время в войну. Капитан Отто фон Штарке, украшение германских специальных войск, начал величайший матч огненного гольфа. Подымаю тост за открытие новой эры, за французскую партию капитана Штарке.

Он шагнул и зацепил шпорой рваный ковер. Серый, как лошадь, вестовой нагнулся и освободил его ногу из западни.

Стаканы наполнялись. Трехцветные лица уже походили на флаги, раскачивающиеся на выступах балконов, флаги, встречающие победителей. И тогда все слышали шум. Шум шел с улицы — от открытых пространств, из ночи, за разбитым домом, в котором они сидели, не снимая пинелей, обвешанные оружием. Они вышли толпой на улицу.

Хлестал дождь. Дождь хлестал уже много часов. Они его не замечали. Отдыхающий имеет право не замечать ничего. Теперь иные из них, с радостью раскрыв рот, ловили воду, чтобы освежиться.

Перед ними шли войска. Тесными рядами, не в ногу шагали солдаты, солдаты, солдаты. Никого, кроме них, не было вокруг. Дождь пробил их насквозь, он стекал со лбов, он шел тоненькими струйками вдоль спины по голому телу, он забирался в вещевые мешки сквозь незаметные отверстия, он уже шипел в сапогах, он расстилал лужи перед ними, он бил по глазам. Мокрые руки держали мокрые винтовки, мокрые груди вздымались отвратительным кашлем или проклятьем.

Месиво мокрых человеческих тел, стремившихся мимо с неотрывностью лунатиков с закрытыми глазами, спотыкавшихся, было бесконечно. Точно море вернуло всех утопленников, и они, сплоченные общей гибелью, не могли оставить друг друга. Огромные сапоги, огромные шинели, огромные каски, казалось, сами тащили легкий студень человеческих тел, вещи завладели этими людьми, их повертывал уже не голос команды, а свисток. Бинты висели на шеях, на головах, руках и ногах. Дождь размыл их и превратил кровь, вату и марлю в холодный каркас, плотный и мучительный. В рядах шли легкораненые, оставшиеся в строю. Люди сквозь зубы сплевывали кровь. Грязное бурное небо над их головой резали холодные пилы прожекторов, и тогда дождь еще сильнее набрасывался на идущих, точно находил недостаточно мокрые отряды. Люди текли безостановочным потоком, и если смотреть им на ноги, то откуда-то со дна души подымалась тошнота.

Лейтенант Геринг, возбуждение которого требовало выхода, закричал в эту ночную, дикую армию привидений:

— Да здравствуют баденцы!

Никто не ответил, никто не оглянулся. Дождь заглушил крик. Геринг и другие кричали поочередно, как иступленные:

— Да здравствуют вюртембергцы, баварцы, саксонцы...

— Да здравствуют пруссаки, ганноверцы, гвардия...

Они кричали как помешанные в лицо проходящим, и у этих проходящих действительно было одно лицо, изможденное, серо-зеленое, мокрое лицо с глазами, ушедшими внутрь, как бы спасающимися от дождя. Возбуждение при виде этих молчаливых фигур, загрозивших ночь, бесконечность их мрачного шествия, переливавшегося, как поток, из улицы в улицу, между развалин и воронок от снарядов, доводила компанию Штарке, как игроков, только что вышедших из азартной игры и ставших свидетелями чужой азартной игры, — до неистовства.

Худощавый, дрожащий от холода офицер подошел к ним.

— Все, что осталось от Шрекфуса, — сказал он, как бы вынимая откуда-то издалека свое имя, — нет ли у вас папирс?

Шесть портсигаров щелкнули ему навстречу. Он взял папиросу и держал ее, не закуривая. Его задевали проходившие, он не обращал внимания. Он дышал, как лошадь, идущая в гору, и пальцы его дрожали. Струйки воды выбегали из рукавов шинели.

— Из всей роты осталось тридцать шесть человек, семь рядов проволоки, волчьи ямы.

Его не слушали, он говорил сам с собой, он подводил итог, не думая: проволока, проволока — по двадцать человек в каждом ряду.

Папироса вспыхнула и с шипеньем погасла. Мрак около его лица сгустился. Он бросил папиросу и пошел дальше, и ноги его тонули в грязи почти до колен.

Серые стада людей все двигались и двигались. Иных поддерживали товарищи. В интервалах хлюпали лошади. Всадники, закутанные в стального цвета плащи, старались не шевелиться, зная, что единственное сухое место в мире — это седло. Ниже седла начинался океан. Противно было касаться мокрой гривы, мокрого повода, собственных рук.

Штарке смотрел поверх их, туда, где была только тьма, которую резали белые пилы прожекторов. Перед его глазами ходили ослепительные гибкие шупальца огнеметов. Вражеские пророки валяются в обломках. Вчера ликвидировали деву Марию, парижанку с черными волосами и маленьким французом на коленях.

— Огнемет, господа.

И все повиновались ему. Вся толпа пошла закоулками под дождем. Он вел ее, как хозяин ведет гостей показать свое поместье, он шагал, как пророк, по завоеванной земле — показать меч, покаравший ничтожных.

Часовые стояли размокшими грибами. Было странно, что винтовки сохранили какую-то твердость в этой жидкой, как месиво для свиней, ночи.

Дежурный с воспаленными глазами рапортовал, держа перчатку у каски. Он мог держать ее целое столетие. Штарке наслаждался этой изогнутой мощной рукой. Фонарь держал вестовой. В глубине старинного парка спали огнеметы. Он знал их наизусть.

— Огнемет номер десять, — приказал Штарке, — пробное испытание.

Дождь не переставал. Казалось, что деревья выйдут из почвы и упадут на жидкие стены домов. Огнемет стоял под деревянным навесом. Он жил, как холостяк на даче,

в маленьком сарае. Команда выстроилась у огнемета. Толпа офицеров переступала с ноги на ногу. Вино переставало греть. На шпорах висели комья грязи.

— К огню — готовься, — командовал Штарке.

Люди или привидения переместились, словно в балете. Бурная чернота ночи колебала пустынный парк. В такую ночь можно делать все. Человечество не имеет голоса в такую ночь. Где оно? Да есть ли оно вообще, это человечество? В тех серых толпах, переливавшихся сквозь ночь, нельзя было различить старых и молодых, умных и дураков, артистов или рабочих, все они были одинаковы. Ими правил свисток. В интервалах шли лошади. Проектора указывали места их смерти. Никто не верил, что ночь кончится. Тьма лежала по горизонту.

— Смирно, — командовал Штарке, — огонь!

Круг дыма взлетел вверх и ушел вперед. За ним последовала трещащая, сильная, как кулак, толстая огненная жила, рассекавшая пространство. Острие этой жилы, светясь в черном дыму, как тысяча раскаленных проволок, вонзалось в деревья, они шипели, покрываясь смертельными ожогами, кусты трещали, в ночном мраке открывалась трещина, пробитая страшной струей.

— Стой! — Голос Штарке дошел до черных манекенов у аппарата. Огонь погас.

— Держатель освободи!

— Продуй...

Лейтенант Геринг, лучший оратор в клубе гольфа, больше не ощущал действия вина, но он забыл и все речи. Нервная лихорадка перебирала кости. Губы его, плотно сжатые, старались удержать стук зубов.

— Князь Тьмы, — сказал кто-то за его спиной.

Штарке усмехнулся. Он уже знал, что это прозвище идет за ним через штабы и обозы, через вокзалы и сборные пункты, через окопы и блиндажи; оно было как светящийся транспарант, оно нравилось Штарке, он сделает его своим знаменем.

— Устрашая врагов, иди к победе, пусть им останутся только глаза, оплакивать свое поражение. Глаза останутся, ведь они всегда закрывают их руками, когда на них летит его пламя, пламя Штарке.

Чтобы согреться, офицеры поспешно и громко говорили:

— Да, это изобретение...

— Я бы не хотел быть французом.

— Тысяча четыреста пленных, четырнадцать орудий в пять минут.

— Нужно делать полки этих игрушек, тогда дело пойдет по-настоящему.

— А если у них?

— Что у них?

— А если и французы?..

— Они... они не успеют обернуться, как все будет кончено.

— Дежурный, — сказал Штарке, — я забыл — Ганс Немландер.

Поднятая рука в перчатке, могуче изогнутая, замечательна. Символ дисциплины и порядка. Она может висеть у каски целые столетия, но два пальца перчатки пусты.

— Так точно. Ганс Немландер не может быть откомандирован в пехоту. Он убит третьего дня.

III

КНЯЗЬ ТЬМЫ

Князь Тьмы! Сколько уже недель работают его огнеметы, сколько уже цифр прибавилось в донесениях, сколько обугленных трупов, закопанных в воронках и окопах, в глубине пулеметных гнезд, среди разбитых бревен, среди лисьих нор — но ведь это только начало. Этого мало. Мысль Штарке работает днем и ночью и только в одном направлении: чего они медлят, эти штабы? Почему они всегда, всегда тормозят, не верят, сомневаются, эти господа? Париж был бы давно в немецких руках, выход на Ла-Манш — тоже. Англия была бы сломлена, если бы они поторопились, но они никогда не торопятся.

Эти люди, кажется, гордятся своей медлительностью. Они как будто ждут, что у него появится соперник, человек, который отобьет его славу, его труды. На что они вообще надеются — на то, что французские заводы остановятся, на то, что Англия испугается своего будущего и пойдет на мировую, — нет, они положительно непонятны.

Мотоцикл отлетел в сторону, чтобы пропустить грузовик с мотками проволоки. Проволока свешивалась с него, угрожая во все стороны рыжими иглами. Они затягивают всю армию в этот колючий корсет, они роют землю днем и

ночью, они выпускают тысячу снарядов, чтобы вырвать у врага несколько метров, на которых трудно дышать от poisonous газов и необрушенных мертвецов. Нет, они положительно делают не то.

Майор — уже майор — Штарке приподымается в каретке. Тяжелый мотоцикл лавирует между развалин и останавливается, недовольно треща. Большой зеленый бенц со штабным значком зарылся в край воронки передними колесами и не может выбраться. Десяток солдат потеет около него. Мотоциклист останавливается — прохода нет. Штарке смотрит на вылезающих из бенца людей с ненавистью.

— Всегда поперек дороги, всегда поперек дороги...

В группе офицеров в новеньких блестящих плащах, в ослепительных гетрах, в группе этих сытых красавчиков, вырабатывавших годами решительное выражение лица и надменность поступи, глубокомысленные морщины и снисходительную улыбочку, он видит штатских.

Они тоже таскаются на фронт. Читать лекции. Смотреть и умиляться на вшей, на солдатские бордели, на окровавленные бинты, на свежих официальных героев.

Майор Штарке лишается спокойствия, бенц кричит под дружным натиском серых рабов, стоящих по колено в воде и в грязи. Один из штабных недовольно смотрит на часы.

— Мы опаздываем, профессор, — говорит он человеку с круглым симпатичным лицом, такому милому весельчаку, которому на фронте только и дело, что разъезжать в штабном автомобиле и завтракать в штабе. Может, это представитель нейтральной державы? Тогда его нужно облизывать со всех сторон, чтобы к нему не пристало ничего мрачного, ни одной кровавой пылинки.

Тот, кого называли профессором, смотрит сквозь автомобильные очки зеленоватыми глазами в зеленоватое небо и пожимает плечами.

— В крайнем случае мы пересядем — мы сейчас устроим.

Штабной оглядывается с чрезвычайно умным видом.

— Профессор Фабер смог бы воспользоваться мотоциклом, — говорит бритый под англичанина офицер, указывая глазами на Штарке.

Штарке не слышит этой вопросительной фразы. Он презирает штатских сейчас, как никогда. Он вы-

ключает слух. Профессор подымает на лоб автомобильные очки.

— Сколько времени займет эта операция с нашим автомобилем? — спрашивает он.

— Фельдфебель, сколько времени вы будете копать-ся? — кричит штабной.

Лицо старого служаки сосредоточивается, точно его сейчас ударят. Он накидывается на своих серых рабов, и те бросаются из последних сил, без крика, пот выступает под перепрелыми шинелями, они существуют сейчас только для этой машины, для этой лужи, для этой группы штабных — потом им скамандуют «вольно», потом велют разобрать винтовки.

Они выкатывают бенз на дорогу, шофер садится на свое место, и его меховые перчатки ложатся на руль. Все в порядке. Штаб снова на колесах. Он проносится мимо Штарке. Штарке надолго запоминает профессора Фабера, забывшего опустить автомобильные очки.

IV

БАЛЛОНЫ

Стрелки в узком ходе сообщения прижались к стенкам, чтобы пропустить тяжело дышавших, ежеминутно спотыкавшихся людей, тащивших непонятный груз. По-видимому, эти люди тащили свою ношу давно и держали путь к первой линии. Стрелкам сначала показалось, что несут труп, потом, что несут снаряд, и они удивились, что таким образом происходит невесть зачем доставка снарядов в полной тьме, и каких огромных снарядов.

Люди тащили на палках загадочный металлический баллон, и мутное дыхание их с хрипом и задущенным кашлем показывало, что груз не легок.

— Что это такое, эй, товарищ? — спросили стрелки, но тащившие мотнулись вперед и, шатаясь, исчезли в темноте. Навстречу стрелкам шла следующая пара, тащившая на палках точно такой же снаряд. За ними двигались на недалеком расстоянии еще другие. Казалось, темнота рождает этих носильщиков неизвестного по странному и причудливому капризу.

Стрелки стояли затаив дыхание, а люди с баллонами все шли и шли мимо них. Стрелки насчитали уже двадцать

четыре баллона, и шествию не предвиделось конца. Ничего подобного они не видели за всю окопную жизнь.

— Товарищ, что это за чепуха? Чем они набиты?

— Морковным мармеладом,— сказал один мрачный посильщик, отирая пот рукавом.

— Почему я знаю, мы сами не знаем,— сказал другой, повеселее,— я думаю, что мы так дотащим как раз до Парижа, если не сдохнем раньше.

— Что за часть? — спрашивали стрелки.— Уже сорок третий баллон.

— Штрафная рота, арестанты, пулеметное мясо,— почти громко ответил остановившийся солдат, прислоняя баллон к стенке узкого хода.

Стрелки тихо свистнули.

— Пулеметное мясо мы сами,— сказали они, и уже злоба начала просыпаться в них на это замогильное шествие, на дурацкую остановку, на этот узкий ход, не позволяющий разойтись; вылезать на край никому не хотелось. По небу бродили прожектора, и всякий знал, что это значит.

Товарищ солдата, назвавшего себя пулеметным мясом, тоже прислонился к стенке, несмотря на то, что к нему уже приближалась новая пара.

— Не пойду,— сказал он. За воротник ему сыпалась земля, но он испытывал громадное удовольствие отдышаться, вытянувшись, стоя после длинного перехода, где он шел, согнувшись, как обезьяна.

— Астен, не глупи,— сказал его товарищ,— подымай-ка палку, пойдем дальше; если нас затрет и мы загремим, что будет?

— А если пуля ударит в этот сволочной баллон, ты думаешь, мы уцелеем?

— А что в нем — черт его дери, он весит, по-моему, сто фунтов; если он трахнет, тут, я думаю, будет пахнуть жареным мясом на целый километр. Идем, идем.

Они двинулись дальше в темную ночную жизнь бесконечных ходов, изломанных, нырявших то в глубину земли, то выводивших к черным постройкам. Скудно освещенным, где прятались люди. Они шли дальше.

Ране временами казалось, что он спит. Он на ходу впадал в самое призрачное забытие. Он чувствовал тяжесть груза и палку на плечах, ноги его передвигались, но тьма залезала в рот, глаза, уши и прекращала всякое человеческое движение, всякую человеческую мысль. О чем можно

думать в таком мраке, задыхаясь от усталости, с испаряющимися руками, побитыми ногами, головой, переполненной усталостью?

Его запрятали в штрафную роту, сохранив за ним право открытой ненависти по отношению ко всему, что он видел. Он знал, что люди штрафной роты в глазах командования — материал, от которого нужно избавиться в первую голову, но избавиться с умом. Ночная тайна баллонов, однако, не была им угадана. Да и никто, кого он ни спрашивал, не мог сказать, в чем дело. Многие думали, что это что-нибудь взрывчатое, вроде мин.

Прошедшая жизнь его осталась где-то в другом веке, в другой стране. Грязный, всклоченный, загнанный в черные ходы земляных лабиринтов, голодный, низведенный до животного, он не мог бы сегодня возразить профессору Бурхардту с книжной горячностью увлекающегося молодого человека. Он мог взять в свой карман кусок этой земли, искрошенный лопатами и динамитом, перемешанный с кровью и костями, и принести его в подарок профессору на его званый ужин, когда он будет доказывать, что все благополучно, — конституции государств совершенствуются.

Он ударился о забытую шанцевую лопату, которая разрезала ему штаны и провела глубокую борозду ниже колена. Боль не показалась ему острой: одним шрамом больше, одним меньше, разве в этом дело?

— Алида, — сказал он почти вслух и ощутил всем существом неведомое чувство того последнего страха, от которого трезвеет голова и ноги делаются ватными. Он еще не видел ничего, а уже дыхание остановилось и жила на виске выгнулась такой дугой, что он услышал, как она набухает кровью. Товарищ его, как будто он передал ему свое ощущение, нагнул голову и закрыл глаза, не выпуская, однако, палки. И тотчас же белое пламя выросло где-то вблизи, и дикий удар расколол ночь. Внутри белого облака прошли синие с красным полосы, и черный, чернее ночи, косой столб упал с таким скрежетом, что свело челюсти.

Они очнулись, когда их толкнули сзади; они побрели вперед и снова втянули головы, потому что черный столб возник теперь справа, и один комок грязи лег поперек лица Эрны, как след мокрой линяющей черной перчатки. Эрн размазал грязь, и они пошли дальше.

Теперь остановились передние, как будто им приказали остановиться. У развороченного перехода скопилась целая вереница носильщиков. Прожектор шел на них, немолимо разворачивая свою широкую белую пилу. Прожектор дошел до них. Люди застыли. Лица стали меловыми. Руки посинели, точно их опустили в спирт. Тусклый блеск баллонов покрылся морозной корой. Щеки у людей ввалились. Кто-то заплакал от страха. На него цыкнули. Люди стояли неподвижно. Прожектор обшарил лица, задержался на баллонах и резко ушел в сторону. Люди потащились дальше. Но едва они прошли несколько десятков шагов, как с веселым свистом в небо вышла ракета. Она шла, набирая высоту, все выше и выше острым рубчатым огоньком, потом остановилась, лопнула, и на белых трёх нитях повисли три маленькие луны, и эти луны начали превращать ночь в день. Им это удалось на такой промежуток времени, что можно было умереть от разрыва сердца.

Луны красовались над полем мертвых, потому что люди стояли, как прислоненные к стенам мертвецы. Никто не дышал. Эрн царапал землю свободной рукой, и земля была мертвая, холодная, безотрадная.

Луны погасли. Шествие все продолжалось. Мимо них протиснулся человек, глухо шептавший:

— Осторожней, осторожней, шире расстояние, последние шаги, нагнитесь; передавайте назад, чтобы шли тише, как можно тише.

Ходы стали разветвляться. У каждого разветвления стояли ожидающие люди. Они указывали дорогу дальше. Как можно видеть в такой темноте — об этом никто не думал. Шли безостановочно. Нет, они уже не шли. Они тащили ноги с таким трудом и с такой тяжелой озабоченностью, точно несли стеклянные вазы. Эрн был полон злобой по самые плечи. Он никогда не ощущал смерть как распыление и исчезновение всего его существа так ясно, как сейчас. Он не помнил, сделал ли он сознательно это, или он действительно оступился. Баллон звякнул в полной тишине, баллон соскользнул с его палки и с ясным звоном ударился о какое-то дерево внизу. Была ли то обшивка окопа, развороченная бомбардировкой, случайное бревно — этого он никогда не узнал.

Кровь отлила от головы, потому что сейчас же как будто рядом началась стрельба, затем прошла очередь дежурного пулемета, рикошетирующие пули, от-

скакивая от невидимых щитов, фигурно отсвистывали свой конец.

Разрывные пули светились. Казалось, сейчас все покроется яростным припадком повсеместного огня, но суматоха исчезла так же внезапно, как и началась. Последние пули, кувыркаясь, зарылись в землю. Перед Эрной стоял человек, трясший его за грудь, и у самого своего рта ощутил он холодный запах маузера. Человек кричал придушенным голосом:

— Если ты, если ты еще раз уронишь баллон, я застрелю тебя на месте!

И он пошел сейчас же следом, так что его дыхание Эрна слышал так близко, точно тот сидел у него на плечах. Когда он спотыкался, дуло маузера тыкалось в его затылок. Четыре человека приняли от него баллон и унесли его так бесшумно, словно он ничего не весил. Эрна облегченно вздохнул. Офицер исчез.

Все носильщики, держась за руки, погружались в самую глубокую темноту, и это был блиндаж. Жаркое дыхание нескольких десятков людей согревало его. Эрна смутно вспомнил эскимосов, зимующих в снежных хижинах вповалку со своими собаками; это было первое воспоминание из мира книг, из мира, давно погибшего, как Атлантида. Он лег между двумя невидимыми соседями. Огни папирос забегали перед ним.

Чей-то голос возник вверху. Человек говорил с лестницы блиндажа, не заботясь, слушали его или нет. Он привык говорить в темноту простуженным, лающим голосом, не внушающим никакого доверия.

— Отдых полчаса — не курить, — эй вы там, аристократы!

Голос исчез, но огоньки остались. Люди на дне океана, считающие себя утопленниками, могут позволить себе роскошь не бояться простуженных голосов.

Эрне кто-то вложил в руку ломоть хлеба. На пальцы стекал холодный жир. Товарищ его, несший с ним баллон, сказал тихо:

— Жри, я украл две банки там, на пункте. Это консервы, не бойся.

И он начал есть липкое, пахнувшее потом и землею, волокнистое мясо. Он насыщался поспешно, оберегая каждую крошку. Сосед слева храпел. Гул сдержанного разговора шел по блиндажу. Кто-то начал кашлять, закрыв рот рукой. Было впечатление, что этого человека непре-

рывно бьют в спину. Сосед справа перестал жевать. Он перегнулся к Эрне.

— Ты не спишь, Астен?

— Я не сплю, Фриц. Что ты хочешь? Спасибо за консервы.

— Брось. Я узнал сейчас, в чем дело. Раздери меня гранатой, но я мало понимаю. Ты, ученый, может, объяснишь. Знаешь, что в этих баллонах, говорят, что мы тащили?

— Ну? — Эрна, облизывая пальцы, равнодушно слушал шепот.

— В них газ.

— Газ? Какой газ?

— Так я тебя и спрашиваю: какой газ? Что горит на улицах, что ли?

— Вставать! — сказал простуженный голос с невидимого порога. — По одному, тихо выходи. Не курить!

V

КЕНСИ

Жан Кенси был весь день в прекрасном настроении. Там, где он увидел вчера толстую крысу, там он увидел ее и сегодня. И даже крыса его развеселила.

— Тебя тоже призвали, — сказал он, не двигаясь с места, — где же твоё оружие, собака?

Крыса сидела, почесываясь, толстая оконная крыса, отвратительный законченный представитель своего племени. Она показала Жану мелкие узкие зубы, покрытые какой-то плесенью.

— Ты, оказывается, умеешь и смеяться, — сказал он, — еще бы, ты живешь с нами жирно — это видно, но только это неправильно. Нам все опасности, а тебе все удовольствия. Ты жиреешь на нашей крови, как банкир на бирже, — это не дело. Ты подумай об этом в свободное время, его у тебя достаточно. И устрой как-нибудь так, чтобы это поскорей кончилось.

Он неосторожно сдвинул винтовку, крыса убежала. Ее узкий кольчатый хвост минуту торчал из ямы, потом и он исчез. Кенси поглядел через бруствер. Тоскливые ряды проволочного заграждения, низкие окопы германцев, воронки, налитые водой, размытая земля, проволока и стол-

бы с пустыми консервными банками, висящими там и тут. Скучно!

— Я так привык к этому пейзажу, как к набережной Лауры. Вот только кончится война...— Он задумался.

Он разговаривал сам с собой, потому что все его товарищи спали, кроме часовых, изучавших бронированную щель в щите, заложенном мешками. Ближайший часовой глядел в его сторону, делая знаки. Кенси подошел к нему. Деревенский парень не знал, стоит ли звать капрала.

— Капрал бреется,— сказал Жан,— зачем он тебе?

— Немецкий аэроплан, смотри, как он крутится. Крутится, будто подбит, того и гляди, сядет.

Они стали смотреть оба. Немецкий аэроплан не думал падать.

— Вон там лежит Бараге,— сказал часовой,— на той вон проволоке уже третий день. Я хочу просить капрала пустить меня за ним.

— Зачем он тебе понадобился?

— У него в кармане кости, которыми мы играем. Скучно без них, а с ним они пропадут. Я и хочу прогуляться за ними сегодня вечером. Они в таком хорошеньком стаканчике. Они, наверное, целы. Он прятал их во внутреннем кармане.

— Я пойду тоже с тобой. Кто-нибудь из нас донесет их благополучно. Как ты думаешь?

— Смотри-ка, что делает эта свинья!

Немецкий самолет сбросил черный столб дыма, и дым повис. Едва он достиг земли, как где-то взметнулись пушки, и первые гранаты упали перед окопом, вспарывая мешки, разбивая доски, рубя щиты прикрытий. И это уже была бомбардировка. Капрал выскочил сам. Появился лейтенант. Пространство за бруствером с надоевшей проволокой, с опостылевшими воронками через десять минут стало неузнаваемо. Все недолеты приходились на это пространство. Черные фонтаны земли следовали один за другим так часто, точно там резвилась целая партия необыкновенных китов.

Все лежали на животе с зелеными лицами. Гранаты, как электрические плуги, взрезали землю. Так было три дня назад, так и теперь.

— Приготовиться к атаке,— говорил лейтенант, и унтера подхватили его распоряжение. В блиндажах проверяли ручные гранаты. В пулеметных прикрытиях готовились к контратаке. Так было три дня назад, так и теперь.

Веселость Кенси не проходила, несмотря на то, что он жевал щепоть табаку, чтобы утишить зубную боль, которую вызвала у него бомбардировка. Ливень гранат прошел. Повсюду, как после майской грозы, ходили лиловые тучи, то свертываясь, то распластываясь, залезая в воронки. Так было три дня назад, так и теперь.

За обрывками туч шел зеленовато-ржавый туман, не смешиваясь с облаками гранатного дыма. Этого не было три дня назад, этого не было никогда. Туман надвигался, как на море, ровный, спокойный, не имевший никакого желания дотянуться до неба, он скорее шел, как бы согнувшись, и в его зеленоватой мути исчезало поле сражения. Бруствера уже не было. Все бросились бежать. Никто не знал, что произошло. Кенси вскочил в блиндаж, но мысль об атаке выгнала его оттуда. Погибнуть, как крыса, разорванным ручной гранатой, или получить удар по черепу — это не дело.

Он выскочил наверх. Он наступил на лежавшего капрала. Капрал лежал на животе. Он не был ранен. Он судорожно мят всем лицом землю, грязную, темную землю окопа. Капрал сошел, по-видимому, с ума. Кенси бежал по окопу, и всюду в тумане лежали люди. Он наступал на них, падал, вставал и ничего не мог сообразить. Вдруг все поплыло перед глазами. Потом сознание вернулось к нему. Он задыхался. Непонятно было, от чего он задыхался. Он начал делать руками движения пловца, но плыть было некуда. Он начал кашлять, как чахоточный. Он чихал, из носа текла не то кровь, не то вода, он не смотрел, в голове стоял звон. Горло стало сжимать резиновое кольцо, сотни игл кололи небо, он вздохнул, он проглотил кусок зеленовато-желтого тумана.

Набережная Луары поплыла мимо, как картинка из кино. Она была не нужна. А что было нужно? Нужно было отыскать что-то совершенно необходимое. Пересмотреть молниеносно все впечатления памяти. Звон в ушах стал непереносим. Рот был полон мокрой слюзью, точно он наелся тины. Зеленые луга, деревья летели, как страницы разорванной книги, но это было все не то. Винтовка упала из его рук. Он вбежал на бруствер. В разрывы тумана он увидел громадное одиночество. Мир кончился. Всюду бегут и падают люди. Это и есть конец войны. Как странно она кончается.

Сердце останавливалось. Надо было искать скорее, скорее. Пронеслось белое здание лаборатории, кафель стен,

кривое лицо налилось зеленоватой водой, но он не сдавался. На него обрушились разноцветные пробирки, вытяжные шкафы, языки спиртовых горелок, белый балахон. Да, конечно, Жан Кенси вспомнил: он же химик.

Стоя на бруствере, шатаясь и размахивая руками, он вдыхал зеленый туман, и дневная веселость возвращалась к нему удесятеренной. Он уже не чувствовал резинового кольца на горле, он уже не знал, остались ли на его лице рот или глаза, но, ныряя в зеленый мрак, он кричит — ему кажется, что он кричит, — то единственное, что нужно было крикнуть.

— Это хлор, — кричит он, — ведь это простой хлор!

И в мире наступает последняя тишина, которую разрушает черный гром. Это не граната и не взрыв сапы. Это башмаки, солдатские башмаки Жана Кенси и солдатские плечи Жана Кенси ударились о дно окопа.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I АННИ

Стая голосистых подростков ворвалась в кафе, забросав столики листами свежих газет. Они кричали со всем упое-нием возбужденной молодости, их глотки будущих солдат работали уже сейчас на оборону.

— Колоссальный успех!..

— Впервые в истории войн!..

— Достойный ответ врагу...

— Кровавый разгром союзного фронта. Тысячи убитых. Колоссальный успех. Смертельные газы. Впервые...

Люди бросали чашки и тарелки и хватали газеты, перегибаясь через спинки стульев, читали через плечо соседа, кричали «ура», кто-то требовал гимн.

Молодая женщина, сидевшая у окна, вздрогнула при первом крике мальчишек и долго искала мелочь, чтобы расплатиться за газету. Она развернула газету и начала читать, вглядываясь в каждую букву. Никто не обращал на нее внимания. Каждый по-своему толковал известие. Да, мальчишки кричали верно. Женщина читала: после сильной бомбардировки между Лангемарком и Бикспутом были выпущены удушливые газы. Вся позиция перешла в наши руки... Атаки были повторены двадцать четвертого и двадцать пятого апреля с большим успехом в районе к востоку от Ипра. Наши потери ничтожны.

Женщина дальше не читала. Она сложила газеты и оставила кафе. Она шла, точно сама наглоталась газа, по-чернев и дрожа. Прохожие уступали ей дорогу, некоторые

оглядывались. «Верно, она потеряла кого-нибудь на войне, — думали они, — ну что ж, обычное дело». Временами женщина приходила в себя и останавливалась, чтобы перевести дыхание. Потом она снова бежала и бежала неопределенно куда, казалось, гонимая преследователями, и ее действительно преследовали. Газетчики и газеты захватили улицы, это был час вечернего выпуска. Казалось, женщина страшится именно этих газет. Она сворачивала в сторону всякий раз, когда вплотную подходила к людям, остановившимся с газетой в руках. Отчаяние не сходило с ее лица. Если бы рядом была река, она, не колеблясь, перешагнула бы мостовую решетку. Никогда в жизни она не тосковала так, как в этот вечерний час.

В домах зажглись огни. У подъезда стоял под фонарем человек с газетой. Женщина кинулась через улицу; прямо перед ней явилась в воздухе гладкая конская морда и лаковая гладкость шорных дощечек. Пена висела на трензельной цепочке. Из рта шел пар. И сейчас кто-то схватил ее сзади, повернул, и высокий человек укоризненно сказал, возвращая ее на тротуар:

— Сударыня, это неосторожно!

Она подняла голову, голос показался ей знакомым.

— О! — сказал человек уже растерянно. — Анни, Анни, что с вами, вы больны?

Анни вцепилась в его руку.

— Это очень хорошо, что это вы, Винни. Ведите меня куда-нибудь, куда-нибудь. Я схожу с ума, Винни. Если бы вы знали...

Бурхардт вел ее под руку. Он вел ее, как раненую на перевязочный пункт. Пункт был далеко. Собственно, Бурхардт вел ее к себе домой. Анни шла, смотря в сторону, кусая губы. Она села на большой бурхардтовский диван и заплакала. Бурхардт смотрел на ее энергичное лицо, смягченное горем, и думал, что она еще красива. Долг дружбы обязывал помочь ей. Он погладил ее по плечу.

— Анни, — сказал он, — первый раз я вижу вас плачущей, Анни, успокойтесь. Неужели случилось что-нибудь с Карлом? Я принесу вам сейчас воды. Кто вас обидел?

Он принес воды, она резко отстранила воду и выпрямилась. Потом голова ее снова опустилась, и она чуть слышно сказала:

— Мне очень тяжело. Простите меня, мне слишком тяжело, Винни...

Новый поток слез хлынул ей на руки. Бурхардт ходил по комнате, мрачно смотря на женщину. Она вынула платок и запихала его в рот, ломая пальцы. Отчаяние ее достигло предела; она сидела с закрытыми глазами, платок упал.

— Уйдите,— сказала она.

Бурхардт, пожав плечами, вышел из комнаты. Он знал, как можно утешить своих легкомысленных приятельниц. Он знал, как разговаривать с женами приятелей. Он умел угождать их вкусам, ничем не жертвуя. Он гордился, что имеет твердый характер. Но Анни Фабер была особым человеком. Никогда в жизни он не думал, что она будет сидеть на его диване, захлебываясь слезами, как нервная девочка, она, холодная, умная, спокойная фрау Фабер.

Когда он услышал, что она встала с дивана, он вернулся в комнату, Анни стояла у стола.

— Нет ли у вас одеколона? — сказала она.

Он принес ей флакон и полотенце. Она вытерла слезы и освежила лицо.

— Не удивляйтесь, Винни,— сказала она печальным и ясным голосом,— я не пробую улыбаться, ничего не выйдет, больше ничего не выйдет. Анни Фабер нет, как нет и Карла Фабер.

Бурхардт взял ее холодную руку и поцеловал.

— Я вас давно знаю, Анни, но я ничего не понимаю во всем, что сейчас происходит,— ничего.

Анни вернулась на диван. Она подняла с пола платок и разглаживала его.

— Вы читали вечерний выпуск? — спросила она, глядя в упор. Его поразила огромность ее глаз.

— А,— сказал он,— газы... Вы, конечно, хотите сказать о газовых атаках. Это, должно быть, забавное зрелище, Анни...

— Забавное зрелище?? Вы сошли с ума! Вы ничего не знаете. Один человек сделал это. Мировой ученый, ваш друг, Карл Фабер, по доброй воле стал убийцей.

Она говорила, и плечи ее сводила судорога.

— Говорите все,— попросил он,— все, Анни, вам будет легче...

— Винни, вы знаете Карла. Не было человека, преданного науке больше, чем он. Я — химик, я была его помощницей. И не было человека счастливее меня, Винни. Меня упрекали за серьезность, но я умела смеяться и веселить-

ся. Мы знали, что в жизни выше всего наука, и, когда я влезала в свой лабораторный халат, я становилась юной, Винни.

Это были счастливые времена. Карл был окружен прекрасными помощниками. Его открытия известны всему миру. И недавно я узнала, что часть лаборатории давно стала тайной, закрытой для других лаборантов, охраняемая, как крепость. И в лаборатории появились военные. Они приходили, как к себе. Я думала, что они производят случайные опыты, и я спросила Карла, что происходит. И он смутился, мой честный Карл стал путаться, стал лгать мне и объяснять так, что мне стало ясно: дело идет о серьезной и громадной вещи, не будет же сам Карл заниматься случайными вопросами. Я сказала ему все, что думала. Я сказала, что люди вдвоем проводят жизнь, делят все пополам, или же они исчезают в разные стороны. Так у нас было до сих пор. Что поделаться, у меня такой характер, Винни. И он открыл мне то, что я подозревала. Я не имею права говорить вам это, Винни, вы должны забыть то, что я вам говорю, — если об этом узнают другие, вам будут большие неприятности, — но я не могу, не могу не говорить.

Я узнала, что он разработал применение отравляющих газов в боевой обстановке. Я похолодела в ту минуту. Вы не химик, вы не можете себе представить ужас и мерзость этого дела. Никогда в мире ни один химик не решался на это. Я узнала, что дело зашло далеко, так далеко, что, как пишут сейчас там, в газетах, достигнуты большие успехи...

Анни говорила хриплым от слез и усталости голосом.

— Я умоляла его отказаться от мысли участвовать в этом деле. Солдат против солдата — честная битва, судьба которой решается искусством оружия, равным соревнованием сил, личной храбростью, я не знаю как, или намеренное страшное нападение на людей, ничем не защищенных. Он говорил мне, что англичане применили газ в снарядах, что нужно ответить им для спасения родины. Я не верю — об этом бы кричали наши газеты. Я не спала ночи с того дня, но я верила, что Карл в последнюю минуту откажется, найдет в себе мужество не стать палачом тысяч, легким палачом, Винни, человеком, сидящим далеко от всякого риска и хладнокровно, как крыс, умерщвляющим себе подобных. Для этого ли он прошел такой бле-

стящий, такой изумительный путь ученого, чтобы завалить его трупами, бесконечными трупами, потому что, знаете, Винни,— такое оружие нельзя безнаказанно вынести на свет. В этом его проклятие. Оно сильнее всего существующего в мире оружия. Никакая граната не сравнится с газом. И у газов есть неисчислимый запас смертоносных комбинаций. Химики всех стран из патриотизма или из чувства самосохранения начнут такую же работу, Винни, что будет с человечеством? Человек, изобретший пулемет, ангел по сравнению с Карлом. Он дал слово, что он не будет участвовать в этом деле, и я жила три дня, как будто я только что вышла за него замуж, счастливая, такая счастливая, что вся моя лаборатория шутила надо мной, не понимая в чем дело.

И потом он уехал... Он уехал, как он сказал, в научную командировку. И он не вернулся до сих пор. Прошло много времени, и его все нет. Он присылает записки, что командировка скоро кончится. Где он, я не знаю. И вдруг по секрету мне сообщили, задолго до печати, о газовой атаке.

Мне рассказали подробности, от которых, Винни, у меня волосы стали дыбом. Я не могла есть, у меня пропал сон, я не могу больше ходить в лабораторию, я не могу видеть эти стены, я не могу смотреть в глаза людям, я не смогу больше видеть Карла, а без него я не смогу жить, Винни. Вот и все. Это так просто. Он нарушил слово, данное мне. Значит, он сделал выбор. Значит, все кончено. Зачем мне его объяснения? Я знаю, что он все объяснит. Он умный — умнее его мало людей на свете. Я ждала газет, но газеты молчали. И сегодня вечерний выпуск подтвердил все, все, и то, что я не ожидала, — что это только начало ужасов, только первые опыты, но не последние.

— Анни, я ваш старый друг, — сказал Бурхардт, — мы живем в тяжелое время. Многое не под силу нам. Мы сгибаемся под тяжестью войны, но, Анни, вы не правы; некоторая мечтательность в вашем характере, удивительное сочетание ума и женственности...

— Не фальшивьте, Винни, не пробуйте меня утешать, я не хочу двигаться на каких-то духовных костылях. Ведь вы подумайте, Винни, пока мы здесь сидим, он там убивает новые тысячи, он душит их, как душат бандиты, хватая за горло, потому что хлор, которым он душит, парализует дыхание.

— Анни, а если вы ошибаетесь,— сказал Бурхардт,— а если это все-таки не он? А если он спокойно сидит где-нибудь в лаборатории и вовсе не думает ни о каких убийствах? Где у вас доказательства?

Анни нахмурилась. Она глядела на Бурхардта почти враждебно.

— Где доказательства? — Щеки ее сморщились, она дурнела на глазах.— Доказательства? Доказательства я получу сегодня же.

Она встала.

— Я не отпущу вас,— закричал Бурхардт,— преступление отпускать вас в таком состоянии. Вы не доберетесь до дому. Вы попадете под автомобиль. Вы не смотрите, куда идете. Я силой задержу вас, но не отпущу. Карл не простит мне, если я отпущу вас сегодня.

— Я не девочка, и смена впечатлений уже не играет роли. Я понимаю вас, Винни. Конечно, незачем возлагать на вас ответственность за сегодняшний день. Вы были старым и добрым другом. Спасибо вам! Я уже спокойна. Если хотите, можете проводить меня домой. Я устала действительно и хочу отдохнуть. Простите меня за слезы. Я сама не знала, что могу так плакать...

Бурхардт проводил ее домой. Он шел и говорил о незначительных вещах и незначительных людях, чтобы развлечь ее. Ему показалось, что это удалось. Они спокойно вошли в квартиру Фабера, и она позвонила и велела дать чай. Потом она ушла и переоделась. Они пили чай, и она больше ни одного слова не сказала о происшедшем.

Уходя, он попросил позволения позвонить ей утром по телефону.

— Звоните,— сказала она, и они простились, как будто ничего не было.

Она стояла у окна и смотрела, как он шел по улице. Когда он завернул за угол, она поспешно собралась и вышла на улицу. Она остановила авто и сказала шоферу:

— Королевский институт.

Тяжелое здание каждым освещенным окном посылало ей вызов. Первый раз она удивилась сухости воздуха и ослепительному равнодушию коридоров. Прежде она этого не замечала. Фогель стоял перед ней, как всегда, растягивая рот в улыбке почтительной и удивленной.

— Уважаемая фрау, профессор...— начал он, но она остановила его, и Фогель померк; он убрал улыбку

и насторожился. Пухлые руки его забарабанили по столу.

— Фрау Анни, давненько вы не были у нас, разрешите предложить вам стул.

Анни не села, она стояла перед Фогелем. Она была выше Фогеля не намного, но все-таки выше, его глаза были под ее глазами. Она смотрела на него сверху вниз. Это было естественно, но немного обидно.

— Фогель, скажите мне, где находится профессор Фабер?

Фогель изобразил изумление. Он тряхнул головой, и глаза его подпрыгнули.

— Профессор Фабер находится в лаборатории в Майнце. Разве вам это неизвестно, фрау Анни?

Анни села на стул. Рука ее прошла по столу и нашла руку Фогеля. Фогель сел по другую сторону стола. Анни сжала его руку.

— Вам известно, Фогель, куда он отправится из Майнца?

Рука Фогеля подалась назад. Анни задержала ее на столе.

— Он поедет в Леверкузен и Херст.

— Вы сочиняете на ходу, Фогель, или вы так хорошо выучили инструкцию?

Фогель убрал руку со стола, он даже убрал ее в карман. Он смотрел растерянно.

— Фогель, — сказала простым и тихим голосом Анни. — Милый Фогель, я знаю, что вы меня не сильно любите, но сегодня я буду вам говорить только неприятности — что делать: скажите мне, где находится мой муж, профессор Карл Фабер. Обойдитесь только без уверток, без вашей постоянной дипломатии, Фогель. Я прошу вас.

Фогель молчал. Он покраснел и начал жевать губы. Анни смотрела ему в глаза. Фогель молчал.

— Фогель, я спрашиваю вас, будьте раз в жизни мужчиной. Неужели у вас душа вытяжного шкафа, где проходят аккуратные воздушные вихри, и только?

Фогель молчал. Он выпятил нижнюю губу и был похож на рассерженного бульдога.

— Фогель, я отвечаю за вас. Я знаю, где находится он. Я все знаю. Вы читаете газеты, Фогель? Я боюсь, что нет...

Фогель испугался, испуг прошел тенью по его лицу.

— Я уже три дня не видел газет. Я уже два дня не выходил из института, я питался бутербродами. Сейчас такая горячка. Я буду благодарен, если вы скажете мне, что в газетах, ффрау Анни...

Анни сказала медленно, как стих:

— В газете напечатано, что профессор Фабер находится не в Майнце, дорогой Фогель, и не в Леверкузене, и не в Херсте — вы ошиблись сегодня, — он находился в Бельгии, между Лангемарком и Бикспутом, восточнее Ипра, вот где находится мой муж, правда это, Фогель?

Фогель смотрел страдающими глазами.

— Правда это, Фогель? Зачем же вы скрыли от меня?

Фогель скрипнул зубами и закрыл глаза.

— Так, Фогель, и он проводит там газовые атаки. Газовые атаки, Фогель, имеют большой успех, это вы должны знать, вам это интересно знать. Вы имеете долю в этом успехе. Отныне ядовитые газы крещены вашим именем. Требуйте прибавки жалованья и Железный крест. Вы заслужили. Правда ведь, Фогель?

Фогель стоял с закрытыми глазами. Анни перевела дыхание.

— Больше мне ничего от вас не нужно. Покойной ночи, Фогель! Можете не провожать. Прощайте и не очень сердитесь на меня. Передайте мой привет профессору Фаберу, когда он вернется из... Майнца.

Фогель стоял, опираясь на стол пухлыми пальцами, и рот его кривился. Анни вышла из института. Холодный ветер тряс весенние ветви. Вся ночь была в ее распоряжении.

Она шла ровным, медленным шагом, глубоко дыша. «Я прогуливаюсь, как на большом тюремном дворе», — подумала она и не могла понять, откуда взялась эта странная мысль. Дома она обошла все комнаты. Мебель стояла тихая, строгая. Она упрекала Анни в легкомыслии: все уже спят, не к чему бродить по комнатам.

— В самом деле не к чему, — сказала Анни. Она отступала из комнаты в комнату и задержалась в кабинете. Она зажгла маленькую лампу с зеленым абажуром. Профессор Фабер смотрел на нее со стола. Она положила портрет стеклом на стол, она держала на нем руку, точно искала пульс, но рамка была металлическая, холодная, сухая.

Она прошла в спальню и села на кровать. Садясь, она толкнула ночной столик. С него со стуком упал причудли-

вый флакон. Она не подняла его. Светлая лужа блестела на паркете. Пробка флакона разбилась вместе с горлышком. Слишком тонкий флакон, надо будет покупать флаконы из толстого стекла. Завтра прислуга будет ворчать на непорядок. Она всегда ворчит на Анни. Она не ворчит только на Фабера.

Анни разделась. Она стояла у шкафа, забыв, зачем она раскрыла его. Потом она отыскала белый халат, рабочий белый халат и запахнула его решительно. Не зажигая света, она прошла в рабочую комнату. Эта комната была маленькой лабораторией. Шкафы с приборами, шкафы с книгами, шкафы, загроможденные одними стеклянными предметами. Она заперла дверь. Свет проникал со двора, желтый, мягкий, ничуть не страшный. «Почему иные боится лунных ночей?»

Все в этой комнате известно наизусть. Даже в темных углах можно не зажигать света. Вещь, которую она держала в руках, не походила на разбитый флакон и даже вовсе не походила на флакон. Анни села на окно. Видны были небо и деревья. Последний раз на земле под окном был сад. Она открыла форточку, села удобнее, закрыла глаза и запрокинула голову. Наступила тишина. Очень долгая ночь была в распоряжении фрау Анни.

II СКОРОСТЬ

За толстыми зеркальными окнами купе специального поезда летела ночная Германия. Поезд не уменьшал хода, встречая вагоны с солдатскими эшелонами, товарные составы, груженные снарядами, маленькие станции с заspanными дежурными, громадные города, огнедышащие вулканы заводов, горы каменного угля, крестьянские тележки, застрявшие у шлагбаумов, освещенные вокзалы, виадуки, эстакады, насыпи, одиноких пешеходов, бродяг или дезертиров в темных полях. Поезд был специального назначения, и люди в купе были специальные. Профессор Фабер сидел, расстегнув жилет и сменив ботинки на мягкие туфли. Против него помещался человек гигантского телосложения, точно на него пошел материал, которого в природе больше не встретишь. На короткой шее была помещена плотная, круглая, как бочка, голова. Обручи удалось замаскировать. Вернее они вросли в мясо. Руками

шире лопат он сгребал воздух, когда говорил, и гнал его на собеседника. Потому он старался двигать ими как можно медленнее. Золотые зубы, блестевшие из-под коротко подстриженных усов, походили на червонцы, обрубленные по краям. Большой бриллиант смотрел из галстука.

Фамилия человека была велика, как он сам. Он даже не назвал ее. Она действительно была бы слишком громоздка для узкого ночного купе. Все равно, профессор Фабер знал, с кем говорит он, и говорил резко, но с уважением. Пассажир продолжал начатый разговор, не обращая внимания ни на скорость поезда, ни на позднее время, ни на случайное место. И то, и другое, и третье были для него вполне обычными.

— Я следую иногда заповедям, написанным не святыми людьми. Товар святых людей сейчас мной не воспринимается всерьез. Один великий муж выразил мою мысль следующими словами, с которыми я глубоко согласен: империя есть вопрос желудка. Мировая империя есть вопрос мирового желудка. Сегодня желудку прописана диета. Кровяное лечение, но этого мало. Если вы не хотите революции, вы должны стать империалистом. Мы уже империалисты, и это пол-успеха. Я настаиваю на том, что мы должны кончить войну как можно скорее. Положение еще не катастрофическое, солдаты еще сражаются, заводчики получают хорошие прибыли, рабочие еще молчат, но генералы должны поспешить с победой, и вот почему. Как поделят мир державы — неизвестно, а как он поделен капиталистами — мы немного знаем. И Международный пороховой и динамитный трест, и Международный рельсовый картель, и Международная компания морской торговли, Международный цинковый комбинат, и Всеобщая электрическая компания, и Мировой нефтяной трест, и десятки других мировых соединений жили до войны как самостоятельные державы, поделив между собою страны и зоны влияний. Теперь это равновесие нарушено. Иные договоры временно приостановлены, иные лопнули. Если вы разбираетесь немного в нашем деле, то вы знаете, что такое общество-мать, это мировое объединение, основное предприятие; если им не затронуты некоторые малые страны или если оно ищет новых путей, то оно позволяет вырастать обществам-дочерям, с тем чтобы их основной капитал не превышал акционерный капитал общества-матери. Ясно вам, что будет или не будет военная победа, капиталы перегруппируются заново вне патриотической

зависимости. Если вам скучно, я могу говорить о женщинах. Я могу даже познакомить с некоторыми, и вы не будете рассказывать...

Фабер сказал:

— Продолжайте, я вам тоже кое-что расскажу.

— Хорошо, я продолжаю. Я не настоящий немец. Я космополит, но все мои корни здесь, в Германии, и рубить с размаху такое крупное дерево не в моих правилах. Люди моего характера — космополиты. Мы сильнее дипломатов и генералов; если мы захотим, самая могучая армия останется безоружной. С толкователями общественных систем, с философами и социалистами у нас небольшой конфликт, ибо мы просто иначе понимаем назначение вещей во вселенной, чем они. Кроме того, в нашем деле понятие нейтральность — вполне условно. Я допускаю сейчас, что Крупп поставляет Франции снаряды или динамит Англии. Я знаю, что британский флот снабжается оптическими приборами германских фирм «Цейс» и «Герц», что колючая проволока для верденских фортов доставлена через швейцарскую границу фирмой «Магдебургер Драт унд Кабельверке». Когда есть избыток, это не так страшно. Гораздо обиднее, что ваш большой океанский тоннаж, застрявший в Америке, едва не был превращен в вспомогательные крейсера. Это значит не понимать положения. Это уже ошибка.

Военные затруднения Франции сейчас очень велики, финансовые дела Англии в большом беспорядке. Самый удобный удар можно нанести сейчас. Переход огромных колониальных владений в руки Германии, изменение финансового и торгового лица Европы даст нам возможность в случае полного невероятного разгрома захватить в свои руки то основное, что сделает Германию единственной страной-матерью, переведя все остальные страны на положение дочерних. Повторяю, в случае полнейшего краха Антанты, с такими людьми, как Захаров и Армстронг в Англии или Шнейдер во Франции, договориться будет не так трудно. Денежный рынок сейчас не в очень блестящем положении, и желание мира отодвигается только ростом вооружений, то есть возникновением новой колоссальной отрасли на свежем месте. Уверяю вас, что и на Бэрэнштрассе вздохнут спокойнее, узнав о скором конце войны, чем о бесконечной войне, хотя бы и с военными трофеями. Я был в Роттердаме и Копенгагене, и с хлопком плохо. И очень плохо с резиной. Есть проект достав-

лять каучук из Америки на подводных лодках, но это слишком пахнет романтикой. Я слышал про ваши опыты с удушливыми газами. Это замечательно только в том случае, если мы оправдаем их применение быстрым приближением к победе. Так ли я говорю?

— Вы говорите совершенно верно, — отвечал Фабер, — они там, наверху, я не буду называть их, делают ошибку за ошибкой. И, когда я говорю, что надо делать, — они усмеваются почтительно и отвечают, что у меня не военный мозг. Да, у меня мозг ученого, я не знаю, что больше весит. Хотя, впрочем, я знаю. Наши враги ближе к истине, чем наши полководцы. Они говорят: в жилах войны течет расплавленный уголь, уголь — вот первый маршал сражения. Он сгибает, он формует, он начиняет орудия. Уголь — это пароходы, уголь — это поезда. Что такое пулеметы и пушки? Снаряды — это уголь, они выделяются из угля, они начиняются углем. Боевая сила их, сидящая внутри, — это уголь. Война — это поединок между вестфальским углекопом и углекопом Кардифа. Уголь — это смерть и жизнь. Уголь — это победа. Они учитывают силу, действующую сегодня, но они пока не знают силы, которую вызвал я: газ против угля, газ против их мускульного напряжения, газ против лихорадки голого патриотизма, газ против потных мясников, любящих рукопашную, газ — демократическая смерть без всякого пафоса. Газ — это победа. И эти идиоты не понимают, что, если бы они поверили мне до конца, наша гвардия уже грузилась бы в портах Ла-Манша, чтобы завтра быть в Дувре. Вместо этого они занимаются кустарничеством. Я не отрицаю личной храбрости. Эмден, Кенигсберг, Мове — чудные приключения для юношества, или бессмертные крейсера-призраки, сегодня здесь, завтра там. Сегодня они бьют неприятеля у берегов Перу, а завтра их топят у Фолклендов. Одной телеграммой больше. Налеты на курорты Англии с разбиванием черепиц и взрывом купален — это пикник с дешевой выпивкой и битьем стаканов. Цеппелины над Лондоном и Парижем — только рекламы войны, не больше. Какие-то потные изобретатели сидят и придумывают вариации мин, блиндажей, маскировок; один человек додумался поливать горящим маслом окопы, я видел его мельком на фронте, мне его показали. Тупое лицо, низкий лоб, усы лавочника, вы понимаете — жарить французов в масле и подавать на стол высшего командования — блестящая идея, рожденная в голове провинциала.

С таким же успехом можно из лейки поливать Иаллоустонский парк. И они помешаны на каких-то кустарных вымыслах, точно война будет длиться тридцать лет. Я положил предел этому, когда сказал им: поверьте в меня, поверьте в газ. Англия имеет тонну хлора в день, наши заводы дают нам сорок тонн в день; они не поверили, и когда шесть тысяч человек легло сразу, они с недоумением заняли окопы, они не понимали, что это поворот, что это открытие оружия, равного которому нет. Так когда-то тупые рыцари, по которым били из пушек, никак не хотели расстаться со своими латами. Я с трудом добился, что они теперь по всему фронту будут применять газ. Они не спешат, когда нужно спешить. Нужно спешить, потому что, к сожалению, я в мире не один. Химики еще существуют. Мои друзья в Англии и Франции с удовольствием примут вызов. Мы должны работать ночь и день. Мы должны заготовить оборону против неприятельского газа. Началось состязание гончих, и у нас сейчас преимущество в беге, но скоро его не будет. Мы будем идти голова в голову. И тогда на каждый газ мы должны отвечать сверхгазом, на каждый противогаз — сверхпротивогазом. Маска войны будет меняться ежемесячно. Но вы, может быть, не совсем представляете, что такое газ. Газ можно пускать облаками, волнами, газовыми завесами. Можно наливать его в снаряды, можно начинять мины, можно превратить каждую развалину, каждый окоп, лес или улицу в газовую западню, можно заставить людей плакать или смеяться, можно заставить их чесаться, как обезьян, реветь, как буйволов, извиваться, как змей. Им будет казаться, что они вдыхают озон, — но это будет дымовая завеса из желтого фосфора; они войдут в сады, где воздух пахнет весенним соком, а это будет этиловый эфир бром-уксусной кислоты. Хлористый нитробензол покажется им ароматом забытой родины, покоя и уюта; целый город будет пахнуть геранью, фиалкой и мятой, и весь гарнизон его будут составлять мертвецы. Мы образуем химические садоводства. Я не безумец. У меня не военный мозг — они правы. Я ученый, которому надоело наблюдать доисторическую свалку, где бьют острым по тупым головам. Но я твержу только одно: надо торопиться. Пока враг говорит: главное — уголь, мы можем жить. Если завтра он скажет: главное — газ, вы понимаете, что последует? А они перебрасывают, перебрасывают, перебрасывают тысячи людей с запада на восток, с востока на запад, как будто дело

только в том, чтобы непрерывно гонять эти тысячи, как крысы из норы в нору.

— Все, что вы сказали, очень серьезно,— сказал гигант,— но ведь вы перевертываете все мировое военное производство. Знает ли мир, кому он обязан этим?..

— Он, конечно, не должен знать. Я псевдоним. Нет никакого профессора Фабера, есть наука, предпринявшая маленький опыт, выйдя за стены лаборатории. На Ипре меня называли человеком в зеленых очках — и этого достаточно. Правда, любителя горящего масла зовут Князем Тьмы, и это верно: бутафория всегда имела соответствующее имя.

— Вы едете сейчас в Берлин? — спросил гигант.

— Нет, я еду домой. Я немного устал и немного соскучился по своей лаборатории, по жене и друзьям. Фронт довольно грязен. Я вчера нашел у себя вошь. Я выкинул белье и принял горячую ванну.

III

ХИТЧЕНС

Лейтенант Хитченс еще раз перечитал письмо. Все стало как в тумане: «Вавилония», двенадцать тысяч тонн грузов и металла, продырявленного, обволоченного паром, шипящего, погружающегося в воду, и вместе с ним — это очень трудно представить — уходит под воду, задыхается среди обломков единственная нужная ему женщина. Артиллерийский лейтенант кричал на свой взвод влево от Хитченса. Что же, лейтенанту пожаловаться лейтенанту? В этом чудном мире остались только офицеры и солдаты, других человекоподобных не наблюдается. «Очень хорошо, лейтенант Хитченс», — сказал он себе, и глаза его осоловели, как после трех ночей пьянства.

И в тот же день бежала его рота. Она покинула окопы, принимая туман за волну газа. И, когда он посмотрел на туман, у него закружилась голова, но он сдержался и вернул роту, он позвонил на соседний участок и на батарею. Дело было плохо, соседний участок не пил, не ел и не спал. Люди готовились или умереть, или бежать, скорее последнее. Не обнаруживалось никакого присутствия духа. Офицеры кричали на батарею, чтобы она открывала огонь. Батарея стояла далеко и чувствовала себя в сравнительной

безопасности, но ясно было, что орудия будут брошены при первой панике.

Ужас витал над всем фронтом. Вспышки случайных выстрелов принимались за начало огнеметной атаки. Всякий дым и туман — за волну газа. Огненный и воздушный призрак парили на легких крыльях над всеми окопами.

Хитченс сидел на совещании офицеров батальона, и все лица походили на вопросительные знаки. Командир батальона был в дивизии, и в дивизии сидели не люди, а какие-то смятенные и подавленные существа с нашивками и ленточками.

— Приняты самые энергичные меры, — сказал командир батальона, стараясь не усмехаться.

— Приняты меры, а чем можно затыкать рот и нос, если завтра *они* снова выпустят газ?

— Мокрой марлей из индивидуального пакета.

— Индивидуальные пакеты неприкосновенны.

— Мокрые носки полезны не менее.

— Умирают все сразу или на другой день?

— Инвалидность обеспечена, дорогой мой!

— Танцевать на празднествах по случаю окончания войны можно в черных очках и на костылях, украшенных Юнион Джеком и орденом Подвязки.

— «Вавилония» погибла, — сказал Хитченс. В его глазах стоял серый туман, который его рота приняла за газ, — серое море, перископ в волнах и женщина с американской открытки.

Лейтенант Хитченс постарел за один день на десять лет. Может быть, потому, что он каждый час готовился к смерти и все не мог решить: нужна она ему еще или нет. Потом он долгие часы проводил перед изломанным баллоном, исковерканным пулями и ударами штурмовых лопат.

Полковник застал его за этим занятием и удивился углубленному взгляду своего офицера.

— Вы выглядите страшно умным, Хитченс, — сказал он, — над чем это вы философствуете?

Тут полковник наклонился и узнал остатки германского огнемета, отбитого недавно.

Хитченс ползал перед ним, как бы совершая обряд поклонения испорченному куску металла.

— Я хочу им вернуть обратно все, — сказал он, — и хороший огонь, и хороший газ, но этому надо поучиться. Кое-что я уже сообразил.

— Похвальное дело, — сказал полковник.

И на четвертый день Хитченс ехал в Лондон по серому морю, где сквозь туман за пароходом шел узкий столбик перископа. В каюте Хитченс вскакивал каждый час и непременно хотел разрядить кольт в темную дверь каюты, откуда его поливали горящим маслом, и он осязал запах паленых волос. В багаже его качался германский огнемёт и докладная записка о возможности создания аппарата, подобного огнемёту, но выбрасывающему не масло, а газ. Газ нужно было найти, ибо фронт сходил с ума от страха, и никто не мог поручиться ни за что. Он соскочил с койки еще раз и увидел женщину, лежавшую на дне моря, она пришла и стояла в дорожном костюме на пороге. Эта была просто его знакомая, не имевшая ничего общего с пассажиркой «Вавилонии», и, однако, он направил на нее кольт, но выстрела не последовало. Кольт был не заряжен. Женщина подошла к нему, и, так как она была только что на фронте, она знала многое: она знала, как легко там потерять равновесие и все, что с ним связано.

И тогда он бессвязно и в первый раз после получения письма рассказал ей о том, чем была для него женщина, не доехавшая до Англии, и он захотел выйти на палубу подышать свежим воздухом. Но его спутница запретила ему это. Она нежно обняла его и усадила на место. Ей было известно, что за ними идет подводная лодка, и увидят ли они Англию на рассвете — неизвестно. Они долго говорили о разном и так устали, что заснули сидя, прислонившись спинами к вздрагивающим стенкам каюты.

Женщина проснулась первая. Серое море было видно отчетливо в иллюминатор. Чемодан Хитченса был раскрыт, и вещи в нем находились в диком беспорядке. Ей захотелось сложить их поудобнее. Первыми под руку попались газеты, привлёкшие ее внимание. Это были германские газеты, захваченные Хитченсом из штаба дивизии, так как там приводились некоторые подробности газовых и огнемётных атак в сообщениях специальных корреспондентов с фронта. Женщина равнодушно скользила по узким столбцам и готическим строкам — она свободно читала по-немецки. Она задумалась и вертела газету из стороны в сторону.

«Вести из Сербии, — прочла она заголовок статьи, — с санитарным отрядом от Белграда до Ниша». В Сербии был

ее знакомый офицер, и она прочитала внимательно несколько строк: «Ужасный тиф свирепствует на нашем пути. Мы страдаем от него не менее голодного и раздетого противника, бегущего в безумии поражения к морю через снежные горы. Вчера заболела тифом старшая сестра Алида фон Штарке, и мы оставили ее в Кралевце, в десяти милях...»

Женщина вспомнила, что ее знакомый не имеет никакого отношения к германским санитарным отрядам в Сербии, и бросила газету. Хитченс спал с крепко сжатым ртом, постаревший и серый, как море. Ему снился огнемет. Женщина вздохнула. Пароход входил в гавань.

IV ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Кровью были покрыты столбы, поддерживавшие соломенный навес, кровь стояла лужами на земле, кровь пропитывала кучу брошенных бинтов, солому, грязные доски, на которых лежали раненые, кровь стекала по рукам работавших с засученными рукавами людей, кровь можно было набирать в стаканы, кружки, бутылки. Кровью залитые винтовки и палки были сложены в углу, кровь стояла в пустых носилках, кровь выбивалась из каждого человека, который стоял, лежал или полусидел под двумя яркими лампами. Кровавые следы шли от навеса в разные стороны. Крови было столько, что ее уже не замечали. Перевязочный пункт был первым пунктом раскрепощения от войны. Тут можно было реветь, вопить, кусать пальцы, ругаться, проклинать, не боясь окрика начальства.

Доктор, как могучий борец, бросался на каждого раненого и клал его на лопатки. Его помощники сортировали людей, как товар. Налево контуженные трясли деревянными головами, не произнося ни слова. Направо умирающие широко раскрывали глаза и ударяли руками по земле, стараясь удержаться за что-нибудь перед той пропастью, в которую они падали.

Доктор мям, тискал, резал, рвал мясо; он не нуждался ни в спирте, ни в морфии, чтобы держать свои нервы в порядке. Храп мотоцикла дошел до его ушей, но не сказал ничего нового.

Освещенный луной солдат тянулся перед ним, расставив ноги шире, чем полагается человеку, просто стоящему

во весь рост. Короткий кашель, похожий на кашель курильщика, непрерывно вылетал из его рта. Он сказал только одно слово, которого никто не понял.

— Раххаза,— сказал он. Зеленой бронзой сверкавшее лицо солдата стало чернеть, как ламповое стекло, покрывающееся копотью. Он упал навзничь. Санитар нагнулся к нему, поднялся, позвал товарища, и они вдвоем отнесли его направо. Голова индуса легла на грудь его ночному попутчику в самом длинном из путешествий.

— Третий случай,— сказал санитар, и к нему подошли двое. Они опустили на колени перед индусом, направили на него электрическую лампочку и вынули записные книжки. Они ощущали набухшие подкожные вены шеи; открытый рот был переполнен слизью, пенистой и зеленоватой. Они ворочали покойника, сняли мундир и пояс, вытянули руки, синие, худые; щеки и нос стали тоже синими и худыми. Они записывали в книжку все подробности.

— Обрати внимание,— сказал один,— гиперемия слизистых оболочек... цианоз губ. Я видел его вчера. Он без донесения и был живехонек. Они умирают не сразу. Что ты думаешь? Я думаю, это новый газ!

— Помнишь, утренний жаловался на глаза. Он ослеп за обедом и пролил суп на колени. И умер слепым, а перед тем он пел.

— Я больше не могу, я не могу! — закричал человек, лежавший в самом темном углу.— Провалитесь вы с вашим сволочным пунктом...

— Следующий! — кричал доктор, он жевал резину. Он не нуждался в спирте или в кокаине.

Прислонившись к неподвижно лежавшему товарищу, человек кричал в темноту, как будто он стоял на кафедре баптистов и приносил покаяние:

— Я был медиком, я был вивисектором, я брал собак, брил их, распластывал их, растягивал на станках, я заживо резал их.

— Замолчи, пустите ему пулю в лоб! Пусть он замолчит!

— Я копался в их внутренностях, я морил их голодом.

— Послушайте. Эй вы, возьмите себя в руки. Чертов медик, чем хвастается!

— Я вливал в желудок острые кислоты, кипяток, яды. Я пропускал через них электрический ток...

Глухая брань и стоны приветствовали речь бывшего медика.

— Я обливал их керосином и сжигал. Прижигал глаза уксусной кислотой...

— Довольно, остановите этого человека!

— Доктор, заткните ему глотку сапогом!

— Я давал им рвотные. Я накладывал лигатуру на пищевод. Я сам сейчас как эта собака, и все вернулось ко мне. Мы все...

Чудовищный кашель бросил оратора на пол, и тогда врач положил скальпель и подошел к нему в сопровождении тех двух с записной книжкой.

— Я боюсь, что это четвертый,— сказал державший наготове карандаш.

Оратор лежал, раскрыв рот, и красно-бурые глаза его смотрели в солому, свешивающуюся с потолка, как бы боясь, что крыша упадет на его голову. Пена окутывала губы.

И тогда фонарь осветил человека с перевязанной рукой и прокушенной губой. Губу прокусил сам человек. Он окаменел и придерживал бинты на левой руке своей здоровой правой.

— Как дела, Хитченс? — сказал врач. — Что вас принесло снова из Англии?

— Мне не хватало одной детали, и вот я достал ее и заодно заработал на этом огнемете. О, я вам скажу — это не так слабо.

Зубы его снова впились в нижнюю губу.

— Чем вам помочь, Хитченс? Надеюсь, вы не наглотались газа? Начнете вы мне тут чихать и вытягивать ноги. Хотите морфия?

Человек покачал головой отрицательно. Зубы медленно разомкнулись.

— Я не хочу. Я хотел бы знать. О! — Он снова схватился за руку. — Я бы хотел знать имя человека, который пустил огнемет на пользу человечества. О!

— Вы остались шутником, Хитченс,— сказал доктор. — Бодритесь, бодритесь. Я отправлю вас перед рассветом. Сейчас дорога под обстрелом. Я тоже дорого бы дал, чтобы узнать, от чего умирают они. Третьего дня у меня был бенефис. Люди отправлялись на тот свет из самых разных мест: один падал с ложкой в зубах во время обеда, один ослеп, как только лег на кровать, несколько человек кашляли до тех пор, пока не показались желчь и кровь, а потом они умерли; один свалился на допросе в штабе. Скоро кровавый лазарет отойдет, по-видимому, в область преда-

ния. Люди будут умирать прилично — не загрязняя обстановки, можно будет здесь поставить бархатные диваны. Это все результат нового германского газа, Хитченс. Одно могу сказать: новинки приходят к нам без опозданий. Один офицер рассказывал мне, что он шел с батареей и дышал чудным утренним воздухом. Ба! Его точно стукнули по голове — глаза стали краснеть, и к вечеру он ослеп. Через две недели к нему вернулось зрение, но сердце стало никуда не годно. Он попал — они называют такие места карманами — в сгущенное маленькое облако застоявшегося газа. Ну, крепитесь. Так не хотите морфия?..

Вошел шатающийся человек с пеной на губах и схватил доктора за рукав.

— Так, — сказал доктор, — а вот и номер пятый. Ральфи, дайте ему стул. Пускай он умрет с комфортом.

V

SMOKING ROOM

Комната была полна дымом, но это не был острый дым сражений, это не был газ. Это был дым сигар, папирос, сигарет и трубок. Комната служила smoking room'ом, курилкой. Молодые люди, сравнительно молодые люди, сидели в креслах, на плетеных стульях, иные прямо на столах. Каждого входившего встречали возгласами дружескими, насмешливыми, иногда почти школьническими; со всех фронтов вернувшиеся химики и физики, потевшие в лабораториях газовой службы, чтившие богами таких людей, как лорд Рейлей, Вильям Рамсей, полковник Гаррисон, Оливер Лодж, — взапуски рассуждали о своих достижениях, о неудачах и превратностях войны.

— Кто видел последний раз Этвуда? — спросил темнолицый химик.

— Этвуд убит четыре месяца тому назад; ему оторвало голову, его схоронили без головы; мы нигде не могли найти ее, — ответили из клуба дыма, висевшего над диваном. — Я был ранен в том же бою в ногу. Три недели в Мюльбанке, месяц отдыха — и потом я здесь.

Разговор шел по комнате, как целая толпа смерчей, очень легко переходивших с места на место и по временам выраставших до потолка.

— Старик Дьюар прямо сказал тогда же, что это клор; так это и оказалось.

— Кто бы мог подумать, что индиго сыграет такую роль?

— Мы перетряхнули тысячи красящих веществ. Мы пробовали опыты с азотноватым ангидридом. Купер получил воспаление легких и сошел с этого дела. Медные опилки, облитые азотной кислотой, заменяют самый лучший сквозняк. Но потом мы перешли на бром, йодистый бензол, метиловый эфир.

— Мы работаем, как на гонках. Если я отдыхаю или курю больше часа — это уже преступление. Конечно, наша работа — вопрос жизни. Мы следим за всем, что делается на фронте, как сыщики, — за случайным облаком газа, за неожиданным газовым снарядом. Мы роемся в дымящемся навозе войны, чтобы собрать самые горячие испражнения. Я думаю, нас мобилизовали не менее двух тысяч, и все еще мало.

— Я уже забыл, какого цвета волосы у девушек. Я вопляю, как труп, валявшийся в хлоре неделю. Я потерял вкус к жизни.

— Где будет ближайшее наступление? — мечтательно спросил самый юный и сам ответил, не дожидаясь отклика: — Я думаю, если проследить разрывы последних новых газовых гранат и отложить от этого места триста километров к западу или востоку, это будет не сильной ошибкой.

Некоторые засмеялись.

— Мы до сих пор, однако, не удосуживаемся спросить, в чем дело?

Химик из Харборо подпрыгнул на стуле.

— Дело в снарядах! Наш старичок как-то сказал, что Германия — это опера вроде Вагнера, где борются злые и добрые духи, — я сам слышал это своими ушами в Бангоре, — и что вот он верил, что добрые духи вырвут душу Германии из плена, — и ничего не вышло. Душа нырнула, как он сказал, в море крови, и мы имеем дело с военной кастой, а потому ливень снарядов, сорок дней и сорок ночей, дождь из гранат, которые разрешено нам начинать, чем мы найдем нужным.

— Старичок — это, конечно, Ллойд-Джордж.

— Ну кто же иной будет пускать в ход Вагнера?

— Ллойд-Джордж, — протянул неуверенным голосом австралийский физик, — некоронованный король Англии, диктатор типа Дракона. У него в характере есть нечто от Кромвеля, недаром он индипендент, и от Нокса есть тоже

кое-что — он лучший смазчик колес британской государственной машины.

— Надо было предупредить германцев, надо было нам начать первым эту химическую войну. А теперь приходится гоняться за каждым их снарядом, чтобы вынюхать дальнейшее. Хотя я не знаю, что лучше — сидеть в окопе или каждый день иметь дело с фосгеном наедине. Сколько уже наших отправилось отдыхать до самого Страшного суда.

— Я потерял руку, будучи только в Дублине. Я обязан любезности сэра Роджера Кэсмента. Говорят, его расстреляли на носилках, он не мог стать на ноги, он был ранен.

— Ничего подобного. Он говорил три часа в свою защиту, и все-таки его повесили. Но кого-то действительно расстреляли на носилках.

— Мой друг ирландец — я не знаю, где он теперь, — так часто в свое время повторял мне молитву фениев, что я запомнил ее целиком:

О Туль, услышь нас!
О Туль, спаси нас!
От английской цивилизации,
От британского закона и порядка,
От англосаксонского лицемерия и свободы!

Вокруг зааплодировали и засмеялись.

От владычества Британии,
От раздвоенного копыта.

— Подумаешь! — сказали в углу.

От необходимости ежегодного восстания,
От военного постоя.
Довольно! Довольно!
От мнимых судов.
От всех других вещей, чисто английских...

Поднялся легкий свист. Кто-то насмешливо продекламировал:

Британия, Британия...
О, если б только знать она могла,
Как за ее коварство все народы
Ее клеймят...
...Не она ли
Суровый сторож мрачной их тюрьмы...

— Кто это? — спросило несколько голосов, — немецкая стражня?

— Это только Байрон. Правда, он ощущается как

архаизм. Мы знали войну, власть, ответственность, мы отвечаем за свои годы и за свои дела.

Человек в крагах резко встал.

— Ирландия в союзе с Германией — это предательство. Двух мнений быть не может. Завтра они подымут Индию, как подняли старого дурака Девета в Африке. Мы ставим вопрос ясно и отвечаем ясно. Каждая нация имеет миссию. Миссия англичан — сплотить всемирную империю, которая создается силой, а не руками, затынутыми в лайковые перчатки. Освободимся от школьного вздора и поймем следующее: если все нации так или иначе начинают грабежом, то это значит, что пираты являются лучшими созидателями империи.

К счастью, кровь, порождающая пиратов, еще не иссякла у нас. Когда это случится, Британия и Большая Великобритания перестанут существовать. При создании и защите империи не может быть понятий: справедливо или преступно. Есть лишь одно право — право более сильного и более способного. Сильный должен господствовать, не справляясь, желает ли этого слабый или нет. Народы попадают в тигель войны, и на алмазковой наковальне судьбы боевой молот сплюсчивает их в форму, намеченную господом.

В конце концов наш Юнион Джек недаром служит нашему богу. Святой Георг, разве это не первый Томми Аткинс, а святой Стефан разве не первый Джек Тар? В настоящей войне, как никогда, мы ощущаем не военное искусство маневров и ударов, а выносливость наций, длительность сопротивлений. И разве генералы не зависят сейчас от того, что скажем мы, мы — сидящие в лаборатории, чтобы получить противогазы для защиты и газы для нападения? Ллойд-Джордж говорит о ливне снарядов. Кто даст им начинку? Мы — и никто другой.

— Это ужасно, — воскликнул бледнощекий с зарубцованным легким. — Это ужасно, что это выпало на нашу долю. В конце концов эти газы открыты давно, и ученые даже не думали предлагать их для цели уничтожений. Еще Байэр, Каро, Лаут, Витти в восьмидесятых годах знали прекрасно их свойства, и, будь они живы, они, я уверен, заколебались бы.

— Ты не прав; — сказал потерявший руку в Ирландии, — нам привили бешенство. Нами овладела злоба, такой злобы в мире еще не было, та злоба, которую не остановить, потому что мы стоим на рубеже отчаяния и пора-

жения. Кто знает силу будущих германских атак? Если б вопрос войны решали одни рабочие, или социалисты всех стран, или одни ученые, они, может быть, решили бы его иначе. Но у нас отнято право иного выхода. Возьми Хитченса. Когда он изобрел свой изумительный газомет, давший чудесные результаты? Не тогда, когда он тихо сидел в окопе и изредка стрелял, а тогда, когда любимейший человек погиб от германской подводной лодки и он нашел в себе дикую злобу, такую ясную, что в ней, как в озере, прочел о возможной гибели всей страны и начал мстить тем же оружием. Так обстоит дело.

— Может быть, так, но посмотри, Винцент, сколько наших товарищей осталось во Франции. Я подсчитывал. До сих пор не вернулось четырнадцать. Четырнадцать молодых талантливых людей разорваны, как плюшевые игрушки, и мы даже не знаем, кто ими играл. Их больше нет. Мы никогда не найдем их могил. И может настать такой год, такой день, когда мы будем жалеть об этом. Думать о войне как об ошибке.

— Кто же не согласен, что нам навязали войну?

— Это говорит сэр Эдвард Грей.

— Это ясно каждому.

— Мне это не ясно.

— Когда ты понюхаешь нового фосгена или дефинилхлорарсина — ты будешь думать иначе...

— Прекратите глупый разговор! Идет полковник Гаррисон. Он не должен слышать подобные слова. Это оскорбило бы его.

VI

СЕРБИЯ

В окне лежало сербское небо, лохматые горы, лохматые, как собаки, стаями бегавшие по городку.

— Это та, что отстала от отряда Штралля? — спросил доктор, откладывая бритву и макая край полотенца в горячую воду.

— Да, после нее остались вещи, немного белья, два платья, костюм для верховой езды. Много вещей она раздала в Нише, альбом рисунков.

— Покажите...

Доктор Кранц небрежно перелистал альбом. Мыльная пена упала с кисточки на страницу; он стер ее пальцем и

вытер палец о край куртки. Он небрежно перелистывал альбом.

— Модное направление, — сказал он, — но придется отослать родственникам. Что еще?

— Молитвенник. Одеколон. Как ни странно, две пачки табаку. «Туннель» Келлермана и Гамсун.

— Одеколон я возьму. Нет смысла пересылать. Табак можете взять вы, я не курю, книги сожгите, вещи продезинфицируйте...

— Еще осталось письмо...

— Письмо? Кому оно адресовано?

— Адреса нет вовсе. Чистый конверт.

— Прекрасно, — равнодушно сказал Кранц и взглянул в низкое окно. В окне лежало сербское небо, лохматые горы, лохматые, как собаки, стаями бегавшие по городку. В окне лежало одиночество. Доктор взял письмо. Он начал вслух:

«Милый Эрн!

«Жила-была девушка. Эта девушка любила на свете...»

Он остановился.

— Я думаю, дальше можно не читать?

— Я думаю то же.

Кранц сложил письмо и взглянул на спиртовку. Она горела насмешливым лиловым пламенем. Он протянул письмо углом, и пламя легко взбежало, как по уступу. Пепел упал. Доктор взглянул в зеркало и спросил:

— Что еще?

— Больше ничего, господин доктор.

— Вы можете идти, Франц. Да, кстати, у этой девушки было много любовников?

— Простите, господин доктор...

— Я спрашиваю, как вы думаете?

— Я думаю, много.

— Я тоже так думаю. Ну, идите, Франц, можете взять табак!

VII

пятно

Когда профессор Фабер переступал порог своего института, весь остальной мир переставал существовать для него. Пусть цели, для которых он приходил в институт, имели прямое продолжение в том отрезанном глухими

стенами мира — здесь они превращались в призраки и подчинялись законам таинственных процессов, повелителем коих был только он и его ассистенты. Анни... но Анни больше нет. Анни умерла, а друзья, любовницы — страшно сказать, само государство — все исчезало из головы Фабера, когда он надевал толстый халат, бесшумные туфли и резиновые перчатки.

Дом походил на монастырь монахов особого ордена. Там замурованными сидели в отдельных кельях подвижники в ненарушимой тишине и сосредоточенности. Иногда эта тишина нарушалась, как будто в монастырь врывается через вентилятор вытяжных шкафов дьявол. Так однажды утром грохот потряс весь дом. Стекла осыпались, как прелые листья, реактивы смешались, иные исследователи слетели с табуретов, и одна стена дала трещину.

В дальней темной занавешенной комнате плавал красно-бурый туман.

Ничего нельзя было рассмотреть. Ни газеты, ни особо любопытные всезнайки не узнали, что случилось в этой занавешенной, теплой и страшной комнате. Туман удалили, и на полу остался чернее головешки профессор Вестер. Он был правой рукой Фабера. Комнату привели в порядок, и новый человек сел в нее продолжать труд покойного, но Фабер весь день, куда бы ни смотрел, нагревали ли серу в колбах Вюрца — он видел на краю трубки, приводящей хлор, на горлах реторт, на стекле промывной склянки, на ребре капельной воронки, на ртутном столбике термометра — неуловимое для других черное пятно. Оно преследовало его несколько дней подряд. Пятно не могло называться угрызениями совести. Пятно не относилось к разряду предчувствий. Фабер был свободен от предрассудков. Но когда он обнаружил пятно на кончике своей папиросы — он задумался. Может быть, он переутомился?

Он прошелся по всем лабораториям. В нижнем этаже сидели ассистенты, работавшие над новыми видами боевых газовых соединений. Вытяжные шкафы переносили испарения газов в верхний этаж, где сидели ассистенты, работавшие над новыми видами противогазов против новооткрытых в нижнем этаже боевых газовых соединений. Эта встречная система представляла несомненное и совершенное удобство. Этого достигли не сразу.

Вихри вытяжных шкафов, шероховатое беспокойство столов, промасленных асбеститом, теплый покой ртутных ламп, холодные аппараты Гемпсона для сжижения возду-

ха, легкое потрескивание масляных насосов, зоркие глаза сотрудников, обращенные, как стрелы компаса, в одном направлении, — несколько ослабили черную точку, сделав ее чуть заметной, сероватой, но завтра она могла снова вырасти. Профессор Фабер не мог связать свою ответственную жизнь с ничтожным значком, заимствованным из пунктира.

Тогда он начал придирается. Газ, вода, электричество — триединство лабораторного равновесия — были в порядке. Газ бежал по трубам и горел в высоких тонких столбиках на зависть огнепоклоннику, вода действовала в насосах, шумела в раковинах и веселилась, а электричество горело день и ночь.

Тогда он перешал на вещи местного значения. Два стола пустовали. Они имели обыкновенный будничный вид, но, как к анчару, к ним нельзя было приблизиться безнаказанно. На них был пролит иприт, он впитался в дерево, он поселился в столах и угрожал. Столы стояли, залитые хлорною известью, и в них медленно умирала невидимая и острая опасность.

К этим столам можно было придраться. Можно было придраться к тому, что ассистент Фогель ходит с бинтом на руке, пораженный хлористым мышьяком, что сдохли два кролика, предназначенные для ипритного испытания, — серая точка тускнела все больше, но не исчезала.

Тогда Фабер сел и начал просматривать записи последних испытаний. Он знал их, он уже просмотрел результаты, но мысль его витала над этими длинными тетрадками, исписанными формулами, непонятными простым людям.

И тогда, как будто из мира, от которого он был отделен стенами, волей характера и любовью к своему делу, только к своему делу, из мира государства, друзей, любовниц — Анни больше не было — пришла мысль, в центре которой было серое пятно. Если б его институт погиб, все равно как: от бомбы неприятельского летчика, от бешенства новооткрытого газа, как погиб профессор Вестер, от измены или недоброжелательства, от молнии, от пожара, от чистой случайности — с чем бы отошел от его развалин профессор Фабер к людям, не имеющим к нему никакого отношения?

И тогда он понял, почему ему легко слышать о тысячах ежедневно уничтожаемых им людей. Он согласился бы

жить в дружбе с обезьянами и кошками, но не с людьми. Профессор Фабер — один из немногих, имеющих право на одиночество в мире. И он еще понял, что лжет в каждом публичном выступлении, в статьях, речах и разговорах. Его равнодушие иногда выступает с особой силой, и, когда профессор Бурхардт спросил его: «Кто будет отвечать за эту войну?» — он сказал с яростью: «Отвечать будет побежденный».

Он не поменялся бы ни с одним славнейшим полководцем, писателем или инженером. Через головы всех фронтов он ведет свою особую громадную и смертельную борьбу — он уважает только тех немногих, равных ему мировых химиков, что в такой же тишине вражеских лабораторий парируют его удары среди таких же смертельных столов, залитых ипритом, среди обожженных ассистентов, среди взрывов окисла какодила и фосгена.

Он выделяет из всех писателей Флобера за то, что тот сказал: «Миром должны управлять ученые мандарины, это — единственная справедливая власть». За эту фразу Фабер прощает ему французское происхождение и то, что он так много занимался в своих романах женщинами. Они этого не стоят. Они или скучны, или распутны. Они не имеют ничего общего с высоким одиночеством науки. Анни была исключением. Анни больше нет. Об этом не стоит вспоминать.

Так думал профессор Фабер, но серое пятно не исчезало. Оно стояло, как глаз невидимого наблюдателя, неотступно. Тогда он позвал Фогеля и прошел с ним в маленький рабочий кабинет, где у них бывали совещания, где распутывались маленькие недоразумения, где он принимал представителей штаба, где профессор Вестер шутил последний раз перед смертью. Фабер взглянул на собеседника. Серая точка тускнела посреди его лба, над которым начиналась лысина, щедро освещенная электрическим солнцем.

Был один ученый, маленький заштатный ученый, ненужный ученый, плохой ученый, отказавшийся работать в его институте по производству ядовитых газов. Он был или идиот, или социалист. Он мог бы сидеть за это в крепости, в мире ничего бы не изменилось, в науке — тоже.

И Фабер усмехнулся. Серое пятно походило на этого ученого, на волчок, детский волчок, пущенный под ноги взрослому человеку. Раздавить его ничего не стоило, но

волчок был слишком мал и гибок. Бегать за ним взрослому человеку было стыдно. Ассистент смотрел глазами кролика, влезającego в иприт.

— Синильная кислота не годится, Фогель, — знаете вы это? — в том виде, как она сейчас. Процент смертности ничтожен. Мы зря распыляем по полям драгоценный материал. Концентрация, которую мы даем, не убивает человека, она отправляет его не в могилу, а только в санаторий. В этом вся разница.

Фогель подтянулся. Послушный и внимательный Фогель мог вникать только в природу научного факта, а не в результат человеческих переживаний. Его не интересовало, что лучше: могила или санаторий. Отравляющее вещество не действовало как нужно, и в этом повинен он — Фогель, но он решил сопротивляться.

— Камера наполнена должной концентрацией. Я проверял на кроликах и кошках.

— Что получилось? — спросил Фабер.

— Они сдохли, — сказал громко Фогель, — при впрыскивании смерть тоже немедленна.

— Сколько времени мы можем вести эти опыты до результата?

— Мы получаем сведения с фронта каждую неделю. Если у нас сегодня пятнадцатое и первая партия пробных пройдет в район, где предполагается атака...

— Вы ставите опыт в зависимости от вкусов штаба. Значит, пройдет вечность.

— Господин профессор, иного способа...

— Иной способ есть...

Фогель смотрел в угол, легкая дрожь пошла по его ноге. Подобная мысль — просто глупость. Фабер сегодня шутит неудачнее обычного.

Телефон зазвонил. Фогель взял трубку, потом прикрыл ее ладонью и сказал:

— Вас хочет видеть по неотложному частному делу майор фон Штарке.

— Кто это, Фогель?

— Кажется, это изобретатель огнемета.

— А! Поджариватель французов! Дежурный повар кухни его величества. Скажите ему, Фогель, что профессор Фабер уехал на фронт!

— Хорошо... Вы слушаете: профессор Фабер уехал на фронт. Что? У вас есть сведения? Сведения неправильны. Да... Да... Не знаю. Пожалуйста.

— Господин профессор, я знаю способ, но это не имеет отношения к делу.

— Ваш способ?..

— Войти в камеру человеку.

— Совершенно верно!

Трубка телефона осталась висеть на шнурке. Фогель забыл ее повесить на крючок.

VIII

КАМЕРА

— Господин профессор, вы слушаете меня?

— Да, Фогель.

Длинный коридор, выложенный белыми плитами, уходил в бесконечность.

— Войти в камеру нельзя человеку.

— Почему, Фогель?

Фогель вспотел. Он почти бежал по коридору, и потом он был ниже Фабера. Ему приходилось, говоря, приподыматься на носках.

— Человек в камере умрет. Концентрация смертельна...

— А я говорю нет, Фогель... И я это докажу!

Фогель в первый раз за долгую институтскую практику смотрит растерянно на стены. Стены гладки и казенно сочувствуют ему. Он приподымается на носках. Его кадык вылезает из воротничка. Фогель становится уродом с большой головой и туловищем ящерицы.

— Можно военнопленного, господин профессор.

Фабер останавливается внезапно.

— Вы, кажется, сказали: военнопленного?

— Я сказал: человека, которому нечего терять. Приговоренного или сумасшедшего, калеку... Когда жизнь в тягость...

Они продолжали быстро преодолевать коридор за коридором.

— Мне нечего терять,— говорит Фабер,— а потом вы меня знаете. Фогель, что такое синильная кислота?

«Ага, профессор Фабер опять хочет шутить». Ну, что же, Фогель вынимает руки из карманов, как ученик на уроке.

— Синильная кислота. Синильной кислотой всегда называли водный раствор цианистого водорода. Цианистые соли дают...

— Благодарю вас, Фогель. Теперь сосчитайте до ста, и вы успокоитесь окончательно. Мы пришли.

Что хотел доказать профессор Фабер, входя в камеру, наполненную парами синильной кислоты в концентрации неизвестной, но, по Фогелю, достаточной для того, чтобы убить наповал все живое, что соприкоснется с ней? Но так думал Фогель. Профессор Фабер ничего не хотел доказать. Он хотел освободиться от маленького серого пятна, неотступно стоявшего перед ним, освободиться от какой бы то ни было ответственности. Русские, например, в таком случае брали наган, вкладывали одну пулю и перекатывали барабан, потом брали дуло в рот и нажимали спуск. Если выстрела не следовало, человек вставал с места, слегка качаясь, и долго помнил металлический вкус во рту. Японцы, например, в таком случае снимали с себя оружие и лишнюю одежду и с голыми руками, далеко впереди наступающих, лезли на утесистые форты Порт-Артура.

Профессор Фабер стоял в камере, наполненной парами синильной кислоты. Он знал, как придет смерть, если он ошибся. Она придавит центры продолговатого мозга, тело перестанет выкачивать кислород из крови, он будет раскачиваться, зевая, ноги отнимутся, дыхание умрет раньше, чем остановится сердце. В страшном омуте крови, которая станет алой, как киноварь, сердце будет биться, когда горло схватит последняя судорога.

И труп профессора Фабера будет покрыт пятнами светло-красного цвета, как выходная одежда клоуна. Бедный Фабер! Смерть могла бы трагичнее украсить труп такой огромной важности, а она его сравнивает с любым ландшафтистом.

Он стоял, потеряв представление о времени. Время исчезло, когда он перешагнул порог, который переходили только кролики, собаки и кошки.

Он ждал конца. Он ждал смертельного подергивания мускулов как облегчения. Он не слышал сердца, он искал одышки, как первого предвестника гибели. Большой шум тяжелой волны прошел по его сознанию. Профессору Фаберу осталось жить несколько секунд. Они тянулись так, что можно было пережить всю мировую историю, добрать-

ся до великой войны, отыскать институт, уединенную, глухую комнату и вывести Фабера из забвения.

Говорят, были случаи, когда отравленные могли перейти двор, обнять жену и сесть в трамвай, чтобы умереть на людях. Но ведь он, Фабер, говорил, что синильная кислота, которую предлагает Фогель, посылает только в санаторий.

Он почувствовал, как ногти в сжатых кулаках впились в ладони, как дрожит ухо, как высох желудок и болтается, подобно кожаному ведру, опущенному на веревке внутрь Фабера, как конец этой веревки пухнет во рту. Язык рос, и шершавость его занимала весь рот. На ногах жилы рисовались Фаберу переплетением синих шнурков. Его короткие усы, широкие и плоские, стали влажными. Ощущения проходили сквозь него, как пешеходы, возвращающиеся искать забытые вещи в гостиницу, где они когда-то останавливались. Они перерывали его и причиняли боль совсем не там, где он ждал ее.

Неужели эти секунды еще не кончились? Или вот это и называется смертью? Тогда, значит, почерневший Вестер мог еще в уме проверить смертельную ошибку, начертив мысленно маленькую формулу, когда уже его труп выносили из красно-бурого тумана. Ведь сердце и мозг живут и после прекращения дыхания. Он вспоминал формулы синильной кислоты, как заклинание: треххлористый мышьяк не дает ей разложиться. Глухой шум прошел под потолком, как будто ветер срывал палатку. Хлороформ не дает ей разложиться. Шум повторился. В комнате начинался ураган. Четыреххлористое олово, олово уменьшает летучесть. Ураган бросил Фабера к стене. Сердце не билось. Язык стал уменьшаться. Колени сгибались, точно на них висел груз. В ушах звенело. На единый миг профессор Фабер потерял сознание. Он нашел себя у стены, липкой, как патока. Нет, липкой была не стена, липкой была рука. Серо-зеленые молнии пронизывали воздух. Как глут писатели и художники, рисуя смерть в виде законченной фигуры, в плане точных движений. Ничего точного — мрак, расслабленность, тихое и медленное угасание сознания. Его качнуло. Он протянул руку, руку кто-то задержал и рванул вперед. Фабер раскрыл глаза. Перед ним стоял Фогель. На его широком лбу, над которым высилась начинавшаяся лысина, играло электричество. Никакое серое пятно не нарушало мощной белизны фогелевского лба.

Фогель тащил его по коридору, издавая тихие восклицания. Фогель веселился, как медведь, обсасывающий лапу. Он втащил его в комнату, положил на диван, сел напротив, загородив спиной раскрытую аптечку с приготовленными пузырьками, пакетами и склянками. Только ножницы и бинты не успел он загородить, и это было первое, что увидел Фабер по возвращении с того света.

Фабер пил горячую воду с коньяком; он сидел, расстегнув воротник, пиджак и брюки. Наступая на шнурки от расшнурованных ботинок Фабера, над ним хлопотал Фогель.

Маленький чайник весело кипел, Фогель взял коньяк, хотел прибавить Фаберу в кипяток, остановился и печально сказал:

— Вы опозорили меня на всю жизнь!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Железный крест, чин майора, «мертвая голова» на левом рукаве — знак бессмертного пионера, тяжелый титул Князя Тьмы и ясное убеждение: его огнемет не оправдал себя. Он не сожжет войну. К такому выводу приходишь на четвертый год. Сколько напрасных ожиданий! Огнемет означает все, что угодно: высокий дух, храбрость, мужество, презрение к смерти, но еще не конечную победу. Лучше бы не приезжать с фронта до конца войны! До конца войны... а когда ей конец?

Как фельдмаршал Шлиффен, умирая, в предсмертном бреду повторял: «Укрепляйте правый фланг!» — так он мог, умирая, кричать: «Огнеметы, только огнеметы!» — но все было решено по-другому. Другой счастливец, если его можно назвать счастливцем, пожал его лавры, если это можно назвать лаврами, и этого человека звали профессор Фабер. Раз — это было давно — Штарке пошел к нему, чтобы лицом к лицу проверить силу своего противника, и Фабер не захотел его видеть. Тогда он засел за новый проект, простой, увлекательный и полезный. Проект обсуждался в бесчисленных отделах штаба, и, когда он получил ответ, кровь застучала в старом сердце Штарке.

Они отвергли его блестящий новый проект. Видите ли, у них, во всей Германии, не хватит масла на это, самолеты не такое всемогущее оружие, как он думает. Поливать горящим маслом с самолетов неприятеля — это сложная фантазия. А разве огнемет не был фантазией, буйный рост которой вызвал он, Штарке?

— У нас нет запасов материалов,— говорил ему блестящий болтун, любовавшийся звуком собственного голоса.— Вы не знаете, сколько германская армия жжет, например, хлопка. Ежедневно она сжигает его больше тысячи тонн. Вы только подумайте, тридцать выстрелов из двенадцатисантиметровой пушки поглощают четыреста фунтов хлопка. Шестьсот тонн мышьяка идет у нас ежемесячно на тот миллион снарядов, который мы выпускаем на фронт. Нельзя же переменить всю систему пушек и винтовок. Снаряды поддаются изменению легче всего, и то со стороны внутреннего состава. Ваш огнемет хорош при позиционной местной войне, при ударных атаках, но ждать большего от него не приходится, тем более что он не поражает неожиданностью. Вы,— говорил этот злобный и завистливый человек,— вы тратите очень много материала. Вы загоняете сто литров масла в один большой аппарат Грофа, вы делаете из среднего Векса восемнадцать выстрелов, действующих на двадцать пять метров. Куда это годится? Я был на вершине Эпарж, вы знаете ее, помните, какие бетонные пулеметные гнезда и блиндажи стояли там, я долго не был в тех краях, в прошлом месяце я попал туда. Вершины нет, она сровнена с землей, клочья проволоки, углы бетона, бетонная крупа, и щебень, и кости в любом количестве. Это сделали минометы и мортиры Хитченса. Вот это работа! Три тысячи минометов стреляют сразу. Он довел их до совершенства. Мина заряжается газом, от одного вдыхания человек умирает. Это — первое, а второе в том, что газовые волны и снаряды заменили все. Каждый день, каждый час мы несем ужасные потери. Люди слепнут, и глохнут, и умирают, нигде не чувствуя себя в безопасности. На десять километров в глубину идут газовые волны. И мы отвечаем тем же. Газ за газ. В самом глубоком тылу деревья выжжены, трава выжжена; вокруг — пустыня и бойня.

— А знаете вы,— сказал Штарке,— что профессор Фабер отказался меня принять, когда я к нему пришел? Правда, это было давно.

— Я не знаю причины его отказа, но знаю, что это единственный человек, за которым вся армия повторяет одно слово: газ, газ, газ. От него, как быки под ножом, валятся целые дивизии. Люди спят в противогазах. Колокола звонят газовую тревогу по четыре раза в день. Простите меня, я должен прервать разговор, меня ждут.

И он ушел, самодовольный и спокойный штабист. Штарке вернулся домой. Штарке долго стоял в раздумье, спиной к окну. Широкая спина непонятна, как запертая дверь. Седая голова его неподвижна. Так будет стоять на памятнике Штарке. Так будет он изображен в мраморе или в бронзе.

Штарке глядит каменными глазами на пепельницу. Пепельница сделана из осколков английского снаряда. Очень прочная пепельница. Очень спокойная пепельница. Она никогда не задает вопросов. Она никогда не отвечает на них.

II

БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

— Вы знаете, я как-то сказал одному офицеру, что вы единственный человек, за которым вся армия повторяет одно ваше слово: газ, газ, газ. Артиллеристы прошли настоящую химическую науку. И так просто, не правда ли? Неподвижный заградительный огонь — желтый крест — горчичный газ. Зеленый крест — фосген. Синий крест — мышьяк. Только от постоянного напряжения, от острого возбуждения у людей появилась усталость. Западный фронт стал пугалом. Люди говорят, что там целым остаться нельзя. Или будешь ранен, или отравлен, или убит. Правда, можно сдаваться в плен, но это не всегда успеешь чисто технически. Из полков при переводе с восточного фронта отмечено дезертирство. Бегут главным образом эльзасцы и поляки. Общая усталость налицо...

Фабер сидел со штабистом в комнате совещаний. Они пили кофе с английскими трофейными сухарями. День был почти зимний. На улице было холодно и скользко. В комнате нагревалась электрическая печь, и штабной офицер сидел, положив ногу на ногу, обыкновенный и развязный, как всегда, хотя они говорили о вещах важнейшего значения. Правда, великие события не считаются ни с местом, ни с погодой. Раз пришло их время, их ничто не задержит, а штабные во все времена и у всех народов будут одинаковы. Их авторитет непоколебим.

— Что такое усталость? — сказал Фабер. — Это просто самоотравление организма особым ядом, получающимся при распаде белкового вещества. Усталость можно прививать, как оспу. Усталость меня не беспокоит. Меня беспо-

коят противогазы. Я пробовал недавно новую кожаную маску, все три образца...

Штабист отставил чашку. Воспоминание о собственном пребывании на фронте живо встало в его голове. Фабер свистнул. Было удивительно, что такой большой человек свистит, как мальчишка.

— Если англичане начнут стрелять «синим крестом» — усталость исчезнет. Противогазы пропускают «синий крест».

Офицер побледнел. Фабер отставил свою чашку и продолжал:

— Если англичане введут в дело мышьяковистые соединения, нам придется приблизить наш противогаз к английскому. Англичане применяют фильтры из шерсти и ваты против наших «синих крестов», но противогаз такого типа давит на горло и вызывает скорое удушье. Мы возьмем другой тип противогаза. Это будет большая коробка, висящая на груди, с резиновой трубкой. Резины у нас нет. Мы пускаем в ход кожу. Но приготовление из кожи трубок довольно сложно. А нам нужны миллионы трубок. Что же делать? Я наводил справку. Запасы резины ничтожны. Как проходит сейчас линия фронта?

— В общих чертах фронт идет от Арраса на Лафер — Реймс — Верден. К сожалению, мы давно потеряли Суассон. Линия Зигфрида трещит. Вся надежда на позиции Кримгильды и Хундинга. Битва не ослабевает.

— Я сомневаюсь еще в одном пункте. — Фабер говорил спокойно, как на лекции. — Попробуйте проверить запасы гельбоина, этих коробок с хлорной известью, которые мы применяем против горчичного газа. Какое наличие гельбоина находится на снабжении армии? У меня есть подозрение, что не хватает и его. Я даже знаю, что некоторые армии заменяют его марганцовокислым калием, но это нельзя оставить так.

Штабист встал.

— Я уезжаю завтра. Ваш доклад я передам сейчас же лично. Вы будете уведомлены через три дня. Вы получите копию справки.

Фабер позвонил Фогелю. Фогель пришел, как всегда, толстый и важный, сияя начинающейся лысиной.

Через три дня Фаберу доставили телеграмму, уже расшифрованную и совершенно секретную, и он читал ее так долго, что не отвечал ни на какие покашливания Фогеля. Фабер спрятал телеграмму в карман, через несколько ми-

нут вынул ее, погладил переносье и тогда взглянул на Фогеля.

— Простите, Фогель, вы что-то сказали мне?

— Я не говорил ничего, господин профессор.

Фабер протянул ему телеграмму, и Фогель удивился, что Фабер читал десять минут три коротких строки: «Сообщаю, что в третьей, первой, седьмой, семнадцатой и шестой армиях вся хлорная известь роздана в войска. Запасов ее больше нет».

Фогель прочел телеграмму вполголоса.

Профессор смотрел на Фогеля так же пронзительно, как всегда, но с тем оттенком хищности, за которым всегда, знал Фогель, профессор будет или злиться, или неудачно шутить. И он был прав.

— Фогель, какую страну выбираете вы, когда уезжаете отдыхать? Или нет — какая страна влечет вас к себе больше всех других?

— Меня влечет Сiam,— сказал Фогель,— белые слоны, баядерки и тигры.— Он шел навстречу шутке.

— Вы можете складывать чемоданы и уезжать в Сiam, Фогель, на белом слоне с баядеркой мчаться за тигром. Это будет спокойнее...

Шутка не вышла, как всегда. Фогель даже не улыбнулся.

III

ШРЕКФУС ВЫХОДИТ СУХИМ

Руди Шрекфус вел незавидную жизнь заводного насекомого. Он ползал по дымным полям, по переходам разбитых окопов, но самое худшее — были воронки от снарядов. Он ненавидел их больше всего. Он два дня жил в воронке, окруженный тяжелыми облаками дыма и молниями разрывов. Он менял противогазы, оружие, он терял товарищей, но главное — он ползал, как заводной жук. Временами он командовал, свистел, стрелял, толкал упавших концом маузера, но ему не часто даже разрешалось подыматься на ноги.

Временами перед ним проносились видения: зеленые поля, громадное голубое небо, широкая белая дорога, он вступает в войну, идет по дороге веселый, как молодой бог, никакая опасность не страшна ему, он не наклоняет голову под пулями, а визжащий хоровод снарядов только

подымает его на торжественную уверенность. Потом он стал наклонять голову, как новобранец, потом он стал прятаться за выступы, искать прикрытий. Сейчас он только заводной жук, ползающий в гремящей трухе, в сухой размолотой крупе, в которую превратилось все вокруг. Он спит теперь, не думая, что его возьмут в плен, что взрыв сапы смешает его с землей, что газ обволочет его спящего, он спит крепко от великой усталости.

Когда он просыпается, он не находит перемен. Только газы меняют вид и окраску. Он видит отравленных людей с лиловой кожей, серебряными лицами, с красными, как роза, пятнами на руках и на лице; вой раненых идет от воронок, как будто воют испорченные вентиляторы. Так проходят шесть или восемь дней. Потом его отводят на отдых в тыл, в разрушенные деревни, на новые позиции, и он валяется в чьей-то разбитой постели и ест, не думая о еде.

Потом он снова ползет по дымному полю. Он даже не знает, какой пейзаж вокруг. Ему кажется, что перед ним все время поднимаются в воздух тяжелые стены и непрерывно обрушиваются, так что земля гудит часами.

У него выросла зеленая морда хамелеона. Противогаз стал постоянным проклятием. Все кричат о газовой дисциплине. Как заводной жук, ползет Шрекфус между проволочных стен, отупело смотря в плавающие дымы, за которыми идут враги.

Небо раскрывается неожиданно. Оно полно гудением. Гудят десятки аэропланов. Они идут с такой скоростью, точно их зарядили на другой планете и они должны пробить землю, пройти ее насквозь. Крылья их видны все ближе. Шрекфус падает лицом в землю. Аэропланы сбрасывают стрелы. Стрелы тупо стучат по шлемам, по щитам орудий, вонзаются в доски и мягко пронизывают человека. Аэропланы поливают пулеметными лейками лиловые клубы дыма. Они забрасывают бомбами, лопающимися с захлебывающимся чавканьем — они проходят, на смену им является новый заградительный огонь.

Шрекфусу становится дьявольски скучно среди этих дней и ночей, превращенных в мясные лавки, где валяются неубранные туши, а мясники всегда пьяны от усталости и запаха крови, среди холмов, похожих на помойные ямы, где на проволоке между окопами гниют неубранные мертвецы среди животных с тупыми мордами и людей в

зеленых масках с застывшими, рыбьими глазами, среди этих куч угля, золы, пепла и костей, на которых развешаются в дыму отсыревшие тряпки, называемые знаменами.

Потом к нему приходит отчаяние, он не может стрелять, от страшного нервного напряжения у него пропадает голос. Когда он смотрит, он видит на земле красные или зеленые большие пятна. Но это как раз не относится к его болезненному состоянию. Это пятна пристрелочных снарядов. Пушки работают, обливаясь потом. От всей страны останутся, как на луне, пустые воронки. Хорошенький пейзаж для будущего поколения! Но Шрекфус не хочет отдавать врагу и эти воронки, которые он так ненавидит. Его тошнит всякий раз, когда он сползает, сползает по гнилым стенкам воронки все ниже и ниже, и земля осыпается, и в ушах звенит, а на краю воронки стоит красно-бурый туман, от которого кровь бросается в голову и дрожат ноги.

На шестой или на восьмой день он лежит на отдыхе, и далеко впереди его свиваются и развиваются волны дымовых завес. И вдруг начинают стрелять рядом, и отдельные выстрелы страшнее, куда страшнее многоголосого рева битвы. Что случилось? Шрекфус вылезает на дорогу, закрыв рукой глаза от солнца. Кругом прячутся люди, не одетые, растерянные, отдыхающие люди тыла, в которых не имеют права стрелять, — они отдыхают, они вышли из битвы, они хотят дышать чистым воздухом и ходить на двух ногах.

И тогда он видит танк. Черная, ребристая, тихо гудящая машина вертится и время от времени окутывается дымом. Она стреляет на выбор. Белые вспышки разрывных нуль ударяются в ее бок. Но почему этот безумный танк один? Где же другие? Его водитель сошел с ума, зайдя так далеко, потерял представление о направлении. Он тоже зарвался от дикой усталости. Танк поворачивается в сторону Шрекфуса. Танк стоит между сломанных кустов, как бы пофыркивая. Его обстреливают, как слона на облаве. Ему не хватает только хобота.

Шрекфус бросается на землю, потому что танк послал белое облако в его сторону. Где-то за домами взлетает земля и трещат крыши. Шрекфусом овладевает ярость. Он готов бежать к этой черной башне, бить ее кулаками, царапать ее ногтями, плевать на нее. Он видит на крыше танка бидоны, ряды привязанных бидонов. Танк собрался в

далекую прогулку, если везет с собою такой запас бензина. Шрекфус выхватывает у соседнего солдата винтовку. Он кричит:

— Пуль, зажигательных пуль!

Зажигательных пуль ни у кого нет. Тогда он кричит снова:

— Бейте по бидонам, бейте по бензину!

Открывается нестерпимая стрельба. Шрекфус в бинокль видит, как пробиваются бидоны, как бензин стекает по плечам чудовища, он, наверное, просачивается внутрь, что делается там с людьми? Танк начинает вертеться. Бензин уже льется ручейками. И тогда приносят зажигательные пули.

Над танком вспыхивает сизое пламя, легкое и прозрачное. Танк бросается вперед и останавливается, врезавшись в кучу кирпича. Взрывается большой бидон. Пламя без искр растекается по черным бокам машины. Люди стреляют без перерыва. Из танка на землю соскакивают три человека. Они поднимают вверх руки. По их лицам течет бензин, их щеки багровы и полосаты от копоти и грязи, от удушливых испарений, губы потрескались. На них грязная, потная одежда. По-видимому, впереди офицер. Он мало что понимает, он едва стоит на ногах. Если б он мог говорить, он бы сказал, что есть предел человеческой выносливости. Перенапряженный металл лопается, как графит. Сколько часов провели они в ползающей коробке в температуре печки, не смея высунуть голову?

Со штыками наперевес к ним бегут люди. Если им не помешать, они убьют этих трех, отнявших у них право на заслуженный краткий отдых. Танкисты стоят, шатаясь, с поднятыми руками. Шрекфус врывается в толпу, окружившую их.

— Назад! — кричит он. — Тихо, ребята, назад!

Кое-кто пробует залезть внутрь танка, и все же кто-то ударяет прикладом и валит на землю одного из танкистов, самого маленького. Тогда командир танка говорит:

— Пить!

И Шрекфус видит, что он ранен. Рука его замотана бинтом. И потом он видит, что часы у пленного на руке остановились. Не зная почему, он говорит вслух:

— Четверть шестого.

Офицер проводит рукой по волосам и снимает пенку какой-то копоти.

— Пить! — повторяет он и добавляет: — И спать.

IV

КАЖЕТСЯ, ДА!

Это было поистине владычество газов. Как из злополучной бутылки арабской сказки однажды возник демон с отвратительным лицом и всемогущей силой, так из вытяжных шкафов фаберовской лаборатории вырвались видения, служившие армиям его страны и вдруг обратившиеся с неслыханной силой против них.

Это действовали вещества удушающие, вещества ядовитые, вещества слезоточивые, вещества раздражающие, вещества нарывные. Упорство их превосходило упорство самого лучшего борца. Горчичный газ ручьями тек по улицам городов, хлорное олово мутными языками дымовых завес окутывало горизонт, этиловый эфир сопровождал осколки ручных гранат, хлорпикрин врывался вместе с окопными минами в проломы блиндажей, хлор вызывал молниеносное воспаление легких.

Газы, подобно винограду, проходили мрачные давяльни и в жидком, сгущенном виде заполняли снаряды; иногда погибали не только те, против кого они были назначены, а и те, кто их приготавливал.

Газы, разъедавшие сталь и железо, впитывавшиеся в дерево, в кожу, в ткани, сохранявшие ядовитость неделями, заставляли людей судорожно держаться за непрочную маску противогаза и ждать часами смерти, с глазами, застывшими от ужаса, и расширенным сердцем. Тогда приходил дифенилхлорарсин в виде смерча тончайших песчинок, легко пробегавших через черные поры угольной коробки. Людей начинало тошнить, нос и горло разрывало адское чиханье — люди срывали противогаз, и их встречал слабый чесночный запах иприта или мрачное дыхание фосгена.

В белом, зеленом, красно-буром, черном, синем и желтом дыму сто тридцать пять дней непрерывно сражалось шесть миллионов человек. Песчаные холмы пустыни песчаная буря передвигает с места на место. Эта битва далеко превзошла песчаную бурю. Она изменила всю природу, самый состав земли, она изменила даже полет птиц, птицы удалились в сторону, оставив вековой путь, а земля, избитая, смешанная с трупами, окровавленная, пустая, отказывалась что-либо родить.

Стороны сражались уже в неравных условиях. И одна сторона, медленно разламываясь на части, начала отступ-

ление. Над ней взвились тысячи аэропланов с боевыми кличками всех систем. Это шли «Нюпоры», «Виккерсы», «Хавеланды», «Бристоли», «Кертиссы», «Спады», чтобы добывать сверху отходящего, судорожно обороняющегося врага.

Уже зима заметала мелкой холодной липкой крупой поля сражения, уже тридцать дивизий готовились ударить по свежей дороге на Майнц, уже двенадцать союзных армий, имея за плечами миллионный резерв, готовились послать впереди себя невиданной силы газовый поток на последние позиции немцев, когда в туманный вечер, далеко от фронта, в городке, куда слабо доходил голос великой канонады,— седой человек, зеленый от усталости, сказал, опираясь на карту, другому измотанному человеку со свинцовым лицом:

— Кажется, мы проиграли войну?

И человек со свинцовым лицом ответил:

— Кажется, да.

Седьмого ноября в восемь часов вечера грязные, замерзшие часовые в двух километрах северо-восточнее Ла-Капель, в районе сторожевого охранения тридцать первого корпуса первой французской армии, увидели белый флаг парламентариев. Они приказали автомобилю остановиться.

V

НОЯБРЬ

Тяжелые сапоги, подбитые гвоздями, топтали нетерпеливо свежевывапший снег. Плечи, иные с сорванными погонами, все гуще заполняли переулочек. Перед железной дверью в низкой ограде стоял раскрасневшийся человек, бесплодно махавший руками. Каждое его слово вызывало недовольство.

— Товарищи, я повторяю: здесь ничего нет. Здесь склад. Боевой склад запасов: товарищи, дисциплина...

Это было нехорошее слово. Это слово только что рухнуло, как будто последняя граната, кончавшая войну там, на Маасе, ударила именно в это слово.

— Видали мы дисциплину, довольно!

— Кому бережешь добро?

— Мы не ели второй день. Все бегут в разные стороны. Транспорт развалился.

— Там, на складе, хлеб и консервы!

— Что с ним разговаривать...

— Вперед, товарищи, мы уже громили склады, мы знаем, что там бывает.

— Не все жрать кайзеру!..

— Он уже в Голландии. Не беспокойся, ему тепло.

— А ну, вперед!

Человека в дверях оттерли. Густые удары прикладов раскачивали дверь. Потом появился ключ, дверь распахнулась. Толпа — именно это была освобожденная от дисциплины, от казарм, от войны, возбужденная, свободная толпа, вооруженная винтовками, тесаками, карабинами, маузерами, ручными гранатами, — растеклась по двору. Двор был большой. Он походил скорее на плац.

В загородках, под навесом стояли серые баки, непонятные банки, жестяные бутылки, серые аппараты, высокие, изящные, с прорезиненными рукавами. Этих баков были десятки, они стояли, как необычные животные в стойлах, опустив хоботы к земле. Ничего съестного на этом дворе не было. В огражденных пространствах нельзя было найти ни зерна. Толпа топталась, оглушительно ругаясь. Эрн Астен, худой, в черной шинели, обвешанный гранатами, убежал на середину мощеного двора.

— Товарищи! — закричал он. — Нас обманывали все эти годы. Нам привили бешенство. Нас старались уничтожить всеми способами. Здесь нет хлеба, да, его здесь действительно нет. Но здесь есть кое-что другое. Знаете ли вы, что это за вещи? Это огнеметы и газометы, резервные огнеметы, те самые, из которых нас жгли, как собак, — англичане скопировали свои вот с этих молодцов. Но эти молодцы начали раньше. Товарищи, у меня с ними особые счеты. Назад, товарищи, берегись!

Он взмахнул гранатой, сорванной с пояса. Люди бросились к двери на улицу, припали за камнями, иные плашмя ринулись на землю. Фронтной опыту каждому подсказывал, что делать. Красное пламя осветило двор, и звон ломающихся баллонов переносился из угла в угол. Эрн бросил вторую гранату. Кто-то пустил через каменный забор еще несколько штук. Гранаты рвались, разбивая пушты резервуары на куски.

Дым крутился волчками. Пахло горячим железом. Иные перегородки загорелись. Огонь подымался все выше, освещая изломанную грудку огнеметов.

Люди ушли. Двор опустел. Одинокое пламя подымалось из-за деревьев, и тогда на двор пришел Штарке. Освещен-

ная пламенем пожара, на гладких камнях двора перед ним лежала забытая бескозырка. На нее падал снег.

Штарке обвел пустыми глазами разгромленные баллоны.

Они умирали, одинокие, покинутые, с пробитыми боками, с оторванными плангами, с выбитым дном. Все равно через день здесь будут французы.

Кто-то тронул его за рукав. Он брезгливо оглянулся. Мимо него прошел солдат с обнаженной бритой головой, лихорадочным лицом, небритый, без погон.

— Папаша, — сказал он, не обращая внимания на Штарке, — дай-ка пройти! — И вдруг он увидел, что перед ним офицер. Он посмотрел пристально, как бы напрягая зрение, потом решительно отвернулся, оглядел двор, нашел бескозырку, поднял ее, нахлобучил на голову и ушел с расстегнутым воротом, глотая снег раскрытым ртом, как астматик.

— Вшивая сволочь! — сказал Штарке.

VI

ПОВЕДИТЕЛИ

Когда был низвергнут Наполеон и заключен Венский мир, все танцевали. Как сообщают историки, император танцевал, короли танцевали. Меттерних танцевал, лорд Кэстлри танцевал. Только князь Талейран не танцевал, и то потому, что был хром.

В большой комнате, о которой идет речь, в комнате теплой и уединенной, с исторической мебелью красного дерева и золотыми украшениями, с историческими воспоминаниями разных цветов, только двое пробовали танцевать довольно оживленный танец, странный танец. Они бегали вокруг красного стола, мимо шкафов, удивленно взиравших на них, они бегали, два тяжелых, плотных, невысоких человека и с индюшечьей горячностью рокотали.

— Поймите, маршал, — рокотал человек в сюртуке, — война кончена, кончена. Вы поедете в Спа, к немцам, на перемирие...

Маршал махал руками.

— Я не поеду в Спа. Сколько раз вам говорить. Я не хочу мира. Пусть едет кто хочет. Война не кончена. Кто вам сказал, что война кончена? Это все интриги. Они укра-

ли у меня победу. Когда я держу для удара сто дивизий, когда я должен перейти Рейн, войти в Берлин, перекинуться в Польшу, немедленно уничтожить большевиков, это гнездо, откуда воняет на всю Европу, прогнать немцев из России, Румынии — вместо того чтобы сражаться, они посылают парламентаров, это — шулерство, а вы говорите: поезжайте в Спа. Я не хочу слушать, мне противно.

— Маршал, если мы последуем за вами, мы ввергнем Европу в новую войну, в хаос, в ужас. Война кончена. Все хотят отдыха. Отныне мы — люди в куртках — будем стоять на страже справедливости. Маршал, все получают по справедливости. Самый паршивый крестьянин, у которого боши отняли одну корову, получит две. Мы заставим их застроить все дома, разрушенные ими, по тем планам, по которым они были построены впервые. Мы пустим их голыми, мы оставим им воздух... Но война все-таки кончена. Весь этот гром пушек — со вчерашнего дня уже история. Вы поедете в Спа, вы повезете наши письменные условия.

— Я не почтовый ящик — возить ваши условия...

— Маршал, вы не истеричная женщина. Я помню, что говорю с героем Франции. Вы жертвовали жизнью там, на фронте, а разве мы в тылу мало работали? Я сам отлично помню, как я прикалывал орденские ленточки на грудь рабочим, ослепшим от иприта... Да, да.

— А! Вы прикалывали ленточки, а я, сколько лет я портил себе кровь, дрожал каждую битву, каждый час, не мог спать, не мог есть неделями, а когда шесть дивизий повернули на Париж штыки, где были бы вы, если бы не я? И вы хотите, чтобы я поехал к немцам... Я не могу их видеть, я могу их только уничтожать. Понимаете — уничтожать.

— Я понимаю ваши чувства, маршал, но война кончена. Мы не одни. Союзники считают войну конченной. Пушки должны замолчать. Им разрешается только последний салют в честь мира, который мы сумеем заключить. Сегодня день чуда: бумажный франк сравнялся с золотым франком. Мы, государственные люди, кое-что понимаем в этом, но ехать в Спа должны вы. Победителю принадлежит честь принять шпагу от побежденных. Вы поедете в Спа, вы сядете за стол с немецкими уполномоченными...

— Я сяду, да, я сяду, но они не сядут. Я буду их держать стоя, стоя, с вытянутыми по швам руками. Я буду говорить, а они будут слушать и молчать, ни одного слова,

я не позволю им ни одного слова. И потом я велю адъютанту дать им перо, чтоб они подписали мои условия без промедления. Я должен получить должное за те пытки, которыми они меня пытали все эти годы...

— Совершенно верно. Они будут стоять, они будут молчать. Делайте с ними, что хотите, но вы сейчас же поедете в Спа. Мы умоляем вас, маршал. Страна этого никогда не забудет. А они пусть стоят, пусть часами стоят. Это уже не важно. Самое главное — война выиграна, и мы победили. Ну, что же, маршал?

— Черт с вами! Я еду в Спа.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

ОКОРОК

Это было поистине сказочное окно. Желтые овалы сыров источали нежные прозрачные слезы; колбасы, декорированные зеленью, лежали в серебряной кожуре, заманчиво изгибая жирные туловища; сосиски висели гирляндами; икра, черная и красная, переливалась в бочонках, обложенных льдом; на льду лежали изображавшие осень желтые и красные листья; столбы масла образовали арку, из которой ползли огромные омары с шершавыми клешнями, полными мягкого розового мяса; утки, гуси, куры, паштеты, страсбургские пироги, пикули, грибы, лимоны толпились вокруг, но президентом этой гастрономической республики, конечно, являлся окорок. Окорок превосходил воображение самой мечтательной хозяйки. Окорок укладывал на лопатки гастронома. Именно окорок останавливал прохожих. Он занимал центральное место. Оно принадлежало ему по праву.

Обтянутая тонкой, покрытой крапинками сала, коричневой, мягкой, великолепной кожей, обвитая белоснежным бархатным узким кольцом жира, лежала влажная, просящаяся в рот, розовая, как фламинго, единственная в мире ветчина.

Белые жилки, точно нарисованные лучшим мастером, бесподобно подчеркивали свежесть и очарование розового мяса. Казалось, от него исходит обольщающее благоухание, проходит сквозь толстое зеркальное стекло и, попадая в нос прохожим, поворачивает их немедленно лицом к окну. И действительно, редкий пешеход не останавливается, невольно любуясь соблазнительным зрелищем. И уже действительно, редкий пешеход открывал дверь и входил в

магазин, потому что цена этого мяса была равна его великолепию.

Уже несколько времени, не сводя глаз с окорока, стоял человек в узком пальто и фетровой шляпе, надвинутой на глаза. Он смотрел только на окорок. Зрители сменялись у окна и шли дальше, а он стоял и смотрел. Он даже высовывал по временам кончик языка, проводил по сухим губам, он делал даже какие-то движения рукой и перебирал ногами, точно начинал танцевать чарльстон в честь этого удивительного окорока, но язык прятался, руки падали в карманы, ноги успокаивались, подходили новые люди поглядеть, а он все смотрел не отрываясь.

Иногда он делал попытку удалиться, но невидимая сила возвращала его на прежнее место. Тогда он вынимал папиросу. Долго закуривал ее, как бы ища мысленно выход из положения, но папироса подходила к концу, дым таял, а окорок оставался. Тогда он начинал незаметно облизывать губы и сверкать глазами. Минутами он, несомненно, забывал, что он открыт глазу постороннего наблюдателя.

Он поймал на себе удивленный злой взгляд и посмотрел на очередного незнакомца с нескрываемой враждебностью. По лицу незнакомца, закутавшего шею пестрым шарфом, по его вызывающим глазам и костюму рабочего он понял, что человек этот подметил его болезненный интерес к окороку и готов издеваться.

С человеком, кутающим шею шарфом такого безумного цвета, он не хотел иметь ничего общего. Он отвернулся и вынул папиросы. Человек подошел и встал вплотную. И когда он, дымя папиросой, снова вперил взгляд в окорок, человек в шарфе сказал:

— Смотри не смотри, глазами сыт не будешь!

Человек в фетровой шляпе повернулся и, как ему ни было досадно, оставил окно и медленно отошел, засунув руки в карманы.

— Руки в карманах разрешается держать сколько угодно, — сказал ему вслед рабочий.

Человек в фетровой шляпе вернулся. Разве он не волен стоять и смотреть? За это не сажают в тюрьму и не берут денег. И он встал рядом с рабочим, и глаза его снова заискрились. Рабочий смотрел на окорок, и розовое мясо стояло перед ним каждой белой жилкой, каждой каплей жира. Он плюнул.

— Вот это и есть кризис. Это не для тебя и не для меня, товарищ! Для кого же это?

Человек в фетровой шляпе решил, что это уже слишком. Он окончательно оставил окно и ушел быстро, чтобы уже не возвращаться больше. Человек в шарфе отошел на три шага и начал рыться в карманах. Желудок его был пуст, как бутылка, в которой гуляет ветер. Наконец он нашел, что искал. Это была гайка, давно вышедшая из работы, со стертymi краями, но тяжелая на вес. Он прикинул ее тяжесть для проверки, отошел к мостовой и оглянулся. Поток автомобилей только что пропустил пешеходов и продолжал шуршать по асфальту. Гайка ударила с пронзительным коротким визгом в середину зеркального стекла. Человек, может быть, на фронте был когда-то гренадером. Уверенность, с какой он метнул гайку, изобличала опытную руку, помнившую вещи потяжелее гайки. Стекло не разлетелось. Оно покрылось громадным сиянием трещин, каждый рубец которых сверкал в свете разноцветных лампочек очень самостоятельно. Над окором встало сияние бесчисленных трещин.

Приказчики стояли на улице перед окном и махали руками в блестящих нарукавниках. В белоснежных халатах, они напоминали заклинателей, от которых сбежал дух. Никто не знал, как это случилось.

— Прошлую неделю было то же самое.

— В северном районе они разгромили лавку три дня тому назад.

— Нужно принимать меры.

Сквозь толпу плыло лакированное кепи полицейского.

Человек в шарфе был уже далеко. Он шел быстро и не оглядывался. Ему начали попадаться навстречу лакированные кепи все чаще и чаще. Иногда они стояли кучками и совещались. Впереди, видимо, происходило не совсем обыкновенное. За углом на маленькой площади человек в шарфе остановился. Площадь была захвачена демонстрацией. Человек вгляделся в ряды. Это были птицы его полета. Это шли безработные, поднимая плакаты, которые он оставил без внимания. Не в первый раз он видел их и очень хорошо знал, что там пишется. Он еще знал, как трещат палки плакатов, когда их ломают полицейские, он даже знал, какой след оставляет резиновая палка на плечах и на спине. Полицейские сжали демонстрантов с боков. Демонстранты двигались тихо и мрачно, точно копили силу. На всех лицах недоедание поставило свой штамп. И в белизне электрического света иные закрывали глаза от слабости. Полицейские шли по сторонам, как конвоиры, точно они

взяли в плен эту враждебную армию и отводили ее за проволоку в глубокий тыл. Прохожие останавливались немногие. Они уже привыкли. Иные женщины в рядах вели за руку детей. В середине процессии кто-то закричал; нельзя было разобрать, что крикнули. Потом возникло некоторое движение, точно в толпу упал камень и все спрашивали друг друга, куда он упал. Потом раздалось несколько голосов, люди пели хриплыми, но уверенными голосами. Человек в шарфе слушал, ухмыляясь. Слова его радовали:

In der Welt muss das Proleterheer
dienen nur dem Profit...

— Как будто так и есть,— сказал человек.

Полицейские подняли и опустили палки. Песню подхватили с края. Она шла над толпой, повергая плакаты в некую дрожь. Плакаты бледнели перед словами песни, ударявшими на них сверху.

Doch in unserer UdSSR
klingt uns ein neues Lied,
klingt von unserer gewaltigen Kraft,
der sozialistischen Planwirtschaft.

Внезапно передние ряды прорвали полицейскую цепь. Поднялся крик. Толпа напоминала крутую кашу, в которой мешают ложкой, не очень стесняясь. Среди крика и беспорядочного шума несколько здоровых глотков продолжали вести огненную линию песни:

Von unserem Willen zum Sieg!
zum Sieg!..

Передние ряды прорвались в ту улицу, в какую хотели. Лакированные кепи перегруппировывались. Плакаты качались уже, как знамена. Можно было уже драться за эти палки и за эту материю, отстаивая их неприкосновенность.

— Они будут стрелять! — закричала женщина.

— Ну, ну,— сказал человек в шарфе,— это они умеют.

Mögen die Kapitalisten auch schreien,
das soll unsre Parole sein
in der Sowjetrepublik...

Пел уже один голос, и едва он кончил, как десятки голосов подхватили и понесли припев.

Ran! ran! alle Mann ran!
mit dem Traktor, ran mit Bahn und Krahn!
ran! ran! alle Mann ran!
an dem Fünfjahresplan!¹

Свистки пронеслись по улице с быстротой пули. Плакаты заколебались и пошли книзу. Полицейские ринулись в толпу.

Человек в шарфе с криком: «Ran! ran! alle Mann ran!...» — сшиб ближайший лакированный блеск, и свалка охватила всю площадь.

Из окон смотрели люди. Магазины закрывались с неслыханной быстротой.

Резиновые палки работали по спинам. Сухо трещали ломающиеся палки плакатов. Прохожие, стиснутые на углу, прятались в подъезды. Широкоплечий старик с лиловыми щеками презрительно постукивал палкой о тротуар.

— Ты слышал эту песню? — сказал он. — Да, в наше время Германия была другая.

— У нас, Отто, — отвечал высокий с бакенбардами старик, — ты забыл, была Германия порядка. Давай, однако, попробуем пробраться. Мы опоздаем на наше собрание. Не ждать же, когда это кончится!

— Это кончится скорее, чем ты думаешь. Пусть только наш старик наверху сообразит кое-что.

II

ИОГАНН КУБИШ

Отто фон Штарке, опираясь на свою черную палку, поздно возвращался домой. С ним это случалось не так часто, но сегодня был изумительный вечер, вечер воспоминаний, собрание его ближайших друзей — ветеранов войны.

Шестнадцать лет назад они вошли в расцвете своих сил в огненное море, и оно выбросило их на пустынный берег — обожженных, изуродованных, обиженных, озлобленных калек. Конечно, можно спрятать мертвецов, одних просто

¹ Во всем мире пролетарская армия должна служить только наживе — но в нашем СССР звучит нам новая песня о мощной силе социалистического планового хозяйства, о нашей воле к победе! Пускай кричат капиталисты, наш пароль должен быть в Советской республике: вперед, вперед, все вперед с тракторами, с дорогами, с подъемными кранами вперед, вперед, все вперед к пятилетнему плану!

в землю, других в пышные мавзолеи, конечно, можно убрать с улицы инвалидов, засунуть их в мастерские, в углы, где никакая сила их не отыщет, конечно, можно писать мемуары, доказывая, что ты не побежден, что это ошибка, что если бы не взбунтовался флот, не разложился бы тыл, где пакостили шкурники штатские и социалисты, не вмешалась бы некстати Америка,— все было бы иначе. Но куда спрятать эти массы на улицах, этих голодных рабочих, вылезших из всех ям, из всех шахт, подвалов, заводов, вопящих день и ночь о своей нужде, куда спрятать нищету, которая с каждого угла косит огромные глаза и тянет худую, как плеть, руку. Вечер был, правда, полон славных воспоминаний. Портреты вождей великих армий слушали достойные речи, даже тосты напоминали лучшие времена империи, но узкие, как гробы, комнаты майора Шрекфуса вмещали только вчерашнюю Германию, Германию, о которой не хотели слышать эти толпы, певшие дикие песни о варварской стране, висящей где-то на краю света.

Это непонятно ему больше всего. Как можно не чувствовать себя немцем, прежде всего немцем, а они прежде всего горланят о братстве с трудящимися, как они говорят, всех стран.

Так рассуждая и стуча палкой, Штарке шел по бульвару к своей тихой квартире на далекой улице. Пенсионеры войны не так-то легко жить в эти сумбурные времена. Правда, кое-что есть у него в банке. Штарке никогда не был нищим.

На скамейке налево под деревом, несомненно, спал человек. Штарке задержался перед скамейкой. Он стоял над спящим и смотрел. Что он хотел прочитать в усталом и диком лице? Закрытые глаза походили на провалы, в которые можно положить по музейному талеру, и талеры утонут во мраке этих провалов. Что говорил ему шарф, закутавший худую шею и заправленный под изношенный, застегнутый на громадную пуговицу пиджак? Что ему могли рассказать стоптанные сапоги этого человека? Может быть, он нашел их на помойке? Не хватало еще, чтобы он перевязал их веревкой, но, кажется, это ему придется сделать в ближайшие дни.

Спящий даже не замечал, что свет фонаря падает ему прямо на лицо. Но спать он мог, не боясь за карманы, так как они были освобождены от таких мелочей жизни, как деньги.

Штарке вздохнул и прижал набалдашник своей палки ко лбу. Так он стоял, изучая спящего и обдумывая новость что. Одна рука лежавшего была засунута в карман, другая свалилась со скамейки, и рукав задран был выше локтя, Штарке оглянулся вокруг. Все было тихо. Он нагнулся к руке. Около локтя был шрам, точно два крючка запущены были в мясо и проташены с силой вниз, образуя на руке рисунок наподобие буйволового рога. Шрам был лиловый, старый, кожа около него дряблая и серая. Фонарь светил над спящим, как на сцене.

Штарке дотронулся палкой до спящего. Тот не проснулся. Штарке ударил его легко по плечу палкой. Спящий сел сразу и открыл глаза; глаза ничего не видели. Он протирал их добрую минуту, затем спустил ноги совсем со скамейки, поправил фуражку и плюнул.

— А я уже думал, это шупо¹, — сказал он.

Штарке отступил на шаг.

— Какого дьявола вы вошли без стука в мою спальню, дядя?

— Я разбудил вас, — не обращая внимания на его слова, сказал Штарке, — чтобы спросить — как вы относитесь к тому, чтобы переночевать под крышей?

— Это надо подумать, — сказал, вздохнув, человек, перематывая шарф, — я не рождественский мальчик, чтобы меня подбирали под елкой.

— Я вам предлагаю самым серьезным образом ночлег и ужин.

Человек встал и расправил руки со страшным хрипением. Он откашлялся, снова сел и смотрел на Штарке, как бы сомневаясь в его существовании.

— Кого ты хочешь починить, старик? — спросил он. — Ты, может, по части мальчиков, так я стар, и у меня кулаки еще действуют.

— Я не понимаю вашего грубого языка. Я последний раз предлагаю вам ужин и ночлег. За ужином мы поговорим.

— Ты хочешь дать мне пожрать, — сказал человек, — если не далеко, то пойдем. А ты не боишься идти со мной?

— Я старый солдат, — сказал Штарке.

— Здорово холодно, — пробормотал человек в шарфе, — надеюсь, у тебя есть чем погреться?

¹ Шупо — презрительная кличка германских полицейских.

Штарке не ответил. Он шел, стуча палкой, и рядом с ним шагал высокий человек, засунув руки в карманы.

Они вошли в квартиру Штарке. Штарке принес холодного мяса, картофельный салат и чай. Неполная бутылка красного вина появилась на столе. Человек в шарфе не ждал приглашений. Вареное мясо ныряло в его горло, как будто падало в бочку. Съев весь салат, он отер хлебом тарелку и все это запил вином. От чая он отказался. Он сидел, смотря только на Штарке, совершенно не рассматривая комнаты. Он смотрел на Штарке, точно ждал, что тот сейчас начнет показывать фокусы.

Штарке ждал, что его гость поблагодарит за ужин. Гость не сказал ничего. Он вытер пальцы о штаны и зевнул. Потом стал чистить зубы концом спички. Штарке открыл ящик сигар и протянул гостю. Человек снял шарф, положил его на колени, так что концы его свесились на пол. Он закурил сигару, и глаза его пропали в синем дыму. Он полоскал рот сигарным дымом. Тогда Штарке сказал спокойно, переходя на ты:

— А теперь, Иоганн Кубиш, ты расскажешь мне, как ты дошел до той скамейки, с которой я тебя поднял сегодня...

Человек положил сигару в тарелку и нехорошо засмеялся.

— Вот не думал, что я буду ужинать в полицейском бюро.

— Здесь не полицейское бюро,— отвечал раздраженный его смехом Штарке,— но если посмотришь на меня повнимательнее, то вспомнишь тоже что-нибудь более приятное, чем сегодняшняя ночь. Я — Штарке, брандмайор когда-то, а ты сын моего штейгера Людвига Кубиша, погибшего в огне. Я тебя носил на руках, когда ты не умел еще ползать. Когда же ты вырос, ты упал с большой раздвижной лестницы, на которую любил лазить. У тебя на всю жизнь остался тот шрам, что находится ниже локтя на правой руке. Так ли это?

— Если бы ты не сказал мне все сразу сейчас, я тебя принял бы за чревоуещателя или как там называют тех, что угадывают на расстоянии. Да, я и есть Иоганн Кубиш — это так и есть. Кое-где имеются даже и документы.

— Ты был, кажется, на войне?

— Еще бы, кто не был на ней? Вся армия состояла из нас; только вначале, когда были победы, начальники не считали нас за людей, а за механизмы, вроде пушек. Вста-

вай, копай, стреляй, ложись. Не смей думать. Вставай, копай, ложись. Люди явились потом, в восемнадцатом. Ты, наверно, никогда не думал, что у твоих солдат в голове ящик, в котором лежит кое-что человеческое. Нам вообще не везло. Моему поколению особенно. Мне с детства уже было плохо, сначала лестница, ушиб головы и прочее. Потом брюшной тиф; доктора сказали — не перегружайте его верхний этаж, не обременяйте его знаниями, он не выдержит, и меня отдали в слесарную мастерскую. Ну, на фронте нанюхался я разного газа — по-моему, его выдумывали, как номера в цирке, каждую неделю новый, обливали меня всякой пакостью, раз даже я из миномета получил в спину банку с австралийской обезьяной...

Он затанулся сигарой, посмотрел на Штарке и покачал головой.

— Никогда бы не узнал! Ты так изменился, дяденька, что в жизни не узнать тебя. Постарел ты. Видно, война не в красоту всем.

— Говори только о себе и не называй меня дяденькой.

— Можно и о себе. Но на войне я узнал, что к чему. Меня просветили в лоск. А потом в революцию кое-кто со мной поработал.

— Хороши были твои учителя. Кто же это тебя просвещал?

— Первым моим учителем был кузнец — Петр Брайэр, — хороший кузнец, замечательный кузнец, всякому дай бог таким быть, он мне объяснил разницу между хозяином и рабочим, между государством и революцией, между трудом и эксплуатацией. Научные слова все.

— Надеюсь, на него нашлась хорошая веревка, на твоего кузнеца?

Кубиш закашлялся. Он слишком много захватил зараз сигарного дыма. Он сидел, почти развалясь, и шарф трепался у него на коленях.

— Брайэр сейчас коммунист. Вторым моим учителем был слесарь Томбе, убит в последний день войны, такая досада, а это был герой, он о фитиль гранаты зажигал папиросы, прежде чем бросить гранату. Он мог двоих людей столкнуть лбами, как орехи. Третий был славный парень. Погиб в революцию в Баварии — Пауль Зельт, — мне рассказывали, как он погиб. Он вышел из Совета Народных Комиссаров весь увешанный бомбами, поскользнулся на лестнице, упал, и бомбы взорвались. Грохот был такой, что магазины закрылись во всем квартале. Вот они и учи-

ли меня уму-разуму. Был еще один, Эрнст Астен, из штрафной роты студент, бунтовал в роте, с ним я дольше всех оставался. Пришли мы в Берлин и заняли рейхстаг. Грязные, сам знаешь, с фронта. Нас так и называли «вшивый отряд». Ну, вшей у нас было достаточно.

Штарке остановил его. Лиловые щеки его надулись, глаза забегали по потолку. Штарке вспоминал.

— Астен, Астен, Эрнст Астен — я помню, как это было. Да, это был любовник моей племянницы. Мы принимали его за английского шпиона, который через Алиду добирался до моего огнемёта. Его раз видели в разговоре на улице с одним англичанином, причастным к разведке, да, его мы упрятали в штрафную роту. Я хорошо это помню, да, да. Где же он теперь?

— Мы с ним были спартаковцами, дрались на баррикадах, а сейчас он в тюрьме, он избил какого-то майора, черт его знает, с дурацкой какой-то фамилией, Шранк... Шрунк... Шрекфус, кажется, при исполнении обязанностей. Ну, ему и припаяли.

— Что же ты думаешь делать, несчастный человек?

— Неизвестно, кто несчастнее. Я равнодушен к богатству, а те, кто не равнодушен, скоро будут раскаиваться. Как кто-то однажды сказал в воскресной школе: богатство вроде морской воды, чем больше пьешь, тем больше хочется. А меня гонят отовсюду, не дают мне работы за политику, хотя, говорят, сейчас даже инженеры без работы. Один мой приятель думал, думал и махнул в Советский Союз к большевикам. Ничего, пишет, хорошие ребята.

Штарке встал и прошелся по комнате. Кубиш теперь только начал осматриваться, но довольно равнодушно.

— Кубиш, — сказал Штарке, — рабочие должны работать, правители должны править. Ум государственный, торговый, военный и ум мастерового — разные вещи. Смотри на меня, Кубиш, я прожил честную жизнь, и живу в достатке, и могу смотреть в глаза людям и не спать, как собака, где придется. И мне никто не грозит тюрьмой. Неужели у тебя при виде моей тихой и скромной квартиры нет никакого желания, тайной мысли хотя бы, иметь такой же спокойный угол? Неужели тебя не берет зависть, что я сплю на чистой теплой постели, в хорошем доме, где тепло и уютно?

Кубиш свистнул.

— Дядя — да меня не берет никакая зависть. Мы все скоро будем спать на теплой постели в теплом доме.

— Кто это — мы?

— Да мы все, кто спит на скамейках, в почлежках, в старых трубах, в подвалах, рвань всякая, те, что не жрут по три дня.

— Что же это за чудо снится тебе, Иоганн Кубиш?

— Да какое же чудо? Просто это будет революция. Не та, в которой мы подкачали, а настоящая, наша, красная революция. Ведь не может же так продолжаться без конца? Я тоже грамотный, и с коммунистами я терся достаточно, и газеты кое-когда читаю, и знаю, что нас, безработных, в Германии сейчас миллионов шесть, а богатство у нас самое замечательное. Говорят, мы должны союзникам каждый по две тысячи долларов. Ну, уж если меня оценили в такую сумму, могу ли я пропасть? Ясно, никогда. Работы нам не дают. Есть даже поговорка, что в Германии каждую минуту вылезает из материнской утробы один шупо и два безработных. Но все же два безработных как-нибудь одолеют одного шупо.

Штарке сел, скрестив на груди руки.

— Так, Иоганн Кубиш, я слушаю внимательно все, что ты мне говоришь. Значит, старая Германия, старая родина — ничто для тебя?

— Вроде картинки,— сказал Кубиш, беря вторую сигару.— В детстве такие книжки нам выдавали в школе, но мы не читали, там было все про одно — и флаг был один и тот же, и орел один и тот же. Красная Германия — это еще куда ни шло. Иоганн Кубиш постарается что-нибудь сделать для нее, а старая Германия — это вроде окорока. Я сегодня видел замечательный окорок. Купить его нельзя, денег нет, кризис. Нужно на автомобиле ехать за тем окороком.

Штарке озабоченно морщил лоб. Он тер своей теплою ладонью колено и смотрел в пустую тарелку из-под салата, будто хотел в ней прочесть будущее Германии.

— Ты забыл одно, Кубиш, что у правительства есть сила, для того чтобы раздавить таких, как ты.

— Ты, может, намекаешь на газы... И танки там. Но мы видели это на фронте. В конце этой улицы есть фабрика Куртца. Там башня такая большая. Ходят слухи, что в ней выделяют новейший ядовитый газ. Ну, на всех газа не хватит. На фронте меня тоже душили, но, однако, я жив. Конечно, мы поубавим людей в Германии, кое-кого сократить придется. Это наверняка. Должен же кто-нибудь отвечать за то, что Кубиш валялся, как пес, целые годы

в грязи и целые годы, всю жизнь его швыряли сапогами в вадницу то туда, то сюда. Нам дают жрать теплые помои, а сами едят окорока. Я этот окорок долго буду помнить. Ну, ничего, я им расквасил окно хорошей гайкой.

Штарке резко поднялся со стула, Кубиш встал тоже и начал заматывать шарф вокруг шеи.

— Значит, ты красный, ненавидящий государственный порядок, порядочное общество, не верящий ни во что святое...

— Как будто так оно и есть,— сказал Кубиш, продолжая заматывать шарф.

— Как же ты пришел ко мне и ел мой хлеб?

— Хлеб не твой, дядя. Что значит твой хлеб? Хлеб во всем мире только и есть, что трудовой. Его пек рабочий. Разве ты сам пек его? Ты здесь ни одной вещи не сделал сам, не так ли?

— Ты величайший мерзавец,— сказал Штарке,— и с меня довольно. Надеюсь, ты не претендуешь на ночлег в этом доме после всего сказанного.

— Я так и знал,— сказал Кубиш,— что ты меняставишь. Смешно было бы, если бы ты уступил мне свою постель.

Штарке стоял уже в передней.

Кубиш взял третью сигару и ушел, не закрыв дверь и не оборачиваясь.

III

ПРОФЕССОР ФАБЕР ПОЖИМАЕТ ПЛЕЧАМИ

Профессор Фабер сидел у японского экрана, и ворох газет валялся у его ног. Большой синевато-серый дог лениво зевал в углу. На столе стояла карточка Ирмы в весеннем костюме, в шляпе, похожей на авиаторский шлем.

Фотография была снята в Италии, на озере Гарди, среди тихих садов и тихих вод.

Тоненькая горничная, похожая на кинематографическую статистку, держит серебряный поднос, на подносе лежит карточка. Ирма рассеянно читает. Отто фон Штарке, майор в отставке.

Она пожимает плечами.

— Кто этот Штарке, ты не знаешь, Карл?

— Первый раз в жизни слышу эту фамилию.

— Он хочет видеть вас, господин профессор,— говорит горничная.

— Проводите его в кабинет, я сейчас выйду.

Фабер, ступая по газетам, гладит дога между ушей, прячет очки в футляр и идет в кабинет. Они сидят, и в комнате постепенно начинает чувствоваться настороженность.

Штарке кладет лиловую подагрическую свою руку на колено и начинает кашлять; откашлявшись, он трогает себя за грудь, за то место, где видна бело-черная ленточка. Это должно придать ему храбрости.

— Меня зовут Отто фон Штарке. Сейчас я старик. В свои зрелые годы до войны я изобрел огнемет. Я усовершенствовал его во время войны и причинил врагу много бед. Меня называли Князем Тьмы. Я думал, что мой огнемет решит войну, но тут появились вы. Вы, человек, открывший человечеству, что такое боевой газ. Вы создали газовую войну и победили меня. Вы, смею сказать, как художник, наполненный научной силой, как хотели раскрашивали лицо войны, а я остался синицей, которая не зажгла моря. Но море войны имеет свои приливы и отливы. Прилив погубил меня и вас. Он погубил Германию. Я пришел к вам не затем, чтобы сказать только это. Вы человек, который не раз еще придет на помощь своей стране.

Фабер прерывает его:

— Не забудьте, мой друг, что существует сто семьдесят первая статья Версальского договора. Производство газов этой статьей запрещается в Германии навсегда. Мы применяем химические гранаты, и то самые добродушные, при разгоне рабочих манифестаций. И только. И только.

Штарке сжимает подагрические кулаки.

— Господин профессор, договоры пишутся людьми. Договоры уничтожаются людьми. Что мы видим сейчас в Германии — хаос и канун революции. Я, старый солдат, — я знаю войну и то, что за ней последовало. Я понимаю многое с полуслова. Я пришел, чтобы только спросить у вас: скажите, господин профессор, — ведь это еще не все...

Фабер надувает щеки.

— Что вы хотите сказать: это еще не все? Что вы подразумеваете, говоря: это еще не все?

— Я подразумеваю ваш ответ. Я повторяю: я завидовал вам, были минуты, когда я ненавидел вас, вы отняли у меня славу, но ваша победа была так велика, что побежденный стал почитать вас, гордиться вами, — скажу так: старая Германия, которая бьется во мне, спрашивает вас — воскреснет она или нет?

— Господин майор! Один раз я вышел из своей лаборатории, чтобы доказать людям настоящую мощь науки. Судя по вашим словам, я доказал. Придет ли другой такой момент — я не знаю, я тоже не молод.

— Господин профессор, я не верю вам. Башня завода Куртца — это же сегодняшний день...

Фабер откидывается на спинку кресла. Он недоволен.

— Господин профессор думает, что он вне политики. Но его наука служила на германской службе, она способствовала победам германских армий. Вы не докажете мне, что вы не германец. Я только хочу знать, какой вы германец, германец Третьей империи или, страшно сказать, смешно сказать — советской Германии? Или вы умываете руки?

Фабер пожимает плечами.

— Вы отказываетесь отвечать? Тогда все же скажите, кому же угрожает башня завода Куртца?

Фабер вторично пожимает плечами.

— Она угрожает людям ограниченного ума!

IV

БОГАТЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

— Мне сказали, что вы очень больны, что вам трудно разговаривать. Я не позволю себе утомлять вас. Но я искал вас так долго по всей стране, что сегодня не могу уйти, не высказав того, зачем я здесь.

Он говорил с явным акцентом. Серый костюм, серые волосы, серое лицо с узкими губами и серые глаза прекрасно маскировали его. Нельзя было отгадать ни его профессии, ни его намерений. Серую перчатку с левой руки он не снял, он положил руку в карман вместе с перчаткой. Штарке плотно был вбит в мягкое высокое кресло. Он не сказал ни слова. Он только кивнул головой, и незнакомец сел.

— Мое имя не играет никакой роли. Оно ничего не откроет. Если я скажу, что когда-то меня звали Хитченсом, а потом Стоком, а потом Лавуа, а потом Катарини, а потом опять Хитченсом, то я переверну только несколько страниц моей биографии. Достаточно вам знать, что я искал именно вас.

Незнакомец наклонился и долго рассматривал темную тяжелую фигуру Штарке, точно замурованную в кресле.

— Так это и есть Князь Тьмы? Так вот он какой! Знаменитый Князь Тьмы, которому я подарил свою левую руку. — Он вынул руку из кармана и ударил ладонью по столу. Легкий звон протеза был заглушен серым сукном.

— В тысяча девятьсот пятнадцатом году ваш огнемёт и удушливые газы нагнали на нас такую панику, что люди обезумели от страха. Вы не воспользовались вашими неожиданными возможностями и дали остыть нашим головам от страха. Я никогда не занимался в упор военным ремеслом. С того дня, когда я узнал ваш огнемёт, в меня вселился дух войны. Злоба поддерживала меня, как пробковый пояс — утопающего. Я утопал в трудностях, но все же мои первые изобретения имели успех — смешно сказать, я закапывал в землю бидоны из-под керосина и стрелял бидонами из-под воды, начиненными газом. С тех пор я работал как одержимый. Я не буду говорить о том, что вы прекрасно знаете. Огнемёты и газомёты Хитченса доставили вам немало горьких минут. Когда я в начале работы учился на опыте фронта, меня угостили из вашего огнемёта сравнительно любезно — я отделался одной рукой. Я дал себе тогда слово узнать имя человека, которому я обязан тем, что заразился лихорадкой войны, бешеной лихорадкой, грызущей меня целые годы. Я узнал сначала, что вас зовут Князь Тьмы, но это было поэтическое определение, не более. Затем я узнал, что вас зовут Отто фон Штарке. И я сказал себе: я отыщу этого человека, не для того, чтобы оскорбить его, не для того, чтобы убить, а для того, чтобы сказать ему, что он герой.

Штарке молчал.

— Я потерял любовницу, война стала моей любовницей, я — спортсмен — лишился всех игр, без руки нет спортсмена, война стала моим спортом. Я — доктор философии сейчас, когда философия умерла, — наслаждаюсь философией войны. Наше время — время непрерывных боевых столкновений. Я скажу вам, что десять лет, прошедших после войны во Франции, я редко выходил из боя, а если выходил, то шел в лабораторию, чтобы оттуда снова вернуться в бой. Где я воевал? Возьмите войны последних лет, и вы увидите, что их не так мало. Но все эти войны — сон в летнюю ночь перед той новой войной, которая охватит мир. Пушечное мясо подросло во всех странах для новой игры. Капиталисты и ученые пойдут на войну, одни — боясь смертельного роста пролетариата, другие — из

разных смешанных чувств. Профсоюзные чиновники демократии разведут соус пропаганды. Война разрешит все кризисы, убьет безработицу, война потребует железо и сталь, медь и уголь, нефть и азот, бумагу и кожу, консервы и масло, животных и людей, готовых на все.

Штарке молчал.

— Мы пустим дым, разноцветный дым окутает землю фантастическими одеждами. И в этом дыму произойдут величайшие столкновения, кровь храбрецов снова оживит золотые жилы мировой жизни и даст небывалый расцвет победителям, будут пущены газы, превращающие целые армии в сборища хохочущих уродов, они будут хохотать часами, и никакое искусство в мире не даст зрелища, трагичнее и совершеннее этого. Мы пустим машины, переходящие любое препятствие, машины-амфибии, летящие под облаками, ныряющие на дно моря, выходящие на берег и штурмующие города. Машины без руководителей, управляемые на расстоянии. Но, воюя, мы не будем забывать, что сегодняшний враг — завтрашний покупатель, мы не будем забывать этого.

Наши ядовитые газы проникнут через любую маску, не поддающиеся никакому тушению фосфорные бомбы сожгут мясо до костей, мы зальем, если будет нужно, горящим фосфором города и дороги, отравим водопроводы и колодцы, пулеметный дождь будет идти под небом, затемненным тысячами самолетов, поддержанных дальнобойной артиллерией.

Штарке молчал.

— Если бы вы знали, сколько людей в мире жаждут новой мировой войны. Увеличивающаяся энергия правящих классов ищет выхода, расточительная энергия молодежи, не знающей, что такое война, полна книжных воспоминаний и рассказов из недавнего прошлого. Даже женщины мечтают о войне, — женщины любят кровь, и кровавые рассказы боевого офицера всегда будут волновать их сердца. Но я бы зря сидел в темном окопе, ожидая случайной пули снайпера или куска допотопной мины, если бы не люди, двигавшие военную мысль. Я был у профессора Фабера, чтобы принести ему благодарность за изобретение, перевернувшее историю человечества, но он не понял меня или не хотел понять. Вы же старый солдат, простой и крепкий воин, мой учитель в огнеметном деле, и я рад, что вижу вас, отысканного с таким трудом.

Штарке молчал.

— С кем мы будем воевать, спросите вы? Где плацдарм, достойный такой великой партии? Я вам скажу: весь мир, где есть пролетариат. Не тот, который работает на нас, не тот, который будет есть соус нашей пропаганды, не тот, который мы купим, не тот, который струсит и будет нейтрально грузить военные грузы, — а тот пролетариат, который вооружен ненавистью к нам и смотрит только в одну сторону с ожиданием: в сторону Советской России. Мир знал войны с драконом, с полумесяцем, со львами и орлами империи, теперь он будет воевать с серпом и молотом. Всюду, где появятся эти знаки, будет бой; всякий человек, поднимающий руку за них, — наш враг. Вот почему наш великий поход должен объединить воинов всего мира. Мы научились многому за эти годы. Оказалось, что мы еще молоды, что кровь пиратов, как говорит мой друг, не иссякла еще в наших жилах, а империи не строят в белых перчатках. Ваша страна накануне революции, мы придем к вам на помощь. Вам надо сказать одно, милый сэр Отто, — что мы больше с вами не враги. Мы кровные друзья, породнившиеся в битвах, обновивших цивилизацию.

Штарке молчал.

— Я сказал вам, зачем я приехал. Я приветствую вас от всей души. Мир нуждается снова в сильных и крепких душой и телом людях. Я, как ваш Носке, готов повторить: «Я горжусь, что меня называют «кровавая собака Носке». Я был бы рад услышать от вас, что вы скажете: «Я горжусь, что меня называют Князь Тьмы».

Штарке молчал.

— В Лондоне я был недавно на банкете, где великий германец, генерал Леттов-Форбек, защитник Восточной Африки, и великий англичанин, генерал Смутс, покоритель Восточной Африки, — люди, сражавшиеся годы друг с другом, — пожали братски руки и заключили союз. Этого я хочу и от вас. Я прошу разрешения пожать вашу славную руку от всего сердца.

Гость встал и подошел к Штарке. Лицо Штарке налилось кровью. Лоб был темнее старой бронзы. Но он оставался неподвижным в своем похожем на стоячий гроб кресле. Гость закусил тонкие губы и наклонился к самому его лицу. Потом он перевел глаза на руки Штарке и тронул их своей правой рукой. Он вздрогнул и отодвинулся от кресла.

— Паралич! — не скрывая ужаса, сказал он. — Проклятие, отчего меня не предупредили! Какое несчастье, сэр.

Это невозможно, я не верю, как же быть? Но это, несомненно, паралич, да,— сказал он, снова наклонясь к Штарке,— вы меня слышали?

Штарке утвердительно кивнул головой.

— И все-таки это паралич?

Штарке кивнул головой. Англичанин оперся о стол, и протез звонко и досадливо хрустнул на всю комнату.

V

ЧТО МЫ ДЕЛАЛИ СЕГОДНЯ?

Профессор Фабер прошелся по комнате, легкий, как юноша.

— Что мы делали сегодня, милая Ирма?

Ирма, свежая и веселая, стояла перед ним, она знала, что он любит ее, что каждое ее движение доставляет ему радость, что иначе не может быть.

— Сегодня мы слушали честного, доброго Бетховена,— сказала она,— мне надоели джазы. Завтра Кэтти уезжает в Мерак, и я буду ее провожать. Какие новости у тебя, мой милый?

— Я встретил Бурхардта. Я давно не видел его. Он все тот же. Он сходит с ума в своем фашистском рвении. Они в начале будущего года будут праздновать шестидесятилетие Германской империи.

Ирма сложила молитвенно руки перед японским экраном, точно просила вышитого павлина полетать.

— Германской империи,— разве такая существует?

Фабер улыбнулся и потрепал ее по щеке.

— Поговори с ним. Он знает только, что будет праздновать первый Версаль, Версаль семьдесят первого года, будут палить из пушек и говорить речи, он разнесет Францию и Россию, так как традиции не умирают, а в воздухе пахнет Третьей империей, будут носить кринолины...

— Вот неожиданность! — воскликнула Ирма, вынимая надушенные папиросы, но относились ли слова ее к сообщению Фабера или к вошедшему Фогелю, который раскланивался еще с порога, осталось неизвестным.

Фогель приближался несколько танцующим шагом, и его лицо дипломата переменяло ряд выражений, пока он дошел до японского экрана.

— Профессор Фогель,— сказал Фабер,— очень рад вас видеть. Садитесь. Где вы пропадали?..

— Я был в Майнце и Леверкузене, заезжал в Херст — все в порядке, только,— он поглядел на Ирму таинственно,— ходят разные слухи о башне завода Куртца, следует кое-что там перепланировать.

— Слухами у нас мостят улицы,— сказал Фабер. Шутки не выходили у него всю жизнь. Фогель смотрел на него преданными и глубокими глазами. Дог подошел и положил острообразную морду ему на колени. Дог любил дипломатов, они имели особый запах, они пахли не так, как все люди.

— Я зашел по делу, профессор,— сказал Фогель,— опять эти большевики...

— Фогель, вы настолько стали фашистом, что твердите слово «большевики» при всех случаях жизни. Большеизм — не более как якобинство, помноженное на чартизм и разбавленное немецко-еврейской философией. Для варварских народов — это ключ к культуре, для нас это, по видимому, огненные слова на стене и постоянная пища для газет. Но их ученые — вполне знающие люди. Я встречал некоторых. Они отличные ученые. Что вы хотите сказать, Фогель?

— Вот затем я и пришел к вам, господин профессор. Не далее как три дня назад в газетах помещено сообщение из Москвы, что там казнено снова несколько десятков так называемых вредителей и среди них есть ученые.

— Милый Фогель, нельзя расстреливать науку, вся европейская культура держится учеными. Расстреливать их могут только дикари.

— Увы, это так. Они расстреливают своих ученых, как простых сапожников.

— Милая Ирма, ты представляешь, когда у нас Чека возьмет верх и придет убивать меня и Фогеля, что ты будешь делать? Тебя они пощадят, ты красива, ты будешь комиссаром...

— Карл,— воскликнула Ирма,— я не люблю твоих шуток, ты это знаешь, а потом я не верю, что нас будут убивать, ты что-нибудь придумаешь, и все изменится, как в ту войну.

Фабер поправил очки. В очках он походил на китайца.

— Мы с Фогелем улетим на луну... Так в чем же дело, Фогель?

Фогель пошел к двери и взял оставленный им при входе на стуле красный портфель. Он осторожно вынул большой лист толстой бумаги, сложенной вчетверо, и развернул его перед Фабером.

— Это протест против расстрела, — сказал он, — во имя гуманности мы должны протестовать. Я собираю подписи немецких ученых, и кое-кто уже есть.

Фабер читал подписи. Он нахмурился, прочтя текст.

— Несколько десятков человек, ты подумай, дитя мое, Ирма, подумай, убить несколько десятков человек — это нужно иметь душу дьявола. Они действительно упорны как камень. Это люди однобоких мыслей. История знает примеры дикого упорства. Вспомним хотя бы Гамбетту. В юности отец отправил его к тетке в глушь. Он пишет отцу: «Возьми меня отсюда, я не хочу здесь жить». Отец пишет ему, чтобы он молчал и оставался. Он отвечает: «Возьми меня, или я выколю себе глаз». Отец пишет: «Не дури и оставайся». Он отвечает: «Я выколол себе один глаз и выколю второй, если ты не возьмешь меня отсюда». Его взяли экстренно. Россия — это сплошные Гамбетты, и одного глаза у них уже, по-видимому, нет. Дай же, Фогель, я подпишу. Мне даже нравится это упрямство примитивного ума. Но Европа должна иметь свою долю влияния, иначе эта орда обрушится на нас, а мне, по правде говоря, жаль моих лабораторий. Я провел в них всю жизнь. У вас есть перо? Так. Спасибо, Фогель. Это высохнет сейчас.

**БЕЛОЕ
ЧУДО**

Глава первая

Когда большой любитель горной природы, сотрудник известного географического журнала, участник сложных экспедиций и восхождений, член Гималайского клуба Джон Ламер Фуст вошел в приготовленный ему номер в «Старом отеле» в Лахоре, номер ему сразу не понравился.

Первая комната хотя и была большой и, может быть, днем выглядела лучше, но при вечернем свете она казалась чересчур мрачной со своей выдавшей виды мебелью, черным круглым столом и низким диваном с тяжелой темной кожаной спинкой. Над двумя бронзовыми старыми подсвечниками, как будто привинченными к камину, висела картина в черно-коричневой широкой раме, изображавшая какой-то потемневший от времени пейзаж. Картина была неприятна своей безвыходной чернотой.

Вторая комната, где стояли рядом две кровати, вмещала черный шкаф, письменный стол, несколько стульев и выглядела так, точно из нее кто-то только что убежал, удрученный ее неуютной внешностью, бросив на стол записку, где он сообщал, что больше сюда не вернется. Действительно, на столе лежала бумажка, но это был листок из блокнота с названием гостиницы — листок совершенно чистый и случайно попавший на середину стола.

Дальше была еще одна дверь, и, открыв ее, Фуст очутился в небольшой светлой комнате, где стояла ванна, у стены был обычный белый мраморный умывальник и два темно-зеленых больших ящика на некотором возвышении, о назначении которых догадаться было нетрудно.

Не успел Фуст оглядеть эту единственно светлую комнату в своих владениях, как в стене открылась не замеченная им совсем маленькая дверь, и на фоне внезапно блеснувшего темно-бирюзового неба возникла фигурка

человека, который ужасно смутился, не ожидая встретить здесь Фуста.

Он был одет, как самый обыкновенный нищий, которому на улице вы бросили бы какую-нибудь мелочь, чтобы от него отделаться. С другой стороны, почтительно прижатые к груди руки и глубокий, полный уважения поклон говорили о его принадлежности к составу слуг этой гостиницы, и Фуст это понял по растерянному, почти испуганному лицу человека, на котором блестели какие-то птичьи глаза, круглые и маленькие.

Человечек, видя, что его появление не вызвало ярости со стороны иностранца, осмелел и показал рукой на зеленые ящики, показал так легко и вместе с тем понятно, что Фуст, ничего не сказав, вернулся в первую комнату. Сюда уже были принесены его чемоданы, в углу стояли два ледоруба, лежала аккуратно упакованная в желтый чехол гималайская палатка, большой рюкзак и несколько небольших ящиков.

Фуст не спеша устраивался в номере: открыл чемодан, развесил на распорках костюмы в шкафу, не спеша разложил на полках белье, дождался, когда человечек ушел из ванной, и открыл ту небольшую дверку, через которую проник в его номер этот работник самой черной квалификации.

Фуст вышел во внешнюю галерею, проходившую по стене всего здания и служившую для того, чтобы по ней особые слуги, в ведении которых были ваннные комнаты, проникали в них, не заходя в номер и не беспокоя постояльцев.

С галереи открывался вид на небольшую площадь и на бульвар, за широкими кронами деревьев которого виднелись крыши высоких зданий. По площади проходили пешеходы, изредка проезжали машины, звенели колокольчиками тонги, кричали, проходя, продавцы-лоточники, откуда-то с бульвара раздавались крики игравших детей.

Фуст, увидев, что его номер последний, расположен на самом углу дома и мимо него никто не пройдет по галерее, принимал ванну, не закрыв дверь.

Сидя в теплой, как бульон, воде, он смотрел в открытую дверь на площадь и рассматривал с высоты второго этажа пешеходов, экипажи, автомобили, педикапы, велосипедистов и детей, пробегавших веселой стайкой. Зеленые с желтым птички залетали к нему в комнату и, покружившись и что-то пискнув, уносились в вечерний город.

Фуст смотрел на свое сильное, тренированное тело, но мысли его были далеко от этой ванны и от этого номера. Он никуда не торопился, и, однако, это не был отдых и покой. Он был похож на человека, который забыл, зачем он влез в эту теплую воду и что нужно сделать, чтобы из нее вылезти. Такая глубокая задумчивость продолжалась долго. И вернувшись в спальню и одевшись так же рассеянно, снова почти инстинктивно отмечая мрачное убожество окружающей обстановки, он оставил номер. Дверь из деревянных решеток, вращающаяся, как входная дверь в магазине, повернулась за ним.

Он прошел галерею, спустился по крутой узкой лестнице и пошел по жаркому каменному двору в контору гостиницы.

Молодой клерк, темнолицый, с восторженными глазами и с выразительным лицом, с подчеркнутой предупредительностью исполняющий нравящиеся ему обязанности, был остановлен европейцем-портье, который сам поспешил навстречу Фусту, а молодой человек, сделав свое лицо равнодушным и обиженно мигнув длинными черными ресницами, взял какой-то список и начал выискивать там несуществующую фамилию.

Фуст осведомился, нет ли для него сведений от мистера Гифта из Пешавара или Равальпинди. Портье порылся у себя в конторке и, держа близко у глаз блокнот, отыскал в нем нужную страницу и прочел, что действительно звонили по поручению мистера Гифта и просили передать мистеру Фусту, что Гифт будет в Лахоре или завтра вечером, или, самое позднее, послезавтра утром.

Когда Фуст, поблагодарив, уже шел к двери, он слышал, как портье сказал молодому клерку:

— Это известный путешественник Фуст. Но у нас он первый раз. Посмотрите на него, вы не каждый день его увидите.

Фуст, возвращаясь из конторы, медленно прошел по пустому коридору, потом мимо белых круглых колонн главного входа, перешел двор, на котором, как всегда, была суeta машин и какие-то приезжие важно шли в свои номера, а за ними слуги в белых длинных одеждах, перехваченных широким красным поясом, несли их вещи. Все это выглядело так, точно люди условились играть в старую скучную игру, и одни должны были изображать важных и надменных, а другие — покорных и молчаливых и нести все эти чемоданы, баулы, корзины и ящики в темные, мрач-

ные комнаты, которые потому такие темные, чтобы в жаркое время дня в них было прохладно и можно было дышать.

Вернувшись в свой номер, Фуст тяжело сел в глубокое кожаное кресло, и то, что тяготило его весь день, с новой силой начало ворочаться в нем, наполняя все его существо тревогой и отвратительным чувством неуверенности.

Подверженный такого рода неожиданно находившим черным припадкам тоски, он сидел, смотря в угол комнаты, где стояли прислоненные к стене ледорубы, и как будто вызывал перед собой картины, которые мучили его и причиняли такую боль, что можно было просто завывать. Это шло не от мрачных комнат. Они не могли быть иными. Они так и сделаны, чтобы было темно и прохладно. Нет, дело не в них.

А в чем? Может быть, этот глупый случай в Амритсаре, где на аэродроме он оказался свидетелем необычного зрелища? Когда он спустился по лесенке из самолета и хотел идти к аэровокзалу, его вежливо предупредили, что надо немного подождать. Почему? Потому что сейчас вперед пройдет советская делегация, которую будут приветствовать представители амритсарской общественности.

— Что это за делегация? — спросил он.

— Это какие-то ученые или артисты, — ответили ему. — В общем, это друзья из Советского Союза.

И он должен был стать в сторону и невольно видеть всю церемонию. Толпа радостно восклицавших людей приблизилась с длинными цветочными венками. Это были главным образом сикхи, бородатые, в широких штанах, с огромными кокетливыми тюрбанами, старые и молодые, всех возрастов, были и женщины, празднично разодетые. Все они радовались, и шумели, и непрерывно кричали приветы, и аплодировали. Медленно навстречу им шли советские люди. Фуст видел их еще в самолете. Они летели с ним, но он не придавал им значения. И только здесь, под широким жарким небом аэродрома, вдруг они переменялись ролями.

Известный, как говорили за его спиной, Фуст отступил в неизвестность, а эти тихие люди стали такой величиной, что весь аэродром встречает только их, кричит только им свои приветствия, все венки отдает только им.

Он смотрел испытующими глазами на лица сикхов. Не было сомнения в их почти детской радости, с какой они надевали венки на шеи советским людям, как они жали им

руки, как они касались их дружески и тепло, как женщины бурно обнимались с русскими женщинами.

И смолисто-черные, с широкими бородами, белозубые сикхи и чуть загорелые, румяные советские люди как будто так давно ждали этой встречи, что забыли, что они на аэродроме, где считаются с расписанием и порядком отлета и прилета, и говорили длинные речи, которые тут же переводили, и все не могли наговориться, и смотрели друг на друга, и все не могли насмотреться. Они забыли, что он, Фуст, и еще три пассажира американца ждут, потому что некуда идти,— все в руках этих энтузиастов, закрывших вход в аэровокзал.

Он поймал себя на том, что все это бывает всюду. Всюду на аэродромах встречают делегации и устраивают встречи, где простые пассажиры не участвуют или, наоборот, тоже участвуют. Как? Чтобы Фуст участвовал в этой встрече?! Это невероятно, это черт знает что! Он спросил служащего компании, нет ли какого-нибудь другого выхода с аэродрома. Тот посмотрел на него слегка недоумевающе, но, когда вопрос дошел до его сознания, поспешил ответить, что другого выхода нет.

Фуст понял, что спрашивать дальше бесполезно. Он пристально рассматривал советских людей. Так вот они какие! Женщин было две: одна пожилая, со смуглыми щеками, узким, энергичным ртом, широкоплечая, внимательно слушавшая приветствовавшего ее патриарха-сикха с белоснежной бородой и глазами доброго короля из сказки; другая женщина была чисто славянского типа, с большими смеющимися глазами, открытый взгляд которых, казалось, хотел впитать в себя весь этот солнечный простор, и ряды этих восторженных людей в белом с цветами и гирляндами роз, и даже этих иностранцев, которые стоят, не принимая участия в такой хорошей встрече. Она посмотрела на Фуста как-то удивленно, точно ей показалось странным, что есть люди, которые не радуются тому, что происходит, и как это может быть. Одеты обе женщины были скромно, но аккуратно, и серый костюм и белая панама с черной лентой у одной и темное платье у пожилой только подчеркивали сдержанную страстность их жестов и слов.

Мужчин было трое. Они были в темных костюмах, цветных рубашках с галстуками, завязанными очень тщательно. Пиджаки их были застегнуты на все пуговицы и по покрою сильно отличались от всех европейских колониальных костюмов. Было видно, что люди, носящие их, не

частые гости в этих краях. И, однако, эти костюмы не говорили о том, что они невыгодно отличаются среди прочих. Просто эти костюмы были сшиты другими портными и из других материалов, чем те, к которым привыкли здесь, в Индии.

Один из мужчин был выше других и старше годами. Он смотрел слегка удивленными глазами, шел гордый и взволнованный и нес свой венок так осторожно, точно тот мог за что-нибудь зацепиться и разбиться, как стеклянный. Второй был среднего роста, держал в руках портфель, но сам вид портфеля, плоского и не разбухшего от бумаг, изящного, даже кокетливого, говорил, что о деловых бумагах и справках не может быть и речи, а что если из недр этого портфеля появятся ноты, несколько песенок, которые зажгут зрителей и слушателей, то это и будет самое правильное его содержание. Слегка насмешливые, веселые глаза владельца этого портфеля, его спокойствие, привычка стоять перед аплодирующим залом, яркий галстук и складка на его широких длинных брюках, слишком заботливо охраняемая от случайностей дорожного путешествия, выдавали его профессию. Да, это несомненно был артист или музыкант.

Третий мужчина не был похож на русского. Если бы его одеть в индийское платье, обвязать его голову легким тюрбаном и поставить в ряды встречающих, то вы бы легко приняли его за уроженца этих мест. И, по-видимому, Фуст угадал правильно, потому что ему, этому гостю, как-то несколько по-иному жали руки. Фуст, который, несмотря на глубокое раздражение и злость, не оставлял своих наблюдений, решил, что это уроженец Средней Азии, и поэтому его особенно приветствуют, как близкого соседа.

Фусту стало казаться, что это никогда не кончится. Речи были длинные, люди обступили приехавших, и прошло много времени, пока все приветствия прекратились, все гирлянды были розданы и толпа, сломав живой коридор, потекла внутрь аэровокзала.

Он смотрел на других пассажиров самолета, прилетевших с ним. Иные из них посмеивались, иные пожимали плечами. Ни один не сказал ни слова.

Наконец за толпой шумно ликующих сикхов и гостей двинулись пассажиры. Пока они шли, почти сливаясь с уходящими с поля, им хлопали со стороны, принимая за каких-то дополнительных членов делегации, им тоже кричали что-то хорошее. Но никто не вешал им венков, и эти

крики приветствия чуть не вывели Фуста из равновесия. Но он сдержался. Он был полон какого-то темного чувства. Так вот как они выглядят вблизи, эти люди из таинственной Страны Советов, уже добравшиеся до тех краев, которые Фуст считал владениями себе подобных!

Что в них было особого, в этих людях? В чем их притягательная сила? Он не обнаружил ее с первого взгляда. Искать ответ нужно у другой стороны. Торжество сикхов как хозяев, имеет свое объяснение. Но почему они тоже ведут себя так, как будто в этой встрече есть что-то еще, что не выражается словами?

Он раскурил трубку и сидел сжавшись, как будто ударился всем телом о стенку.

Нет, в том мраке, который он привез с собой в этот отель вместе с чемоданами и ледорубами, возникает что-то другое, неамритсарское. А! Он вспомнил, вынул из дальнего угла памяти, где это жило, и приблизил так, что все ощутил с новой и отвратительной силой. Это было в Дели. На берегу Джамны, где на некотором расстоянии друг от друга сложены платформы из кирпичей. На этих возвышениях сооружались погребальные костры. Он пошел случайно, и притягательная сила болезненного любопытства заставила его смотреть. Он даже тайно сфотографировал некоторые моменты.

На кирпичную платформу положили пожилого человека, закутанного в простыню. Сверток, в который превратился человек, был небольшой, но все-таки ощущалось, что это не просто мертвый груз, а человек. Даже в этом свертке как бы продолжалась инерция жизни, и принесшие его молодые люди положили его так осторожно на кирпичи, как кладут больного для решающей операции на стол хирурга.

Очень скромно одетый священник-брамин читал молитвы, и они звучали в жарком пустынном воздухе, как стихи на непонятном языке. Светило солнце. Синее-синее небо охватило весь живой и неживой мир. Принесли дрова для костра. И дрова были не просто нарубленные обрубки деревьев, а кривые, ветвисто-изогнутые, как будто у каждого изгиба ветви было нечто свое, тоже неповторимое и готовое измениться, как то, что лежало в свертке. И они были так расположены вокруг лежавшего, как будто образовали шалаш, который скрыл его от беспощадного, жгучего солнца. Снова читались молитвы, клались цветы и смолистые сучья там, где им полагалось помогать костру.

Капали молоком, сын положил в рот отцу кусок коровьего масла. И в страшной тишине треснул первый кусок дерева, когда чистый красный огонь побежал повсюду и снизу и сверху окружил лежащего золотисто-красным сиянием, прежде чем взмыть вверх торжествующим громким пламенем. Легкий дымок вился меж кривых ветвей, и вдруг, разгоревшись, костер ударил в небо так ярко и так празднично, что чистое красное пламя на фоне синего неба над зеленой землей показалось как бы отдельно существующим и было таким красивым, что сама мысль о чем-то связанном с тлением, могилой, мертвыми костями, даже не могла прийти в голову. И если бы человек, не знавший смысла происходящего, увидел издали это пламя, он бы сказал от всего сердца: какой красивый костер, какая красота!

Фуст видел, как принесли девушку. Она была завернута в радужное сари, которое охватывало ее с головы до ног. В Фусте проснулся корреспондент географического журнала. Он не испытывал тяжести от того, что видел. А то, что это был не пожилой индеец, а молодая и, конечно, как ему казалось, прекрасная девушка, затрагивало только его воображение. Она лежит в покое, с закрытыми тонкими губами, длинные ресницы спят, как цветы, которые положены на ее любимое сари.

Ее не надо класть на эти суровые, нагретые солнцем кирпичи. Ей можно сделать каменное ложе в самой реке, которая растекается на рукава, и у берега совсем мелкая вода, она завивается и крутится, как и тогда, когда девушка кидала в воду камешки, играя на зеленом берегу родной реки. Дети и девушки могут быть сожжены на камнях прямо в реке, и пепел их бросят в Джамну, так как она понесет их и отдаст священному Гангу. Раз она соединяется с Гангом, она сама священна.

Фуст смотрел, запоминал и следил, как родственники девушки, войдя по колено в воду, аккуратно делали из камней последнее ложе и работали так искусно, так подбирали камни, чтобы было поровнее, чтобы удобнее можно было положить девушку, чтобы не больно было ей на этих сглаженных волной камнях. Они окончили свою работу, положили девушку, и легкий ветерок, набегавший с реки, трогал конец ее радужного сари, как будто делал последнюю попытку убедиться, что она действительно неподвижна.

Когда показались люди с охашками дров, Фуст ушел,

Он не мог видеть снова этот праздник огня, и ему стало не по себе, он начал искать для глаз что-нибудь такое, что отвлекло бы его и рассеяло. Он пошел в сторону от нового ложа смерти и увидел человека, стоявшего в реке; худые фиолетовые ноги его все время шевелились, точно он баловался и мутил зря воду.

Потом он наклонился, зачерпнул решетом со дна грязь, гальку, кости и, выбросив все это на песок, стал рассматривать выброшенное. Это был человек мрачного ремесла, живший счастливыми находками. В священную воду реки бросали деньги, кольца, браслеты. В воде находили и другие мелкие драгоценности.

Фуст увидел, наклонившись, что этот человек остановившимися глазами уставился в смесь пережженных костей, зубов и глины. Он разинул рот, потом, закусив губу, поворошил палкой, что-то отыскал, поднял находку пальцами ноги так ловко, что это движение не вызвало удивления; потом взял находку в руку и показал Фусту. Фуст не сразу понял, что это такое.

— Зуб! — сказал человек, вытирая его о полотенце, висевшее на шее; и Фуст увидел: действительно это был зуб мертвеца, который блестел тусклым золотым блеском.

Человек торжествовал. Он вынул из-за пояса мешочек и, еще раз помахав перед лицом Фуста добычей, положил зуб бережно в мешочек, перетянул веревочкой и опустил за пояс.

Фуст оглянулся. Яркое пламя оседало над ложем пожилого индийца. От реки шел голубой дым, и ветер доносил тонкие запахи благовоний. Это занимался костер над девушкой в радужном сари.

Фуст почувствовал, что с него хватит. Выход был в конце узкого коридора, перегороженного тумбами, чтобы можно было проходить только пешеходам.

И здесь ему пришлось ждать. Навстречу несли совсем пожилого человека. Носилки с мертвецом были подняты над головой. За носилками шли велосипедисты с высоко поднятыми велосипедами, чтобы миновать тумбы. Фуст насчитал их сорок восемь человек. Он понял, что они хоронят не председателя велосипедной секции. Они просто несли его издалека, по очереди.

...В эту ночь он плохо спал. С тех пор золотой зуб мертвеца просто его преследует. Как будто он, Фуст, смотрит на темное пятно, которое нельзя стереть никаким способом. Фуст сидел и курил, и дым от его трубки подымался

к черному потолку и полз вдоль него, ища выхода. Он был почти таким же сладким и приторным, с горечью, как дым погребального костра индийской молодой красавицы.

Но за этим было и другое — то, от чего еще рано освобождаться. Может быть, он устал, может быть, нервы слишком были перенапряжены в последние годы, да и годы уже не те.

В дверь даже не постучали, а поскреблись так деликатно, что он сначала не обратил внимания на этот звук. Потом дверь сделала полный оборот, деревянные решетки раскрылись, и вошел молодой человек и очень вежливо передал приглашение своего хозяина и шефа, у которого он имеет честь быть секретарем, — купца Аюба Хуссейна.

Да, Фуст знал Аюба Хуссейна, он познакомился с ним в Дели, и нынче он ехал вместе с ним в Лахор. Таким образом, все было в порядке.

Фуст просил передать Аюбу Хуссейну свою благодарность и обещал обязательно быть у него на небольшом дружеском приеме. Секретарь сказал, чтобы он не беспокоился насчет машины. Он сам заедет за ним и отвезет его в дом Аюба Хуссейна. Это не так далеко, но пешком приходить ему не годится и не полагается.

После ухода секретаря было еще время, и Фуст отыскал в чемодане карту, которую нашел не сразу, так как она была засунута меж шерстяных вещей, носков, свитеров и варежек, и, разложив ее, долго смотрел с таким пристальным вниманием, как будто он видал не нарисованные условные обозначения гор, рек и ледников, а настоящие ущелья, перевалы и вершины, выходящие из облаков.

Он курил, смотрел на карту и так углубился в свои мысли, что забыл о времени; взглянув на часы, он увидел — пора готовиться к приему.

Он раздевался и снова облакался во все свежее тщательно, как молодой дипломат. Он надел сверкающую свежестью рубашку с крахмальным воротником, хрустящую и молочно-белую, умело сшитую, как умеют шить китайские портные, из материи, называемой акульей кожей, тонкий черный костюм и галстук бабочкой и сразу превратился в джентльмена, который может быть украшением любого клуба или приема.

Он уже собирался вложить маленький белый платочек в боковой карман своего парадного смокинга, как постучали в ту дверь, что вела на галерею, выходящую на площадь.

Удивляясь, он открыл дверь, и перед ним опять предстал перепуганный человечек, который с жутким раболепием сказал, низко склоняясь перед ним:

— Не закрывайте, мистер, этой двери на ключ, а то я не смогу взять завтра утром...— И он, не договорив, показал смущенно на зеленые ящики.— Это мой заработок, сагиб,— добавил он, отступая и пятясь с самой глубокой почтительностью.

Глава вторая

Прием у купца Аюба Хуссейна был действительно не парадный, но все-таки гостей было не так мало.

Сам Аюб Хуссейн, с широким добродушным лицом, в очках, за стеклами которых были большие мягкие глаза, поблескивающие лукавством, в черном длинном сюртуке и белых узких панталонах, одетый, как и большинство присутствующих мужчин, представил своих друзей почтенному гостю, которого он сам узнал совсем недавно.

Жена хозяина, Салиха Султан, женщина средних лет, с хорошей улыбкой, с чудесным цветом кожи золотисто-орехового тона, с длинными красивыми руками, в нежнейшем шелковом одеянии, в тончайших белых струящихся шальварах, с легким газовым покрывалом на черных, как черная тушь, волосах, умело вносила оживление в разнообразное общество, которое окружало Фуста.

В этой богатой, уставленной низкими диванами и тахтами комнате, по углам стояли высокие китайские вазы, на стенах висели старые иранские ковры и пол был тоже покрыт коврами. В них мягко тонула нога. Фуста окружили женщины, и он смотрел на них глазами, полными сосредоточенности и некоторой напряженности.

Но ему и полагалось быть таким, так как хозяин уже шепнул гостям, что это Фуст, известный путешественник и ученый, очень серьезный и замкнутый человек, и что большая честь — видеть его и говорить с ним.

Фуст выглядел слишком строго на этом фоне разноцветных дамских одеяний, похожих на ярко освещенные облачка и горевших всеми красками ослепительных украшений. Он любезно отвечал на почтительные вопросы окружающих, благодарил за гостеприимство, хвалил страну и изрекал все те необходимые фразы, которыми богато оснащены такие приемы.

Мужчины были в черных сюртуках и белых панталонах, в сандалиях на босу ногу, которые они легко сбрасывали на пол и так сидели. Дамы были такие яркие, такие разные, все без чулок, в туфлях на огромнейших каблуках, с необычайными кольцами и браслетами на руках, длинных, узких и всех оттенков кожи — от коричнево-черного до золотисто-фиолетового. Все они страшно оживились и удивились, когда Фуст сказал, что он, как это ни странно, первый раз в Лахоре, что он бывал в Карачи, но в Лахоре ему никогда не приходилось бывать.

— Как это могло случиться? — спросила его дама с властными пронзительными глазами и короткими пухлыми ручками, пальцы которых были унижены перстнями. — Вы, который так много видел, так много путешествовал по Азии?

— Я бывал главным образом в горных местностях, — отвечал Фуст. — Я знаю, что Пакистан очень красивая страна, и я приехал сюда даже с некоторой определенной целью. Но скажите вы мне, — спросил он свою соседку, — какое, по-вашему, самое красивое место Пакистана?

Взглянув на него прозрачными глубокими и невинными глазами, она ответила не задумываясь:

— Кашмир; мне нравится Кашмир больше всего... А вы были в Кашмире?

Фуст, сразу оживившись, сказал:

— Да, я был в Кашмире. — Он даже полузакрыв глаза, как бы вспоминая все его красоты. — Кашмир, — продолжал он, — это опьянение особого вида. Когда вы дышите воздухом этих густых, насыщенных богатой зеленью лесов, слышите мелодии горных ручейков, вечную музыку шумных рек, идете по лугам, от запахов которых сладко кружится голова, подымаетесь к снегам, над которыми уходят в высоту скалы и вершины, одетые льдом и снегом, и останавливаетесь в изнеможении, — вы не чувствуете усталости. Это разнообразие природы делает вас совсем другим человеком. Если бы я мог, я бы навсегда поселился в Кашмире, в Гульмарге, например.

— Я была в Кашмире совсем немного. Но мне о нем много рассказывал мой двоюродный брат, который ездил в Гилгит... Это, правда, прекрасно.

— Я бывал и в Гилгите, — сказал Фуст, — и мне кажется, что человек самой жестокой души, самого прозаического склада, развращенный соблазнами жизни современного города, в Кашмире вступает в общение с неизвест-

ным ему, но властным и богатым миром природы, которая хочет вернуть ему потерянные возможности. Она возвращает ему чистоту помыслов, открывает наслаждение чистых красок неба и земли, воды и гор, она уводит его от будней, заполненных нелепостями современной цивилизации. Если вы потеряли за ежедневной суетой чувство прекрасного, вы его найдете в Кашмире. Если вы желаете получить исцеление ваших недугов — души и тела, — вы излечитесь в Кашмире...

— Bravo! — сказала молодая женщина в сюртучке из винно-вишневого вельвета. — Но что же вы скажете про другие страны, где вы бывали?

— Я бывал много в Индии, в Бирме, в Китае... Я люблю горы, они говорят мне больше, чем море или степи. Конечно, всюду рассеяно это волшебство природы, когда вы готовы принять его всем сердцем. Но в Кашмире это чувство такой силы, как будто там, именно там, дух природы хочет говорить с вами наедине, как на любовном свидании, но без упреков и жалоб... Мы все видим восход и закат солнца. Каждый день мы просто регистрируем его. Но закат и восход солнца в горах Кашмира — это часть той таинственной, живущей в нас силы, которая нужна человечеству, иначе оно погибнет в мире, требующем от нас только механической жизни, выполнения тех скучных и необходимых процессов, что контролируются современной цивилизацией, перенасыщенной техникой...

— А зачем вы путешествуете? — спросила, сильно смутившись, девушка, которую представила Фусту Салиха Султан как свою племянницу.

Фуст тут же забыл ее имя, но девушка показалась ему заслуживающей внимания. Прелестно одетая в светлое сари, с перекинутым через плечо прозрачным шарфом, с большим серебряным медальоном на серебряной цепочке на шее, она была воплощением юности, которая просто светила во всем ее облике.

Хорошего рисунка губы, когда улыбались, делали ее похожей на доброе существо, которое не знает ничего земного, и оно же вместе с тем может явиться самым добрым товарищем и верным другом. Она так широко открывала глаза и смотрела с глубоким ожиданием на того, кому задавала вопрос, что не ответить ей так же чистосердечно было бы невозможно.

Фуст смотрел на нее, точно собираясь с мыслями, и секунду ничего не говорил. Потом он, как бы вынимая ответ

из глубины своего существа, сказал медленно и не глядя на девушку:

— Зачем я путешествую? Я бы мог сказать, что я сотрудник географического журнала, что я член Гималайского клуба, и это дало мне некоторую известность. Но, конечно, не это главное, о чем я хочу сказать. Я избрал себе путешествия как метод познания правды жизни. Книги сейчас пишутся больше для дискуссий, чем для ответов человечеству, перед которым стоят те же вопросы нравственного совершенствования, какие стояли во все времена. Мы говорим: вершины духа. Но ведь такие вершины есть на самом деле. Человек, видящий весь мир, а не только улицу, где стоит его дом, и город, где он живет, вступает в соприкосновение с богатствами, делающими его жизнь оправданной. Я потерял жену в автомобильной катастрофе; с того дня прошло много времени, и я могу об этом говорить спокойно. Тогда я впервые задумался над тем, делаем ли мы усилия, чтобы стать лучше и чище, чем мы есть, и чтобы выйти из-под гипноза мертвящей цивилизации? Я обрел в горах не только счастье говорить с природой, но и находить в людях то, что в них заложено лучшего. Я стремился все выше, в области вечности, к недоступным вершинам, где небо выше и человеческий дух тоже выше обыкновенных вещей, обыкновенной жизни... Конечно, это не философия, это не система. Это, может быть, тоже просто страсть, и временами даже опасная для жизни...

Он слегка улыбнулся, и девушка, посмотрев на него широко раскрытыми глазами — то ли от волнения, то ли от желания возразить, — ничего не сказала. Она опустила голову и задумалась.

Но тут же вступила в разговор, по-видимому, ее подруга, потому что она положила свою руку на плечо девушки. Это была рука, вылепленная хорошим мастером, с выразительными тонкими пальцами такого нежного теплого тона, что золотой браслет терял в своем блеске рядом с этой блестящей рукой.

Эта красотка, подняв черные свои брови и раскрыв чуть толстые красные губы с вишневым оттенком, сделав неуловимый жест длинными прямыми пальцами, спросила Фуста:

— Это вы были на Белом Чуде? Я читала в газетах, кажется, два года назад.

Фуст стал мрачно серьезен, почти таким мрачно-серьезным он вошел в этот дом. Только беседа рассеяла его и да-

же увлекла. Сейчас он снова помрачнел. Каким-то жестким голосом, совершенно противоположным тому, которым он проповедовал о страсти к горам, он сказал:

— Знают ли уважаемые леди и джентльмены, что такое Белое Чудо?..

Почти все, за исключением двух девушек — племянницы хозяйки и той, что спрашивала, — не знали хорошо, что это такое. Фуст рассказывал сначала несколько вяло, но по мере того как рос его рассказ, он опять воодушевился. Только в конце драматизм победил его воодушевление, и он кончил почти шепотом.

— Белое Чудо — это одна из высочайших гор мира, находится у вас, в Кашмире, в Каракоруме. Многие пытались победить ее, но безуспешно. Было предпринято много экспедиций, но ни одна не увенчалась успехом. Были и жертвы. Я не буду говорить о них. Мы отправились незадолго до периода муссонов. Но опоздали из-за неполадок с носильщиками. Нас встретили такие метели, такие ураганные ветры, что ни о каком дальнейшем восхождении не могло быть и речи, и все-таки мы продвигались вперед. Вы можете себя поставить на наше место...

— Не могу, — сказала совершенно искренне дама с пухлыми пальчиками, — я так боюсь холода.

Фуст снисходительно улыбнулся. Все невольно посмотрели на его натренированную сухую высокую фигуру: да, такой может.

Фуст продолжал:

— У нас не было ни одного кислородного баллона в том верхнем лагере, откуда должен был быть нанесен удар, то есть начат штурм вершины. Я остался наконец вдвоем с моим хорошим другом, с которым меня связывала долгая дружба и обоюдная любовь к горам. Мы понимали друг друга с полуслова. Мы жили неделями в одной палатке, ели из одного котелка, работали, связанные одной веревкой.

И теперь, когда иные изнемогали и лежали под горой, а кули разбежались в ужасе, боясь горы, как злого духа, мы остались вдвоем. После всех испытаний и мучений, с обожженными лицами, ослепленные ураганом, без достаточной пищи, мы были наедине с могучей вершиной... И мы вступили с ней в смертельный поединок. В последний день, переоценив свои силы, мы шли вверх, только вверх; лавины грохотали вокруг нас; ветер срывал нас с гребня; мы шли стиснув зубы, в том восторге, который не известен людям внизу; мы карабкались и падали, лежали на снегу,

дыша, как рыбы, выброшенные морем; мы умирали и воскресали. Я потерял представление о времени. Я начал галлюцинировать. И меня вернула к жизни только трагическая действительность. Я был свидетелем того, как погиб мой друг, и я не мог ему помочь. Я бросился к нему, но было поздно. Я был близок к сумасшествию. Простите меня, но я бы не хотел продолжать об этом...

— Конечно, конечно,— сказали со всех сторон.— Мы понимаем, как вам тяжело.

Чтобы дать разговору иной ход, умная Салиха Султан, опытная в беседах, которые необязательны и несерьезны, сказала, вздохнув (ее вздох можно было отнести к переживаемому Фустом воспоминанию):

— Как хорошо, что в наше трудное время, переполненное политикой, когда все бросаются на газеты и кричат на митингах на улице, есть чистые души, которые могут наслаждаться чудесами природы! Этими чудесами богата и наша любимая страна! Вы сказали, что вы сейчас идете в наши горы. Правда, это так?

— Это так,— сказал мягким голосом Фуст, таким мягким, что можно было предположить, что его сердце содрогается от рыданий.— Я дал слово себе, что я отомщу Белому Чуду за смерть моего любимого друга. Бедный Найт! Он был таким романтиком, с таким чистым сердцем, с такой светлой головой. Я поклялся, что я взойду ради его памяти на Белое Чудо, где он нашел такую героическую смерть. Но вы знаете, что надо сильно готовиться к такому восхождению. И поэтому я хочу в порядке тренировки отправиться в Читрал, где высится краса Пакистана — гордый Тирадж-мир, и сделать там попытку восхождения. Места вокруг него, говорят, неповторимо обворожительны. И я хочу побродить в том районе. А вы, дорогая леди,— закончил он, обращаясь к хозяйке,— совершенно правы в одном: я не занимаюсь политикой, сейчас так много есть любителей заниматься ею, что им мы ее и предоставим...

— Горы горами, но вы должны посмотреть наш чудный город, наш Лахор,— сказал один купец с такими седыми и колючими усами, что даже отдельные волоски их воинственно закручивались.— Под горами только деревни, а тут... В общем, это нужно обязательно...

— Конечно,— с живостью ответил Фуст,— завтра с утра я начну это знакомство. И я заранее предвкушаю, какое ждет меня удовольствие.

Тут хозяйка попросила всех последовать за ней.

Перешли в комнаты, где были накрыты столы. Фуст не имел особого желания есть, но у гостей аппетит был превосходный, и не только у мужчин. Женщины, слегка возбужденные разговорами о горах, опасностях и высоких материях, ели все подряд, и было приятно смотреть, как они своими длинными и тонкими пальцами очень искусно брали прямо с блюда, без помощи ложек и вилок, горячий рис хорошо приготовленного плова, брали мясо в соусе, погружали пальцы в тушеное мясо с овощами, и их белозубые рты поглощали все это без всякого стеснения. Они обсасывали кости, снова отправляли пальцы в блюдо, и тонкий слой жира ложился на полированные ногти и оставался на красных губах, которые они облизывали тонкими язычками.

Мужчины не отставали от них. И то, что это делалось не в ашхане, а в богато убранных комнатах, то, что брали не с деревянного блюда, а со старинных фарфоровых блюд, ничуть не унижало ни кушаний, на славу приготовленных опытными поварами, ни этих хорошо одетых дам и мужчин, так ловко и аппетитно отправлявших в рот хорошие горсти плова и куски тушеного мяса. Ни одна рисинка не упала на пол, ни одна капля соуса не испортила праздничных платьев.

Женщины смеялись совершенно искренне своим шуткам, они говорили о своих делах, обсуждали разные городские происшествия, обменивались короткими фразами, в которых давали характеристику Фусту, — но все это было уже не на английском языке, а на том сильном и точном урду, который был предельно выразительным.

Теперь мужчины завладели Фустом, и их разговор был уже иного порядка. Пока дамы поглощали жареный миндаль, солоноватые фисташки, ели фрукты «шаритта», похожие на сухие апельсины, и громко хрустели столбиками сахарного тростника, так что зеленая кожура его лопалась и распадалась на части, мужчины расположились маленькими группами, и Аюб Хуссейн, следивший, чтобы всем было нескучно, переходил от одной группы к другой и вступал в разговор с того места, на котором он заставлял собеседников. Поэтому его реплики были иногда не очень удачны своим полным несовпадением с темой, но тем не менее они отвечали настроению, как слова пифии, сказанные наудачу и загадочно.

Так, подойдя к той группе, где стояли Фуст, молодой пакистанец и один из заслуженных банковских деятелей, он с удивлением обнаружил, что речь шла о значении халифата — по-видимому, в прошлом, так как сегодня халифата нигде не существовало.

— Всегда кто-то кому-то наследует, — сказал банковский деятель. — Почему, если исчезла Османская империя, мы не можем стать во главе мусульманских стран, принять от Турции в наследство идею халифата?..

— Надо воскресить чувство веры, — сказал, вмешиваясь в разговор, Аюб Хуссейн. — Когда светильник веры будет светить из самой бедной хижины, мы обновим идею, и к нам придут все, чтобы возжечь от пламени истинной веры... Я не хочу сказать, что мы сейчас не можем быть носителями этой идеи, но Пакистан — святая страна, и когда простая душа ее народа будет поддержкой наших дел, халифат появится сам собой. Я бы сказал, что надо развивать еще как можно шире торговлю со всеми странами, которые могут дать нам что-нибудь полезное.

Молодой купец сказал:

— Я понимаю вашу мысль так: если будет мир, и мы сумеем поставить нашу торговлю на высоту, и народ будет от этого богаче — мы создадим такое положение, при котором свет веры воссияет с еще большей силой, и тогда Карачи может быть новым Багдадом — столицей халифата.

— Багдадских халифов, — сказал Фуст, — обогащала — увы! — война... Если бы они только торговали, мы бы не знали славы халифата. Она покоилась на всемирных завоеваниях.

— Я не отказываюсь быть всемирным завоевателем, — смеясь сказал Аюб Хуссейн, — но мы знаем и мирные империи современных магнатов капитала, королей металла и нефти, резины и угля.

— Они не совсем мирные, — сказал Фуст, — они даже совсем не такие мирные, но идея халифата мне нравится. Она даст большую внутреннюю уверенность вашему государству в момент, когда в других мусульманских странах есть тяга к объединению и защите своих интересов...

В эту минуту старый купец с седыми колючими усами подошел к Фусту и, взяв его за руку своей тонкой, как ореховая палочка, и такой же сухой и гладкой рукой, спросил:

— Скажите мне, почему, по-вашему, победил народный Китай? Подождите,— сказал он, когда Фуст сделал невольное движение,— подождите, у Чан Кай-ши было все: армия, флот, авиация, деньги, полиция, танки, пушки — все; у них ничего не было — и они победили, народный Китай победил. Почему?

— Вы задаете вопрос, на который вы сами не можете ответить,— сказал банковский деятель.— Если мы будем спрашивать нашего гостя о таких вещах, он может подумать, что мы у себя боимся того же самого...

— Нет, нет, я спрашиваю вас,— сказал упрямый старик, нетактично зажав руку Фуста своей цепкой лапой.

Фуст сказал:

— Я не занимаюсь политикой. Это не моя специальность. Я что-то плохо понимаю в этих делах, но я где-то читал отзыв специалиста, который писал, что власть в гоминдановском Китае была плохо организована. Там не было сильной власти, хотя бы такой, какую мы видим в Пакистане.

Старик закашлялся, точно слова Фуста застряли у него в горле. Откашлявшись, он извлек из заднего кармана своего сюртука платок, вытер губы и сказал почти молодым и звонким голосом:

— Но поймите, что глупо требовать от нас правления, похожего на нелепые порядки европейской демократии. Вы правы, Пакистан не Китай. Но скажите мне, как вы сами понимаете, что же все-таки произошло в Китае? Ведь вы союзники Чан Кай-ши. Значит, и вы проморгали...

Бестактного старика хотел унять Аюб Хуссейн. Он сказал шутя:

— Это случилось внизу, когда наш друг подымался на горы. Когда он спустился, было уже поздно. Дорогой, почему ты спрашиваешь человека, который занимается природой и наукой, о вещах, о которых надо спрашивать у специалистов, и даже у военных специалистов?

Но старик не унимался. Он погрозил в сердцах пальцем и сказал:

— Я все равно из Пакистана не убегу. Я старик, я не буду защищать свои деньги. Молодые пусть защищают и свои и мои деньги, а я не могу. Но я не убегу. Я останусь там, где я родился и жил. Вот мой ответ. Я останусь в Лахоре...

И он пошел, слегка покачиваясь на ходу. Слуги разносили лимонную воду, апельсиновую воду, фрук-

товую воду, просто холодную воду. Вина не было ни капли.

Хозяин покачал головой, лукавый огонь в его кошачьих глазах вспыхнул и потух, и он сказал, не комментируя слов старика:

— Сейчас мы послушаем музыку.

Фуст плохо разбирался в музыке и никогда не скрывал этого. Поэтому он занял удобное положение на диване у стены и равнодушно смотрел на то, как рассаживались гости, как вошли музыканты, поклонились, сели на ковер, стали настраивать инструменты. Даже тени любопытства не было у него при виде необычной формы громадного подобия гитары, широкой прямоугольной скрипки и двух разукрашенных барабанов.

Фуст знал, что этот большой и на первый взгляд неповоротливый и тяжелый инструмент зовут «ситарой». Большая гитара опиралась на два больших, как ему показалось, сплюснутых кожаных шара и кончалась красивой изогнутой головой павлина, грудь которого вся была в цветных узорах и блестела, будто смазанная маслом.

Фуст погрузился в состояние бодрствующего в полусне. Тихие мурлыкающие звуки, рождаясь где-то у земли, вдруг сменились хрипением и таким резким воплем, подымавшимся к потолку, что следить за движением и нарастанием единства этой музыки Фусту было не под силу. Мало того, он просто не выносил подобной музыки, и каждый ее резкий звук, вырывавшийся из массы других, вонзался в него, как шип. Не успел он приготовиться к следующему такому удару, как вдруг музыка стала мелодичной и нежной и полилась сверкающим южным дождем, таким широким звуковым водопадом, что, казалось, омывала тело, как теплая, светящаяся влага.

После музыкантов выступал певец — известный старый артист. Его немного одутловатое лицо, очень серьезное, с маленькими слоновыми глазками, тихими и вместе с тем упрямо смотревшими перед собой, будто он никого не видел и сидел один в комнате, никак не обещало той тонкой иронии и сложных перевоплощений, на какие он оказался способным.

— Он мог бы выступать в старину при дворе какого-нибудь повелителя вселенной, вроде Надира или Махмуда, которые по своему капризу могли наполнить его ситару золотом или налить его расплавленным в горло певцу, — шепнул Фусту Аюб Хуссейн.

Фуст приготовился снова погрузиться в свой полусон, но ему не пришлось этого сделать. Артист настроил ситару и поднял руку. Он заиграл и запел сразу.

Сначала Фусту показалось, что у него нет голоса, что он поет так тихо, потому что громче не может, и это, конечно, странно, что сидят люди и слушают старого человека с усталым взглядом умных маленьких глаз, который никому почти не слышен, как будто он поет только для себя и для ближайших к нему слушателей, сидящих в трех шагах от него.

Артист пел и играл, и чем больше он пел и играл, тем больше он завладевал вниманием сидящих. Мимика его превосходила все, что когда-либо видел Фуст, а он видел много на своем веку на Востоке. Артист рассказывал песней, то рыдая от отчаяния, то издевательски смеясь, о своей возлюбленной, о своей мучительной любви. Пальцы его легко и сложно трепетали в воздухе, падали на ситару, потом уже по-другому взлетали так, точно он ломал их и отбрасывал в сторону и они снова возвращались к нему.

Интонации его голоса были очень многообразны, временами казалось, что поет несколько человек сразу, целый квартет, над которым господствует его то тоскующий, то ликующий, то насмешливый голос.

Всем было видно, что это большой талант, имеющий силу и право именно так петь стихи старого-старого иранского поэта, который заплакал бы от радости, слыша, как такой большой и очаровывающий слушателей певец доносит его давно написанные любовные стихи до людей совсем другого века, сидящих неподвижно, охваченных молчаливым восторгом.

Артист исполнил еще несколько песен и, усталый, встал под аплодисменты благодарных людей, которым он так углубил простой званный вечер, наполнил его большим музыкальным и поэтическим волшебством.

— Вы любите бетель? Вы должны знать его, если жили на Востоке,— сказала Салиха Султан Фусту, предлагая ему толстые листья перечного дерева с наклеенными на них тончайшими серебряными полосками. Гости жевали их вместе с этими полосками.

— Я ем,— сказал он, еще полный впечатления от старого певца,— но я вас должен особо поблагодарить за музыку и пение.

Салиха Султан довольно улыбнулась. Она была инициаторшей приглашения старого артиста, она его обожа-

ла, будучи еще студенткой, и обожала сейчас, когда далеко ушли ее молодые годы.

Фуст жевал бетель. Женщина с пухлыми ручками говорила ему быстро-быстро:

— А в Америке жуют бетель? Или там только жевательная резина? Но бетель полезнее. Он с серебром. Мы уже тысячу лет едим серебро. Это очень полезно. Вы, наверное, видели на базаре, что мясные туши облеплены таким множеством мух, что не видно мяса. Но на нем наклеены полоски серебра, и оно вполне годно в пищу. Серебро убивает всех микробов. Правда, правда, вы можете мне поверить. Жуйте бетель, он полезней жевательной резины.

Фуст слушал птичье воркованье, и от музыки, пения и ярких одежд и лиц, от тепла комнаты, от усталости с дороги ему хотелось уйти в какой-нибудь тихий уголок. И его опять выручил хозяин.

— Зная вашу любовь ко всему прекрасному,— сказал он как-то очень внушительно и любезно,— я позволю себе показать вам одну вещь.

И он увлек гостя в комнату, удаленную от шумных помещений, наполненных народом, который, правда, начал редеть. Супружеские пары исчезали одна за другой, но Фуст этого уже не видел.

Он сидел в тихой прохладной комнате с такой мягкой мебелью, что, садясь на нее, вам хотелось опереться на подушку, чтобы не утонуть в засасывающей мягкости.

У маленького столика сидел человек, который, в отличие от множества гостей, был в европейском, хорошо сшитом смокинге, при бледно-сиреневом галстуке. Большие манжеты с синими квадратными запонками высовывались далеко из рукавов и лежали на его коленях, из бокового кармана торчали два уголка белоснежного платочка.

Сам он был упитанный, хорошего роста, широкоплечий, можно было даже сказать про него, что он не чужд военной службе. Большое, чуть скуластое, цвета светлой глины лицо его было чисто выбрито, волосы зачесаны на пробор, смазаны чем-то приторно пахучим и клейким.

Во всех его движениях была уверенность и сила. Его предупредительная улыбка могла смениться жесткой усмешкой, а черты большого лица исказиться такой злобой, что глаза блеснут как угли, на которые подули.

Аюб Хуссейн вошел не один. С ним вошел высокий, с бородой веером человек, который был среди гостей, как

и гость в смокинге, но держался где-то далеко от Фуста и не подходил к нему в течение всего вечера.

Сейчас оба они очень церемонно поклонились, и хозяин поставил на стол небольшой ларец типично кашмирской работы. Он был сделан из сандалового дерева и полон тем удивительно живым, сладостным запахом, который неистребим и вечно живет в воспоминаниях.

Открыв ларец, Аюб Хуссейн извлек из него завернутую в зеленый шелк дощечку, и когда он развернул ее, лукавые огоньки в его глазах забегали с невиданной силой, и он сказал:

— Это копия, но какая!.. Того же времени, что и оригинал.

И все четверо наклонились над столом. Перед ними лежала удивительно тонко исполненная иранская миниатюра. Она изображала могольских принцесс, играющих в поло. Все детали миниатюры были исполнены жизненности, и краски были такие свежие, точно работа была окончена вчера.

Позы амазонок-принцесс говорили о большом реализме мастера. Наклонившаяся за мячом решительно и увлеченно противоборствовала своей сопернице. Она совсем нагнулась с седла, стоя на одном стремях, чтобы попытаться отбить мяч. Столько правдивой грации было в этом наклоне и в поднятой руке спешившей к этому месту другой наездницы, и в озабоченном лице красавицы слева, сдерживавшей своего горячего коня по всем правилам кавалерийской школы того времени, столько скрытого изящества в последней слева девице, высоко поднявшей ненужную ей палку с молоточком и тоже осадившей белого коня, привстав на стремях, что все любовались, не скрывая своего восхищения.

— Ну как, дорогой Моулави? — сказал хозяин, обращаясь к высокому и костлявому бородавтому гостю.

— Я бы сказал, что это предел совершенства, но я должен рассмотреть еще одну подробность.

Он взял миниатюру и понес ее к окну, где, вооружившись лупой, вместе с хозяином углубился в тщательное отыскивание одному ему известной детали.

Плотный, широкоплечий человек перегнулся через стол к Фусту, разжигавшему впервые за вечер трубку, и сказал:

— Не правда ли, хорошая работа? Славные девицы — эти могольские принцессы. Это говорю вам я, Ассадулла-

хан, а я кое-что понимаю в женщинах... Вы мне что-нибудь скажете?

— Ассадудлла-хан, — сказал быстрым, скользящим шепотом Фуст, — меня просили передать вам следующее, запомните: совершенно необходимо убрать Арифа Захура... Меня просили передать это вам лично! Я передаю...

Фуст затянулся дымом и откинулся на подушки.

В следующую минуту, пока Ассадудлла-хан смотрел на него блестящими глазами, он так же быстро сказал:

— Он слишком перешел черту. Он не коммунист, но он хуже коммуниста.

Ассадудлла-хан поправил платочек в наружном кармане и сказал, как будто дело касалось совсем обыкновенной вещи:

— Все будет сделано. За мистера Гифта не беспокойтесь. У него дела идут хорошо. Он будет завтра или послезавтра.

— А как с поездкой?

— Аюб Хуссейн дает вам свой «додж» и своего шофера. Он его хорошо знает. Бывший солдат, участник войны. Лошадей и людей я дам вам, когда нужно, ближе к перевалу.

Хозяин и Моулави возвращались к столу, громко разговаривая о том, что старые миниатюры — это удивительное искусство, и как жаль, что сегодня секрет его утерян.

— Вы знаете, — сказал Моулави, — в поло играли еще во времена Салаэddина, во времена крестовых походов. Это военная игра для тренировки людей и лошадей. При халифах она тоже процветала. Теперь это чистый спорт.

— Дорогой друг, — сказал Аюб Хуссейн, — теперь, когда знаток этого искусства, наш достойный Моулави, подтвердил настоящую ценность этой чудесной миниатюры, ее подлинность восемнадцатого века, я прошу вас принять ее как недостойный дар скромного купца знаменитому открывателю новых высот в память пребывания в моем доме в этот счастливый для меня день.

Аюб Хуссейн поднес сандаловый ларец с миниатюрой, снова завернутый в зеленый шелк, Фусту, который смотрел на хозяина, делая самую добродушную мину и стараясь улыбнуться как можно приветливее. Он сказал:

— Вечер, который я провел в вашем доме, никогда не изгладится из моей памяти. Каждый раз, когда я буду смотреть на это истинное произведение искусства, я буду

думать о дружбе, о моем великом уважении к вам и вашей семье.

Фуст пожал руку Моулави и Ассадулле-хану и в сопровождении хозяина покинул дом, где провел такой долгий и такой любопытный вечер. Хозяин проводил его до машины. Указывая на шофера, небольшого роста человека, аккуратно одетого в куртку с серебряными пуговицами, он сказал:

— Этот шофер поедет с вами в поездку. Его зовут Умар-Али. Он ничего и никого не боится, кроме аллаха и меня.

Когда гости разъехались и огни в доме погасли, а слуги убрали остатки еды, блюда, тарелки, блюдечки и чашки, красивая и возбужденная Салиха Султан, пылая негодованием, спросила своего мужа:

— Неужели ты подарил этому американцу ту иранскую миниатюру, где могольские принцессы играют в поло?

На лице Аюба Хуссейна не отразилось волнения его жены.

— Да,— сказал он.

— Но ведь ей нет цены! Что же ты сделал?!

— Если ты думаешь, дорогая моя Салиха Султан, что я сошел с ума, звони по телефону и вызывай врача. Но я не сумасшедший. Это копия. Такую копию мастер, которого знает твой и мой друг Моулави, может делать раз в месяц, каждый месяц. Эта сделана три месяца назад...

— Ну смотри, а то ты меня чуть не убил,— сказала Салиха Султан,— теперь я спокойна.

— А откуда ты уже узнала, что я подарил американцу миниатюру?

— Дорогой султан моего сердца! Как хозяин, так и хозяйка должны знать все, что делается в доме. Разве это плохо? Ты никогда не жаловался на меня, что я тебе плохой помощник. Правда, Аюб Хуссейн? Правда? Тебе нечего возразить?

Фуст вернулся к себе в отель поздно. Хотя он не выпил ни одной капли вина, голова его была какой-то тяжелой. Он не нравился сам себе. То, что предстояло ему, было неясным. Он не хотел в это вдумываться наедине. Он хотел подождать приезда Гифта.

Он бросил в камин старые газеты, они горели ненужным, ничего не говорившим огнем. Туда же, в камин, он отправил письма и разные бумаги, которые накапливаются

в дороге, — все эти квитанции, билеты, расписки, счета, записки. В дальнейшем путешествии все это ни к чему.

Белая тень легла перед дверью. Луна выбелила двор так чисто, что Фусту показалось, будто на дворе лежит снег. На деревьях тоже. Ему стало неприятно. И эти сегодняшние разговоры о Белом Чуде...

Он боялся посмотреть в окно на двор. Он боялся увидеть перед собой видение этого чудовища, выходившего из мрака ночи всеми неизмеримыми ребрами своих ледяных стен. Как будто холод этого ночного призрака проник в комнату. Фусту стало нехорошо. Он выпил виски, не разбавляя его водой. И прислушался. Ему показалось, что стучат в ту маленькую дверь за спальней, в ванной комнате.

Неужели этот сумасшедший пришел снова, чтобы говорить об этих ужасных темно-зеленых ящиках? Да, в этой стране бегают за каждым верблюдом и ишаком, чтобы получить навоз для своего маленького поля.

Он идет к двери и стоит перед ней. Если он откроет ее и за ней будет стоять не жалкий, скрючившийся человек, а тот, кто остался там, на горе...

«Ну, Фуст, твои нервы пришли в упадок!» Он открывает дверь сильным движением. Перед ним внизу пустынная площадь. Где-то в листве мелькают огоньки. Никого нет на маленькой галерейке. Деревья с черной жестяной листвой стоят перед ним.

Он возвращается в комнату с камином. Бумаги догорели. Он опускает шторы на окне, выходящем на большой двор, и садится в кресло, пьет виски, курит, закрывает глаза, какие-то люди идут перед ним. А, это те русские в Амритсаре! Он снова закрывает глаза и с виду погружается в сон, но он весь полон тревоги и опять видит кошмар. Индеец швыряет палкой, разбрасывает песок, мокрый пепел и кости, которые рассыпаются, и протягивает Фусту золотой зуб. Фу!..

Он говорит, этот индеец:

— Фуст — золотой зуб человечества.

Так не заснешь... Он берет таблетку и глотает ее. Это тоже не то. Он по ошибке проглотил таблетку дильдрина (два раза в неделю, от малярии, через три дня, утром, с водой; реклама — анофелес, приколотый к карте тропиков булавкой с красной головкой).

Он пьет виски и принимает двойную порцию снотворного. Сон приходит,

День, казалось Фусту, будет таким же безвкусным, как этот завтрак, — где бы ты его ни ел, — состоящий из кукурузных хлопьев с молоком и сахаром, кусочка масла, яичницы со свернувшимся в черную трубку ломтиком бекона, мягкого банана и жесткого, сухого мандарина, чашки черного чая и пересушенных, тонко нарезанных тостов.

Машина, предупредительно посланная Аюбом Хуссейном, ждала его на дворе. Умар-Али был тем шофером, который все знает, все видит и обо всем виденном и слышанном молчит, а если говорит, то только отвечая на вопрос, обращенный к нему. И, однако, за этой молчаливостью не чувствовалось ни озлобления, ни каменной неподвижности, ни равнодушия к жизни. Умар-Али имел очень выгодную для шофера богатого человека внешность: незаметную и скромную, — но все слуги в доме Аюба Хуссейна знали его как веселого, жизнерадостного, отзывчивого и умного человека, хотя он иногда и бывал резок и обидчив. Как бывший солдат, любил он товарищество и дружбу, помогавшие ему в джунглях Бирмы и Ассама.

Фуст сел рядом с ним и велел везти себя в музей.

Видно было, что большой лахорский музей пережил какие-то сложные времена. Об этом говорили гулкая простота его залов и явное отсутствие многих предметов в полупустых витринах. Судя по оставшимся светлым пятнам на полу, многие изображения богов и статуи героев исчезли из стен музея. Книжные шкафы тоже были порядком опустошены.

— Да, — сказал старик в белом тюрбане и с палкой из красного дерева, сопровождавший Фуста, — мы отдали многое индийцам, когда делились после образования Бхарата и Пакистана. И это хорошо, слава аллаху, потому что то, что мы имеем рядом, важно только для сравнения, чтобы сразу увидеть, где свет истины, а где только желание, не имеющее силы выражения.

Он почтительно наклонился к стене, где висел длинный ряд иранских миниатюр старой школы.

— Посмотрите, — сказал он, — какие образцы неповторимого искусства здесь перед вами, с каким вдохновением сделаны эти картины, не имеющие равных в свете, как тонко написаны здесь лица, какая утонченность в изображении пейзажа! Слеза восторга горячит глаз, и сердце

содрогаются от сладости и восхищения! А! Какие миниатюры! Где вы видели такие? Вы их нигде не увидите! Я часами могу смотреть на них. А это? — Он повернулся направо и вытянулся с такой надменностью, точно кто-то нанес оскорбление его роду.

Своей толстой красной палкой он ткнул в противоположную стену и сказал так презрительно, точно слова, которые он сказал, такие, что после них надо сразу положить рот, чтобы освободиться от скверны.

— А это? — повторил он почти в отчаянье.

Фуст увидел миниатюры, которые показались ему похожими на те, что он только что рассматривал. Но сказать свое мнение он не хотел. Ему нравилось бушующее неистовство хранителя музея, он покорно и равнодушно ждал.

Старик тыкал палкой в эти беззащитные произведения искусства, которые он явно, будь его воля, уничтожил бы немедленно и навсегда.

— Исчадие ада, работа несовершенных рук, творение бессилия! — Он плюнул и постучал о пол палкой, точно умирал злого духа, запертого под ним в подвале.

— Что это? — спросил Фуст, рассматривая рисунки.

— Это индийские миниатюры, тут нечего смотреть, — сказал старик. — Идемте дальше!

Перед Фустом стояли статуи тех времен, когда волны индийского мира сливались с морем грекобактрийской культуры, как сливаются воды Ганга и Брахмапутры, идущие навстречу с разных концов огромных горных стран. Стояли статуи в белых передниках, и это было так неожиданно, что даже равнодушные Фуста дрогнуло. Ему издали показалось, что на них надеты белые широкие штаны и оттого у них такой огорченный и грустный вид. Фуст взглянул на старика, и тот понял его немой вопрос.

— Пакистан — страна торжествующего ислама, чистой веры! Мне трудно, как правоверному, глядеть каждый день на тела идолов, неприлично обнаженные и представляющие бесстыдство для глаз верующих! Я закрыл их. К нам ходят женщины и дети.

Музей имел много зал, и в них были очень хорошие костяные изделия, выточенные из целого слоновьего бивня, металлические изделия кустарей, резьба по дереву, ковры, оружие.

Среди оружия в полупустых шкафах иногда лежали остатки стрел, или испорченный колчан, или старый

изогнутый клинок. Перед ними останавливался старик и, поглаживая бороду, как будто приветствуя их с большим уважением, говорил Фусту:

— Это образцы победоносного оружия ислама, подлинные вещи славных времен исламской древности! По изгибу этого клинка видно, какая сильная рука была у его владельца.

Они вошли в зал, где было множество камней разной формы, разного размера. На них можно было видеть какие-то угловатые, очень сложные по рисунку надписи.

— Что это такое? — спросил Фуст. — На каком языке эти надписи?

— Эти надписи сделаны на неизвестных языках, до сих пор их еще никто не сумел прочесть.

— Почему же вы их не отдали индийцам? — сказал Фуст. — На что вам камни с неизвестными надписями?

— Их нельзя отдавать индийцам, — сказал старик. — А если окажется, что это надписи людей, исповедовавших Коран или бывших нашими предками? Я лично уверен в этом. Вдруг эти камни взяты с мусульманских кладбищ?

Однако почти ничто не задержало внимания Фуста так, как вещи, раскопанные в таинственном городе по имени Мохенджо-Даро. Но это был интерес сенсации. Если бы перед глазами современного американца появились развалины Атлантиды и ученые выложили бы перед любопытствующими современниками предметы той легендарной страны, то это была бы, может быть, сильнейшая сенсация нашего века. Мохенджо-Даро — не Атлантида. Он не известен широко.

Как на сенсацию, смотрел Фуст на эти странные предметы, которые были взяты в окаменелом городе на большой глубине, в Синде. Город этот, большой, благоустроенный и, по-видимому, очень культурный, относился к временам, которые невозможно себе представить. Пять тысяч лет назад по улицам этого города ходили люди, двигались караваны, в домах трудились, пели, веселились, умирали. И эти вещи, хранившие тайну времени, рассказывали о том, что тогда уже знали золото, серебро, медь, железо, знали пшеницу и пальмы, хлопок и дыни. В домах у живших тогда людей были высокие комнаты. В городе была прекрасная планировка улиц, городская канализация.

Фуст смотрел на печати из твердого камня и слоновой кости, на которых были вырезаны разные животные и

стояли иероглифические знаки, чем-то похожие на египетские.

Все повторяется в мире.

Фуст смотрел на все древние вещи, и ему стало казаться, что это какая-то шутка археологов, уверявших, что они выкопаны из глубоких раскопок, что им пять тысяч лет. Но если так, что изменилось?

Такой же буйвол сегодня идет по улицам, как и этот, которому пять тысяч лет. И собака рядом с ним, как будто бы она только что прибежала и ее скопировал, стилизуя, быстрый мастер.

Горшок с едва заметным рисунком, но поищи — и похожий рисунок найдешь сегодня на очагах жителей долины Инда.

Бородатый человечек в костюме, расцвеченном трехлепестковыми цветами, может быть начальником какого-нибудь селения в горах или главой цеха в Лахоре.

Слон, над которым письмена, похожие на геометрические фигуры, какие-то граненые треугольники, ромбы, октаэдры, — такой же, как и сейчас.

Фусту пришла в голову неожиданная мысль: «Что останется от нас через пять тысяч лет?» Когда он представил себе города нашей культуры погребенными в глубоких слоях южной или северной земли и вновь откопанными, ему стало не по себе. Но эта мысль его даже позабавила.

Ему захотелось на воздух, к зелени и воде. Он простился со старым фанатичным последователем ислама, пожелал ему новых успехов в развитии порученного ему музея, прошел мимо знаменитой пушки Зам-Заммах, даже не взглянув на нее, и велел везти себя далеко за город, на могилу султана Джахангира.

Медленными шагами в сопровождении неизбежного гида, пояснения которого он не слушал, он шел по длинной дорожке, ведущей от ворот к мавзолею одного из самых известных владык Индии, человека, сочетавшего такие неожиданные и далекие вещи, которые, если бы об этом знал Фуст, понравились бы ему.

Но он не знал этого. Он не знал, что Джахангир был тонким знатоком живописи, что, рассматривая поразительную миниатюру или план нового сада с его утонченными формами беседок, мостиков и купален, он мог оторвать свой взгляд от миниатюры и плана и с любопытством знатока смотреть, как сдирают кожу с живого человека,

который разгневал властителя-эстета. Потом он брал перо и записывал и то и другое, чтобы просвещенное потомство не забыло о нем и его делах.

И о нем не забыли. Фуст, человек из страны, которая не снилась и во сне Джахангиру, шел шагом повелителя к его скромной изящной гробнице, усыпанной каменными, словно живыми в своих красках, цветами. Фуст даже не посмотрел, как отчетливо скользнуло по каменному полу в преддверии гробницы его отражение, не остановился перед ажурной мраморной стеной входа и вошел в тишину и прохладу полутемного зала, наполненного искрами от солнечных лучей, дробившихся в резных окнах.

Гид, отстраняя услуги непосредственных хранителей гробницы, непрерывно бормотал какие-то популярные сведения о Джахангире, но Фуст отвечал ему что-то невразумительное и незначительное, и своим им было хорошо, потому что гид знал, что этот высокий иностранец даст ему лишнюю рупию, и не спрашивает ничего, и удовлетворяется тем, что гид говорит; со своей стороны, Фуст был рад, что гид не настаивает на долгом пребывании в этом скучном зале и готов скорее гулять под деревьями и наслаждаться жарким хорошим полднем.

Он покорно дал увести себя на крышу гробницы и оттуда, с минарета, увидел зеленый простор, окружающий Лахор, реку Рави, сверкавшую среди зелени, и дорогу на север, которая ждет его.

Он спросил гида, какое самое зеленое место он знает в Лахоре, которое было бы просто показательным для искусства разведения садов. Гид сейчас же сказал, что ему надо ехать в обратную сторону, переехать Рави, проехать вокзал и с Амритсарской дороги свернуть направо, мимо гробницы Али Марданхана, который и создавал Шалимарский сад, свернуть снова мимо Инженерной школы по направлению к Бегампуре, и там он найдет Шалимарский сад — чудо, каких мало на свете. Это близко, всего около двенадцати миль.

Шалимарский сад был почти пуст в этот час дня. Было уже жарко, и в пустыне этого сада он увидел редких гуляющих и человека, сидевшего в состоянии глубокой задумчивости на полу каменной терраски над бассейном, полным до краев воды. Ничто, казалось, не могло вывести его из этого состояния.

Фуст сказал себе, что он похож на этого человека, с той разницей, что он шагает, а не сидит, подперев голову руками. Сад со своими павильонами, фонтанами, каналом, лужайками, старыми манговыми деревьями и кипарисами понравился Фусту.

Фуст пробыл там очень недолго, ровно столько, сколько нужно пробыть туристу, внимательно знакомящемуся с городом Лахором и его окрестностями. Он даже сделал несколько снимков, которые могли пригодиться.

Машина долго кружила по городу. Молчаливый Умар-Али, казалось, совершенно не интересовался тем, чего хочет его пассажир. Он просто возил его. И только когда они достаточно объехали лавок и базаров и в чередовании зданий, где сидят чиновники, и лачуг, где живут рабочие, где проживают чиновничьи семьи, и пышных вилл, где наслаждаются жизнью богачи, так ясно и показательно прошла вся лестница человеческих отношений, Фуст сказал:

— Вези куда хочешь.

Умар-Али показалось даже, что Фуст устал и дремлет, и он, исполняя его приказание, вел машину не торопясь, в полной уверенности, что Фуст хочет просто на полчаса заснуть.

Но вдруг Фуст сказал с такой силой: «Стой!» — что Умар-Али не понял, проснулся ли он в это мгновение случайно или он только притворялся спящим.

И Фуст взглянул внимательно, потому что ему тоже никак не удалось определить, случайно ли шофер завез его сюда или он это сделал по каким-то соображениям.

Но так как Умар-Али ничего не сказал, а просто затормозил машину, он вылез из нее также безмолвно. Умар-Али тоже вышел из машины. Они стояли среди развалин. Но это не были развалины от стихийного бедствия. Ни ураган, ни землетрясение тут не принимали участия. Тут действовали силы, которые были страшнее урагана и землетрясения.

Дома были разрушены так сильно, что невольно приходило сравнение с самыми упорными боями последней войны. Фуст смотрел на эти остатки, носившие следы взрывов и пожаров, и ударов каких-то непонятных таранов. Да, тут дрались, и дрались долго, беспощадно, дрались не на жизнь, а на смерть.

Фуст глазом исследователя рассматривал следы, по-видимому, многодневных боев, когда эти развалины пере-

ходили из рук в руки. Тут боролись с мужеством отчаяния за каждый камень. Тут осаждали и штурмовали, дрались врукопашную, делали ночные вылазки, бросали гранаты и зажигательные снаряды. Тут участвовали пушки и минометы. Может быть, сейчас еще под этими стертыми с лица земли домами, целыми кварталами лежат трупы погибших.

Тут, вероятно, не щадили ни женщин, ни детей. Вон в груде кирпичей остатки колыбели, кроватей, вон черепки посуды, битое стекло, камни, залитые темными пятнами какой-то жидкости, разбитая пиала, сломанный стол, поднявший одну ногу вверх, разорванные, сожженные книги и куски материй, зацепившиеся за кирпичи.

Какое-то безумие владело сражавшимися, потому что ожесточение, истребившее эти жилые дома, населенные мирными жителями, не имело ничего общего с ожесточением обыкновенной войны.

Зола, пепел, уголь наполняли развалины.

Фуст не стоял так ни перед гробницей Джахангира, ни перед статуями и картинами Лахорского музея, ни перед красотами Шалимарского парка. Он сжал губы, и что-то неприятно торжествующее мелькнуло в его лице. Но оно сразу же замкнулось, и он отошел немного в сторону, сел на обрубок старого фикусового дерева, закурил трубку и продолжал смотреть так, точно он отыскивал в этих руинах остатки знакомого ему дома.

Он сидел долго. Потом походил перед развалинами большого трехэтажного дома, ржавая крыша которого, свернувшись жгутом, лежала неподалеку. Умар-Али курил сигарету и молча ждал.

Фуст подошел к нему. Молчать дальше было невозможно.

— Как это было? — спросил Фуст.

Умар-Али посмотрел на него так, точно вопрос относился не к нему, а Фуст спрашивает эти обгорелые кирпичи и разбитые доски. Потом он сказал:

— Я не знаю. Я не был в то время здесь. Я был в армии, в Бирме.

— Что слышал об этом?

— Что слышал об этом? Тут бои шли несколько месяцев. Тут было временами больше мертвых, чем живых. Все стреляли во всех. Служащие-мусульмане стреляли в служащих-индусов и убивали чем могли. Сикхи дрались с мусульманами, солдаты-белуджи с солдатами-дограми.

Дома разрушали до оснований. Семьи вырезали до последнего человека. Трупы бросали в реку. Кто пережил все, тот никогда не забудет этого!

— Ты сказал по-солдатски: хорошо, коротко.

Фуст набил новую трубку.

— Не знаю, я сказал, как мог, — ответил Умар-Али.

— Поедем дальше...

Фуст сидел, глядя вперед невидящими глазами, как человек, который видел много самых разных вещей, и устал задерживать все это в памяти, и не хочет думать о них. Пусть они скользят так же, как скользило его отражение на зеркальном полу преддверия царской гробницы.

Он велел остановить машину и вышел с фотоаппаратом, когда увидел, как около кустов на газоне человек, корчась, словно от боли, укладывается на траву и все не может улечься как следует.

Это, конечно, был умирающий с голоду, на них он вдоволь нагляделся. Но Фусту захотелось размять ноги. Сфотографировать заодно умирающего, такого необычно бодрого, — значит, получить хорошее фото для географического еженедельника. Там ужасно любят такие снимки!

Но когда он подошел близко к барахтавшемуся на земле человеку и хотел его снять, тот приподнялся и сказал хрипло, но понятно, на очень плохом английском языке:

— Дайте денег. Дайте бакшиш.

— Ты умираешь? — спросил Фуст.

— Я? — сказал этот человек, почти голый и ужасной худобы. — Я — нет, я хочу просто спать. Смерть, конечно, придет за мной. Если вам нужно, чтобы умирали, так недалеко я видел женщину. Она умирает, по-моему, с тоски. Меня снимать как умирающего еще рано. Я просто не могу найти место, чтобы прилечь поспать. И земля стала какая-то вся буграми, как жизнь... Да, а женщина рядом, за углом...

Фуст бросил ему монету и велел Умар-Али повернуть за угол.

За углом сидела на старом мешке женщина в таком ветхом сари, что было непонятно, как оно держится на ее плечах. Правда, местами оно лопнуло, и сквозь дыры виднелись выпирающие из кожи кости. У ног ее стояла деревянная чашка, как у буддийского монаха, и в чашке

были какие-то камешки, несколько штук. На коленях у нее спал совсем маленький мальчик, уткнув свою голову в ее потерявшее цвет одеяние.

Когда Фуст подошел к ней, она сделала движение, как бы защищая мальчика, взглянула на Фуста взглядом такого бездонного спокойствия, что он хотел что-то сказать, но раздумал и пошел к машине.

Она, продолжая закрывать мальчика рукой, говорила вслед Фусту:

— Не буди его, не буди его. Он не должен видеть этого! Он не должен видеть... И я прошу вас, оставьте ему эти камешки, он в них играет. Прошу вас...

— Я знаю эту женщину, — сказал Умар-Али. — У нее в дни резни убили мать, мужа, сына и жену сына — всех. Она не в своем уме. Это ее внук. Она нищая и сумасшедшая. Много теперь таких. Я даю ей иногда деньги...

Фуст не хотел слушать ничего об этой женщине. Она его не интересовала. Конечно, теперь много таких. И не только в Пакистане. Женщина сидела неподвижно, и каждая машина обдавала ее облаком горячей желтой пыли.

Буйволы тянули повозки. Они не задумывались, куда и зачем везут свой тяжелый груз. Бежал в повязке с зелеными полосами рикша. Пот не струился по его лицу, но оно было такое сморщенное и желтое, такое измученное, точно он бежал по осколкам стекла и они впивались ему в ноги. Девушка, сидевшая в его коляске, немедленно закрыла лицо рукой и отвернулась, поймав взгляд Фуста. Рикша, по-видимому, бежал давно. Он раскачивался из последних сил.

Фуст снял их все же с ходу. Снял еще уличную сценку, почти идиллическую: у большого фикусового дерева сидела женщина с лотком, на котором были букетики цветов — бледно-желтых и лимонно-розовых мелких роз, которые берут для торжественных гирлянд. А рядом был аккуратно развернут на земле большой цветной платок, и на нем, как на сцене, расположился уличный парикмахер. Загорелый дочерна, так что его лоб блестел ярче медной начищенной чашки, стоявшей на краю платка, он брил своего клиента с ловкостью настоящего мастера, которого дело боится. Отдавшись в руки этого искусника, его клиент сидел совершенно неподвижно и только косил глазом в зеркало в толстой рамке, которое он держал в своей правой руке, удобно упираясь локтем в поджатую правую ногу.

На ковре было такое множество чашечек, блюдечек, коробочек, ножниц, ножичков, тряпочек и еще какого-то барахла, что определить название этих вещей было невозможно. Парикмахер работал с сосредоточенным лицом, как будто вырезал на жесткой коже своего клиента замысловатые узоры.

За его движениями с удовольствием наблюдала, по-видимому, жена брившегося человека, которая, закрыв от жара голову платком, сидела, как пригвожденная и только иногда облизывала языком сухие губы.

Рядом с ней сидел маленький мальчик, как будто сторожа брошенные старые туфли своего папаши. Он сидел, как маленький человечек, думающий о том, зачем нужно брить человека и почему он видел людей с такими большими бородами, что вот их-то и надо поубавить, а они, наоборот, бежали от парикмахера и не хотели даже подстригать бороды. Но это были сикхи. «Их всех убили, — сказал папаша, — или они убежали. Не ищи, мальчик, таких бород в Лахоре, они все в Амритсаре».

Прошли какие-то демонстранты, было их человек тридцать. Несли они национальный бело-зеленый флаг с белым полумесяцем и два плаката. На красном поле этих плакатов написано было белыми буквами, что демонстранты требуют повышения зарплаты. Это были служащие одной гостиницы. Они ходили к министру под окно и теперь идут домой. Демонстранты расходятся и будут теперь терпеливо ждать, что скажет министр.

Фуст увидел и своего соперника. Уличный фотограф повесил на решетку входной двери в сад черное сукно и усаживал по очереди перед ними женщину за женщиной. Те, которые не снимались, подшучивали и смеялись над теми, кто сидит у входной двери. И все стали хохотать, и сам фотограф тоже, когда Фуст снял всю эту сценку.

Мальчики пускали воздушного змея. Две красотки стояли и смотрели, как змей шел косо, потом выправился и начал резвиться в небе. Фуст вышел из машины и снял их. Они улыбнулись, и он их поблагодарил. Они смутились, но он сказал, что снял их для американского журнала и теперь их увидят миллионы людей всего света.

Он спросил, как их зовут. Одна сказала: «Селима». А другая засмеялась и ничего не сказала. Тогда Селима шепнула: «Ее зовут Мумтаз».

На улицах было так много народу, что снять всех не мог бы никакой фотограф. И все эти люди, одетые в лох-

мотя самых бедных оборванцев и в длинные рубахи и штаны ремесленников и рабочих, в разнообразные формы пачтальонов, кондукторов городских автобусов, сторожей, рассыльных, боев, одетые в сюртуки, белые панталоны и в европеизированные костюмы владельцы контор, магазинов, агенты, комиссионеры и захавшие в город богатые землевладельцы, туристы и люди свободных профессий, врачи и инженеры, студенты и профессора — каждый имел свою судьбу и свое место, и их жизнь ждала своего биографа, потому что все они жили и хотели лучшей жизни, все они боролись, страдали и погибали на улицах этого прекрасного города так же, как во всех городах мира, с которыми их связывали общие пути развития человечества.

То, что думал сейчас Фуст, глядя на суету базара, на уличного сапожника, на стоящего рядом с ним верблюда, косившего лиловый глаз на машину последней американской марки, — вся эта цепь жизней была жизнью вообще. Это был вообще город неизвестного народа, неизвестного века.

Молодость, которую он только что встретил, зовут Мумтаз, так, как, может быть, зовут и ту, что лежит в гробнице рядом с гробницей Джахангира. Это не важно, что ту, лежащую в могиле, звали Нурджихан, это случайность. И старость, что сидит там, на перекрестке, со спящим мальчиком, — разве это не вечная печаль старости, перешедшей через страдания и желающей охранить от ужасов безрадостное детство своего внушонка?

И развалины убитых кварталов — это картины прошлого, настоящего и будущего.

Весь этот широко раскинувшийся город не есть ли новый Мохенджо-Даро нашего времени, который через пять тысяч лет раскопают, как раскопали тот, что в осколках можно видеть в музее, где полупустые шкафы и ворчливый фанатический человек с палкой красного дерева.

Эта мысль тоже позабавила Фуста, но тут же он услышал незнакомый шум, который из всех шумов улицы выделялся какими-то новыми оттенками голосов. Какой путешественник не обязан наблюдать жизнь народов, да еще если он сотрудник известного географического журнала? И Фуст велел шоферу ехать на этот новый шум.

До сих пор Фуст осматривал город, он делал все, что полагается путешественнику, туристу Востока, пишущему

об этом в географические журналы и снимающему все своим аппаратом. Ничего неестественного не было в его любопытстве, проявленном даже по отношению к самым мелким явлениям уличной жизни.

Его интересовали люди и дома, памятники старины, животные и деревья. Он фотографировал нищего и красивых девушек. Но какая-то забота лежала на его выразительном загорелом энергичном лице, что тоже придавало ему вид мужественного исследователя, выдавшего виды и перенесшего все неприятности климата, слишком знойного для европейцев и американцев.

До сих пор все было ясно, но эти люди шумели как-то особо. Их было много; они что-то иногда кричали. Он велел Умар-Али остановить машину, вышел из нее и пошел к людям, стоявшим группами. Среди них находились и остановившиеся велосипедисты, тут были и девушки, и старухи, и дети. Он увидел мальчика с книжками под мышкой, который нырял в толпе, как будто играл в какую-то игру или отыскивал кого-то.

Белые листки бумаги передавались в группах, и чаще всего этот листок держали девушка или юноша. Они что-то говорили окружающим, и те брали листки и карандаши, или вынимали вечные перья, у кого они были, или брали у девушек, раздававших листки, и все это было как-то и по-деловому, и совершенно необычно для этой улицы, которая никогда не видела ничего подобного.

Подписывался под листком человек в одежде крестьянина. Пришел ли он на базар, или по делу, связанному с землей, или в больницу навестить кого-нибудь? Это был человек земли, и его куртка и широкие брюки из белой материи выдавали его с головой. Дружеский смех сопровождал его ответ, по-видимому, острый, как бетель, который, как известно, притоплевается из листьев индийского перца.

К удивлению Фуста, к девушке подошел офицер, спросил, по-видимому, в чем дело, и, вынув из бокового нагрудного кармана своего френча вечное перо, расписался, так же как крестьянин. И девушка тоже улыбнулась ему.

Молодой человек подошел к девушке и взял листок. Он все делал как-то размашисто и сам был подвижной, высокий и такой крепкий и веселый, что девушка с удовольствием и любопытством смотрела на него, пока он ставил подпись.

Она взглянула на листок, когда он вернул ей его, и сказала:

— Но, может быть, вы поставите свой адрес?..

Юноша взглянул на нее и засмеялся таким хорошим смехом, что девушка смутилась.

— Мой адрес? Я всюду, я нигде, я миллионы, — сказал он.

Тут засмеялись девушка и окружающие.

— А можно сказать точнее?

— Можно. Если сказать точнее, то я — песня.

— А чья песня?..

— Я пишу стихи и рад, когда народ поет их иногда. Мое имя Фазлур. Вот моя подпись.

— О! — сказала девушка. — Вы Фазлур? Мне о вас рассказывала одна наша общая знакомая...

— Возможно, — сказал он. — Кто она?

— Вы должны ее знать, я не ошибаюсь, ее зовут Нигяр, Нигяр-бану.

— Как, вы ее знаете? Так я прошу вас, если увидите ее, передайте мой привет.

Тут подошел человек без ноги и с палкой.

— Люди, — сказал он, — где здесь можно расписаться против войны и атомной бомбы?

— Кто ты? — спросили из толпы.

— Я бывший солдат. Что я теперь? Я был человеком на двух ногах. Теперь имею одну. Я инвалид. Дайте мне расписаться. Люди говорили, что здесь где-то записывают, кто против войны...

Девушка стала объяснять ему, как надо расписаться.

В соседней группе исполинского вида человек держал, не выпуская, листок, как будто он нашел волшебное средство от какого-то своего несчастья.

— Я бенгалец, братья, — говорил он. — Сколько еще бежать и куда? Я не могу, братья, больше бежать. Пусть кончится война и все войны, чтобы никто никуда не бежал. Не надо больше войны, братья!

— Никто не должен драться ради сагибов! — закричал кто-то в стороне от этой группы.

— Ни за своих сагибов, ни за чужих сагибов! — ответил ему, как эхо, здоровый грузчик, несший большой ящик на спине и спустивший его на мостовую.

Люди подписывали и подписывали листки. Фуст пропел через них, как инородное тело, как будто бы он был из прозрачной массы, — никто не замечал его. И он, правда, не хотел останавливаться. Но понимать, что говорили, он не мог, так как они говорили не по-английски.

Было шумно, оживленно, весело. Как будто всех сближали эти листки, как будто после подписи давший ее испытывал радость от какого-то приятного известия. А это было только собирание подписей под Стокгольмским воззванием. Люди хотели запрещения атомной бомбы не потому, что они хорошо ее представляли, а потому, что они знали: всякая бомба — это война, это кровь близких и своя собственная, гибель всего, что тебе дорого, а если эта бомба атомная, тем хуже.

Бойкая и привыкшая разговаривать на улице торговка зеленью сказала, обращаясь к молодым женщинам, тоном опытного трибуна:

— Женщины! Что вы с вашей молодостью подписываете бумажки? А что сделает эта бумажка? Вы как дети. Разве что-нибудь значит твоя или моя подпись, если там, наверху, захотят воевать?

— Нет,— сказала, выступая из толпы, женщина,— нет, сестра, это неверно. Слушай. Я мать. Ты, наверное, тоже мать. Мне только двадцать шесть лет, у меня двое детей. Одна младше другой на четыре дыхания. Я видела в своей деревне, в нашем это было Пенджабе, войну, и кровь, и трупы. И я поняла, что такое ненависть и война. И слушай меня, сестра. Разве наш Инд сразу течет могучей рекой? Нет, он составлен из рек, а реки из ручейков, а ручейки из маленьких капель. Но без этих маленьких капель не было бы великого Инда, орошающего наши земли. Наши подписи — капли,— да, пусть капли, но если в каждой стране их дадут все, кто против войны, то мы получим такую реку нашей силы, что те, кто хочет войны, испугаются шума этой великой реки... Подписывай, сестра. Может, твоя подпись есть капля, которая переполнит речку, и она станет рекой! Я готова собирать эти подписи и днем и ночью. После того, что я видела в Пенджабе в дни, когда в людей вдохнули ненависть, я больше не хочу видеть трупы чужих и близких. У меня убили отца и дядю... Подписывай, сестра!.. И будь с тобой божье благословение.

Толпа заслонила от Фуста обеих женщин. Он видел белые листки вокруг себя, и вдруг ему показалось, что среди этих митингующих людей мелькнуло знакомое лицо. Откуда у него здесь, в Лихоре, знакомые лица? Вот девушка с таким лицом, что ее не сразу забудешь, если встретил. Но где же он ее видел раньше? Где?

Девушка в бедной одежде, в шальварах, которые куплены на дешевой распродаже, ни одного украшения. Где же он ее видел? Она даже улыбнулась ему. Или это ему показалось? Такой бедной девушки он не знал здесь. Какое ему дело до них? Почему-то это лицо соединилось с другой одеждой, с другим совершенно окружением и обстоятельствами, ничего общего не имеющими с этой уличной сценой.

Неужели он видит ту девушку, что является племянницей Аюба Хуссейна? Но та пришла вся разряженная, как молодая жена раджи. Как? Та девушка и эта — одно? Нет, это ошибка, ошибка простительная, потому что здесь, в Лахоре, красивые лица схожи. Нет, он ошибся. Что-что, а в этом обществе грани так резки, что дочь богача не не встретишь на улице одетой, как простая работница. А то, что она ему улыбнулась?.. Ну так что! Все девушки одинаковы — в любой стране одно и то же.

Но он уже понял, что происходит сбор подписей в пользу мира. Вот и пресловутый голубь. Все ясно. Он вышел из сборища и пошел к машине. И здесь опять встретился этот несносный мальчишка с книгами, похожий на воробьяныша, который нахохлился и распустил все крылышки, подражая взрослым воробьям. Он хочет что-то сказать. Послушаем, что он скажет. О, мальчик говорит по-английски! Что же он говорит?

— Ну подумайте только, мне не дали расписаться. Говорят, что я еще мал. Разве же это справедливо? Вы хоть и англичанин, сагиб, но скажите, что это несправедливо — так обижать маленьких, если мы за мир, против войны, не правда ли? Вы согласны, что это несправедливо? Вы молчите!

Другой мальчик, выступивший из-за его спины, сказал:

— Азлам, а что, если ты ищешь справедливости у поджигателя войны? Вот это здорово!

Фуст ничего не сказал в ответ. Он сел в машину и велел ехать домой. Через полчаса он уже был в отеле.

Глава четвертая

Генри Гифт представился Гью Лэму, они познакомились в Кабуле, как инженер, специалист по горнодорожному строительству фирмы «Гаррисона-Хеджес Компани оф Нью-Йорк энд Кер д'Алейн» (Айдахо), которая занимает

ся дорогами, мостами, плотинами и всем, связанным с этим делом.

Он обнаружил веселый, сангвинический характер, пел, когда был в хорошем настроении, две строки из песенки, которую начисто забыл в целом:

В старой доброй стране,
Там я жил, как во сне...

Он шутил, рассказывал анекдоты и охотно выслушивал искренне веселившие его вопросы Гью Лэма, который непрерывно удивлял его своей непроходимой наивностью. Гью Лэм был по профессии антрополог, даже, если говорить точнее, краниолог, который первый раз наблюдал глубинную Азию своими близорукими глазами, но эти глаза взирали сквозь большие круглые очки с такой предельной восхищенностью, с какой ученый погружается в неизвестную, но полную открытий область.

Генри Гифт и Гью Лэм представляли полную противоположность друг другу. Если Гью Лэм был высок, худ и походил на бегуна, которого измучили, но и привели в спортивную форму ежедневные испытания и тренировки, то Генри Гифт был среднего роста, похож на профсоюзного деятеля, чуть полного, но с достоинством носящего свое тяжелое тело, любящего говорить с аудиторией и способного рассмешить ее умелой шуткой или острым анекдотом, когда она устала.

Генри Гифт участвовал в последней войне как офицер инженерных войск; Гью Лэм никогда не слышал, как взрываются мины или пикирует штурмовик. Гифт был в Азии свой человек и мог бесконечно рассказывать о чем угодно: о веселых домах Сингапура, о мистических танцах острова Бали, о джунглях Бирмы, о тайных притонах Шанхая, — потому что он все это видел сам; Гью Лэм впервые попал на международное совещание антропологов в Иране и ехал оттуда по приглашению индийского ученого Гупта Раджана в его индийские края, куда-то под Аллахабад.

Генри Гифт взял его в машину компании в Кабуле, чтобы доехать с ним вместе до Пешавара; оттуда можно продолжать путь до Лахора на самолете или поездом.

Они очень быстро, без всяких приключений проделали путь до Джалалабада и переночевали в уютной, как нашел ее Гью Лэм, гостинице, на открытой площадке, где он восхищался лунным вечером и пейзажем. Миновав утром

длинные подъемы и спуски горных перевалов, они теперь ехали к Хайберу, встречая немногочисленные семьи кочевников и разговаривая обо всем виденном.

— Не вы строили эту дорогу? — спросил со своим обычным восторгом Гью Лэм.

Ему нравился его спутник, такой жизнерадостный и грубоватый, и он очень хотел доставить ему удовольствие, похвалить его работу. Но Гифт засмеялся и сказал:

— Нет, не я. Эта дорога существует давно. Не очень хорошая дорога. Если бы американцы строили ее, это была бы дорога!

— А в этой стране вообще мало дорог? — спросил Гью Лэм.

— Мало современных, но мы им сделаем. Люди тут хорошие, и надо им помочь. Похожи на наших индейцев, пока их не истребила цивилизация...

— Посмотрите, — воскликнул с восхищением Гью Лэм, — посмотрите, какой красивый афганец! Как он гордо смотрит, с каким достоинством, с каким видом завоевателя шагает этот нищий бедняк! Да, вы правы, это оригинальный народ. Вы знаете, нас вез Азис, такой смешной тип, что он мог рассмешить юмористический журнал. Он говорил нам, показывая самый обыкновенный мост на маленькой горной речонке: «Это второй мост в мире!» А? Мы не спросили, где первый. Мы спросили, откуда он это знает. Что он ответил нам, послушайте. Он сказал: «Мой дядя читает газеты». Это великолепно. Но если бы мы над ним посмеялись, он бы нас зарезал. Такой у него характер. Они не испорчены, как дети. У нас были две машины, увешанные амулетами, страховавшими от всех возможных несчастий. Перед одним песчаным перевалом мы увидели, что шоферы снимают с себя свои личные, охраняющие их амулеты и навешивают на машины. Что такое? Они говорят, что это очень плохой перевал и лучше пусть будут защищены машины, чем они. Так мы и проехали эти крутые повороты на песчаных ползучих скатах, и наши машины, украшенные всякими камешками, лентами, коробочками, проскочили благополучно. Шоферы с торжеством вернули оправдавшие доверие амулеты себе на шею.

Потом у меня был с одним афганцем такой разговор. Он сказал, что самая сильная страна в мире — Афганистан. Я не спорил, я спросил, почему он так думает. Он сказал: «На севере мы граничили с царской Россией. Царь

был очень сильный, с кем он только не воевал, но с Афганистаном никогда не воевал. Почему? Боялся. Теперь мы граничим с Советским Союзом. Советский Союз очень сильный. И Гитлера разбил, и японского царя разбил, такой сильный, а с Афганистаном никогда не воевал. Почему? Боялся. Это на севере. А на юге у нас англичане. А? Нам надоело их бить...» Подумайте!..

Оба засмеялись. Гифт стал напевать свое:

В старой доброй стране,
Там я жил, как во сне...

— Откуда вы взяли эту песенку? — спросил Гью Лэм.

— Вы знаете, я сам забыл. Когда так много ездешь, то одно впечатление вытесняет другое.

— Посмотрите, — почти закричал Гью Лэм, — какая красавица! Право, если ее приодеть, она будет просто великолепно. Она похожа на пантеру...

— Наверное, вы правы, она похожа на черную пантеру, — сказал, усмехнувшись и не глядя на проходившую женщину, Гифт, — потому что она никогда не моется, эта ваша красotka.

— Ну что вы! — сказал Гью Лэм. — Вы знаете, надо их учить, их надо учить, — договорил он с наивной уверенностью, — они все, наверное, неграмотны. А вся Азия, она вся неграмотна. Я еду в Индию. Она тоже неграмотна на девяносто процентов. Там англичане больше всего боялись школ, печатных станков. Мне рассказывал мой дядя, путешествовавший по Индии. И даже Библия была запрещена, поскольку она наводит на размышления, в ней говорится, что падают царства и можно свергать правительства. Англичане всегда хотели сохранить на Востоке порядки на уровне средневековья по меньшей мере. И это замечательно, что американцы взялись за просвещение Афганистана. Скажите: много ли американцев помогает просвещать эту интересную страну?

Гифт хлопнул его слегка по колену и весело сказал:

— Нас здесь хватает. Я встречал американцев, которые оказывают техническую помощь, работают по здравоохранению, организуют гражданскую авиацию, здесь понятия не имеют о метеорологической службе, пропагандируют новейшие способы ведения сельского хозяйства, организуют труд и изучают страну. Я познакомился за время моего пребывания в стране с археологами — здесь много

древних памятников,— с ботаниками, даже со специалистами по бабочкам.

— Как это хорошо! — воскликнул Гью Лэм.— Какие скалы! А эта башня! Так и кажется, что оттуда выйдет сам Тамерлан. Он, кажется, шел этим проходом.

Они ехали между скал, возвышавшихся на полкилометра над ними. Внизу в серой теснине шумел пенистый ручей. Было пасмурно от темных, неприветливых скал, петли дороги возносили их все выше и выше, и казалось, что этим подъемам и поворотам не будет конца.

Вдруг шофер остановил машину посреди ущелья.

— Что случилось? — спросил Гью Лэм.

Гифт, ничего не спросив у шофера-афганца, который все равно не смог бы объяснить, так как не говорил по-английски, а Гифт знал по-афгански лишь несколько фраз, вылез, и за ним вылез и Гью Лэм. Гифт посмотрел вверх и увидел над собой на склоне крышу какого-то строения и антенну. Там помещались пост и почта. Он знал это место уже давно.

— Это граница,— сказал он.— Можно ехать. Нам не нужно никаких формальностей... Они нас просто не касаются. Поехали! — сказал он афганцу.

Но шофер-афганец сидел неподвижно. Тогда Гью Лэм воскликнул:

— Нет, нет, этого нельзя делать! Надо уважать порядки. Мы, американцы, всегда уважаем чужие законы. Я прошу вас исполнить все формальности. Это даже интересно.

— Но вы видите, что тут, на дороге, никого нет. Не лезть же нам в самом деле туда! — Гифт показал на конец крыши, видневшийся из-за скал, куда вела крутая тропинка.

— Поищем кого-нибудь внизу,— сказал Гью Лэм и решительно пошел по дороге; она была пустынна и извивалась между стен ущелья, над которыми поднимались отдельные уступы, и на них видны были старые сторожевые башни, сохранившие до сих пор воинственный вид.

За выступавшей на дорогу скалой они остановились. В тени скалы стояла обыкновенная железная кровать без матраца, но с толстой, посеревшей от пыли веревочной сеткой. На этой кровати, скрестив ноги по-восточному, сидел пожилой человек, одетый, как обыкновенный афганец. Тюрбан его был плотно обвязан, широчайшие шальвары были чистые и лежали в живописных складках, жилетка и куртка были из хорошей материи. Перед ним стояли два

венских стула с полукруглыми спинками и с продырявленным дном. В одном продырявленном сиденье уютно стоял небольшой белый чайник с нарисованными на нем красными розами, в другом — широкая пиала.

Афганец, сидевший на кровати, наклонился к чайнику, налил в пиалу и тихо прихлебывал его в жаркой тишине ущелья. Казалось, никто не может отвлечь его от раздумья, в которое он был погружен.

Когда перед ним появились Гю Лэм и Гифт, афганец не изменил своей позы. Допив чай, он важным движением укрепил пиалу в продырявленном дне венского стула и ждал, как шах, вручения ему верительных грамот.

Он страшно понравился Гю Лэму своей уверенностью и древней надменностью.

— Что я вам говорил? — сказал он, торжествуя. — Извольте соблюдать формальности. Предъявите паспорта.

Они протянули сидевшему свои паспорта.

Афганец, не взглянув на них, взял паспорта и начал их перелистывать, ища то, что ему нужно. Он нашел кабульскую визу. Так же молча он, держа одной рукой паспорта, погрузил другую в море своих необъятных шальвар и долго искал там, пока не выловил в их глубине круглую печать на тонкой серебряной цепочке, прикрепленной к поясу. Выловив печать и жарко дохнув на нее, он пропечатал с силой паспорта, вынул из-за правого уха вечное перо, привычно расписался справа налево и отдал паспорта американцам.

После этого оторвавшего его от больших мыслей движения он снова наклонился к чайнику, как бы давая знать, что аудиенция окончена и они свободны.

Гю Лэм был в восторге. Гифт презрительно фыркал. Машина подъехала, и они сели.

— Но он же прав! Он глубоко прав в своей философской уединенности, — говорил Гю Лэм. — Может быть, он думает о новом возрождении ислама, об образовании мощной секты, а вы лезете к нему с бумажкой, которая ничего ему не говорит. Заметьте, он даже не взглянул на нас. И он отдал нам паспорта, как будто это были листья, упавшие с дерева ему на колени.

— Так кто был прав? — сказал злорадно Гифт. — И не нуждались мы в его печати. Проехали бы, и все. А если вы думаете, что он ушел весь в себя, сидит и ничего не замечает, — вы ошибаетесь. На Востоке человек может вас не заметить, но это не значит, что он ничего не знает про

вас. Он прекрасно осведомлен обо всем так, что вам могло бы показаться, что он читает даже ваши мысли на дне своей чашки. И, конечно, он презирает нас в зависимости от характера немного или много: мы же для него кафиры, от которых столько зла в жизни.

— Ну что вы! — сказал Гью Лэм. — Он добродушен, как старый дуб. Он гостеприимен и мудр. Я хочу сохранить его в воспоминаниях таким. И когда буду рассказывать дома Энн и моим девочкам о своем путешествии, я опишу его именно таким. Но посмотрите, что это такое?

Он выглянул из машины. В ущелье перед ними дорога была перегорожена бетонными серыми надолбами, колючая проволока обвивала пространство за надолбами. На скале стояла башня, из которой торчало дуло пулемета, смотревшее в сторону севера, а с афганской стороны такая же башня, венчавшая вершину утеса, направила пулемет на юг.

Машина стояла перед шлагбаумом, на асфальтированном шоссе, которое, начинаясь от надолб, как бы подчеркивало, что тут уже другая страна и другое отношение к действительности. У будки, достаточно широкой, чтобы в ней от солнца укрывалось до пяти человек, стояли люди, одетые по-разному. Двое были в военной форме — в высоких барашковых узких шапках с карабинами и патронташами на поясе, один в пестром одеяле, накинутом как плащ, и один с рукой на перевязи, в тюрбане и в серой куртке.

Шлагбаум открылся, машина въехала на землю Пакистана. Их встретил такой же пожилой человек, как и по ту сторону границы, но одет он был в строгий костюм, живо напоминающий о временах английского владычества. Его зеленый мундир, узкие панталоны, борода, расчесанная веером, и манеры дисциплинированного чиновника говорили, что они въехали в страну, где государственная машина много сложнее.

Отметив свой паспорт, путешественники выпили по чашке чая в прохладной большой комнате пропускного пункта и поехали дальше по ущелью, ошестинившемуся башенками дотов, колючей проволокой и участками, отмеченными узкими белыми столбиками.

— Это минные заграждения, — сказал Гифт.

— Зачем здесь столько укреплений? — спросил, недоумевая, Гью Лэм.

— Они против афганцев!

— Как? — сказал ученый. Он вспомнил сидевшего на кровати пожилого афганца, пьющего чай. — Против этого старика столько укреплений?

Ему представилась фантастическая картина вражды двух стариков — того, что пьет чай, сидя на кровати, и того, что пьет чай, сидя за столом в прохладной полутемной комнате. Он сказал об этом Гифту.

— Э, нет! — сказал Гифт. — Видите, эти края населены пуштунами, то есть такими же афганцами, какими населен Афганистан, но здесь они живут в северо-западной пограничной провинции. Англичане постоянно имели массу неприятностей с непокорными пуштунами. У пуштунов всегда было настроение никому не подчиняться, а уж если подчиниться, то лучше сговориться с королем в Кабуле, чем с вице-королем в Дели. Когда Индия разделилась на два доминиона, Бхарат и Пакистан, они голосовали за Бхарат, потому что в индийском обширном государстве они, несомненно, могли бы рассчитывать на автономию. Но к сложности положения, — у нас сейчас пятидесятый год, то есть это было только три года назад, — присоединилось то обстоятельство, что кашмирский раджа объявил себя независимым и этим спутал все карты. Пуштуны не могли теперь присоединиться к Индии, так как с ней больше не граничили. Тогда они заговорили о другом. Естественное тяготение к своим братьям в Афганистане направило их взоры в сторону севера, но пакистанское правительство не могло позволить, чтобы эта провинция отошла к повелителю Кабула. Так возникли неприязненные отношения, вызвавшие пограничные стычки и появление пулеметов в башнях, которые мы видели.

— Я все понял, кроме одного, — сказал Гью Лэм, — ведь делились по доброму желанию. Мусульмане хотели жить с мусульманами, индусы — с индусами. И по желанию каждое княжество могло стать самостоятельным, подобно Кашмиру. Почему же пакистанцы не дали пуштунам воссоединиться со своими братьями? Отдали бы Пуштунистан мирно. Пусть живут вместе все пуштуны. Англичан нет. Им никто больше не угрожает. Они родственный народ. Пусть соединятся с афганцами.

— Вы шутник, — сказал Гифт, цедя сквозь зубы свою песенку:

В старой доброй стране,
Там я жил, как во сне...

Вы шутник, — повторил он, — вы забыли одно обстоятельство, вернее — вы о нем ничего не знаете. Пограничная линия укреплений, построенная англичанами, идет на сотни километров. Она захватывает Кашмир и оканчивается далеко на западе. И железная дорога, которая перед вами, — военного порядка и сделана не вчера. Если вы отдадите Афганистану эту укрепленную линию, хотя бы часть ее, то Пакистан, как раньше Индия, будет беззащитен от нашествия с севера...

— Кого? Афганцев? Этих пастухов, сентиментальных и диких, похожих на библейских кочевников?

— Не афганцев. Более грозного соперника Англии, который не потерял надежды владеть этими местами.

— Кто же это? Иран? — спросил Гью Лэм.

— Ну что вы! Это Россия, царская Россия вчера и Советский Союз сегодня...

— Теперь вы шутник! — сказал Гью Лэм. — Знаете, что я вам скажу? Я не люблю войны. Может быть, моя профессия располагает к этому. Антропология, как некоторые говорят, является предысторией истории. Я изучаю времена, когда человечество жило во тьме веков, но оно уже в этой тьме ощутило шло к свету, к правильному пути; и когда оно шло по мирному пути, оно продвигалось вперед, а когда оно брало копьё войны, то уничтожало свои же собственные достижения. Таким образом, мы благодарны всему миру, что приносит мир, и терпеть не можем войн, которые уничтожают даже следы цивилизации. Народы должны жить в мире. Американский народ, к которому и вы имеете честь принадлежать, — мирный народ. У нас, к счастью, даже не было великих полководцев, покорявших целые страны. Один раз мы колотили друг друга, потому что нельзя было подчиниться грубой силе, закрывавшей нам путь вперед. А сейчас юг Америки живет в мире с севером. Значит, мы были правы, отстаивая мир. У нас нет культа военных идолов. Это первый признак делового мирного народа. Все мои друзья, как и я, стоим за мир. Война — это не для нас.

Гифт слушал в каком-то сладостном молчании жаркую речь Гью Лэма.

— Продолжайте, продолжайте, это очень интересно...

— Пожалуйста, — сказал Гью Лэм. — А что касается России, или, вернее, Советского Союза, то я не понимаю, зачем ему Индия? У этой страны такие великие пространства, совершенно неосвоенные, и после войны такие раз-

рушения, что искать ей новой войны — просто безумие. Если русские цари могли просто из жадности мечтать о богатствах Индии, хотя и они не сделали ни одной серьезной попытки, насколько я знаю, то Советский Союз, мне кажется, этой жадности обогащения иметь не может. Вся его мирная политика говорит об этом...

— Ну, хорошо, — сказал, улыбнувшись, Гифт, — мне интересна не Россия сегодня, мне интересен ваш общий подход. Вы видели, как кончился Афганистан и как начался Пакистан. Даже дорога изменилась. Как же можно отдать пуштунов, чтобы усилить Кабул? Какой-нибудь хитрец в Кабуле скажет: «Такой страны, как Пакистан, не было никогда. Это наши древние земли, начиная с Бабура и Ахмед-шаха. Бабур считал Пенджаб своим наследственным владением. Ахмед-шах Абдали владел Пенджабом, Кашмиром и Синдом. Вернем их себе». Я говорю это для примера. Чтобы противопоставить подобным замыслам преграду, и нужна сейчас эта укрепленная линия. Я сам против войн, но они необходимы, когда нужно защитить то, что вы называете передовой цивилизацией. Право, я знаю достаточно Азию, и должен вам сказать, что без европейцев и американцев сегодня это будет хаос, угрожающий европейским странам новыми Чингисханами и Тамерланами. В крайнем случае я соглашусь на то, чтобы эти азиаты лупили друг друга и в этих драках утратили ту силу, которую они могут обратить против передовой нашей культуры и свободного человечества...

— Неужели вы действительно так думаете? — сказал Гью Лэм. — Неужели вы предполагаете, что люди не могут жить без войны? Нет, нет, вы сами человек мирной культуры, вы строите дороги. Дороги — это пути просвещения и связи дружбы и взаимопонимания, взаимопомощи и сотрудничества. Это пути, которые не разъединяют народы, а соединяют их. Не так ли? Вы же не строите их, думая, что по ним пройдут танки и другие военные машины. Вы же строите дороги к аэродромам и не думаете, что по ним поедут не мирные пассажиры, а военные летчики, которые повезут бомбы, чтобы сбросить их на соседнюю страну. Вы же знаете, что у нас в Америке мы не хотим новой войны. Ну зачем мирному американцу оружие насилия, когда вместе с русскими и англичанами и другими народами мы вырвали это оружие из рук фашистов, нацистов? Не так ли? Конечно, после такой войны, когда все пережили невозможное напряжение, меняется и человек, в ней участ-

вовавший. Да, он хочет жить по-другому. И нужно жить по-другому, по-новому. Во время войны мы нашли у себя старые, негодные порядки, которые уже нельзя было терпеть. Это было наследство рутины. И мы изменились, мы поняли, что надо приносить высшие жертвы и стать лучше, чем мы есть. Вот вы же приехали в дикий Афганистан, чтобы способствовать его прогрессу. И у себя дома тоже надо хорошо проветрить собственную квартиру и выколотить мебель, на которую осела пыль войны. И даже, может быть, часть этой мебели выбросить в чулан или отправить на свалку. У меня есть привычка с юности вносить в записную книжку разные поразившие меня мысли выдающихся людей. Например... я сейчас вам покажу...

Он порылся в карманах, набитых картами, проспектами, газетами, и вытащил зеленую записную книжку малого формата, всю исписанную своеобразным прямым почерком, который с первого раза кажется простым и ясным, но при ближайшем ознакомлении оказывается очень неразборчивым.

— Я сейчас найду, — сказал Гью Лэм, — вот она, эта выписка из нашего Эмерсона, старика Эмерсона. Это его лекция «Молодой американец». Это наша золотая классика. Я люблю Эмерсона с юности. Вот что он говорил, послушайте: «Вам проповедуют только ходячие добродетели, учат, как добыть и сохранить собственность, воспитывают в вас чувство капиталистов... А вокруг сияют звезды, стоят леса и горы, живут звери и люди, и рождаются великие стремления нового строя жизни». Это говорил великий американец почти сто лет назад.

— Посмотрите в окно, — сказал Гифт.

— Что это такое? — воскликнул, закрывая записную книжку и пряча ее в карман, Гью Лэм. — Что это за доски набиты на скалы, и почему их так много, и они то внизу, то вверх?

— Это ответ на вашу речь, Гью Лэм. Это памятные доски о Столетней войне, которая велась здесь. Если бы мы вылезли из машины, вы бы прочли на этих досках, что тут погиб взвод, там батальон, там полк, там сержант, там офицер, там полковник, там генерал. Если бы мир походил на Хайберское ущелье, то он был бы увешан сверху донизу такими досками, на которых вы читали бы о бесконечных войнах, битвах и смертях в мировом масштабе. Но мир не Хайберский проход, где англичане воевали с афганцами так нудно и так безуспешно. Они запрещали им да-

же ходить по верхней дороге. А вон, видите, идет женщина-туземка, несет связку хвороста, и ей наплевать, что написано на этих досках. Она даже не знает, что она победительница в Столетней войне, и она крайне удивилась бы, если бы вы ей сказали про это, и между тем ее отец или дед, а может быть, и муж, сражались здесь всю жизнь, благословляя войну, которая дает им оружие, и добычу, и удовлетворение всех инстинктов. Без войны они были бы похожи на собственных ишаков, которые идут, куда их гонят.

Гью Лэм смотрел на памятные доски, мемориальные заметки прошлого, и ничего не отвечал. Они ехали некоторое время молча. Машина остановилась.

Гифт выглянул в окно и сказал, кивнув головой в сторону шофера:

— Он знает свое дело. Вылезем. Вам надо посмотреть на классический Хайберский перевал.

Они вышли из машины, чтобы немного размять ноги. Если бы шофер не остановился, то они не заметили бы, как проехали это место, настолько оно было плоским, и никаких типичных для перевала склонов, ведущих на юг и на север, здесь не было.

После краткой остановки на перевале весь дальнейший путь они уже не возвращались к теме войны. Для Гифта было ясно, что этот молодой ученый с чертовски узкой специальностью представляет уникальный характер, являющийся следствием квакерского воспитания и научных дисциплин, далеких от современности, и спорить с ним на тему войны не стоит, а завлечь его в область чистой политики так же неинтересно, как пробовать применить речи Линкольна на заседаниях объединенных штатов.

Но он нравился Гифту, как персонаж из детской книжки, который идет в лес и не боится, что его съест волк,— потому что это сказка и худо кончиться она не может. С другой стороны, он принимает мрачные картины жизни за раскрашенные рисунки, и ему от них не становится страшно. Гифт вспомнил, что где-то читал про одну девочку, которая шокировала свою мамашу, по-детски смеясь и ударяя в ладоши, радуясь калеке-нищему, уроду, покрытому язвами, имевшему чудовищно мрачный вид. Девочка хотела непременно с ним поиграть и никак не могла понять, что видит перед собой не игрушку, нарочно сделанную для ее забавы.

— А все-таки,— сказал Гью Лэм, как бы ища, чем кончить разговор о войне,— все народы хорошие: и шофер-афганец, который так наивно верил, что видит перед собой второй мост в мире; и этот пакистанский чиновник, который поил нас таким замечательным чаем; и англичане, которые все-таки построили эту дорогу, и мы по ней едем; и американцы, вступившие в войну, защищая человечество от фашизма; и русские, которые с таким бесстрашием сражались, перенося невероятные страдания,— все народы хорошие, что бы вы мне ни говорили!..

— А я ничего вам не говорил! — засмеялся Гифт.

Он теперь смотрел на Гью Лэма как на юродивого, как на неисправимого, безнадежного чудака. И ему захотелось попробовать его с другой стороны, узнать — есть ли граница этой ученой наивности или она действительно безгранична. И он сказал:

— Вам не приходилось иметь дело с восточными женщинами?

— Нет,— сказал Гью Лэм,— а вам?

— Мне приходилось, и должен вам сказать, что однажды я видел сразу столько красавиц, что их хватило бы на небольшой мусульманский рай.

— Что вы говорите? Вы попали тайком в какой-нибудь гарем? Это очень интересно, пожалуйста, расскажите.

— В гарем попасть и легко и трудно. Есть гаремы, где вы за деньги получите все, что захотите, но есть гаремы, где вы в такой же смертельной опасности, как и путешественник прошлых лет... Нет, я видел красавиц целый караван, и каких красавиц!.. Если бы они были герлс, им был бы обеспечен успех в мировом турне.

Вы знаете, что столицей Карачи стал потому, что Лахор слишком близко к границе и полон воспоминаний о недавней жестокой резне. Таким образом, пришлось столицей сделать город, который не имеет славных традиций, но является большим портом. Моряки иностранных пароходов и другие европейцы, которых в Карачи несколько тысяч, любят развлекаться на европейский манер. Меня даже возница тонги — это их типичный городской экипаж — спрашивал, не хочу ли я познакомиться с веселыми девушками. Он знает их сколько угодно.

Однажды один почтенный деятель, не духовного звания, полный негодования, предложил обдумать закон, запрещающий проституцию. К нему присоединилось еще

несколько членов парламента. Представляете, какой переполох возник в легкомысленном мире красоток! Они выбрали делегацию, которая должна была посетить этих членов парламента и принести им петицию.

— Как же они это сделали?

— Они разделились, самые красивые, конечно, из них, в самые лучшие наряды, сели на отборных верблюдах, которые были украшены коврами, лентами, цветами, султанами, помпонами, и весь этот караван, за которым шли толпы любопытных, с медленностью карнавального шествия двинулся по улицам.

Они вручили свою петицию, написанную на пергаменте изумительным каллиграфом и заключенную в переплет, покрытый вязью тонких узоров.

— Ну что они могли написать?! — воскликнул Гью Лэм.

— Это, конечно, писали не они, — ответил Гифт.

— А кто? Может быть, вы написали им этот текст?

— Он был так хорош, что я согласился бы быть его автором, но это писал человек — большой любитель этих гурий, тонкий стилист и знаток истории.

— Вы его знаете, этого человека?

— Да, знаю, но он просил, чтобы его имя не стояло под текстом. Он имеет в обществе определенное положение, и был бы большой скандал, если бы его участие в этой истории было разоблачено.

— Он имел какую-нибудь выгоду? Ему заплатили? Вы простите, что я так откровенно спрашиваю. Если нельзя ответить, не отвечайте. Но мне страшно интересно.

— Нет, ему не нужны были деньги. Он в них не нуждался. Но зато он вкушал позже поистине райские радости. У этих гурий хорошая память и добрые сердца...

— Ну, продолжайте, пожалуйста. Что же было в этой петиции?

— Вначале говорилось о том, что они принадлежат к самой древней в мире профессии, профессии столь трудной и ответственной, что ее можно причислить к тем видам производства, где рабочим выдается молоко и усиленное питание. Никто не может обвинить их в безбожии.

Когда великий халиф Омар ибн аль Хаттаб вошел в Египет и войско его, уставшее от походов и битв в пустыне, вкушало свой отдых в садах прекрасной Александ-

рии, их сестры того времени сделали все возможное, чтобы дать усталым воинам почувствовать заслуженные ими покой и ласку.

Но великому халифу сказали, что его войско начинает впадать в слабости, которые лишат его прежнего мужества и сделают неспособным к дальнейшим подвигам. Разгневанный халиф отдал приказ об изгнании всех этих женщин из пределов Александрии.

Женщины обратились к святому, сопровождавшему войско, — такому щиту справедливости, который был вне всяких подозрений. Этот святой выслушал дрожащих в отчаянии женщин и сказал после раздумья: «Правы вы, халиф не прав».

— Что же дальше? — спросил Гью Лэм, и его узкое загорелое лицо с большими круглыми очками по-мальчишески светилось любопытством.

— Халиф имел обыкновение каждый день делать прогулку верхом в окрестностях Александрии. Он ехал не спеша лесом финиковых пальм, которые, как известно, имеют только пышные кроны, и поэтому все, что делается внизу, далеко видно. Халиф увидел перед собой женщину и мужчину, которые позволили себе совершенно открыто то, за что он велел изгнать всех александрийских красоток. Он выхватил меч, чтобы одним ударом разрубить грешников, забывших все и не чувствовавших угрожающей им опасности.

Но когда Омар склонился с седла, то он узнал в мужчине того святого своей армии, мудрость которого была неоспорима. Как говорит предание, халиф некоторое время пребывал в молчаливом раздумье. Свита его тоже. А между тем жизнь продолжалась. Потом халиф слез с коня, снял с себя плащ и накрыл им лежащих, влез на коня и удалился в свой дворец, где в тот же день отдал приказ вернуть всех изгнанных женщин обратно в Александрию.

И вот женщины писали в петиции: если вы считаете себя мудрее великого халифа Омара и святее того святого его армии — запретите нас и прогоните!

— Великолепно, великолепно! — кричал Гью Лэм, хохоча совершенно по-мальчишески. — Вот видите, и в вашем рассказе мир победил войну. Неужели вправду так было?

— Я сам был свидетелем этого события. После этого разговоры прекратились, и все остались довольны...

Машина мчалась все ближе к Пешавару, и, продолжая разговаривать и смеяться, Гью Лэм расспрашивал Гифта о все новых и новых подробностях жизни в Карачи и в Лахоре и наконец, когда уже показались пешаварские пригороды, спросил:

— А как мы доберемся до Лахора?

— Я думаю, что завтра мы улетим или уедем поездом,— сказал Гифт.— Не беспокойтесь, я все тут знаю.

— Вы так много и замечательно рассказывали, как настоящий бог дорог, но вы не сказали, зачем вы едете в Лахор.

— Я получил небольшой отпуск и в Лахоре встречу одного своего друга; я думаю, он уже приехал, мы с ним уговорились провести отпуск, организовав интересную туристскую поездку, где-нибудь в Кашмире или около него, в снежных горах, где можно вволю дышать горным воздухом и пить горное солнце.

— Я вам завидую, Гифт! Давайте встретимся в Лахоре...

— Давайте...

Так, без приключений, они въехали в пыльный, жаркий Пешавар, где провели остаток дня, отдыхая, и рано легли спать, так как самолет уходил на рассвете.

Глава пятая

Салиха Султан не только вела все хозяйство большого дома Аюба Хуссейна, не только знала, как принять гостей и с кем и как поговорить или устроить ту или иную встречу, но и обладала широким умом, который давал ей преимущество над женами купцов и чиновников, составлявшими ее общество.

Если бы она к тому же имела возможность самостоятельно выступать как деятель женского движения, она была бы одной из самых популярных пакистанских женских руководительниц, и кто знает, до каких размеров дошло бы ее влияние, если бы дать полный простор ее честолюбию и сильной воле. Но Аюб Хуссейн твердо условился с ней, что она никогда не будет принимать активного участия в женском движении и ограничится пожертвованиями с благотворительной целью.

Она прекрасно понимала свою любимую племянницу Нигяр, мать которой умерла во время войны, а отец жил

в своем имении за Равальпинди, предоставив Нигяр заботам доброй тетушки в Лахоре. Нигяр кончала Лахорский университет, и в доме Аюба Хуссейна ей жилось так спокойно, что ее отец мог весь досуг отдавать разным земельческим занятиям, не беспокоясь о жизни Нигяр.

Салиха Султан и Аюб Хуссейн имели двух взрослых дочерей, которых благополучно выдали замуж: одну за сына купца из Синда, куда она и переехала, а другую за адвоката. В настоящее время она жила на курорте в Марро и дышала горным свежим воздухом, в то время как в Лахоре уже начинали задыхаться от жары.

Салиха Султан все любила делать по-своему, и для этого у нее был штат многочисленной прислуги, которая была предана ей и держала ее в курсе всех новостей. А сведения из кухни иногда значительнее тех, что печатаются в газете.

Поэтому, зная все и ничему не удивляясь, она знала также, что Нигяр — добрая, тихая, женственная, с глазами лани и таким тонким рисунком лица, что казалось — она сошла со старинной миниатюры и сам Бекхзад¹ работал над ее подбородком и ртом, — ее любимая Нигяр ходит по кварталам, где живут бедные люди, и помогает им, ведет, как она говорит, просветительную работу, над которой посмеивается ее другая племянница, та самая задумчивая подруга Нигяр, что спрашивала гостя — надменного американца — про Белое Чудо.

Эту племянницу Салиха Султан и хотела выдать замуж за молодого ученого, работавшего в Лахорском медицинском колледже. Купить ей обновку было всегда заботой Салихи Султан, больше всего любившей одарять подарками тех, кто ей близок или на кого падала тень ее щедрости и благорасположения.

Но были у доброй и сильной Салихи Султан и свои странности. Она не переносила самолета, не любила автомобиля, она была верна старине. Все, что действовало на нее раздражающим образом, она отодвигала от себя подальше. Так, ей не нравилось радио, потому что оно приносило дурные вести со всех сторон света, или распевало глупые песенки, или занималось всяким рекламным вздором. Оно могло принести и такое горе, что вся страна закричала бы от страха.

¹ Б е к х з а д — выдающийся мастер-миниатюрист XV—XVI веков.

Ей не нравилось американское и европейское кино, потому что все, что происходило там на экране, было ей чуждо и не вызывало никаких сердечных ощущений. А Салиха Султан любила и поплакать втихомолку, и посмеяться так, чтобы надолго остался в памяти этот смех.

Вот почему она ходила на индийские фильмы, где говорили на урду, где было много понятной музыки и песен, где под страстные мелодии страдали, любили и побеждали люди, которых она понимала и которым сочувствовала.

Вот почему, когда она хотела ехать на базар, шум и гам которого всегда развлекали ее, и посмотреть в лавках, что там привезено нового, она не брала автомобиля, а выбирала хорошую тонгу и вместе с неизменной Нигяр отправлялась по городу.

В лавках торговали, как в старину, всегда можно было пошутить с продавцом, всласть насмотреться на материи и украшения, поторговаться, как простой женщине, а не как жене купца, известного всему Лахору.

Нигяр, сопровождавшая Салиху Султан, чувствовала себя героиней старого романа. Сидя на тонге, остановившейся перед магазином, они, полузакрывшись покрывалами от солнца, выбирали сари, покрывала, платки, браслеты, не сходя с легкого, подвижного экипажа. Возница дремал, иногда приоткрывая полусонный глаз, чтобы взглянуть на лошадь. Но лошадь стояла смирно, и он знал, что выбирать будут долго и можно не беспокоиться: ему заплатят за труды хорошо.

Нигяр надоедали длинные разговоры тетюшки с продавцами, которые также любили этот старинный порядок долгого рассматривания и торговли. Он делал их труд серьезным, и, кроме того, можно было говорить не только о товарах.

Совсем было хорошо, когда покупатель заходил в самую лавку, располагался на подушках, услужливо предложенных ему, и, попивая мелкими глотками желтый прозрачный чай, не спеша беседовал и одновременно смотрел товары. Но пригласить женщину было нельзя: женщине не полагалось сидеть в лавке на подушках и пить с мужчинами чай. Салиха Султан, сидя на тонге, прикрывая лицо тончайшим белым покрывалом, не торопясь разговаривала с приказчиками, и это им нравилось. Они охотно приносили из глубины лавки все новые и новые товары. Развертывая на колене сари, приказчик говорил о его мягкости и цвете, и Салиха Султан, щупая ткань, поднимала ее

к глазам, отодвигала от себя, наслаждаясь переливами материи. Она требовала, чтобы Нигяр принимала в этом участие. Но когда Нигяр наклонилась посмотреть принесенную шаль, к тонге подошел мальчик, одетый в полосатую рубашку и короткие штаны, и начал хвалить лошадь, говоря, что такой красивой лошади он не встречал еще в Лахоре.

Приоткрыв один глаз, полусонный возница слушал это восхваление своей лошади, которая и в самом деле была красивой, здоровой кобылой. В гриву ее были вплетены ленты, а между ушами утвержден такой великолепной красоты султан, что казался цветком, распустившимся только на рассвете. Когда она встряхивала гривой, звенели все мелкие бубенчики, которые были вплетены в гриву вместе с разноцветными лентами.

Мальчик, с книжками под мышкой, с тонкими чистыми руками, весь какой-то подобранный и гибкий, как обезьяна, однако, не только отсыпал щедрой горстью похвалы лошади. Прерывая эти восхваления, он обращался к Нигяр. Он говорил нараспев, как будто читал стихи:

— Посмотрите на меня, дорогая Нигяр-бану, прекраснейшая из султанш Лахора, дайте взглянуть на вас Азламу, верному слуге.

Нигяр, услышав этот знакомый лукавый и звонкий голос, повернулась и посмотрела через плечо. Она засмеялась и сказала:

— Это ты, ученый Азлам? А говоришь, как будто занимаешься не науками, а стихами.

— Что сказать месяцу с гор, если он спустится с небес? Девушка рассмеялась, и в ту же минуту он протянул ей записку.

Салиха Султан была так занята новой пачкой сари, что не видела, как записка исчезла в руке Нигяр.

— Если месяц спустится? — продолжая игру, сказала Нигяр.

— Да, если он осветит Лахорскую долину и если свет его уже упал на меня. Ох, какая чудесная тонга! Ее сделали специально для солнца Пенджаба...

— Скажи, что я приду, — сказала она, быстро пробежав записку.

— Что там такое? — спросила Салиха Султан, но уже никого не было около тонги.

— Я разговаривала с одним хорошим мальчиком, который читал стихи о месяце, спускающемся с гор.

— Какая чепуха! Посмотри,— сказала Салиха Султан,— это покрывало лучше и идет больше к тому светлому сари, чем к темно-золотому. Приказчик ничего не понимает и хочет меня убедить, как будто я слепая.

Мальчик уже бежал по улице. И, смотря ему вслед, возница пробормотал в своем полусне:

— Какие глупости наговорил мальчишка! Чему их только учат в школе?..

Азлам был уже далеко. Ноги легко несли его по знакомым лахорским улицам. Он был сыном клерка, который всегда сопутствовал, как секретарь, богатому промышленнику, занимающемуся соляными разработками. Его отца ценили как способного работника. А сам Салим Багадур имел одну мечту: сделать своего мальчика образованным человеком. Склонности маленького Азлама к наукам были необыкновенны. Он учился в частной школе, был одним из первых учеников и дома проводил все время за книгами. Сестра отца заменяла ему мать, которую он потерял еще в раннем детстве.

Азлам нашел дом, где жил студент и начинающий писатель Амид Ахмет. Он вошел в комнату Амида Ахмета, как к себе. Его уже ждали. Трое мальчиков шумно боролись друг с другом, катаясь по старой кошме, закрывавшей пол, а в углу сидели два молодых человека, один из которых был хозяин комнаты — Амид Ахмет, а другой — тот самый месяц с гор, который, по словам Азлама, осветил Лахорскую долину.

Это был Фазлур, начинающий поэт, студент-горец, чьи родные места лежали далеко на севере, в долинах, над которыми вставали снежные пики великих вершин.

— Нигяр получила записку и будет здесь! — закричал еще с порога Азлам.

Тут же мальчики бросились на него, и потешная драка возобновилась с новой силой.

Фазлур и Амид Ахмет растащили их, тяжело дышащих от возбуждения.

— Ну, теперь тишина!

Они сели на низкую тахту, и Фазлур сказал:

— Азлам, Амид Ахмет хочет нас угостить; и знаешь, по какому случаю?

Азлам трижды ударил в ладоши:

— Я отгадал. Мы скоро будем гулять на чьей-то свадьбе.

— Фу,— укорил его Амид Ахмет,— ты говоришь, как

торговка с базара! Ты еще президент обществ будущих талантов или уже нужно переизбрание?

— Он, он президент! — закричали мальчики.

Абдулла, сын аптекаря, добавил:

— Конечно, я ничего бы не имел против, если бы меня выбрали вице-президентом.

— Молчи! — воскликнул большой и сильный Керим. — Дай послушать, что говорят взрослые.

— Я еще президент, — важно произнес Азлам. — Раз я основал этот клуб, я пожизненный президент.

Все рассмеялись.

— А, правда! — закричал Азлам. — Мальчики, друзья мои, сегодня двухлетие нашего общества. Как хорошо, что ты вспомнил об этом, Амид Ахмет!

— Я тоже помнил об этом, — тихим голосом сказал самый маленький мальчик, сын железнодорожного служащего, крошечный Нажмуддин, похожий на девочку маленьким и нежным лицом. — Но ведь нам нечем праздновать...

— Как нечем? — Амид Ахмет встал со своего места. — Мы сейчас выпьем чаю, поедим сластей и пойдем в музей. Сегодня будет прогулка в далекую древность: мы будем говорить о городе, самом нашем древнем городе — о Мохенджо-Даро. А сейчас, мальчики, идите за мной.

И он увел мальчиков из комнаты. Через несколько минут они появились снова, выступая гуськом, как в священной процессии, неся деревянные плоские блюда, на которых были разложены сушеные и засахаренные фрукты, финики, конфеты, пастила и печенье, стояли чашки и чайник, лежали бумажные салфетки. Все это было расставлено на столике посреди комнаты; мальчики чинно уселись прямо на кошму и стали угощаться этим неожиданным подношением. Пока они пили чай и истребляли сладости, Амид Ахмед рассказывал им о том, как нашли, как откопали древний город Мохенджо-Даро. Никто не знает, как назывался этот город, потому что Мохенджо-Даро не его имя. Это значит на языке синдхи — «курган мертвеца». Там был большой курган, и когда его раскопали, нашли доисторический город.

— Вы уже знаете, я вкратце говорил вам о нем, а теперь наш председатель приготовил материал, и он будет моим ассистентом. Я в музее покажу вещи, найденные в Мохенджо-Даро. В те далекие времена были города такие же, как Лахор...

— О, как Лахор! — вскричал почти испуганно Абдулла. — Значит, люди умели в то время строить такие же дома, как сейчас?

— Ну, не такие. Но этот город стоял уже тогда, когда в Европе не было ни одного такого же большого, как он, города. Это было пять тысяч лет назад.

— Да, — сказал важно Азлам, — я вам в музее тоже кое-что расскажу. Я основательно подготовился благодаря моему дорогому учителю, — добавил он, глядя руку Амида Ахмета. — Значит, наша история начинается не вчера. Мальчики, вы увидите, что наши далекие предки были не глупее нас. Они умели строить и делать прекрасные вещи. Вот вы увидите. А ты, Атеш Фазлур, — он обратился к молодому горцу, — пойдешь с нами?

— Нет, сейчас придет Нигяр-бану, и, если я уйду с вами, она меня не застанет, а я должен поговорить с ней по делу.

— Почему ты называешь его Атеш Фазлур? — спросил маленький Нажмуддин. — Это значит: Огонь Фазлур.

— Да. А разве он не огонь? Ты слышал, как он читает и поет стихи? Он горит, и в нем все горит. Но сейчас я могу назвать его по-другому. Он пришел к нам весной, и я назову его Бахар Фазлур.

— Пусть он будет Атеш Бахар Фазлур — огненной весной! — воскликнул увлекающийся Абдулла.

— Ну, это уже слишком! — засмеялся Фазлур.

— Атеш Фазлур, ты все знаешь, объясни: почему нам не дали подписаться под воззванием против войны? — сказал Азлам. — Мне очень грустно, что я не мог подписаться.

— Фазлур, — засмеялся Абдулла, — он даже спросил у одного англичанина, почему ему не дают расписаться, а тот... Скажи: как тот на тебя посмотрел?.. О, как он на него посмотрел! И я сказал, что ты спросил самого поджигателя войны об этом. Вот мы смеялись! Мне показалось, что англичанин пустит в ход свою палку.

— У него не было палки, — возразил Азлам. — Ты всегда врешь, Абдулла, ты любишь всегда врать...

— Ну, ударит тебя трубкой, трубка была у него в зубах.

Фазлур поднял руку.

— Детям подписываться еще рано. Это будет несерьезно, если будут подписывать дети. Не все такие, как ты, президент. Ваше дело — еще учиться.

— Но зато, когда мы вырастем, мы покажем всем, что мы таланты и не даром изучали жизнь и искусство...— проговорил нежным голоском Нажмуддин.

Это было так неожиданно и так не шли эти громкие слова к его крошечной фигурке, что новый взрыв смеха пронесся по комнате.

— И мы будем героями,— провозгласил молчаливый Керим, сжимая кулаки.— Эти руки пригодятся народу.

— Да, мы совершим подвиги в честь народа. Правда, Фазлур? — сказал Азлам.— Если бы ты знал, как я хочу совершить подвиг! Я столько читал, как совершают подвиги...

Фазлур потрепал его по плечу:

— Тебе всего четырнадцать лет, и ты уже столько знаешь. В твои годы я еще ходил с отцом на охоту, убивал горных козлов и раз даже видел, как убили снежного барса.

— Ну вот, значит, ты уже совершил подвиг в мои годы! — Азлам грустно покачал головой.

— Ты проверь сначала свои мускулы! — Керим ударил шутливо Азлама по спине.

Азлам ловким движением схватил его за голову и опрокинул на пол. Они боролись, катались по кошке, и когда подкатились к порогу, дверь открылась, и они чуть не сшибли с ног вошедшую Нигяр, остановившуюся на пороге и смотревшую на молодых людей и мальчиков большими глазами.

— Что здесь происходит? — спросила она, кивая головой Фазлуру и Амиду Ахмету и наклоняясь к мальчикам.

Азлам выпустил Керима и сел на кошке.

— Здесь происходит юбилей,— сказал он, широко обводя рукой подносы и чашки,— юбилей нашего научного общества.

— Какого общества? — спросила, подходя к тахте, Нигяр.

— Сегодня двухлетие со дня основания клуба юных будущих талантов и политических деятелей. Я, как его новый президент, приветствую вас, Нигяр-бану, и хочу угостить вас чаем.

— Господин президент от радости ведет себя сегодня, как школьник,— сказала, улыбаясь, Нигяр.— Что подумают члены общества об его авторитете?

— Физические упражнения входят так же в наши занятия, как и книги,— сказал Азлам, наливая Нигяр чаю и подвигая к ней подносы со сладостями.

— Какие же у вас успехи? — спросила Нигяр, когда, поздоровавшись с Фазлуром и Амидом, она стала пить чай и мальчики снова пришли в состояние покоя.

— У нас много успехов,— сказал Азлам.— Вся страна должна учиться, и мы здесь сегодня обсуждали судьбы древности. Мы пойдем в музей и будем изучать наше прошлое. Атеш Фазлур только что рассказывал нам о том, как он путешествовал.

— Кто это, Атеш Фазлур? — спросила Нигяр.

— Мы так прозвали нашего Фазлура,— сказал Азлам,— потому что он всегда так ярко и так зажигательно говорит. Он уже с детства был знаменитый охотник и даже охотился на снежного барса, а мы, несчастные, живем в ожидании подвига, и нам все время говорят, что мы еще маленькие.

— А чем занимаются маленькие в ожидании подвига? — спросила Нигяр, которой было очень приятно сидеть в такой дружеской компании.

Она знала молодых людей слишком хорошо, а мальчиков встречала не часто, но о существовании общества, где был председателем Азлам, она знала от Фазлура.

— Чем мы занимаемся? Мы много читаем по географии, по литературе, по политике.

— Что же знают будущие ученые?

— Будущие ученые изучают географические журналы, научные книги и знают, что Пакистан — богатая страна и бедная страна.

— Как это понимать, мальчик?

— Она богатая, потому что в ней много всяких богатств и в земле и в горах. Она могла бы кормить полмира, а между тем люди живут в ней бедно, потому что еще не все в том порядке, в каком должно быть...

— Ох вы! — сказала Нигяр, шутливо ударив Амиду Ахмета и Фазлура по рукам.— Это ваши лекции...

— Не знаю,— сказал Фазлур, смотря на нее с восхищением.— Они сами доходят, своим умом...

— А что вы знаете по литературе?

— Мы знаем стихи Икбала,— сказал Абдулла.

— Мы читаем Фаиза, Ахмада Фаиза,— добавил Нажмуддин.

— И Джафри,— сказал Керим.— Хорошо пишут, я все понимаю.

— Знаем книги Захура, знаем историю,— сказал Азлам.— Я даже читал рассказы Ходжары Масрур (веселой)

и Хадиджи Мастур (закрытой). Правда, я не все понял. Я люблю читать о героическом.

— Да, знаю, вы все хотите подвига,— сказала Нигяр.

— Да! — Глаза Азлама засверкали. Он поднялся, легкий, как клинок фехтовальщика.— Я хочу, чтобы Фазлур взял меня в горы. Там иногда воюют по-настоящему. Я знаю, что была война в Кашмире и кончилась. А я не успел в ней участвовать...

— Что же ты? Хотел подписать воззвание против войны, а сам жалеешь, что нет войны? — сказал Фазлур.

— Я говорю о войне за правду,— ответил мальчик.— Я хочу революционного подвига,— да, да, не смейтесь! Я знаю и о второй мировой войне, и о фашизме, и обо всем я знаю. Я читал Ленина, да, и даже заучил наизусть. Слушайте: «У европейского сознательного рабочего уже есть азиатские товарищи, и число этих товарищей будет расти не по дням, а по часам». Это он писал про вас и про меня. Мы — эти товарищи.

— Ну,— сказал Амид Ахмет,— ученый должен знать и комментарий к тексту. Это сказано о бомбейских рабочих по поводу их стачки в тысяча девятьсот восьмом году.

— Ах,— сказал Азлам,— точно я этого не знаю! Но Ленин писал не для одних бомбейских рабочих, а для всех нас, и не для одного года, а для всех времен.

— Он удивителен! — воскликнула Нигяр-бану.— Это просто маленькие подпольщики. Куда я попала? Куда вы их ведете?

— Пока в музей!

— Зачем? Неужели они не были в музее? — удивилась Нигяр.

— Они посещают музей не так, как все. Мы сначала серьезно готовимся по какой-нибудь теме, а потом уже идем, причем я или он,— сказал Амид Ахмет, указывая на Фазлура,— являемся ответственными руководителями экскурсии, а кто-нибудь из них ассистентом.

— Что же вы будете смотреть сегодня? — спросила Нигяр.

— Сегодня у нас лекция по древней истории нашей родины,— сказал Азлам.— Наш руководитель — Амид Ахмет, а я его ассистент. Мы будем смотреть вещи, откопанные в Мохенджо-Даро. Вы знаете, что когда в Европе пять тысяч лет назад жили дикари, не знавшие водопровода, он был уже в наших городах! Нашли трубы, честное

слово, Нигяр-бану! А Америки еще не было на свете, как меня, когда был жив дедушка...

— Я бы с удовольствием пошла с вами, — сказала Нигяр. — Когда еще такие ученые мужи будут объяснять мне древнюю историю! Но я должна остаться с Фазлуром. Я его давно не видела, и у меня есть к нему дела. Поэтому я пойду с вами в другой раз.

— Мальчишки, — сказал Амид Ахмет, — собирайтесь. Нам пора. Не останется времени все хорошенько рассмотреть. А мы должны провести экскурсию не торопясь.

Они вскочили на ноги, такие азартные и горластые, что, когда попрощались и ушли, в комнате наступила тишина, как будто в ней никого не осталось.

— Все-таки Азлам из них самый забавный, — сказала Нигяр. — Если бы ты видел, как он появился сегодня передо мной. Мы с тетей ездили в лавки покупать подарки. Ее другая племянница, ты ее знаешь, выходит замуж. Мы выбирали все эти сари и покрывала прямо с тонги, и вдруг появляется он и говорит почти стихами. Это твое влияние.

— Не хватает, чтобы он начал говорить мисры! — воскликнул Фазлур и громко прочел нараспев:

Отдам имущество и жизнь, всю кровь свою сейчас,
Но дайте мне взглянуть в глаза любимой только раз!

Это не мое. Это народное. Но я могу это повторить, как будто писал я. Особенно, когда не вижу долго тебя.

Если лицо твое — книга, а губы — страницы,
Сердцем читая, готов я над ними склониться.

— Ох! — сказала Нигяр. — Мы с тобой старые и верные друзья, и нашу дружбу никто не может разрушить, кроме нас самих. Но куда исчез влюбленный мой друг и так долго не давал о себе вестей? Ты думаешь, я не имею сердца, а в сердце не бывает страха за людей, к которым оно привязано?

— Разве я так долго отсутствовал? — спросил Фазлур. Ему было приятно видеть волнение в лице Нигяр, которое она не могла скрыть. — Что же было без меня?

Она рассказала ему городские новости, куда кто разъехался на каникулы из университета, потом рассказала ему о приеме в доме Аюба Хуссейна известного путешественника-американца.

— Как же он тебе понравился? — спросил Фазлур.

— Ты знаешь, я его не могла понять. Скажу только,

что люди, любящие природу, не такие. В его словах неискренность. Может быть, он хотел прикрыть истинные чувства показными фразами, чтобы не выглядеть смешным. Европейцы и американцы боятся больше всего быть смешными. Этот американец собирается в твои края, на север.

— Их много бродит в тех краях, и разных, очень разных. Я бы не хотел иметь с ними дела. С тех пор как возникла кашмирская проблема, они слетелись, как мухи на мед. А я тоже путешествовал, но иначе, чем все эти прославленные туристы.

— Где же ты был? — спросила Нигяр. — Так далеко, что не мог дать о себе знать и прислать хоть самую маленькую весточку?

— Ты знаешь, не мог. Я вел жизнь странствующего дервиша. Мы начинали свой путь с рассвета и ложились спать, когда наступала темнота. Конечно, мы сами выбирали маршрут. Природа перед нами не скрывала своих тайн. Когда первые птицы расправляли свои перья и мы видели, как проступают в утреннем тумане ветви старых тамариндов, мы уже были в пути. Мы шли по горным тропинкам, где кусты дикого шиповника спускались в обрывы, откуда доносился голос реки; мы шли по равнинам, где солнце жгло нас и пыль дорог стояла облаками, в которых исчезали машины, буйволы и люди. Мы были в деревнях и видели жизнь такую, какая она есть. Мы радовались деревьям и ручьям, небу и звездам, которые для нас вели свои хороводы на синих полянах. Мы не могли не печалиться при виде того, как живут люди. Милая Нигяр, мы спустились с гор, были у моря — и вот я в Лахоре. Видишь, мы немало прошли по нашей стране.

Как прекрасна земля, как хорошо вечером услышать издали песню у пруда, где собирается молодежь! Как хороши голоса детей, которые далеко разносятся под сводами старых деревьев, стоящих, как патриархи, охраняя наши деревни! Как хороши наши большие города с их бесчисленными огнями, которые вечером похожи на опрокинутое небо! Но знаешь, мой друг Нигяр, эти большие города, полные огней и шума, как корабли, окружены тихим и темным океаном нищих полей.

Я много передумал за время своего странствия. Народ живет в другом веке, чем мы, интеллигенция. Там такой быт и нравы, что, чем больше их наблюдаешь, тем яростнее ширится чувство негодования и возмущения. Люди существуют, но не живут. Представь себе человека, который

никогда не бывает сыт; ему надо накормить большую семью, и он никогда не может ее накормить; он работает день и ночь круглый год и не имеет денег на новую одежду, не имеет жилья, которое он мог бы назвать своим домом. Он обогащает своих хозяев и ничего не получает, кроме жалкого пропитания, держащего его на краю голодной смерти. Если он умирает, его смерть, как смерть падающего с дерева листа, так же незаметна никому. Он знает все ремесла, — но все, что он делает, уходит в руки других; он выращивает рис и пшеницу — все это отбирается у него; он выращивает джут и хлопок — и на его трудах богатеют другие. Он делает все, чтобы жизнь была лучше, — но другие получают от этого все выгоды, а он умирает на голой земле, истощив свои силы. Это наш крестьянин. Глиняные мазанки, откуда смотрят глаза всех болезней; туберкулезные юноши, малярийные старики, дети, у которых глаза закрыты серым туманом трахомы; соломенные хижины, где хозяйствует горе; умирающие на улицах городов дети, старики и нищие, беженцы, до сих пор не могущие понять, что с ними случилось и почему кровавая буря пронеслась над их головами!..

Сколько горя, как все не устроено! Ты знаешь, я был ночным сторожем. Да, в одном месте мы встретили ночью человека, который падал от усталости. Этот человек очень нуждался. Чтобы не попасть, как муха, в паутину ростовщика, он пошел к своему помещику и за долг должен был сторожить его владения ночью, пока не вернет долга. А днем он работал в саду, который сторожил ночью. Он давно уже не знал, что значит сон. Я уговорил его поспать. И пока он спал целую неделю, я сторожил сад помещика. Но я был рад, что этот человек выспался, может быть, первый раз за всю свою жизнь.

Я видел, как управляющий ударом ноги свалил на землю крестьянина, робко умолявшего его о сложении недоимки. Я хотел вступиться, но крестьянин просил меня не делать этого, так как тогда управляющий его убьет. Так было день за днем.

Я видел человека, сидящего у дороги как раз на полпути между городом и деревней. Он ушел от помещика, кулака, сельского ростовщика. Его увел в город вербовщик, и вот в городе он попал в руки вербовщика и городского ростовщика. Он ушел из деревни в город, а из города в деревню, — как ему вернуться? Средний доход крестьянина — тридцать рупий в год. Он испугался, он в от-

чаянии сел и ждал. Чего? Он не знал, он ждал утра: а что принесет утро? Мы тоже сидели с ним и ждали утра, чтобы продолжать путь.

— А мы путешествовали, как богачи,— Фазлур горько усмехнулся.— Нигяр, мы путешествовали, как ханы, все было к нашим услугам: бархат ночного неба, атлас луговой травы, шелк полевой тропинки, пир птичьих песен и вина всех ручьев. Каждую ночь я вспоминал тебя. Когда мне было хорошо, я жалел, что тебя нет со мной, когда мне было плохо, я радовался, что тебя это не касается.

— Я жалею об одном,— сказала Нигяр,— что я не была с тобой. Я тоже могла бы быть ночным сторожем или могла бы помочь больным женщинам и детям.

— Почему ты не спрашиваешь, с кем я странствовал?

— Потому что по твоему рассказу я вижу, что это была не женщина. Или же такая, которая оставляет сердце спокойным. Я понимаю, что не со своей же старой нянькой ты странствовал, и не с мамашей, и не с сестрой, которой у тебя нет...

— О, я — сын бедного старого охотника, студент Лахорского университета, работающий еще иногда для радио, пишущий стихи, песенки и рассказы, участник движения за мир, поставивший свою подпись против всякой войны, и атомной в особенности,— получил счастье ухаживать за человеком, перед которым я чувствовал себя таким маленьким, как Азлам!

— Говори дальше.— Нигяр сидела неподвижно, сжав на коленях свои тонкие пальцы, на которых сегодня не было ни одного кольца.— Я постараюсь угадать, кто это. Если я только знаю...

— Ты хорошо знаешь... В пути мой спутник сказал раз, когда я спрашивал о смысле пути: «Копатели колодцев проводят воду куда хотят, плотник придает любую форму дереву, мастер самострелов натягивает по желанию тетиву, а мудрый человек вырабатывает, совершенствует себя. Так говорил древний мудрец, но это действительно и сегодня. Мы должны выработать себя...» Он еще говорил: «Наш народ не лучше, не хуже другого. И нас хотят заставить ненавидеть других, а мы не хотим. Мы должны заботиться о хлебе, а не о пушках. Мы должны заботиться о мире, а не о войне. От мира зависит наше собственное счастье и будущее нашей страны». Он еще говорил: «Смотри и запоминай. И никогда не уходи от народа. И ничего не бойся. И не думай, что наша родина, наша родная стра-

на печальна. Она прекрасна. В ней живет добрый, смелый народ. Он копит силы и верит в будущее. Вместе с ним верь и ты». Я был счастлив поправить на нем одеяло в холодную ночь, чтобы он не простудился, когда мы ночевали у дороги.

— Но все-таки скажи, кто был твоим спутником. Я начинаю ревновать. Ты так говоришь о нем. Не утомляй меня ревностью.

Фазлур налил себе чашку холодного чая и выпил ее сразу.

— Я люблю, когда ты меня ревнуешь, но я не буду терзать твое любопытство... Ты сейчас отгадаешь... Он сказал мне: «Посмотри, как живут люди. Раз нам грозит преследование и надо искать убежище, пойдем к народу, — он лучшее убежище, потому что он породил нас... Будем с ним и укрепим себя для борьбы через его силу...» И мы пришли. И он просил никому об этом не говорить. Я был связан честным словом, дорогая Нигяр...

— Как? Это был Ариф Захур? Ни о ком другом ты бы так не говорил.

— Да, это был наш любимый и славный писатель Ариф Захур.

— Не может быть! — воскликнула Нигяр с такой тревогой, что Фазлур оглянулся по сторонам.

Но комната оставалась такой, какой была. И никто не заглядывал с улицы в окно. И дверь на террасу была закрыта. Только шум города слышался издали, как вестер, пробегающий по лесу.

— Что с тобой? — Фазлур протянул к ней руки, боясь, что ей станет сейчас дурно.

Но она справилась с волнением и спросила, наклонившись к нему:

— Он в Лахоре?

— Что с тобой, дорогая Нигяр? — повторил, сам пугаясь своего голоса, Фазлур. — Ты так побледнела!

— Когда же ты пришел?

— Вчера. Что случилось?

— Ариф Захур погиб. И ты вместе с ним.

— Почему?

Нигяр встала, быстро подошла к двери, открыла ее, оглядела террасу и, вернувшись, сказала, глядя в упор на Фазлура:

— Слушай, его арестуют, как только он появится. Отдан приказ немедленно схватить его. Где он? Я была уве-

рена, что он в безопасности. Ведь его предупредили, чтобы он на некоторое время исчез из Лахора. Я была уверена, что он далеко, и поэтому не придавала угрозе значения. Но тогда дело было только в угрозе. Сейчас есть приказ, и они его выполнят. Ты знаешь этих людей. Они ни перед чем не остановятся. Где он?

— Его еще нет в Лахоре,— сказал Фазлур совсем другим голосом, серьезным и суровым.

Его первое волнение прошло. В нем просыпался горец со всей подозрительностью и осторожностью горца.

— Его еще нет в Лахоре! О валлахи!¹ — сказала Нигяр.— Хорошо, что его нет в Лахоре.

— Но завтра он будет обязательно в Лахоре...

— Ему нельзя входить в город.

— Откуда ты знаешь о том, что отдан приказ?

— Я не могу тебе сказать. Я даже не знаю, на каком основании этот приказ. Но это правда, клянусь тебе! Я не могу сказать больше ничего. Это тайна.

Фазлур пожевал губами, как будто хотел выплюнуть чесночную корочку.

— Англичане оставили нам в наследство замечательный закон о безопасности. По этому закону начальник полиции может арестовать кого угодно, стоит ему написать простую записку. А раз человек арестован, он уже не может ни жаловаться, ни требовать объяснений, он даже может получить пожизненное тюремное заключение без предъявления обвинения.

— Что же мы будем делать? — сказала тихо Нигяр. В ее больших глазах стояли слезы.

— Сейчас мы будем думать, как на джирге², — сказал Фазлур.

Он возвращался в то спокойное состояние, когда мог обдумывать положение без волнения, ослепляющего сознание.

Фазлур заговорил как бы сам с собой:

— Мы расстались с ним, потому что он пошел к друзьям. У него много друзей всюду, и он хорошо был укрыт в пути. Он бы не пошел в Лахор, но получил известие, что его мать тяжело больна. Правда это или тут есть какой-то обман?

¹ О валлахи — восклицание изумления, как наше «боже мой».

² Джирга — общее собрание рода или племени в горах, где имеют право голоса и женщины.

— Правда, она очень больна, и я сама справлялась о ее здоровье. Я посылала Азлама с запиской, ей передавали фрукты и лекарства. Тут нет обмана. Она почти умирает...

— Узнав о болезни, Ариф Захур сказал: «Мы должны быть в Лахоре. Я хочу видеть мать в ее, по-видимому, последние дни. Она давно и тяжело болеет». Вот почему мы пришли, но я опередил его.

— Он не должен возвращаться домой. Его схватят, потому что за домом всегда наблюдение. Я это точно знаю,— сказала Нигяр.— И сама я не ходила, чтобы не оставить нити для шпиона. Но сейчас они не знают, что он в Лахоре. Они думают, что он скрывается где-то в горах. У нас есть немного времени...

— Мы не сможем уговорить его. Ты знаешь, какой это человек. Это наш лучший писатель, человек глубокого ума, большого сердца, борец за народ; все, кто знает его, любят его преданной и чистой любовью. Это наш Ариф Захур. Его любят и в Индии.

В чем же состоит его преступление? Оно состоит в том, что он слишком любит свой народ и не хочет, чтобы его использовали иноземные поджигатели войны как пушечное мясо. И второе его страшное преступление, еще страшнее первого,— он говорит правду в своих книгах. Да, за это его нужно немедленно схватить, пока не поздно.

Ты знаешь, он сказал мне в дороге: «Один советский народный поэт замечательно написал о себе. Эти слова я охотно беру эпиграфом к собственному творчеству. Вот они, эти слова: «Кинжал моего стиха до смерти моей не покроется ржавчиной, ибо я точу его... Я точу его на черном камне моей ненависти к прошлому и на красном камне любви к сегодняшнему...»

— Что же мы будем делать? Если бы он был потомок Магомета, его не посмели бы арестовать.

Нигяр, несмотря на слезы в глазах, слабо улыбнулась.

— По нынешнему времени арестовали бы и тебя, не посмотрели бы, что ты саид из саидов¹.

— Но он трудный человек, с таким цельным характером, что не найдешь в нем ни малейшей трещины. Кто может его остановить, если он пришел взглянуть на свою мать, которая при смерти? Кто может сказать ему, что он не должен дать арестовать себя, если он видит свою правоту, которую он готов защищать перед всеми инквизиторами мира?..

¹ Саид — прямой потомок Магомета.

— Ты думаешь, что его арестуют? — спросила Нигяр, и рука ее задрожала.

— Нет, мы должны его спасти. Мы должны сделать все возможное, чтобы он мог снова уйти. Я начинаю в этом тумане что-то различать, дорогая Нигяр. Он пришел в Лахор повидать больную мать. Я привел его в Лахор, я выведу его из Лахора. Он должен повидать свою мать и исчезнуть. Пусть он ничего не узнает о приказе.

— Но мы берем на себя большую ответственность, не сообщив ему о приказе...

— Хорошо, о приказе мы скажем после. Но надо, чтобы его друзья сегодня уже известили его об опасности. Надо, чтобы они были готовы укрыть его, после того как он увидит мать. И надо сделать так, чтобы те, кто уверен, что Захура нет в Лахоре, остались в этой уверенности.

— Как же это может быть?

— Кто находится при матери Ариф Захура? Кто всегда у ее постели?

— Там две женщины: одна — ее сестра, другая — их прислуга.

— Очень хорошо. Надо известить их, что Захур придет тогда-то и чтобы они, не рассказывая ему о том, что я напишу в записке, уговорили его ввиду тяжелого состояния матери пробыть только самое короткое время у ее постели.

— Я не понимаю хода твоих мыслей. Ведь если он войдет в дом, шпион, который следит за домом, его увидит.

— Он его не увидит. В этом весь мой план...

— Куда же он денется в это время?

— Он исчезнет на это время, и ты мне должна в этом помочь.

— Я? Что я могу сделать? Увлечь шпиона своей женской хитростью?.. О, какой ты щедрый, мой дорогой Фазлур!

— Нет, Нигяр, тебе не надо будет разыгрывать Далилу перед этим негодным человеком. Ты очень обяжешь меня, если отыщешь сегодня тетушку Мазефу и скажешь ей, чтобы она прислала ко мне моих друзей, братьев Али и Кадыра, своих племянников. Ты слыхала про тетушку Мазефу? Я тебе сейчас объясню.

— Мне ничего не надо объяснять. Я прекрасно знаю тетушку Мазефу. Я часто бываю в том же квартале, но не знакома с братьями Али и Кадыром, я только слыхала о них.

— Они работают в железнодорожных мастерских. Я их знаю с юности, когда отец служил в управлении дороги.

— Но, Фазлур, после всего, что произойдет, тебе самому придется снова исчезнуть из города, потому что все станет известно. Ты будешь так связан с этим делом, что тебя станут преследовать как соучастника.

— Я этого не боюсь. Мне кажется, что мы можем сделать это довольно чисто. Если все будет по плану, ты удивишься и после даже улыбнешься этой истории, которая сегодня грозит нам серьезными опасностями.

— Фазлур, ты должен мне объяснить твой план, когда все будет тебе ясно, потому что я тоже хочу принять участие и думаю, что не буду бесполезна.

— Ну вот, ты отыщешь тетюшку Мазефу.

— Кроме этого, обещаю посвятить меня в подробности, потому что я могу серьезно помочь всему нашему маленькому заговору. У меня тоже есть кое-что на уме...

— Дорогая Нигяр! Ты помнишь слова Азлама? Азлам хочет подвига. Мы все его хотим, а нужно делать самое обыкновенное дело. Вот мы его и будем делать. Дай я разберусь в чувствах и мыслях. Если бы ты сказала, откуда все это идет, мне было бы легче разобраться...

— Поверь, дорогой, я не могу это сказать. Я боюсь. Я боюсь за тебя и за других.

— Нигяр, каждый вечер, когда я смотрел на вечернюю звезду, и каждое утро, когда я смотрел на утреннюю звезду, я думал о тебе, Нигяр. Поцелуй меня, Нигяр.

И она его поцеловала.

Глава шестая

Нигяр углублялась в квартал, о котором с содроганием думают девушки ее круга. Они упали бы в обморок, если бы им предложили посетить его, и не нашли бы слов для обитателей этих лачуг из глины, соломы и камыша.

В своей серой полотняной широкой рубаше и таких же шальварах она не выделялась среди лохмотьев и скромных одежд женщин, которые при виде ее вставали или спешили к ней навстречу.

Здесь жили такие бедные люди, что глиняные стены их конур не были прикрыты ничем; они потемнели от дыма очагов. На полу и на улице перед этими конурами

играли дети, ползая по земле за костью или тряпкой, ссорясь из-за осколка стеклышка или разбитого блюдечка.

Земля вспучилась здесь безобразными серыми и желтыми бугорками, которые трудно было назвать жилищами. И, однако, в этих глиняных норах были двери, в которые входили окна, сквозь которые внутрь проникал солнечный свет, полки, на которых стояли чисто вымытые консервные коробки, а перед жилищами были маленькие очаги, на которых готовилась пища.

На этой жесткой земле семьи спали вповалку, прижавшись друг к другу, закрывшись изодраным, расползшимся от времени одеялом или порыжевшей, истончившейся от испытаний времени, старой кошмой.

Нигде, может быть, дух нищеты, безвыходной и нечеловеческой, не царствовал с такой уверенностью как на этом обездоленном куске земли, где ждать избавления от постоянных, ежедневных обид и бедствий никто не мог и в лучший завтрашний день никто не верил.

Нигяр верно сказала, что она не одна спускается в это темное царство нужды, болезней и отчаяния. Сюда приходили и другие женщины, которые приносили с собой советы и лекарства, небольшие деньги и разговоры о жизни, о надежде и о завтрашнем дне, который воссияет над этими развалинами,— и все голодные насытятся, и все больные поправятся.

Ее хорошо знали, и она, наклонив голову, смело заходила в комнату, где на полу на соломе лежала молодая больная женщина, исхудалая и посиневшая от припадков жестокой лихорадки. Нигяр говорила с подругой этой женщины, сидевшей у изголовья, и отдавала порошки, принесенные с собой.

— Ей стало лучше, стало лучше,— бормотала, вознося слова благодарности, женщина, сидевшая у изголовья.

В другой конуре Нигяр садилась и терпеливо выслушивала, как пожилая женщина долго рассказывала ей о том, что надо бы похлопотать пенсию за сына, который погиб на войне, и никто не знает, как это сделать. Она записывала ее имя и имя ее сына — все, что могла узнать от этой изъеденной голодной старостью матери солдата.

Ей показывали ребенка, покрытого нарывами, расчесанными его кривыми грязными ногтями так, что струйки крови бежали по его голым, черным и тонким ногам.

Девушка плакалась ей, что от нее ушел возлюбленный, и грозила убить его, отравить и бросить в реку.

Мужчины с ней заговаривали мало, и она избегала говорить с ними, потому что они были мрачны, усталы и от усталости грубы и злы.

Казалось, что властям нет дела до подобного квартала. В нем нельзя было проехать машине, в нем можно было только пройти пешком, и то не зная, куда идешь.

Она думала найти тетушку Мазефу в одной из нор, где жили две сестры, ходившие работать на постройку новых домов. Они подносили кирпичи. Это были, как ни странно, веселые, с острым языком девушки, носившие свои браслеты на ногах и на руках с утра до вечера, никогда не снимая, так как это единственное богатство некуда было спрятать в их голом жилище. Они, как большие кошки, вытягивались на циновке, накрываясь одеялом, которое они сделали сами из лоскутков. Вот у них-то и думала Нигяр найти Мазефу.

— Нигяр-бану, этот дурак, который не выносит, когда я над ним смеюсь, хотел меня убить сегодня. Он бросил кирпич, но промахнулся и только задел мне руку. Нет ли у тебя чем полечить ее? Смотри, какая ссадина...

— У меня есть йод и бинт, — сказала Нигяр, вынимая из сумки пакетик и коробочку. — Но ведь это — покушение на убийство...

— Меня не убьешь так просто, — отвечала девушка, снимая со своей руки повязку — длинный лоскут, оторванный от рубашки. — Что ты сегодня ищешь здесь, Нигяр-бану?

— Не видели ли вы Мазефу? — спросила она, зная, что в этих местах, похожих на джунгли, каждому обитателю известно все, что делается вокруг.

Тут нет ни телефона, ни газет, ни радио, но вести из мира проникают в тишь и мрак этих глиняных нор с такой же скоростью, как и телеграмма.

— Ты не найдешь сама Мазефу? мы дадим тебе девочку, и она тебя проводит. А потом ты отошлешь ее обратно.

Маленькая, черная и быстрая, как ящерица, девочка повела Нигяр в логовище, где ютились беженцы. Этот род людей, несчастней которых трудно придумать, не имел даже цепкой уверенности бедняков, привыкших к своему месту и тяжелому существованию.

Эти люди помнили еще, как во сне, сады и поля, на которых они работали, отдавая помещикам две трети урожая. Когда-то у них был угол, где рождались дети, вырастали, женились и продолжали работу предков. Или они жили

в тесноте города, где не хватало многого для жизни, но все-таки был тоже свой угол, привычные соседи, знакомые нереулки, беседы после трудового дня, любимые места отдыха где-нибудь в парке над водой у канала, да, может быть, было и достояние, накопленное дьявольским терпением имущество, кое-какие сундучки и кое-что в этих сундучках, жестяных, деревянных и железных, раскрашенных зелеными и розовыми узорами и цветами.

И все рухнуло куда-то, как будто земля разверзлась и поглотила все их маленькое благополучие. Исчезли и грошовые радости, и знакомые места, и привычные стены. И мрак, наполненный выстрелами и грохотом падающих стен, и вой огня, беснующегося на развалинах, гнал их все дальше и дальше. Равнина смерти дышала на них ужасом истребления, пока они не очнулись на холодной земле, среди множества себе подобных, дрожащих от холода; голод скрючивал их желудки, и дети не кричали и только разевали усталые пыльные рты, как птенцы в брошенных у дороги гнездах.

Ужас продолжал жить в этих людях и сейчас.

Девочка сумела прошмыгнуть мимо старика с кровавыми белками глаз, с растрепанной веерообразной бородой, в разодранном халате с чужого плеча, но он успел схватить Нигяр своей черной, как уголь, рукой и, приподнявшись с соломенного низкого драного табурета, на котором сидел, стал ей шептать:

— Ты такая красивая, такая ты красивая, иди отсюда, здесь тебе не место... Послушай, я скажу, куда тебе идти, там тебе дадут много денег, много, я тебе расскажу... а тут ты погибнешь, как моя дочь... моя дочь...

Он забыл, что хотел сказать дальше, и стоял, крепко держа ее за руку. Девочка, проскочившая вперед и, как лещерица, вбежавшая на выступ стенки напротив, с любопытством смотрела, чем все кончится.

Нигяр сказала совершенно спокойно:

— Я сейчас запишу, что вы скажете. Пустите, пожалуйста, руку, а то я не смогу записать...

Старик покорно разжал руку и смотрел на нее, как будто не понимая, откуда и зачем она взялась.

Нигяр сказала:

— Мне нечем записать, я приду потом.

И она пошла дальше, а старик, упав на драный низкий табурет, продолжал смотреть в землю, как будто что-то хотел найти среди пыли и мусора.

Девочка, привыкшая ко всему, доверительно говорила Нигяр, идя с ней дальше по этим берложьим ходам:

— У него украли дочь. Она была красивая... как ты, — добавила девочка. — Старик — он как сумасшедший, он ничего не понимает.

Они слышали странное лязганье и шорох. У их ног ползал маленький мальчик, и руки его были похожи на паучьи щупальцы. Он передвигался по земле на коленях и локтях, выбрасывая в стороны свои кривые ноги и руки. Они у него были сломаны.

— Это наш паучок, — сказала девочка. — Мы его зовем паучком. Он нищий, собирает милостыню. Его украли тоже, когда он был маленький. Есть такие люди — они поломали ему ножки и ручки, чтобы он стал просить мпlostыню на улицах, и они забирали ее у него. А сейчас его отобрали у этого злого человека, и он живет здесь. Мы все его кормим. Ведь это лучше, чем просить на улицах. Он так испуган, что все еще просит и хватает за ноги всех. Пусти нас, паучок, дай пройти...

Они миновали мальчика, который тряс большой, как бы распухшей головой, и ерзал по земле, и никак не мог приподняться.

Нигяр знала историю этого мальчика и даже сама принимала в ней посильное участие. Они украли этого мальчика у человека, который бил его, издевался над ним и окончательно бы добил, если бы мальчика не спрятали здесь, в таких дебрях, куда этот жестокий человек не смог сунуться. Мальчик закричал им вслед что-то вроде приветствия, но они уже прошли.

Если бы о всех своих встречах Нигяр могла рассказать дома, славная Салиха Султан тут же бы дала клятву, что больше никогда Нигяр не увидит этих ужасов. Но Нигяр только улыбнулась про себя при этой мысли и шла за девочкой из переулка в переулок, пока не оказалась перед огромной вонючей лужей. Тут стояла ветхая мазанка, в нее вела деревянная дверь — это были две доски, соединенные проволокой, за ними виднелся слабый свет. Девочка что-то закричала в щелку между досками. Сейчас же дверь открылась, и Нигяр вошла в комнату, где стояли две кровати без матрацев, лежал старый, но вполне пригодный коврик; женщина с белыми волосами, одетая в старое сари, подняла маленькую светильню, которая осветила эту «восточную роскошь».

— А, это наша дорогая Нигяр! Очень рада тебя приветствовать у себя. Заходи, пожалуйста.

И хотя Нигяр признала эту женщину с белыми волосами и молодым лицом за свою знакомую, но не могла вспомнить ее имя. Поэтому она обратилась к ней, никак ее не называя:

— Мне нужно отыскать тетущку Мазефу...

— Сейчас найдем тетущку Мазефу,— ответила женщина, поправила на кровати одеяло, сложенное четверо, и достала большой висячий замок. Погасив пальцами фитиль своей свечильни, она вышла вместе с девочкой и Нигяр к большой, блестящей нефтяными блестками луже. Щелкнув замком и шутливо толкнув девочку: «Беги, быстрая, домой, теперь мы сами найдем»,— она пошла впереди Нигяр большими шагами. Они долго блуждали во мраке, пока слабый свет далекого фонаря не возвестил им, что они покинули нищий квартал и должны пересечь пустынное и унылое пространство, за которым желтел огонь.

А Нигяр, идя за женщиной, думала о Фазлуре, о дне, который начался так весело и кончается так грустно, о том, что ей рассказывал Фазлур,— и картины его странствий вставляли перед ней, и у нее было ощущение, что она идет, как он, что он где-то здесь рядом, в этой мгле, и она говорит: «В городе такая же бедность. Я знаю, как живут все эти люди, и несмотря на то что я имею шелковое сари, и уютный дом, и хорошую еду, я не боюсь этой темноты, потому что я не одна прихожу в эти мрачные места, не одна помогаю, не одна приношу пользу».

Женщина обернулась к ней и сказала:

— Тетущка Мазефа! Что бы мы делали без тетущки Мазефы? Мы бы просто пропали. Она была у меня сегодня, и я знаю, где ее искать. Вот видишь, я говорю верно: и тебе она нужна, красивой и молодой,— видно, очень нужна старая тетущка Мазефа, раз ты не боишься в такой тьме искать ее. Дай руку, чтобы тебе не спотыкаться. Здесь от палаток остались маленькие палки, вбитые в землю.

— Я хорошо вижу, матушка,— сказала Нигяр, так как не могла вспомнить имя этой женщины, которую где-то видела вместе с тетущкой Мазефой.

— Вот мы и пришли,— ответила женщина, не обращая внимания на то, что ее называли матушкой.

И они вышли к полупотухшим кострам, у которых сидел и лежал разный народ. За ними возвышалась высо-

кая стена, в этой стене женщина отыскала дверь и открыла ее. Нигяр шагнула за ней и должна была остановиться, чтобы глотнуть воздуха и широко открыть глаза, так как ей показалось, что она провалилась в неизвестный подземный мир, в сплошной мрак, где нечем дышать.

Едкий дым и чад наполняли помещение, настолько обширное, что не было видно ни потолка, ни стен. Только привыкнув к сизому горькому туману, закрывавшему все пространство, Нигяр, присмотревшись, увидела голые стены, и голый пол, и высоко над собой крышу. Она узнала помещение, в котором была несколько лет назад в дневные часы.

Тогда это был недостроенный цех, предназначавшийся для склада, после он был превращен в фабричное общежитие, — сейчас здесь размещались сотни людей.

Глухой гомон голосов покрывал все другие звуки, а звуков было много. На многочисленных мангалах что-то кипело и булькало, пускало клубы пара, кто-то тихо плакал, кто-то кричал, кто-то кому-то выговаривал. Кислый запах кизняка смешивался с запахом липкого пота пришедших с работы усталых людей, с запахом мокрых горячих тряпок и сырого белья, с приторным запахом каких-то подгнивших фруктов и овощей или испорченного мяса и подгорелого сала.

Шагая мимо натянутых на веревках занавесок из легких тряпок, кусков старого войлока, многократно прожженных и совершенно истасканных платков и платьев, Нигяр и ее спутница двигались к дальнему углу этого маленького ада, обладавшего всеми качествами большого.

Здесь было много хуже, чем в том глиняном аду, который она прошла наверху, на холме. Там был хоть воздух, который можно вдыхать, здесь же хотелось все время чихать и кашлять, и глаза начинали слезиться от всех едкостей, собранных вместе.

За кулисами занавесок дети сидели на полу, погружая свои худые руки в котелок, и, обжигаясь, вытаскивали оттуда какую-то жидкую кашу, стекавшую по их пальцам на голые маленькие тела, похожие на игрушечные. Можно было уловить красное, почти багровое лицо мужчины, скоблившего ножом толстую синюю кожу, и женский рот, раскрытый, как кошелка, потому что женщина дула в мангал, плевавшийся клочьями зеленого дыма. Можно было в стороне увидеть людей, укладывавшихся спать и аккуратно подбиравших циновки под свои голые худые тела.

Спавшие лежали, точно в анатомическом театре: с темными жилами и впалыми животами, как после вскрытия.

Но Нигяр мужественно двигалась за женщиной, хорошо знавшей все ходы и переходы. И в самом деле, пробравшись сквозь баррикады из живых тел, мангалов, циновок и сундучков, они подошли к веревке, через которую была переброшена большая драпировка, сравнительно целая и новая. Они остановились перед этой драпировкой, из-за которой доносились заглушенные шорохи, всхлипывания и тихие женские голоса. Спутница Нигяр сделала ей знак, чтобы она подождала ее, и юркнула за драпировку в полумрак и в полусшепот.

Нигяр остановилась и перевела дыхание. Казалось, что здесь было дно того черного провала жизни, откуда не выкарабкаться наверх, так же как тяжелому жуку, упавшему в ведро, невозможно влезть по его гладкой стенке и выбраться на свободу.

И, однако, она никак не могла предположить, что здесь делает Мазефа. Тетушка Мазефа могла просто прийти сюда в гости. Эта мысль показалась настолько невероятной, что Нигяр даже стало смешно. Но тут же ей стало совестно этого смеха, и она терпеливо ждала, инстинктивно чувствуя, что не надо ей следовать за своей спутницей.

И вдруг оттуда совершенно неожиданно и даже несоответственно обстановке появилась сияющая тетушка Мазефа, как будто ставшая выше ростом, все ее лицо светилось от пота, в глазах стояло восторженное спокойствие, а влажные широкие губы улыбались, точно она увидела нечто чудесное. Морщины на ее лице разгладились. Она при виде Нигяр протянула к ней руки, как будто та была на берегу, а Мазефа в лодке, готовой отплыть. Она сказала уверенным, задумчивым голосом:

— Нигяр, душа моего сердца, хотя ты и девушка, но ты должна взглянуть на этого розового принца, на того золотого султана, которому старая Мазефа помогла явиться в Лахоре. Входи, не бойся, здесь есть свет...

Нигяр шагнула, взяв руку Мазефы, обходя ведро с горячей водой, стоявшее у входа. Она не могла сначала разглядеть движения тетушки Мазефы, когда та в синем сумраке, заполнившем этот отгороженный ото всех уголок, что-то ворошила, и тискала, и причмокивала при этом.

— Вот он! — сказала она повелительно и нежно; в руках у нее дрожал голый розово-смуглый комочек, который трепыхался и вдруг весь сморщился и закричал таким

тонким и обиженным голосом, что Мазефа снова исчезла с ним и наклонилась к свертку разных материй; оттуда протянулись две длинные тонкие руки, и на одной забреంచిли браслеты, задев за что-то.

Мазефа вручила принца и султана матери, — ее закрывали от Нигяр фигуры двух женщин, — и сказала:

— Ну, а теперь, тетушка Мазефа, ты пока свободна!

И она взяла за руку Нигяр, у которой выступили слезы, неизвестно почему появившиеся на глазах в этот час веселья и триумфа жизни, и увлекла ее снова из этого душного шатра за драпировку.

— Ну, иди, дочка, — строго, точно командир, приказала она, — ты тут задохнешься!

Тогда, собравшись с силами, Нигяр ответила шепотом:

— Ты забыла, тетушка Мазефа, что я не из неженков.

— Да, да, я забыла. Я сегодня все забыла. Моя память помнит только этого нового властителя Пенджаба. Какой он сильный! Он будет храбрым и сильным. Он так уцепился за меня. Иди, дочка, скорее на воздух!..

Они вышли к потухшим кострам и увидели сотни тел, лежавших прямо на земле.

Когда Мазефа внимательно выслушала Нигяр, она сказала, поправляя свой платок и убирая под него волосы:

— Я все поняла, иди спокойно. Они придут завтра туда, куда тебе нужно. Пройдись немного со мной, старая Мазефа сегодня взволнована, и весь город передо мной в огнях, как будто иллюминация. Я так боялась за эти роды, но все хорошо. И то, что ты пришла в это время, очень хорошо, Нигяр, очень хорошо!.. Почему они любят звать меня? — Она проговорила это почти самодовольно и похлопала по спине Нигяр легкой большой рукой. — Потому что, когда я прихожу, они рожают мальчиков, как будто я колдую. И я сознаюсь тебе, эти голые крепыши мне нравятся.

Глава седьмая

Зеленый газон как будто был создан для того, чтобы по нему гонялись мальчики и запускали в вечеряющее небо бумажного змея. Змей летел сначала боком, потом выравнивался, потом ложился на ветровой поток, шел, треща своим длинным хвостом; мальчики приветствовали его шумно и бегали с ним, пока не устали.

Они сели прямо на газон; вокруг них отдыхали, сидя и лежа люди, которым хотелось подышать вечерней прохладой, вытянуть руки и ноги после длинного трудового дня.

Пришел мужчина с машинкой, на которую была накручена целая бухта тонкого троса. Его змей ушел так далеко в небо, что он, самозабвенно крутя ручку своей машинки и выпуская трос, сам с трудом различал змея на темнеющем небе.

Проезжали велосипедисты, проносились педикапы, точно вырезанные из разноцветной бумаги. Рассыпающееся золото уходящего солнца начало струиться с неба на плечи мужчин, сидящих на траве, и на покрывала женщин, вспыхнувшие розовыми и золотыми пятнами.

Азлам простился с мальчиками и пробирался между горожанами, гуляющими и отдыхающими. Он нашел Фазлур, Али и Кадыра в оживленной беседе, сидящими, как за пловом, в удобных и спокойных позах.

Азлам сел рядом с Фазлуром, взглянул на небо и, заметив, что Фазлур тоже что-то ищет в облаках, сказал:

— Дом, где живет мать нашего друга, — ты не велишь мне называть его имя вслух, — мне хорошо знаком, Атеш Фазлур. Мне надо отнести туда записку? Подумаешь, какое сложное дело! Я часто бываю около этого дома. Там поблизости живет мой друг Реуф, мой дружок, собиратель марок. Мы с ним даже знаем шпиона, который там постоянно сидит или бродит. Он даже иногда — послушай, Атеш Фазлур, — переодевается женщиной, чтобы его не заметили, а потом снова приходит как мужчина. Теперь он опять женщина. Правда, смешно? Это открыл Реуф, что он переодевается. Реуф видел, как он разговаривал с полицейским, который приехал на велосипеде. Шпион приоткрыл чадру и закурил. Реуф чуть не расхохотался: женщина с бородой и курит! Он большой дурак, этот шпион. Хочешь, Атеш Фазлур, мы его разыграем?

— Азлам, вот тебе записка. Ты знаешь, как вручить ее, чтобы никто не заметил с улицы?

— Я знаю. Надо пройти через крыши с другой стороны. Можно мне взять Реуфа? Я ему ничего не скажу, но он мне поможет. Там в одном месте мне нужно встать на чьи-нибудь плечи. Я встану на плечи Реуфа, и все будет в порядке...

— Возьми Реуфа. После того как отдашь, не дразни шпиона, не надо, чтобы он насторожился... Бывает народ в это время на улице?

— А как же! Конечно, бывает, но не очень много. Ну, я могу идти?

— Ты можешь идти...

Али и Кадыр, казалось, не слушали, о чем говорили Фазлур с маленьким заговорщиком. Они курили, и острые красные огоньки сигарет поднимались и опускались, как светляки. Кадыр засмеялся, и в наступившей темноте его зубы блеснули, как полоска белой бумаги.

— Из мальчика вырастет человек,— сказал он, зажигая новую сигарету.— Он все говорит верно. И шпион там, и путь через крышу — все правильно. Там может пройти незаметно мальчик, а не такой верблюд, как я.

— Али и Кадыр,— сказал Фазлур,— как будто наш план и неплох, но нам, кажется, придется похитить женщину.

— Что я слышу? Молодой горец хочет увезти в горы жену из Лахора? — сказал Али.

— Да, я люблю таких женщин, которые курят и ходят одетые мужчинами и даже отращивают бороду...

— Ты шутишь, сейчас курят не только женщины в горах, и в нашем Лахоре сколько угодно...

— Если твоя женщина с бородой,— сказал Али,— она опасна для ухаживателей.

— Да, мы можем встретить там нож, а возможно, услышим и выстрелы,— сказал Фазлур.

— Похитителю женщин нужно иметь хороший экипаж и плащ, в который ее закутывает счастливцев...

— Я бы взял веревки и мешок, но вода далеко,— сказал Фазлур.

— Мы знаем эту каналью. Он такие штуки проделывал, когда нес свою грязную службу в железнодорожных мастерских, но мы его раскусили. Вечерний поезд перерезал бы его пополам, но его предупредили, он исчез вовремя. Это наш старый знакомец, мы горим нетерпением встретиться с ним... О! Пора и нам двигаться.

...С чего началась вся суматоха, что произошло на этой старой весенней улице с двухэтажными домами, узкими дверями и решетчатыми окнами, с закрытыми балконами, чуть выступавшими над первым этажом, погруженными в тишину, как будто в доме все уже уснули,

полицейский, примчавшийся на велосипеде, никак не мог выяснить.

Улица была занята толпой возбужденного народа, среди которого особенно шумели женщины и мальчишки, шнырявшие под ногами.

Когда Фазлур вошел в эту улицу, вначале спокойную, по ней скользили тени от женских покрывал, прохожие тихо шли, возвращаясь домой. У лотков торговцев овощами стояли покупатели, а против дома с резной дверью, в нише, на куске старого войлока, расположилась отдохнуть женщина дородного телосложения, страдающая одышкой. По старому обычаю, она закрыла лицо и глухо кашляла под своим темным и душным покрывалом.

Фазлур увидел приближающихся с другой стороны братьев. Али, в белой рубаше, с ремнем, подпоясывавшим его большие черные штаны, в вязаной шапке на голове вместо тюрбана, походил на простодушного ремесленника-бедняка. Черная борода, воинственный взгляд суровых глаз и огромный щегольской тюрбан придавали Кадыру вид солдата, который сейчас обнажит саблю и бросится в атаку.

Фазлур вспомнил, как один его друг в Карачи во время демонстрации влез на старое дерево, стоявшее на перекрестке, чтобы кричать оттуда лозунги, а полицейский, прицелившись, убил его наповал. Фазлуру казалось, что и в этом тихом переулке скоро запахнет порохом.

Сначала остановилось несколько человек вокруг Кадыра, который спокойно объяснял, что сейчас был подземный толчок, и вот, видите, треснул дом старого торговца, но что большой опасности нет. Тут же начался спор: одни стали кричать, что трещина старая, что она от ветхости, другие уверяли, что ее не было и она появилась только что и следует опасаться новых толчков. Помните, в Кветте тоже началось с небольшого толчка, а что было потом!.. В этот момент раздался грохот в другом конце переулочка, повалилась глиняная посуда, наставленная на узких дощечках, и с грохотом упавшей посуды соединился яростный вопль человека. Человек вне себя вопил, что сейчас упадут дома, что это он уже пережил лет двадцать назад, что надо всем немедленно спасаться.

На этот вопль, вызвавший панику среди прохожих, ответил грозным и повелительным голосом Кадыр. Он кричал, что сейчас оторвет голову тому, кто вопит о несуществующем землетрясении и нарушает порядок. Али, а это

вопил он, сейчас же ответил бранью на грозное вмешательство Кадыра. Ему вторил торговец горшками, который подбирал осколки с земли и боялся, что новые удары сбросят ему на голову и остальные уцелевшие полки с горшками.

На крик и шум открылись окна, и даже заспанный торговец высунулся с балкона, свесив свою бороду; и когда до него дошло, что его дом треснул и надо ждать новых ударов, он сбежал с лестницы и, расталкивая собравшихся, начал осматривать трещину, которая в темноте казалась живой, потому что от движения людей тени бежали по стене, и можно было действительно спорить, расширяется она или остается такой, какой была.

Сначала над шумом неистовствовали три голоса: это были голоса Али, Кадыра и горшечника, — но приток людей увеличивался. Те, которые только что остановились, привлеченные шумом, хотели узнать, что происходит, и теснились, чтобы расслышать, о чем идет спор перед домом старого торговца. Окна в соседних домах открывались одно за другим, в них появлялись встревоженные женские лица, женщины переговаривались через улицу. Одна хозяйка задела горшок с цветущей розой, горшок упал и звучно разбился о камни. Раздался плач и испуганные голоса проснувшихся детей.

— Что такое? Что такое? — спрашивали новые прохожие.

— Землетрясение! Подземные толчки! Трещина на доме...

У дома торговца продолжалась толкучка, шел жаркий спор:

— Но трещина на этом доме была всегда.

— А вот свежий след. Когда это началось, она была гораздо уже...

— А может быть, тут что-то другое?

В темной улице, за спинами споривших, возник новый шум.

Мимо Фазлура протискались два мальчика; один из них был, несомненно, Азлам. Люди, толпившиеся недалеко от дома торговца, кричали:

— Поймали женщину! Она напала на мужчину и хотела его убить из ревности.

Тогда все, кто был у дома торговца, прервали спор, вся толпа хлынула на новые крики. Единственный фонарь светил издали, и в его молочном свете возились люди.

— Ужас!.. Ужас!.. Где она? — закричали женщины из окон.

— О! Смотрите, смотрите! — кричали под окнами, где уже начиналась драка. — Это женщина, и с нее срывают покрывало! Почему никто не заступится?!

— Что там произошло?

Свалка в темноте росла, из гула вырвался голос, освещивший всех:

— Это не женщина! Это гадина, это ведьма, принимающая любой облик, оборотень.

Но другой человек закричал в полном удивлении:

— Это сумасшедший! Это мужчина в женском платье! Отнимите у него нож!

В самом деле, происходило что-то странное. О подземных толчках было забыто. Все устремились к тому месту, где кипела схватка, но кто с кем дерется, было трудно разобрать. Народ прибывал.

И тогда женщина с бородой закричала отчаянным мужским голосом:

— Люди, меня убивают! Вы будете отвечать!

Но этот голос был заглушен другим, кричавшим:

— Он сумасшедший! Он убежал из больницы! Я знаю, где он живет! Мы доставим его домой. Он опасен.

Издали донесся грохот, слетели последние полки с горшками, но этот запоздалый грохот уже не привлек внимания. Слышались крики:

— Дайте мешок, он кусается!..

И голос человека с бородой, оравшего уже заглушенно, так как ему затыкали рот:

— Я не хочу! Вы не смеете!..

Потом за гулом толпы уже ничего нельзя было разобрать. Где-то недалеко прозвучал выстрел и раздались крики за углом. Приближался глухой шум...

— Вот теперь землетрясение!.. — закричала женщина, но ее не слушали.

— Куда? Что за толпа? Это какое-то побоище! Куда вы все бежите? Вы остановили движение!..

Это кричали полицейские, и их мотоциклы гудели и трещали в улице, растревоженной, как муравейник.

Никто не мог ничего объяснить, никто ничего не понимал. Полицейские, вытирая пот, катившийся по их лицам, слушали, как с двух сторон им рассказывали, перебивая друг друга, о подземных ударах и трещине, о том, что дом старого торговца сейчас упадет, и о том, как сумасшед-

ший с ножом, переодетый женщиной, хотел убить старого торговца, мстя ему за какую-то женщину, — и его схватили.

В одной из узких улиц, недалеко от места, где полицейские наводили порядок, толпа, расходившаяся с места происшествия, закрыла дорогу большой черной лакированной машине.

Полицейский подъехал на велосипеде, осадил толпу и спросил:

— Что за машина?

Шофер, пренебрежительно смерив его взглядом, сказал:

— Что за машина?! Мы не в деревне. Ты не видишь, что эта машина принадлежит уважаемому Аюбу Хуссейну? Пропусти ее немедленно.

Полицейский хорошо знал это имя. Даже не обидевшись, что его назвали деревенщиной, он помог машине выбраться из переулка.

Когда шум столкновения достиг самой большой силы, Фазлур почувствовал, что его схватила за локоть маленькая горячая рука. Это был Азлам. Вместе с толпой они устремились в боковые переулки, где господствовала полная тьма, так как все ставни в окнах были закрыты, а там, где не было ставен, висели глухие занавески. Фазлур и Азлам все дальше и дальше удалялись в тьму.

Около старого мангового дерева они отдышались. Мальчик дрожал от возбуждения и беге. Фазлур сказал ему:

— Вот ты хотел подвига. Ты его совершил.

— Да, — сказал мальчик, тяжело дыша, — я схватил его первый и сорвал покрывало.

— А что ты так дышишь? У тебя завязана рука. Ты ранен?

— Да, он меня задел ножом, но я отдернул руку, и он только оцарапал ее. Я ловко увернулся. Нож у него выбил Кадыр.

— Тебе больно?

— Сначала было больно, а теперь... Теперь тоже больно, но ничего. Я оторвал кусок рубашки и перевязал руку. Теперь ничего. Ты говоришь, что я совершил подвиг, а что это за подвиг?..

— Ты спас человека, которого будешь уважать всю жизнь, когда станешь взрослым, когда станешь мужчиной...

— Я им стану, Атеш Фазлур, я уже почти стал им. Гудь уверен во мне. И слушай, если я тебе понадобится, позови меня еще раз. Хорошо?

— Хорошо!

— А об этом можно рассказать в обществе?

— В каком обществе...

— О Атеш Фазлур! В каком обществе? В том, где я президент, пусть они знают, какой у них президент.

— Расскажи, но только не называй имен.

— Но Реуфа я могу назвать? Он мальчик. Он никому не скажет. Он не любит говорить. Он любит только марки. И потом, он мне хорошо помогал. Знаешь, я встал ему на плечо и спросил: «Тяжело?» Он сказал: «Лезь, а не говори». Вот он какой! Записку женщины прочли и порвали ее, и я вернулся тем же путем. И все-таки я первый сорвал с него покрывало. А там борода!.. О! О!.. Все это увидели!..

Они выбрались из переулков. Их ждали три человека, довольно потиравшие руки и усмехающиеся. Амид Ахмет, Али и Кадыр присоединились к ним.

— О, какая была тамаша! — сказал Кадыр. — Мы задали ему головоломку. Он возненавидит женский костюм...

— Куда вы его дели?

— Мы сдали его хорошему человеку, он отвезет этот куль в женской одежде на запасные пути, на товарный, который уходит в Гуджранвалу. Он не задохнется. У него нос не закрыт. Его положат на угольную платформу. Он поедет с удобствами. Мне пришлось его немного стукнуть, так как он начал кусаться, вообразив, что он девушка, а я белуджский князь. — Кадыр потрогал свою смоляную бороду и сказал, понизив голос: — Наш друг ушел, как тень. Я шел по его следам. Свои проводили его дальше. Ты доволен, Фазлур?

— Я рад за нашего друга.

— Я рад за него тоже, еще потому, — сказал Амид Ахмет, — что матери его стало лучше. Смертельная опасность миновала. Она будет жить.

Когда они расстались и вышли на хорошо освещенную улицу, их догнала машина, из которой высунулась Нигяр и, помахав им рукой, пригласила в машину.

— Что с мальчиком? — испуганно спросила Нигяр, когда машина двинулась.

— Он чуть поцарапался. У него ссадина, — осторожно объяснил Фазлур. Он не хотел говорить лишних слов при шофере.

— Дай я перевяжу платком, — сказала Нигяр.

Умар-Али слышал, что они говорили. Не сбавляя хода, правя одной рукой, он другой открыл дверцу небольшого

пикафчика, достал бинт и бросил Нигяр, которая поймала его на лету.

— Откуда у тебя бинт? — спросила она.

— Я с войны привез эту привычку, — ответил Умар-Али, — всегда при себе иметь индивидуальный пакет. Пожалуйста, у меня есть и йод.

— Дай и йод, — сказала Нигяр.

Смазав йодом руку и крепко перебинтовав ее, она поцеловала мальчика в голову. Он прижался к ней, растерянный и взволнованный. Они ехали первое время в полном молчании.

Молчание нарушила Нигяр. Стараясь в полумраке машины лучше рассмотреть лицо Фазлура, испытывая странное чувство жалости от сознания, что она должна расстаться с Азламом, она сказала:

— Азлам, куда отвезти тебя? Не надо, чтобы ты с перевязанной рукой шел слишком много...

— Отвезите меня... — Он назвал площадь недалеко от квартала, где жил.

Вышли из машины все трое, и Азлам, как котенок, потерся о мягкую руку Нигяр.

— А что ты скажешь, мальчик, когда тебя спросят, где ты встретился с ножом? — сказала Нигяр, глядя его по голове.

— Что я скажу? Я скажу, что я поранил руку, споткнувшись о железный обруч, когда бегал со змеем. Железный обруч почти так же режет руку, как нож. Я раз налетел на него, но, правда, обрезал не руку, а ногу.

Он побежал по улице под тенистыми деревьями, встряхивая перевязанную руку, вздыхая и спотыкаясь о толстые корни, бормоча разочарованно: «Так вот что такое подвиг!»

Фазлур и Нигяр, отойдя несколько шагов от машины, посмотрели друг другу в глаза, и Нигяр осталась довольна, что Фазлур стоял перед ней ничуть не взволнованный, такой же спокойный, как всегда.

— А шофер? — спросил Фазлур тихо.

— Что шофер? — так же тихо спросила Нигяр.

— Он знает, кого он вез?

— Я не знаю, знает ли, но он не предаст.

— Почему ты так думаешь? Ох, Нигяр!

— Потому что у меня был с ним прямой разговор, и он сказал: «Я никогда не был предателем».

— И ты поверила? Почему ты стала такой легковерной, Нигяр? Ты понимаешь, что я боюсь не за себя. Наш

друг должен быть в настоящей безопасности. Тут надо верить не каждому человеку.

Он посмотрел на Нигяр внимательно и увидел, что у нее усталое лицо и усталые глаза. Ему стало жаль ее, и он смягчил свои слова:

— Ну, я думаю, что в этом человеке мы не ошибемся?

— Нет,— сказала она.

— А почему? — с внезапной резкостью спросил Фазлур. Он сам не хотел этого, но получилось резко.

— Почему? Потому, что он коммунист, а коммунисту можно всегда верить. Правда, Фазлур?

— Умар-Али коммунист?

— Да. И я знаю, хотя он будет это отрицать. Но он коммунист... А теперь нам надо ехать.

— Куда же мы поедем?

— Мы поедем к нам.

— К вам? Ну конечно, мы отвезем тебя. Я дойду пешком и прошу ссадить меня недалеко отсюда. Не надо, чтобы нас видели вместе.

— Нет,— с мягкой настойчивостью сказала Нигяр,— именно надо, чтобы нас видели вместе в этот вечер... И поэтому ты поедешь к нам...

— Зачем?

— Послушай меня и не возражай. Ты думаешь, Нигяр нежная, тонкая, ее нужно беречь от ветерка и холода. А Нигяр грубая, сильная,— она засмеялась,— и не боится ничего.

— Ну, ну, Нигяр, не клеветь на себя и оставь грубость и силу другим девушкам.

— Не думай, что я умная и что я храбрая. Я глупая, и я трусиха. Но мы поедем к нам. Я тебя представлю дяде. Он уже знает о тебе от меня. Я давно говорила с ним о тебе и сегодня утром тоже. Мне это пришло в голову как-то сразу. Я проснулась и все думала о том, что будет. И вот что мне пришло в голову. Я тебя представлю дяде. Дядя с ума сходит от идеи объединения мусульман всех стран. Он очень любит говорить на эту тему. Скажи ему, что ты читал его последнюю статью об исламе сегодня и что она производит впечатление на студентов. И я устрою тебя на машину, с которой едет один путешественник....

— Какой путешественник? — сказал Фазлур.— Мне кажется, что я читаю книгу о ком-то, кого зовут Фазлур, но этот Фазлур не я.

— Подожди. Этот путешественник — американец, любитель природы, собирающий материал для географических журналов. Он едет в твои места. С ним поедет Умар-Али. Я подкину тебя к нему. Ты тихо уедешь на время из Лахора. На время; потом ты вернешься, а сегодняшний скандал уже все забудут. Дома я тебе скажу, как надо говорить с дядей, а теперь поехали. И при Умар-Али мы уже не будем говорить об этом. Это не нужно. А теперь едем, а то я боюсь не застать дядю дома. Он куда-то собирался сегодня вечером.

Они вернулись в машину и сели рядом. Они сидели рядом так естественно, точно возвращались из гостей, где все, смотря на них, спрашивали, когда они поженятся. Эта мысль пришла в голову Фазлуру, и он засмеялся. Посмотрев на него, Нигяр ничего не сказала, крепко сжала его руку и так держала ее в своей, пока они не доехали до богатого въезда во двор дома Аюба Хуссейна.

...Азлам сидел на бочонке, как на троне, за своим домом на маленькой лужайке, где паслась коза и бегали пестрые цыплята, и три мальчика сидели перед ним на траве и с жадным любопытством слушали рассказ Азлама о происшествии, которого он был участником.

Он говорил о драке так, что мальчишки урчали от удовольствия.

— Один дурак угрожал пожом хорошему человеку. Я схватил и выбил нож. Я не выбил нож сразу, но я сорвал покрывало с этого человека, и он не смог меня убить, а только поцарапал...

— Это сделал ты?

— Я, — сказал он, показывая узкую багровую полоску на руке. И, уже не зная, чем кончить, и боясь погружаться в подробности, он, соскочив с бочки, воскликнул: — А знаете, что вот это называется подвигом, а может быть, даже революционным! Но об этом вы дайте клятву молчать!

Глава восьмая

— Молодым людям свойственны порывы и желание в двадцать четыре часа переделать все так, как им кажется нужным, — говорил Аюб Хуссейн, раскуривая толстую сигарету крепкого черного табака; сигареты делались для него специальным знатоком, табачным мастером, который в молодости делал такие же сигареты для его отца. —

А между тем как раз ни одна из проблем, стоящих перед нами, не решается ни в год, ни в два года... Мы не можем оставаться страной, поставляющей на мировой рынок только сырье. Что происходит сегодня? Мы продаем Индии, например, джут по сто рупий за тонну. Она продает его любой нуждающейся в джуте стране — в Южную Америку, скажем, — по цене, в три раза большей. Эта южноамериканская страна, получив джут, охотно отдает Индии свой сахар, — отдает дешево, так как ей некуда его девать. Мы покупаем у Индии этот сахар и платим вдвое дороже, чем он стоит. Так мы получаем страшный убыток, приблизительно в полмиллиона рупий. Мы должны преодолеть эту зависимость. Для этого нам надо работать с засученными рукавами. Надо улучшать обработку земли, надо дать волю промышленности. У нас после раздела осталось всего только двадцать хлопчатобумажных фабрик, а в Индии их восемьсот; у нас фабрик, обрабатывающих джут, не больше, чем пальцев на одной моей руке, а в Индии их свыше сотни. Мы должны стремиться повысить жизненный уровень населения, изжить голод, дать выход предпринимательским силам, разрыть наши недра. Этого не сделаешь никакими демонстрациями и никакими лозунгами. Надо всем сотрудничать с правительством и верить, что им руководят добрые намерения...

Фазлур слушал терпеливо. Он прекрасно знал этот сорт просвещенных коммерсантов, так легко говорящих о самых трудных проблемах народной жизни. Их воображение мчится, как машина по асфальтированной дороге, и не хочет остановиться. Зачем же сворачивать на проселок, где тебя ждут неприятности с первых шагов? Временами он ловил умоляющий взгляд Нигяр, очень боявшейся, что невоздержанный Фазлур в минуту разрушит все ее планы и погубит дело своим безжалостным отпором увлекавшемуся Аюбу Хуссейну.

Но Фазлур молчал, и его молчание можно было истолковать как знак почтительного внимания. Аюб Хуссейн продолжал, сев на своего конька:

— Мы еще только начинаем свою историю. И уже сегодня мы не можем не привлечь к себе внимания со стороны других исламских стран, потому что для каждого мусульманина наша страна является вдохновляющим примером, стоя во главе исламского мира.

Потушив сигарету о край узорной бело-розовой раковины, служившей пепельницей, он повернулся всем телом на

низком диванчике и сказал, стараясь быть как можно более торжественным:

— Задача молодого поколения заключается в том, чтобы, овладев всеми современными знаниями, работать на пользу народа. Молодежь должна проникнуться всей сущностью ислама, поверить в то, что сила духовного преобразования страны лежит в идее халифата. Я не говорю, — он потряс своей мягкой, но властной рукой с короткими пальцами, на которых блеснули кольца, — что мы должны остаться фанатично ограниченными людьми. Да, среди нас есть и такие, которые не отделяют прошлого от будущего. Я говорю о том, что мы вдохнем новое содержание в древнюю идею, — ну, скажем, так же как Англия, создавая свою мировую империю, не копировала ее с древнего Рима. Но это станет возможным, если будет достигнуто подчинение своей личной жизни и жизни народа новым истинам, имеющим силу народной, вековой традиции. В этом единстве нации мы поведем за собой все мусульманские страны Востока.

Он сделал передышку и отхлебнул из маленькой любимой зеленой чашки густого ароматного чаю, сложил ручки на животе и смотрел на Фазлур веселыми и довольными глазами, как будто полдела уже сделано.

Тут Фазлур сделал свой первый дипломатический ход, чтобы не ввязываться в скучные и ненужные ему споры с этим торжествующим, самодовольным философом. Он сказал:

— Ваша последняя статья о новом звучании ислама полна глубоких мыслей и имеет среди студентов несомненный успех.

Аюб Хуссейн покраснел от удовольствия.

— Я так и думал. Мне очень приятно это слышать. Вы согласны, что в этом направлении и нужно работать отцам и детям? Зачем мы будем углублять небольшую бороду наших естественных разногласий, допустимых противоречий до размеров борьбы, до размеров национального бедствия? Мы должны объединить свои усилия на пользу народа, который только что освободился от самого тягостного ига в своей истории. Для молодых людей должно быть незабываемым то священное воспоминание ислама, когда из глубины Аравии явились такие свежие, такие молодые силы, что в самое короткое время они уже штурмовали слабую Европу, которая не могла им ничего противопоставить. Если бы французы проиграли битву с арабами, ко-

гда те ворвались во Францию, в Кембридже и Оксфорде сегодня бы носили тюрбаны и изучали Коран и муэдзины кричали бы с башни Туэра на весь Лондон. Чего нет, того нет. Но сегодня есть плод нашей борьбы, борьбы и победы: исламский Пакистан. Пакистан — какое имя! Как чудно нашел это название наш златоголосый Икбал. Разве отсюда не может родиться великий порыв новой энергии, который увлечет всех мусульман? И не надо выдумывать ничего нового. Душа человека одна во все века, так же как и Коран один. И прав был Омар, наш великий халиф, когда на просьбу Магомета дать ему перо, чтобы написать последнее послание на ложе смерти, сказал пророку, что пера он не даст, так как добавлять ничего не надо: «Нам довольно божьей книги».

Его красноречие иссякло. Он допил чай, отодвинул чашку, и тут Нигяр поняла, что наступила решающая минута. Она боялась посмотреть на Фазлур и горько упрекала себя за то, что поставила его в такое положение. Чем он может ответить? Он сейчас разразится самым непристойным детским смехом, и Аюб Хуссейн выгонит их обоих из своего дома.

Но Фазлур, согнав тень мгновенной веселости со своего смуглого решительного лица, сказал тихо:

— Но ведь иностранцы не позволяют нашей стране стать сильной, и они помешают всем тем высоким планам, о которых вы так прекрасно говорили сейчас, а значит, и всему развитию Пакистана. Что делать нам, чтобы они под видом друзей не присвоили себе наших богатств?

Одну минуту Аюб Хуссейн недоумевающе гладил переносицу, сняв свои большие очки, потом протер их шелковым платком, и вдруг его помрачневшее лицо оживилось, точно он вспомнил что-то, о чем забыл сказать. Он оставил ораторский тон и сказал очень просто:

— Я стою за самые широкие торговые отношения со всеми странами. И когда я говорю о Коране, не надо понимать меня, что я призываю завтра завоевывать земли наших соседей, проникнуть до Каспийского моря и вернуться в Дели. Я хочу мобилизации духовных и физических сил. Иностранцев мы должны терпеть. Я скажу, что не люблю англичан, я бы никогда не хотел видеть иностранца, который на моей земле диктует мне свои условия, но я бы всегда приветствовал его как торгового гостя. Что касается иностранцев-предпринимателей, то мы позволим им искать у нас минералы и нефть, ставить заводы, но чтобы они сами

не распоряжался ни нашим сырьем, ни валютой, которую мы не дадим перекачивать за границу.

Мы учредим над ними такой контроль, что они не смогут наступить нам на горло. Мы будем строго следить за их действиями. Мы отличаем иностранцев от иностранцев. Тех, кто враждебен и хочет нас снова закабалить, мы отделим от тех, которые приходят с открытой душой и способствуют культурному общению, не имея никаких тайных намерений. Таких иностранцев наш старый закон гостеприимства требует принимать как дорогих гостей, и этому закону мы остаемся верны. Дорогой Фазлур, ты сам убедись в этом, когда будешь сопровождать нашего гостя — американского ученого, путешественника, которого зовут Фустом. Это очень большой знаток азиатской природы, и нашей страны в частности. Он прекрасно знает Кашмир. Он смелый человек, он горовосходитель. Как раз это натура, противоположная империалисту. И надо, чтобы побольше таких людей бывало у нас.

Воспользовавшись поворотом разговора, Фазлур отвечал со сдержанной вежливостью:

— Я буду вам чрезвычайно благодарен, если услышу немного о его намерениях, чтобы суметь устранить все препятствия и помочь ему в исполнении его желаний...

— Я не знаю подробно, что он хочет увидеть. Но он будет путешествовать до Читрала...

— Он едет в Читрал? — спросил Фазлур. — В самый Читрал?

— Кажется, да. Ну, он будет фотографировать, ему нужны снимки пейзажей, быта, людей, их занятий. Он это делает для передовых американских научных журналов. Он, наверно, захочет говорить с местным населением, возможно, захочет поохотиться, посмотреть Тирадж-мир. Я не имею представления, что это за края. Я никогда там не был.

— Он хочет совершить восхождение на Тирадж-мир? Но еще ни один человек не мог его победить... Я читал в газете, что норвежцы собираются взойти на него...

— Я ничего не читал про норвежцев, — сказал Аюб Хуссейн, — но ты ведь хорошо знаешь те горы.

— Я там родился, — сказал Фазлур, — я сын старого охотника, и очень благодарен вам, что вы даете мне возможность сопровождать такого большого человека.

— Я тоже очень рад, — сказал Аюб Хуссейн, бросив взгляд на взволнованно следившую за беседой Нигяр. «О,

между ними несомненно что-то больше дружбы,— подумал Аюб Хуссейн,— и очень хорошо, что я отошлю его подальше в горы; а потом посмотрим, что это за явление, которое пока что мне не очень нравится. Это скрытный человек. Что у него на уме, не разберешь. Пусть уезжает подальше и поскорей...»

— Что ты скажешь, Нигяр? Ты видела господина Фуста, и он, кажется, на тебя произвел впечатление. Может быть, ты тоже хочешь поехать в горы?..

Нигяр, застигнутая врасплох, покраснела и сказала в ответ:

— Господин Фуст — очень опытный рассказчик, так же как и турист. Его можно слушать сколько угодно, но в горы я не очень хочу... — Она засмеялась.

— В горы тебе не нужно ехать,— сказал Аюб Хуссейн,— ты слаба для гор. В горы должны идти такие дети гор, как Фазлур.— «И не спускаться с гор», хотел он добавить, но удержался.— Я скажу американцу, что он получит замечательного шофера-солдата и чистокровного горца. Хороших встреч и счастья в пути!

Когда Аюб Хуссейн простился и покинул комнату, заявив, что ему время ехать в один дом по делу, Нигяр сказала Фазлуру:

— Я так боялась, что ты станешь ему противоречить и все погибнет...

— Он сумасшедший,— отвечал Фазлур.— В его голове полное смешение всех несоединимых вещей. Я сдерживался, как ты видела, сколько мог. Если бы не ты, я устроил бы сегодня вторую тамашу, как там, на старой улице.

— Тсс! — Нигяр шутливо приложила палец к губам.— Ты неправ, он не сумасшедший, он хитрый, очень хитрый человек. Меня он искренне любит, как родную дочь, но он не добр к людям. Он любит показать себя демократом, но он тут же будет доказывать, что ислам — самая демократическая религия на свете. «Посмотрите на ее обряды или войдите в мечеть. Никаких украшений, мешающих сосредоточению, никаких излишеств культа». О, он может много и долго говорить, Фазлур!

Он взглянул на нее, и ему стало не по себе от ее острого, напряженного взгляда. Она положила свои руки ему на плечи и сейчас же, словно испугавшись, сняла их. Она взялась за край стола и стояла в оцепенении. Потом оно сбежало с нее, она кусала губы, точно то, что она хотела

сказать, было мучительным, и вместе с тем от этого нельзя было уклониться.

— Фазлур! — выговорила она с глубоким вздохом, беря его за пуговицу. — Фазлур, мне очень тревожно. Не нужно тебе ехать с этим американцем. Не надо тебе быть с ним, не надо... Я не хочу...

— Нигяр! — воскликнул Фазлур, чувствовавший себя неуютно в этой чужой и тихой комнате. — Что ты говоришь? Почему я не должен ехать, скажи? Почему тебе тревожно? Ты что-то знаешь?

— Фазлур, нет я не могу сказать...

— Нигяр, если это так серьезно, я должен все знать. Зачем мы вели этот разговор с ним?.. — Он не хотел признавать имени хозяина дома.

— Я не могу от тебя скрыть, Фазлур. Ты поедешь с тем человеком, с американцем, по чьему слову отдан приказ об аресте Арифа Захура...

— Не может быть! Ты ошибаешься, Нигяр! Откуда ты это знаешь?

— Я не ошибаюсь. Я все знаю точно...

— От кого? Теперь ты скажешь?

— Скажу: от Салихи Султан. У Аюба Хуссейна нет от нее тайн. И я тебе говорю, дорогой: берегись этого человека. Брось его, как только въедешь в горы, и иди домой. Не будь с ним. Уйди от него как можно скорее. Он не тот, кем является перед людьми. А кто он, я не знаю. Он плохой человек. И ты поедешь с ним? Останься, Фазлур, я тебя умоляю! Я не буду спать, мне все будет казаться, что с тобой что-то случится...

Фазлур слушал с застывшим лицом, скулы его стали совсем каменными.

— Нигяр, может быть, я ослышался? Ты сказала, что американец есть тот самый человек, по слову которого отдан приказ о немедленном аресте Арифа Захура?

— Да, — сказала Нигяр.

— Скажи мне еще: он, — Фазлур снова не назвал имени купца, — не хочет подготовить мне ловушку в этой поездке?..

— Нет, он тебя не знает. Я говорила ему о тебе. И он не разговаривал бы с тобой так, как он говорил. И зачем ему губить тебя?.. Ты ему интересен как представитель студенческой молодежи. Он заискивает перед ней и ищет в ней опору. Но он, конечно, почувствовал, что ты не его поклонник.

— Американец тоже не знает меня. Рекомендация слишком серьезна. Значит, он тоже не может меня ни в чем подозревать?

— Да, это так, но мне все это не нравится, Фазлур. Не надо тебе ехать с ним. Я раскаиваюсь, что я сама все это придумала, теперь мне страшно...

— Нигяр, милая моя Нигяр! Я поеду с ним. Верь в Фазлура. Он не пропадет. Да еще в родных горах. Ты веришь?

— Верю,— сказала сквозь слезы Нигяр,— верю и боюсь!

Глава десятая

Они сидели в номере Фуста. В решетчатых дверях возникали и таяли солнечные искры, духота сочилась из дивана и из всех швов старой черной кожи, которою была обита мебель. Бронзовые подсвечники, казалось, таяли от жары, и из пасти камина шел черный зной, хотя в нем не было ни уголька. Занавески у открытого окна не колыхались. На галерее, выходявшей на главный двор, не было ни одного человека. Номер справа занимал Гифт; номер Фуста был угловой. Разговаривать можно было совершенно свободно.

— Вот мы и увиделись снова,— сказал Фуст, развалившись на диване и положив ногу на спинку стула.— Ну что же, дорогой доктор, нам придется выручать из беды этого беднягу Кинка и вместе с ним этого вечного неудачника Чобурна. Помните, как его сбросили в Таиланде на парашюте, и он повис на дереве вниз головой, и его чуть не съели потом крокодилы? А в Бирме его искусили в джунглях какие-то ядовитые муравьи, он разбух, как губка, и потом отпухал неделями. В Индии он потерял машину и важные документы, которые только случайно нашлись. А Кинк делит с ним все напасти за компанию.

— Они попали в тяжелую историю,— сказал Гифт.— Я даже не знаю, как они из нее выберутся.

— Они сами не выберутся, но мы им поможем, Гифт. Для этого-то, Гифт, мы и пожаловали сюда. Дожидаясь вашего приезда, я не спал ночей и много думал над картой. Кое-какие вещи я вспоминаю невольно, хотя их, может быть, не следовало бы вспоминать.

— Что же вы вспоминаете? — спросил Гифт.— Свою молодость? — Он засмеялся как-то нехорошо.— От таких воспоминаний приходит бессонница.

— Нет, я вспомнил не молодость, я вспомнил Белое Чудо...

Наступило молчание. Какой-то залетевший комар жужжал тонко в комнате, и где-то в городе били часы. Со двора долетали глухие всплески голосов, шорохи и внезапные гудки машин.

— Я бы предпочел больше этим не заниматься,— сказал Гифт.— Когда я вспоминаю это, у меня дрожат ноги и я должен срочно выпить...

— Пожалуйста,— сказал Фуст,— виски на камине, содовая рядом.

Гифт встал с кресла, подошел к камину, налил в стакан виски, добавил содовой, поболтал, встряхнул стакан, сделал один глоток и, не садясь, продолжал:

— Пожалуйста, не выдумывайте ничего похожего. Какого черта вам пришел в голову этот кошмар?!

— Кстати, Гифт. Вы не можете забыть Белое Чудо. Я тоже... Вы не хотите его вспоминать. Я тоже. Но ведь оно связано с теми двумя. Ведь мы с вами перебрасывали их тогда в Китай. Это было очень нелегко, как вы знаете. Теперь, через два года, они идут обратно по такой дороге, что лучше о ней не думать. Если мы их не выручим, им конец. Вот почему я вспомнил Белое Чудо. Какой трудности была экспедиция! Я чуть не погиб, а бедный Найт там остался навсегда. И как странно, Гифт, он, не знавший нашей тайны, только догадывавшийся о ней, погиб, а мы, мы живы! Я так хорошо вижу горцев, этих дурацких парней из Хунзы, которые вызвались его спасти и сами погибли. Когда я вспоминаю об этом, я не могу остановиться, как будто один мертвец тянет за собой и остальных мертвецов. А как он кричал, как пронзительно и жутко кричал последние дни! Он не хотел умирать, Гифт, очень не хотел умирать.

Гифт выпил свой стакан виски, раскурил трубку и стоял, окутанный голубым облаком. Он разогнал его рукой и сказал:

— Исповедуйтесь, Фуст. Я люблю, когда вы исповедуетесь. Мне тогда хочется петь мои любимые строки:

В старой доброй стране,
Там я жил, как во сне...

— Не повторяйте этой глупой песни! — воскликнул Фуст.— Вы же знаете, что я терпеть ее не могу!

— Не буду. Продолжайте. Скажите обо всем, что вас мучит, и я отпущу вам грехи,— я, простой дорожный строитель и специалист по горным дорогам...

— А, это придумано неплохо! — сказал Фуст.— У вас есть еще чувство юмора, Гифт. Меня мучают две вещи, с тех пор как я приехал из Индии. В Амритсаре я встретил советскую делегацию. Вернее, я с ней летел из Дели и сначала не знал, что это за люди. Их встретили сикхи так, как будто советские казаки уже поят своих лошадей из озера Вулар. А я стоял, ждал и не мог пройти на вокзал аэродрома, пока они обнимались.

— И вам это очень не понравилось? — спросил Гифт.

— Я был вне себя...

— Напрасно, привыкайте к таким вещам, Фуст. Может быть, вам не нравится и народный Китай?

— Идите к черту!

— Прощаю вашу ярость по отношению к советской делегации и разделяю ее. Дальше!

— В Дели я видел погребальные костры...

— Что вы там искали? Объект для цветного фото? Что же вы там возненавидели? Опять были советские представители?

— Нет, проклятый индеец вытащил из груды мокрой грязи и жженных костей золотой зуб... Вытащил его пальцами ноги... Отвратительно...

— О! — Гифт налил себе второй стакан виски.— Золотой зуб мертвеца — хорошее название для кинофильма? Чем же беспокоит этот золотой зуб? Болит по ночам? Фу, я чувствую, что сказал мерзость...

— Иногда мне всю ночь видится этот индеец и этот золотой зуб, будь он проклят!

— Я сниму с вас это наваждение. Вы устали, Фуст. Это настоящая усталость. Я буду думать за вас, а вы отдыхайте. С чего начнем?..

— Начнем с того, как мы будем спасать Кинка. И, конечно, Чобурна. Это такие же сямские близнецы, как Фуст и Гифт, не правда ли? Красные уже хозяева в Урумчи, и в Кашгаре, и в Яркенде. Наших близнецов загоняют, как коз. Что мы сделаем с вами, Гифт?

— Возьмите карту, Фуст...

— Не надо. Я знаю карту так, будто она все время лежит передо мной. Вы забыли, что я страдал последнее время бессонницей.

— Тогда отыщите вашим духовным оком перевал Ба-

рогиль, он ведет из верховьев долины реки Ярхун в Вахан. Нашли?

— Это тот, что рядом с перевалом Шавитахт!

— О, у вас отличная память! Да, они рядом. Мы с вами пройдем этим перевалом в Вахан и будем продвигаться в район Вахджира. Представляете?

— Представляю,— сказал с закрытыми глазами Фуст так уверенно, как будто он действительно отыскивал на карте названия.— Дальше!

— Дальше, к Вахтжиру выводит тропа по Кара Чокуру из Шагалитика. Уточнять больше нечего. Если они будут живы, они выйдут к нам этим путем. Так, по крайней мере, они сообщили через Улла-хана, который уже отправлен мной в эти края. Если им не удастся этот вариант, они пойдут на юг — в Тибет. Об этом мы узнаем своевременно.

— У них есть радиопередатчик?

— Пока есть...

— Что значит «пока»?

— Вы представляете, что их преследуют и они каждую минуту могут потерять лошадей и должны будут в этих дебрях идти пешком? Какие еще там неприятности у них на пути, нетрудно представить.

— У нас нет радиопередатчика. Очень жаль!..

— Да, очень жаль. Хорош был бы любитель природы и член Гималайского общества, путешествующий в целях познания и совершенствования с радиопередатчиком. Эта роскошь не для нас...

— Но у Уллы-хана есть.

— Есть, все в порядке. Даже если бы и не было радиопередатчика, Улле-хану все известно, на то он Улла-хан.

— Теперь,— сказал Фуст,— закройте глаза вы. Мы с вами едем через Равальпинди, Малаканд, Читрал. По Ярхуну вверх, сколько можем... Там, на Барогиле, будет еще снег...

— Может быть, и нет. Это мы узнаем на месте, в Читрале.

— В этот раз любитель природы, Фуст, известный горный путешественник, и Гифт, специалист по горному дорожному строительству, совершают научно-спортивную экскурсию. Перешагнув через перевал Барогиль, они хотят пройти по горам Вахана и вернуться через перевал Дора в Читрал, чтобы сделать разведку подступов к Тирадьжмиру с целью подготовки первовосхождения на этот семитысячник. Как вам это нравится?

— Мне — очень. Этот маршрут понравится и вам, потому что за Барогилем советская граница так близко, что с помощью бинокля вы кое-что увидите на советском берегу Пянджа. Предмет вашей любви будет перед вами. Скажите, в Лахоре вы хорошо провели время?

— В общем, хорошо. Поручение, о котором вы знаете, я выполнил. Состоялось важное свидание. Последствия этого свидания должны быть превосходными: Захуру конец! Что касается нас, все устроено: у нас будет «додж» с опытным шофером-солдатом, демобилизованным из армии, и с опытным проводником — молодым горцем, уроженцем Читрала. Вы были когда-нибудь в Читрале?

— Нет.

— Я тоже. Но у нас с собой есть обычное горное хозяйство: штормовые костюмы с двойной теплой подкладкой, шерстяные куртки и брюки, ботинки с меховой прокладкой, подшлемники, спальные мешки и два ледоруба. Есть гималайка, она удобна в пути. Нам хватит. Я велел Улле-хану приготовить за перевалом теплые вещи, палатку и продукты, чтобы экспедиция выглядела солидно.

— Вот мы и опять в дороге, доктор. Налейте мне, только не виски. Я хочу попробовать пинджину. Джин там, в той комнате, поищите в шкафу. Мне лень встать, я так хорошо устроился...

Гифт пошел за джином. Потом он закричал из другой комнаты:

— Тут какая-то шкатулка, что в ней?

— Если вы так любопытны, то принесите ее сюда и раскройте.

Гифт появился с бутылкой джина, флаконом хвойной эссенции и коробкой, из которой он извлек миниатюру.

— Это ваша лахорская добыча? — спросил он, налив джин, добавив несколько капель хвойной эссенции, — такая смесь называлась пинджином, — и подав пахнущий сосной напиток Фусту.

— Осторожней, Гифт. Это могольские принцессы, играющие в поло. Им скоро будет двести лет. Это подарок.

— От женщины?

— Нет, Гифт, увы! Кстати, не встретили ли вы в Кабуле очаровательную Элен Ленсмонд?

— Почему она должна быть в Кабуле? — сказал Гифт, рассматривая миниатюру. — По-моему, она не такая старая...

— Кто вам сказал, что Элен старая?

— Я не про Элен, я про миниатюру.

— Миниатюра подлинная, эксперт клялся, что она копия того времени. Правда, эксперты всегда утверждают, за что им хорошо заплатили. Так вы не встретили Элен в Кабуле? Я слышал от кого-то, что ее видели там...

— Нет, ее не было при мне в Кабуле. Она была, по моему, в Индии, я встречал ее в Симле, а где она сейчас, не знаю. Она слишком деловая, такая женщина не для меня... Вы с ней хорошо знакомы?

— Хорошо знаком. Вы ничего не понимаете в женщинах, Гифт, если говорите, что в Элен только деловитость. Я познакомился с ней в Непале и совсем не на деловой почве. Я жил с ней в Кашмире. Это были веселые дни, как раз перед нашим восхождением. Я победил ее раньше, чем Белое Чудо...

— Белому Чуду мы даже не успели объясниться в любви, как уже в панике отступили. Нет, я не встречал Элен Ленсмонд в Кабуле. А Афганистан... что сказать...

В старой доброй стране,
Там я жил, как во сне...

— Когда вы это поете,— сказал Фуст,— мне хочется кусать ближних...

— Почему это вам так не нравится?

— Мне не нравится, что вы начисто забыли всю песенку и поете ужасным голосом бессмысленные строки. Ведь, признайтесь, вы забыли, откуда это к вам пристало?

— Это помогает мне жить... Как родимое пятно.

— Что за чушь! Как может помогать жить родимое пятно?

— Когда смотришь на него, вспоминаешь детство и всякие другие времена. Так и эти строки. Когда я их пою, они меня веселят. Когда у меня плохое настроение, они возвращают мне бодрость, и я благодарен им...

— Я их не выношу, просто не выношу в вашем исполнении! И думаю, их никакой человек не выдержит.

— А они очень понравились одному молодому человеку, хорошей фамилии, с удивительной профессией, что-то вроде искателя черепов, с которым я ехал из Кабула в Лакхор. Это — мое приобретение, которое вы оцените...

— Что я должен оценить? Ваш вкус или ваше знание людей?

— Во-первых, вы оцените мой выбор, так как вас это развлечет; во-вторых, он чрезвычайно законченный пато-

логический тип, и это вам тоже доставит большое удовольствие. Не каждый день попадаются такие цельные экземпляры. Он ярый сторонник мира и враг войны.

Фуст переменял позу и, положив обе ноги на валик дивана, стал искать спички, чтобы раскурить свою трубку. Найдя спички, он сказал, глубоко затянувшись:

— Прекрасно. Дальше вы скажете, что он враг империализма и ярый фанатик-коммунист...

— Нет, этого я не скажу. Это оригинальное научное явление, совершенно не испорченное, как цыпленок, только что вылупившийся из яйца, с наивными до дикости представлениями о действительности. Он говорит, как на уроке в воскресной школе. У него не мозги, а розовые хлопушки с рождественской елки. У него глаза ангелочка и задиристость щенка.

— Почему вы сейчас хотите говорить о нем?

— Потому что я обещал ему, что встретимся еще раз в Лахоре, перед его отъездом в Индию. Если он появится, я хочу, чтобы вы не удивились...

— Я не удивлюсь. Я уже представляю себе это ваше новейшее открытие...

— Он просил меня рассказать что-нибудь экзотическое. Я рассказал ему историю шествия проституток в Карачи с петицией, над которой мы оба смеялись до слез. Он допытывался, кто писал им петицию. И даже думал на меня. Вы знаете эту историю?

— Да, но я не знаю, кто писал эту петицию...

— Ее, сказать по секрету, писал наш общий друг, Асса-дулла-хан.

Фуст засмеялся и выронил трубку. Она упала на пол, и он нагнулся, чтобы поднять ее. Гифт сказал:

— Правда, трудно было бы угадать, что в таком жестоком сердце столько поэзии. Он признался мне в одном загородном доме, когда мы забавлялись, как могли...

— И где вас благодарили эти гурии за то, что вы спасли их для просвещенного человечества...

— О, это были гурии, действительно неистощимые в своей благодарности!

— Еще бы! — сказал Фуст. — А вы грязный человек, Гифт. И вас вечно тянет в какие-то дыры...

— Из которых я вылезаю, чтобы идти с вами в вышину. Это же вы горный специалист, а я только мощу горные дороги. А мой мальчик, которого зовут Гью Лэм, — это ве-

селый молодой человек. В самом деле, если он придет, вы повеселитесь...

Не успел он окончить фразу, как в решетчатую дверь осторожно постучали.

— Как в театре! — отозвался Фуст. — Войдите.

В комнате появился очень аккуратный, предупредительный, легкий, как облачко, румяный молодой человек. Фусту стало ясно, что перед ним Гью Лэм.

Смотря на Фуста, не переменявшего позу, Гью Лэм остановился в нерешительности, смущенный, как будто не видел Гифта, сидевшего у камина.

— Мне сказали, что мистер Гифт здесь.

— Вот он! — сказал Фуст, не делая никакого жеста.

Гифт обнял Гью Лэма за талию и, повернув его к дивану, с торжественностью в голосе произнес:

— Старина, имею честь представить известного путешественника, горного туриста, члена Гималайского клуба, моего друга мистера Джона Ламера Фуста.

Фуст протянул руку, которую Гью Лэм пожал с таким чувством, как будто это был по меньшей мере президент Британского географического общества.

— Это — молодое научное светило Гью Лэм, специалист по антропологии и краниологии — кажется, так? — и мой спутник.

— Да, да, это так, — говорил еще полный смущения Гью Лэм. — О, я очень тронут! Я не помешал вам? Вы, наверное, говорили о будущей поездке?

— О какой поездке? — спросил, насторожившись, Фуст и даже сел на диван.

Смотря на него невинными глазами, Гью Лэм ответил твердо:

— Мистер Гифт говорил мне, что вы с ним собирались в туристическую поездку в горы, кажется, в Кашмир. Или, простите, я ошибаюсь и все перепутал. Я, знаете, часто все путаю. Я знаю, что сказал очень неуклюже... Пожалуйста, я прошу простить меня...

— А, нет, нет, да, да! — сказал Фуст. — Мы говорили перед вашим приходом о небольшой горной прогулке. У меня есть задание одного географического журнала и научного горного общества. Вы знаете перевал Барогиль и гору Тирадъж-мир? — спросил Фуст, пуская клуб дыма из своей трубки в лицо Гью Лэму.

Гью Лэм отшатнулся от дыма, но восторженно глядел на Фуста.

— Я ничего не знаю. Простите, я новичок в этих местах и в горной области. Я слушаю вас. Мне доставляет большое наслаждение видеть такого известного исследователя гор перед началом нового путешествия.

Фуст встал с дивана и прошелся по комнате.

— Вы пьете виски или джин? — спросил он более мягким голосом. — Есть и лимон, есть содовая...

— Пью, — сказал Гью Лэм скромно. — Как-то, знаете, привык и пью. Я не скажу, чтобы мне очень нравилось, и моя жена не поощряет, говорит: «Не пей много, пей — когда хочешь». А здесь, говорят, надо пить для профилактики. Помогает от малярии и от желудочных заболеваний. Но я вас перебил, прошу прощения. Если у вас правда деловое свидание, я могу уйти. Но мне ужасно хотелось после той поездки увидеть еще раз мистера Гифта и познакомиться с вами, мистер Фуст. Мистер Гифт — такой интересный спутник в дороге! Он так хорошо поет одну песенку! Я даже ее вспомнил, правда не всю.

В старой доброй стране,
Там я жил, как во сне... —

спел он нарочно мрачным голосом, подмигнув заговорицки Гифту. Последний стоял у камина и короткими глотками тянул сода-виски.

Фуст съежился и зло посмотрел на Гифта. Гифт ответил на его взгляд смехом:

— Я был прав! Видите, какой чудный мистер Гью Лэм. Ваше здоровье!

— Садитесь, — сказал Фуст и сам сел у стола, против Гью Лэма, налил ему виски, и тот сразу выпил.

По его храброму жесту, в котором был какой-то вызов, почти мальчишеский, Фуст понял, что он отчаянно наивен в самом деле, и сказал вежливо, но колко:

— Правда, вы такой молодой и занимаетесь черепами допотопных мертвецов? Как это вам разрешила мама?

Гью Лэм взглянул на него и решил, что он не должен обидеться, это только шутка, и так же шутливо ответил:

— Но если бы мы не исследовали черепа, мы бы не знали, от кого приходим, и мама мне разрешила этим заниматься, как и ваша мама разрешила вам такое рискованное дело, как горы...

Фуст налил ему еще виски, но Гью Лэм поспешил сильно разбавить его содовой. Он сам начал говорить, не дожидаясь вопросов.

— Вы знаете, это страшно занимательно,— нет, это не то слово! Ну, ведь каждому, даже самому крошечному народу хочется знать, откуда он; в нем живет национальное чувство, и вот он погружается все глубже в древность и вдруг находит подтверждение того, что его герои и боги жили еще в доисторические времена. Но ведь это радость одного крошечного народа, а если великие народы углубляются в поисках прошлого в тьму времен, то какое это захватывающее и величественное зрелище — доисторическое прошлое, лежащее перед глазами современного общества!.. Ведь это наука, разоблачающая суеверие и пережитки религий! Когда какой-нибудь зуб мамонта чтили столетиями как реликвию веры и в Испании он лежал в соборе в Валенсии и его принимали за зуб святого Христофора, святого великана, то ведь в этой наивной вере отражалось народное чувство: народ верил, что если был святой великан, то и зуб у него должен быть большой...

«Черт с его зубом!» — подумал Фуст. Он понял, что снова придет бессонница и этот индеец будет тыкать палкой в сожженные кости...

Фуст, сглотнув и поколотив трубкой о каминную решетку, спросил Гью Лэма:

— Ну, хорошо, но что вам сказала бы ваша наука про меня?

— Про вас? — удивился Гью Лэм. — Но вы не доисторический человек. А вы хотите узнать ваше происхождение? Дайте мне взглянуть на вас. — Он вскочил с легкостью юноши с места и стал вглядываться в Фуста. — Ваши предки, конечно, пришли в Америку из Европы когда-то?..

— Допустим, — сказал Фуст.

— Ваш тип принадлежит к неолитическим долихоцефалам. Ваши доисторические предки были брюнетами. Но климат был в Европе не очень солнечный, их глаза, и кожа, и волосы потеряли черноту, и вы один из тех длинноголовых блондинов, которые населяли Европу, а со временем перекочевали в Америку. Вот что я могу вам сказать: вы длинноголовый блондин.

— С чем я вас поздравляю, — сказал Гифт. — В самом деле, ваша наука серьезна. Я бы даже не сразу выговорил ваши термины. Вы мне назвали в дороге еще какой-то сорт, противоположный длинноголовым...

— А, это брахицефалы! Да, они с широким черепом и плоским коротким затылком...

Фуст засмеялся и спросил, участвовал ли Гью Лэм в войне.

— Нет, я не могу сказать, что я участвовал. А вы участвовали, конечно?

— Мне пришлось сражаться в Азии. И я видел там так много брахицефальных черепов, что это доставило бы вам научную радость, Гью Лэм.

Гью Лэм сделал гримасу отвращения.

— Причем тут научная радость? Это варварство — давать колоть свои черепа разным осколкам из стали, лучше уж исследовать их целыми, чем в кусочках. Нет, война не радость для ученого! Очень жестокая вещь война. Мир выродится окончательно, если будут так жестоко истреблять народы.

После второго стакана, хотя и сильно разбавленного содовой, он заметно захмелел, и краска залила его щеки. Он говорил, поводя в воздухе рукой, точно был на трибуне и перед ним были невидимые слушатели.

— Благородство исчезает в войнах,— сказал он.— Мне, когда я был юношей, рассказывали дома про моего родственника, который потопил сам себя и стал героем...

— Слушайте, Фуст, сейчас наш малыш будет читать что-то интересное, вроде лекции Армии спасения. Это было в доисторическое время?

— Нет,— сказал Гью Лэм,— это было во время войны, я забыл, какой год, но американцы воевали с испанцами на острове Куба. Я все помню...

— Это было в девяносто восьмом году прошлого столетия,— сказал Фуст, снисва наливший себе виски.— Да, мы слушаем.

— Крейсер «Мерримак»... видите, я помню... Потом...

— Ну, и что случилось с этим крейсером?

— Подождите, не перебивайте меня! Надо было закупорить выход из гавани, чтобы испанский флот не мог выйти в море...

— Значит, крейсер должен был сыграть роль брандера. Я что-то смутно припоминаю...— сказал Фуст.

— Брандеры я знаю, а гавани так запирали не раз, но дело не в этом,— горячо возразил Гью Лэм.— Вызвались добровольцы затопить крейсер и под огнем повели его к месту, где он должен был потонуть. Он был нагружен железом и обвешен торпедами. Испанцы стреляли из всех пушек, но попасть они не могли, может быть, не хотели попасть, кто их знает. Наши взорвали «Мерримак», он пошел

ко дну, а наших сбросило взрывом в море. Они, поймав лодку, стали грести к своим, но пули так свистели, что было ясно: до своих не дойти. И они направили лодку прямо к испанскому адмиральскому кораблю. Их встретили так, точно они были испанцы и герои. Сам адмирал встретил их, жал им руки, поздравлял их с удачей военного предприятия, с подвигом. Он послал на американскую эскадру офицера с письмом, заверяя, что с пленными будут обращаться хорошо. И, как ни странно, с ними обращались хорошо. Но, конечно, американский адмирал послал президенту в Вашингтон телеграмму, где писал: «Я закупорил Серверу». Сервера был испанский адмирал. Это было верно, что Серверу закупорили, но не адмирал, а семь моряков, в том числе был мой предок. Так благополучно воевали в те времена. А теперь одни ужасы. Я видел Лондон сразу после войны. Это страх что такое! Сколько убили детей, женщин, стариков! Нет, это никуда не годится... Вот там, с «Мерримаком» было рыцарство, было мужество... Но,— тут он перевел на Фуста свой взгляд, который просветлел и снова стал восторженным,— но благородство живет сегодня в тех, кто борется с природой. Я восторгаюсь вами: вы восходите на горы. Расскажите про ваше восхождение. Я никогда не слышал, как настоящие герои-восходители рассказывают о своем подвиге.

Фуст сказал:

— Но это тоже война...

— Пусть война, но не так, не так, как с людьми...

— Под горой иногда интересней, чем на горе,— сказал Гифт.— Это верно... Сегодня хороший вечер.

В старой доброй стране,
Там я жил, как во сне...

— Да перестаньте, Гифт! — прервал его Фуст.

— Расскажите, пожалуйста,— просил Гью Лэм,— я никогда не слышал.

— Ну, слушайте, и пусть не прерывает меня Гифт своей дурацкой белибердой. Вы знаете гору Белое Чудо? Она находится в Каракоруме. Туда была снаряжена специальная экспедиция. Ее целью было восхождение на этот восьмитысячник.

Пропустив мимо ушей название горы, Гью Лэм весь превратился в слух. Он смотрел в рот Фусту, который рассказывал сухо, документально о порядке подготовки и

первых днях в главной базе, и эта сухость рассказа сильно действовала на Гью Лэма.

— Гора возвышалась над нами, как дьявольская пирамида, разрезавшая своей острой вершиной темно-синее, почти фиолетовое небо.

— Как это красиво, продолжайте! — прошептал Гью Лэм. — Я почти вижу, как вы стремились вверх, черные фигурки на белых снежных полях, среди ледников...

— Мы рубили ступени и вешали веревочные лестницы, чтобы наши носильщики, эти упорные, дикие и бесстрашные горцы из Хунзы, могли заносить припасы из нижних лагерей в верхние. Это был большой труд, ежедневный, выматывающий, когда все падали в изнеможении и снова шли, лезли по отвесу, перелезали через скалы, которые обваливались под нами. Бывало, что мы не могли найти, где поставить ногу, и бывало, что лавины, оглушая нас грохотом, проносились рядом, и долго еще дрожало эхо от удара вниз о ледник их тяжелой массы.

— Как вы рассказываете! Это как симфония! — говорил Гью Лэм, сжимая пальцы.

— Так было день за днем, и все выше и выше поднимались наши палатки и лагерь. Мы их перенумеровали. Их было уже восемь. Мы перешагнули черту заветной высоты, до которой доходили наши предшественники. Нас ослеплял снег, кули задыхались от недостатка воздуха, а мы...

— А вы все шли вперед! Ну разве это сравнишь с войной?!

— Но гора воевала с нами. Она бросала в нас камни, посылала лавины, выставляла туманы, такие густые, что в двух шагах ничего нельзя было видеть, метели заматали нас так, что нас приходилось откашлять. И вот уже основан, как я сказал, восьмой лагерь. И нас было только я и еще мой друг и три носильщика. Остальные были в нижних лагерях, все больные, и они не могли продолжать подъем... Мы подымались и падали в снег, ползли, снег залезал нам в уши, в рукава, но упорство, бешеная энергия, злоба против горы толкали нас вперед...

— Вы герой, настоящий герой! — воскликнул Гью Лэм. — Я хочу выпить за ваше здоровье. Налейте мне, милый Гифт, пожалуйста! Благодарю вас. — Он выпил еще виски, и теперь ему казалось, что он сам в снежном тумане поднимается по льду, по стене, вбивает крюки, ведет веревку, подает ее товарищу. — За ваше здоровье! Только вперед!

— Подождите! — сказал громко Фуст. — Что вы понимаете! Знаете ли вы, что такое ночи на такой высоте? Каждая такая ночь стоит пяти лет жизни.

— Я молчу! — испугавшись этого окрика, пробормотал Гью Лэм. — Я все слышу, говорите...

— Погода ухудшалась. Мы не рассчитали с запасами. Вернулись в восьмой лагерь, и мой друг заболел. Он не выдержал: высота победила его. Он лежал и стонал. Но уйти вниз — значит отказаться от победы. Я взял носильщиков, мы пошли снова, захватив припасы из лагеря восемь. Снова на нас обрушилась метель, мы вернулись в лагерь восемь. Наутро мы шли опять на штурм; каждый штурм стоил нам таких сил, что мы уже не походили на людей. Наши лица почернели и потрескались, хотя мы были в масках. А он, наш друг, лежал без сознания и бредил. И наконец, когда я снова погнал кули вверх, они показали мне пустые ящики и мешки: запасов больше не было. Путь наверх был закрыт. Тогда я сказал другу, который пришел в себя, но идти не мог, что мы не можем спустить его, так как сами ослабли: мы уйдем за пищей и вернемся к утру за ним.

— Да, да, вы так ослабли, — прошептал Гью Лэм, — я понимаю!

— Мы спустились до седьмого лагеря. Там не было ни палаток, ни продуктов. Мы спустились к шестому, пятому лагерю — все было пусто. Потому что, как выяснилось, не получая сведений из верхнего лагеря в течение пяти дней, остальные решили, что надо прекратить осаду горы и вернуться вниз, на базу...

Гью Лэм нахмурил лоб. Он чего-то не понимал. Он чувствовал, что опьянел и что ему надо что-то спросить, обязательно спросить. Он смотрел на Фуста, который выпил достаточно; его суровое лицо было возбуждено.

— Что же сделали вы? — спросил наконец Гью Лэм. — Вы поднялись и спасли вашего друга?

— Мы пошли к нему, я решил во что бы то ни стало добраться к нему. Голодный, изнемогая, я хотел идти туда, но кули сказали, что они пойдут в базовый лагерь, возьмут еще теплой одежды для больного и продукты. Они ушли. Потом они вернулись ко мне, и я пошел с ними наверх. Но метели преградили нам путь. Мы добрались до шестого лагеря, и тут я сам упал. Сил моих больше не было. Снизу никто не пришел. Я попробовал идти еще раз. Ничего не получилось. Погода ухудшалась с каждым днем. Горцы, несколько самых сильных, сказали, что пробьются, чтобы

спасти его. Они ушли. Я их отговаривал, уверял, что это чистое безумие, но они ушли...

— Они ушли! — повторил за него Гью Лэм и огляделся, как будто сидел не в комнате и не видел Гифта, который, не проронив ни слова, молча следил за рассказом, готовый где-то вставить свои слова, но рассказ пришел к концу.

— Они ушли, больше их никто не видел. Я приказал свернуть экспедицию, и мы ушли все от этой горы. Мы должны были или все погибнуть, или оставить наши напрасные попытки. Мы вернулись на основную базу.

Гью Лэм сидел с недоумевающим лицом, как человек, потерявший нить рассказа и тщетно пытающийся восстановить эту прерванную связь. Но его волнение было таким сильным, что он даже провел несколько раз рукой по голове, потом все как-то прояснело перед ним, и он спросил:

— Как звали вашего... ну, который там остался?

— Это был доктор Найт, химик.

— Что? Как доктор Найт?! — почти закричал в каком-то ужасе Гью Лэм.

Молчаливый Гифт подвинулся к нему, рассматривая его так, точно видел первый раз.

— Так, доктор Найт, химик. Это вам что-нибудь говорит?..

— Как говорит, как говорит! — задыхаясь, шептал Гью Лэм: ему не хватало голоса. — Джордж Найт — это мой двоюродный брат. Нет, вы сочинили это!

— Я ничего не сочинял. Это известно и даже было в печати.

— Да, конечно, — сказал Гью Лэм, проводя рукой по лицу, точно снимая с себя паутину, которая ему мешала смотреть. — Джордж Найт. Он так погиб. Хороший человек, хороший ученый! Если бы вы знали, как плакала его невеста!.. Она хотела покончить самоубийством. К чему я это говорю?..

— Подождите, Гью Лэм, — сказал Гифт. — Разве вы не знали, как он погиб?..

— Нет, я не знал. Я знал только от его невесты, что он погиб в горах. Несчастный случай... Я не знал... Но я чего-то не понимаю.

— Чего вы не понимаете? — сказал Фуст, ставший бледным и злым.

— Как же так? — Гью Лэм сделал попытку приподняться. Он встал и, держась за стол, бессмысленно смотрел

на стену.— Как же так?.. А, я начинаю понимать!..— Он посмотрел теперь с каким-то петушиным задором на Фуста.— А, я все понимаю теперь! Вы бросили его умирать. И только эти честные горцы пошли его спасать,— и они погибли. Я теперь все представляю. Он погиб на Белом Чуде. О, как вы меня напоили!.. Ничего! И вы, вы были там рядом...

— Горы — суровое занятие, и там человек всегда между последней победой и последним поражением,— сказал мрачно Фуст.

— Это красиво, да, да, то, что вы сказали! Но это не так! Вы бросили его одного, одного, и он умирал, он ведь, вы сказали,— Гью Лэм странно протрезвел,— он ведь очнулся, он, наверное, кричал, и вы слышали его крики, и вам было все равно! И вы ушли... Но ведь так не поступают настоящие люди! Так поступают... Нет, я не скажу! Я хочу только, чтобы вы признались мне, что вы его бросили. Вы, может быть, трусили? Но как же это так? Разве эти нищие дикари, эти горцы, храбрее и сильнее вас? Почему они пошли? И они погибли... Вы бросили и их... Бедный Джордж, бедный Джордж, в какую ловушку ты попал! Боже! Боже!

Он сел за стол и заплакал. Слезы текли по его лицу, и он размазывал их, как ребенок, он вытирал руку о пиджак. Он смотрел какими-то округленными глазами, и слезы катились из этих глаз; и казалось, что все внутри него содрогается...

— Дайте пить!..

— Вы пьяны! — сказал, с брезгливостью отодвигая бутылку, Фуст.

— Да, я, может быть, пьян,— вдруг ясно сказал Гью Лэм и встал. Видно было, что он основательно пьян, но какой-то штурман все же управляет этим пострадавшим кораблем.— Белое Чудо! — сказал он, остановившись у стены.— Как странно, как странно! Но вы не имеете права обманывать нас, людей, которые верят в ваши подвиги! Скажите мне: за что вы его убили, он мешал вам, может быть, в чем-нибудь? Ведь вы были там один с ним, и помощники погибли... За что вы его убили?

— Вы сошли с ума! — крикнул Гифт, который хотел взять его за рукав, но Фуст остановил его жестом и сказал:

— Не трогайте его. Послушаем еще, что скажет этот веселый молодой человек, по мнению некоторых...

Гью Лэм сделал несколько шагов по стене и зацепился за ледорубы, которые упали с грохотом. Он поглядел на них, как на неожиданное препятствие, потом нагнулся, шатаясь, поднял их, прислонил к стене, повернулся к Фусту и сказал ему, икая:

— Вы, вы убийца! Да, это ясно!..

Тогда разъяренный и все еще державший себя в руках Фуст, чувствуя, что пьянеет от ненависти к этому слабому человечку, подошел и встал перед ним, говоря сквозь зубы:

— Тише, прежде всего тише! Не орите так, точно с вас здесь снимают шкуру! Я хожу по горам, как хочу, с кем хочу. Я делаю в них, что хочу. И меня никому не остановить. А кто станет мне на дороге, тому лучше этого не делать! Понятно? И пить вам нужно меньше,— сказал он уже не так напряженно, чувствуя, что лоб его в поту и пот стекает по шее.— Ваша жена права: меньше надо пить. Вы жалкая, дрожащая обезьяна, когда вы говорите о вещах, которых вы не знаете и от которых у вас дрожат в страхе колени! И говорите спасибо, что ради вашего двоюродного брата, Джорджа Найта, моего бедного друга и героя, я не связал вас в узел и не выбросил прямо на улицу!

Гью Лэм, выпятив недоумевающие губы, молча шел к двери, но в последний момент, как будто просветлев, сказал тихо и почти примирительно:

— Поезжайте в эту вашу прогулку. Я хочу, чтобы эти люди, родственники тех кули из Хунзы или — неважно откуда, черт их возьми! — кто-нибудь из этих туземцев сломал вам шею в тех горах, куда вы едете делать... ваши... дела!

Решетчатая дверь закрылась за ним. Фуст и Гифт стояли и слушали его тяжелые шаги по галерее. Они затихли. Он, по-видимому, дошел до лестницы и стал спускаться во двор, на котором опять была тишина, не шелестели по песку машины, никто не шумел. Деревья стояли, как окаменелые, люди в комнате тоже.

Потом Фуст налил себе еще джину, выпил и после мимолетного молчания сказал обыкновенным, даже скучным голосом:

— Веселый молодой человек, очень веселый молодой человек... Ну что ж, повеселились, как могли... Вы с ним очень откровенничали, Гифт?

Гифт сказал виновато и растерянно, но, стараясь скрыть это, тоже равнодушным голосом:

— Как может быть откровенен строитель горных дорог, который никогда их не строил, с человеком, выпавшим из музея восковых фигур и верящим всему и всему до слез удивляющимся?

— В следующий раз будьте осторожней, Гифт, осторожней в своих человеческих находках. Я знаю, это ваша слабость. Я сам могу теперь, чтобы развеселить вас, спеть этот дурацкий куплет:

В старой доброй стране,
Там я жил, как во сне...

Не живите во сне, Гифт! Это вам будет стоять слишком дорого.

Гифт пожал плечами и сел за стол. Он барабанил по столу непонятный Фусту мотив и сказал примирительно:

— А все-таки он прелюбопытен...

Фуст сразу зло отозвался:

— Вот такие прелюбопытные и есть наши массовые, неуклонные, мрачные противники, из которых вербуются так называемые сторонники мира. Из вашего краниолога это так и прет. Очень прелюбопытно и столь же отвратительно! Я запишу его имя на всякий случай. Давайте примем душ и будем всерьез готовиться в путь. Надо выехать перед рассветом, еще затемно, до жары!

Глава десятая

Фазлур сидел в «додже» рядом с Умар-Али и наслаждался ранним, свежим утром. Он жадно вдыхал тончайшие запахи, какие посылала земля. В это переходное время зной еще не завладел Пенджабской равниной, и ветерок, который, как хотелось думать Фазлуру, веял с его родных гор, этот чистый и освежающий ветерок, рожденный на ледниках, проносился над дорогой и заставлял чуть шелесть старые тамаринды, чинары и тополи, росшие вдоль дороги, шевелил траву, и цветы начинали пахнуть как-то особенно ароматно.

Путники то въезжали в глубокую котловину, где их обдавало теплое дыхание, в котором чувствовалось приближение невыносимо жарких дней, то снова выносились на ровный простор дороги. По ней, несмотря на ранний час, двигались крестьянские повозки, проносились грузовики, набитые тюками, оплетенными проволокой, и ящиками в три этажа; шли полусонные пешеходы, и, легко перебирая

тонкими ногами, шагали вьючные ослы; ехали закрывшиеся с головой всадники. Дорога жила своей пестрой жизнью, и те, кто заночевал на ее обочине, вставали, разминали руки и ноги и, поживаясь от утренней прохлады, грелись у маленьких костров, на которых догорали сухие ветки и палые листья, испуская голубоватый дымок, вившийся в воздухе, как знаки неведомого алфавита.

Фазлур необычайно хорошо чувствовал себя в утреннем, обновленном мире. Он ехал в родные горы, домой. Он смотрел на бегущий по сторонам знакомый пейзаж, и ему хотелось кричать и петь от избытка молодых сил.

Ему нравилось все: безоблачное, уже начинающее бледнеть от зноя небо, в котором плавали коршуны; поля и холмы; тяжелые, высокие деревья у дороги с их густыми навесами листьев. Из глубины этих зеленых пещер порой вырывались, блеснув на солнце гладкими, скользкими крылышками, светло-зеленые попугайчики, с тонким криком пересекавшие дорогу от дерева к дереву. Сидевшие у дороги маленькие серые, с черными полосами на спинах, тупайи — зверьки, похожие на больших белок, — загнув пушистый хвост, грызли орешки, смотря на дорогу своими темными выпуклыми глазами.

А главное — ощущение пути.

«Почему я люблю дороги? — думал Фазлур. — Я люблю эти прямо направленные дороги Пенджаба, пересекающие великую равнину среди полей и рощ; и дороги, идущие к горным перевалам, где пахнет сухими травами и камни голые, как в пустыне; и дороги, вьющиеся по скалам, уводящие все выше и выше, через луга, где трава достигает человеческого роста, где видны снега, лежащие на плечах серых громад, где все радует глаз и сердце, а переброшенные через гремящие реки шаткие мосты привычны с детства.

Это не простые дороги. Куда они ведут людей? Останови и спроси каждого, кто в пути, и ты услышишь разные рассказы, — такие же разные, как характеры и судьбы этих людей. В этот день, напоенный всеми ароматами мира, когда цветы похожи на царские драгоценности, а небо — на верх голубого шатра, покрывшего зелень лугов, молодость имеет свое особое право остро чувствовать, что цветущий мир говорит с ней на понятном и чудном языке».

День расцветал, как большой, пышный, душистый цветок, и Фазлур вспомнил рассвет, вернее — тот сумрачный, шафранно-серый час, когда птицы еще не поют, а люди не

проснулись. Он уговорился, что Умар-Али заедет за бензином и, пока он будет брать его, Фазлур встретится с Нигяр в тени старого орехового дерева.

Нежная и безумная в своей смелости Нигяр! Она пришла, и они простились. Им были видны стоявший на дороге «додж» и американцы, расхаживавшие по краю канавы; над ними склонялись темные ветви старого ореха, которые их закрывали от дороги, и жасминовые кусты полны были одуряющего и колдовского запаха. Щеки Нигяр и ее душистые волосы пахли жасмином, так же как серебряные подвески ожерелья на теплой шее. Глаза ее, сиявшие в полумраке, давали такую силу, что он мог перевернуть машину вверх колесами, если бы она приказала ему это сделать.

Нет, жизнь прекрасна, и начинать так день — счастье! Он вспомнил сразу же и того человека, ради которого он не пожалел бы своей жизни, — Арифа Захура. Захур в безопасном месте, ушел от своих преследователей. И сразу же перед ним мелькнули широкие темнотушные лица братьев-железнодорожников Али и Кадыра и неутомимой тетухи Мазефы.

В это время Фазлур прочел надпись на столбе, гласившую, что они уже приехали на родину славного Ранджита Сингха¹ — в город Гуджранвал.

Тут Фазлуrom овладел демон смеха. Он фыркал, как шакал, проглотивший кусок мяса с перцем. И было отчего смеяться. Он представил себе, как шпион, в женском платье, избитый и исцарапанный, связанный по рукам и ногам, ничего не понимая, лежал на угольной платформе и как он окажется в Гуджранвале. Он не удержался: смех молодого горца был звучен и искренен.

Гифт сказал ему:

— Что ты смеешься? Скажи, и мы хотим смеяться, если это действительно смешно...

Фазлур неожиданно для себя понял, что отныне он не может быть искренен с этими чужими ему людьми, потому что не может же он им рассказать о том, что произошло перед отъездом, и про шпиона, смотрящего на звезды и барахтающегося на своем неудобном ложе.

Рассказать можно про звезды, но не про него. И Фазлур рассказал им совсем другое, напустив на себя вид глу-

¹ Ранджит Сингх (1780—1839) — один из правителей Пенджаба, способствовавший укреплению сикхской монархии, талантливый полководец и организатор.

поватого горского парня, который слышал в детстве много удивительных историй от своих дяди и тети или от старого деда.

— Я сейчас увидел медвежью шкуру, лежавшую на земле, ее, видно, продают, и вспомнил, как у нас в горах лисица надула медведя. Раз он сказал лисе: «Как бы так близко увидеть звезды, чтобы можно было их хорошо рассмотреть?» — «Стой внизу, — сказала лиса, а я попробую достать их. И он ждал под скалой, а она влезла на скалу, выбрала здоровый камень и бросила его медведю на голову. Он упал и чуть не умер от боли и страха. Она спустилась вниз и стала хлопотать около него. Когда он пришел в себя, лиса притворно захныкала: «Ох, и трудно мне было сорвать звезду. Вот я всю лапу обожгла. Ну, рассмотрел ли ты ее поблизи?» — «Я видел столько звезд сразу перед собой, — сказал, охая, медведь, — и скажу тебе только одно: они очень тяжелые и крупные. Когда звезда ударилась о мою голову, она разбилась на множество звезд, но их невозможно было рассмотреть подробно, так быстро они погасли...» И он поблагодарил лису, что она по-дружески исполнила его желание... Она же сказала: «Ты теперь единственный в мире медведь, который видел звезды близко». И он всем потом с гордостью хвастал, потому что наши горные медведи глупые.

Гифт посмеялся и ничего не сказал. Тут Фазлур вспомнил, как Нигяр говорила о том, что по слову Фуста должны были немедленно арестовать Арифа Захура. Но какая связь между писателем и поэтом, пакистанцем, и этим путешествующим для своего удовольствия американцем? Почему Фуст заинтересован в том, чтобы Захура посадили в тюрьму?

Фазлур не мог найти этому объяснение. С ним ехали два человека — туристы, каких много видел Фазлур в Пакистане, у чьих палаток он не раз сидел, разговаривая с их проводниками. Эти люди, имевшие деньги, палатки, много ящиков с консервами и много слуг, ухаживавших за ними, за их лошадьми и ослиами, тащившими выюки, были все похожи друг на друга. Эти были такие же, как и все. Они курили свои трубки, говорили о пустяках, останавливали часто машину там, где им нравилось. Один фотографировал, другой записывал все, что им казалось интересным. Это были не осы — это были пчелы, собиравшие свой ученый мед по капле. Пчела не может убивать — она собирает мед. Так они собирали научные сведения, чтобы потом

люди подробно узнали про страну, по которой они путешествовали. И лица у них были серьезные, у Фуста даже чуть грустное, а у Гифта беглый, не очень хороший взгляд, но это, может быть, от излишней нервности.

Нет, Нигяра ошиблась! И лучше не думать сейчас об этом. Вот жаль только, что с ними нет Азлама. Ах, как он рвется к знанию! Сколько он читал, как он понимает все в свои четырнадцать лет! Вот ему бы понравилась эта дорога, так плавно уносящая на север. Надо дышать этими последними днями перед наступлением жаркой и душной погоды, которая иссушит поля и вместо голубого неба повесит ржавые дымные завесы зноя и приведет пыльные бури.

Хорошо ехать по этой длинной дороге; конец ее потянулся где-то, а на душе такое спокойствие, какого нельзя приобрести ни за какие богатства.

Правы эти любопытные иностранцы, которые вылезают из машины и хотят все заснять, чтобы потом у себя дома вспомнить этот солнечный день и эту неповторимую дорогу!

Все на ней так интересно, так запоминается! Хорошо постоять у деревенского колодца, где работяга буйвол, темно-фиолетовый, как будто сделанный из старой замши, все тащит и тащит из черного мрака колодца сосуды, откуда льется холодная и прозрачная вода... Сидит женщина с тыквообразной металлической посудой. Другая держит на плечах медный кувшин, разговаривает с первой о том, что она видела сегодня во сне. Дети полощутся рядом в лужах, крича пронзительно, как попугайчики, что перелезают через дорогу из одной зеленой кущи в другую. Небо нежно-голубое, земля зеленая, все люди в белом. Тепло и привольно. Хорошо у колодца!

Проехали дома, светлые и чистые. У их стен растут тополи и кипарисы; видны цветы на лужайках, дорожки, по краям которых в кирпичных загородках новые посадки, откуда уже торчат бледные пока, тонкие, как хворостинки, деревца.

Пробегают вода канала. Над ним ивы и тополи, и даже пальма распушила свои узкие и тонкие зеленые молодые листья. В воде стоят цапли; другие стоят над ними на тонкой бамбуковой жердочке, и их расплывшиеся безголовые, одноногие отражения, повисшие в воде, очень забавны.

Проезжает крестьянин в таком экипаже, которому, наверное, пять тысяч лет,— ни в одной стране подобного не

найдешь! Два тяжелых маленьких деревянных колеса. Через среднюю часть их проходит ось, скрепленная железными болтами. Возница сидит на маленьком круглом сиденье, подобрав ноги под себя. Два быка везут это сооружение, которое со скрипом движется меж грузовиков и легко бегущих тонг.

— Это я видел в музее, — говорит Фуст, — это из эпохи Мохенджо-Даро... Дайте я его сниму...

И он снимает не пошевелившегося даже крестьянина, точно приклепанного к своему месту. Быки трясут головами, отгоняя больших оранжевых мух.

Сколько людей на дороге! Идут гуськом девушки, неся на голове круглые узлы, идут старые крестьяне, споря о чем-то и размахивая на ходу руками, бредут толпы рабочих, переходящих на новую работу, и проезжает в шарабане помещик или управляющий богатым имением, и его заспанные глазки лениво окидывают дорогу, не находя ничего, что привлекло бы его внимание.

Бродячие торговцы и их слуги, гоня перед собой тяжело нагруженных ишаков, деловито обмениваются торговыми новостями. Перед группой крестьян, сидящих у дороги, фокусник показывает свое искусство. Женщины, стоя позади мужчин, жадно следят за веселым и живым фокусником и его ловко взлетающими руками.

Длится день, и показываются все новые прохожие, как будто где-то прорвался мешок и оттуда высыпались все эти маленькие фигурки, которые, появляясь на горизонте, растут, равняются с машиной и снова становятся маленькими. И уже невозможно рассматривать их каждую отдельно, уже невозможно думать о каждой.

Теперь только случайные, вырванные из этой бесконечности впечатления останутся в памяти, все остальное сотрется, превратится в клочок облака и исчезнет, как исчезнет из памяти этот день, такой же, как был вчера и как будет завтра.

Мелькают, возникая в более густой зелени, небольшие городки. Квадратные белые постройки, стены садов, плоские крыши. То, что дома стоят на холмах и возвышаются друг над другом, наводит на мысль, что их нарочно строили так, чтобы не было унылого однообразия вытянутых в струнку маленьких скучных зданий. Так, перемешавшись, они кажутся живописными и чистенькими. Зелень деревьев очень идет к их белым стенам.

Глаз вырвет из пестрой светотени то совсем молодую женщину с черным лицом, волосами жесткими и смоляными, прижавшую к груди голого маленького ребенка, о чем-то горько плачущего; то мальчика, одетого в желтую рубашку, держащего цветок и попирающего черепаху, которая равнодушно посматривает из-под его ноги на все окружающее; то двух девочек в розовых длинных штанах и белых рубашках, держащих маленького мальчика, обняв его с двух сторон; то яркое видение базара.

Базар обдает всеми своими запахами. Брызжет горячий жир на сковородках, зеленые и желтые, резко пахнущие сласти лежат на блюдах, пахнет поджаренным луком, и чесноком, и кизячным дымом, и всеми соблазнами плова и шашлыка, струящимися в жарком воздухе. Какие-то непонятные клейкие запахи присоединяются к другим и останавливают людей, невольно направляя их мысли в одну сторону: не пришло ли время подумать о своем желудке?

Посреди такого базарного оживления шел совершенно голый человек. Фуст остановил машину.

— Он как реклама шоколадной фабрики, — сказал Гифт. — Что это может быть? Охотник, — он так называл Фазлур, — ты не знаешь, почему он разгуливает таким красавцем?

Фазлур сказал:

— Есть такая секта. Они дают клятву не носить одежды. Они здорово экономят на этом, но ночью ему должно быть прохладно.

Фуст подошел к голому человеку, глаза которого не смотрели по сторонам, а были устремлены куда-то вдаль, и сфотографировал его дважды. Голый человек прошел мимо, не обращая никакого внимания на Фуста. Фуст уже хотел садиться в машину, но тут увидел большой, пестро раскрашенный автобус, где пассажиры торчали из всех окон, а на крыше его сидели люди поверх свернутых войлоков, ящиков, маленьких сундуков и тюков.

Пассажиры ждали отъезда и кричали шоферу. Он появился на пороге апшаны и, жуя лепешку, прошел через улицу, сел на свое место и сразу так резко повернул, что автобус занесло и его край повис над арыком, куда он мог немедленно свалиться.

Пассажиры — и те, которые видели опасность, и те, которые сидели глубоко внутри и не видели ее, — все кричали громко и разное, и только шофер сохранял полное спокойствие.

— Сейчас будет авария, — сказал Фуст, — мы получим эффектный снимок.

Он зашел с той стороны, с которой автобус должен был рухнуть в арык. Пассажиры продолжали кричать, но никто не делал попытки покинуть автобус. Люди, наблюдавшие со стороны, тоже не предпринимали ничего и стояли как незаинтересованные посторонние.

Шофер сделал еще усилие, автобус накренился, весь затрещав, потом переднее колесо вышло из опасного положения, и он со скрежетом, так что в нем содрогнулась каждая гайка, выровнялся. Теперь все кричали от радости.

Фуст сказал разочарованно:

— Жаль, я приготовился к интересному снимку. Но, может быть, теперь занесет задние колеса...

Но задние колеса не занесло. Автобус тронулся в путь, и шум, который производили его пассажиры, шел впереди него. Да и сам он трещал и скрежетал достаточно.

Снова струилась дорога. Странники сидели под смоковницами, пережидая полдненный зной, собаки лежали, высунув языки.

Проезжала длинная свадебная процессия. Шоссе шло вдоль железнодорожной насыпи, и когда поезд нагонял машину, чувствовалось, как там, в душных, нагретых вагонах, нечем дышать, как волна горячего ветра врывается сквозь решетчатые ставни окон, пыль садится повсюду.

Проезжали маленькие станции, обставленные глухими стенками; на платформах толпились в ожидании поезда люди с мешками, с железными сундуками, раскрашенными большими яркими цветами, со связками старых одеял и тюками с неизвестным содержимым.

Две красивые девушки долго смотрели вслед Фазлуру. Одна была в очках от солнца, в черном сари, другая в белом. Фазлур сказал себе: «Как день и ночь — эти девушки. Они, наверно, нарочно оделись так, чтобы на них смотрели...» Но спросить их об этом уже было нельзя. Машина шла дальше, и скоро маленькая станция исчезла на горизонте, как и многое, что они встретили в пути.

Теперь было уже время, чтобы где-нибудь закусить, и американцы выбрали место в роще, где стояли старые длинноволосые ивы; там, на траве, они сидели и ели. Чуть выше них, на склоне зеленого холма, устроились Умар-Али и Фазлур. Сидели долго, ели не торопясь, пили чай из термоса, курили и разговаривали, наслаждаясь отдыхом и великолепным местом. Фуст с трубкой, полулежа, вниматель-

но наблюдал за Фазлуром, сидевшим с Умар-Али. Он спросил:

— Фазлур, из какой ты семьи на севере?

Фазлур ответил не задумываясь:

— Мой отец служит управляющим у богатого помещика. Кроме того, он всегда сопровождает в горы знатных путешественников, так как он служит гидом, знает хорошо горы и превосходный охотник. Он знает не только Читрал, но и Сват, и все места до Хунзы. И даже дальше.

— Значит, ты богат, Фазлур?

— Я живу, — сказал Фазлур, — мое богатство при мне. Я молод, значит, я богат.

— А что ты хочешь от молодости? — спросил Ги́фт, хитро смотря на Фазлура.

— Что я хочу от молодости? Я хочу хорошо, весело жить, любить девушек, петь песни, много видеть...

— Молодость везде одинакова, — сказал Ги́фт. — А вера? Ты веришь во что-нибудь?

— Во что мне верить? Мне и так хорошо...

— А что такое твоя страна?

— Моя страна — Пакистан, вы же видите ее... Вот она — кругом...

— Нет, — сказал Фуст, — я говорю не о всем Пакистане, я спрашиваю о Читрале.

— Читрал... Там я родился. Это хороший край. Там очень красиво. Большие горы. На них снег и лед. Много ручьев. Сосновые леса есть внизу, вверху нет. Очень хорошо у нас в горах. Вот вы увидите...

— А какая у вас там охота?

— У нас есть шану — горный козел, козы, горные индейки... медведи есть, волки, олени.

— А девушки хорошие у вас? — спросил Ги́фт. — Ты женат, охотник?

— Я не женат. А девушки и женщины у нас такие красивые, что в другом месте не увидите. Волосы у них длинные, мягкие, как шелк. По горам бегают, как козы. Храбрые и сильные. Очень хорошие девушки.

— А кто же вами правит?

— У нас свой управитель — мехтар; он сейчас совсем молодой. Титул мехтара у нас давно, я даже не знаю, с какого времени. Но мы входим в Малакандское агентство. И, кроме мехтара, есть вазир, который приезжает из Карачи, чтобы все вопросы разрешать вместе.

— А вы богато живете? — спросил Фуст.

— Наша семья — богато. У нас есть и скот, и земля, и сады фруктовые, а вообще народ живет не очень богато, потому что горы кругом. Земли мало. Яблоки разводят, абрикосы, тутовые деревья. Пшеница растет и просо, у кого и ячмень. Горох еще выращивают. Как придется — год на год похож не бывает.

— А лошади есть? — Гифт спрашивал очень обдуманно и всякий раз смотрел в лицо Фазлур.

— Лошадей в Читрале очень мало. Ишаков много. Их везде много, — добавил он, улыбаясь.

— А народ добрый, гостей любит? — снова задал вопрос Гифт.

— Народ наш очень гостеприимный. Вот вы увидите. К нам ездят многие. Танцы наши смотреть, песни слушать. У нас поют хорошо, вот вы услышите...

— Надо ехать, — сказал Фуст, вставая, и все отправились к машине.

Американцы ушли вперед, и Фазлур не слышал, о чем они быстро говорили, причем Фуст смеялся, а Гифт что-то серьезно доказывал. Фазлур шел с Умар-Али, который всю дорогу был молчалив, как глухонемой. Он молча откупоривал бутылки, молча открывал консервы, резал хлеб и холодное мясо. Он отвечал: «Я сейчас сделаю!» или «Все сделано!»

Фазлур поглядывал на него, заинтересованный его нарочитой молчаливостью, потому что и в машине они не разговаривали.

Дорога стала уже вечерней. День прошел в пути как-то незаметно, тем более что было много мелких остановок. Из того, что слышал Фазлур, было ясно, что Фуст собирает свой этнографический и географический материал для статей и книги, и все, что встречалось по пути, что стоило сфотографировать, нужно было для этого ученого труда.

Машина остановилась в удивительном месте. Даже Фазлур, хотя видел это не впервые, вышел на дорогу и оглянулся с большим любопытством. Это были знаменитые красные холмы, их виду не может не поразиться человек, проезжающий тут, особенно в первый раз. Местность походила на красное море, волны которого взлетели к небу и в силу какого-то колдовства окаменели и остались навеки багрово-красными холмами с множеством впадин и оврагов.

Красный каменный ад окружал сейчас путников. Солнце освещало своими вечерними лучами вершины диких

холмов, тени между ними становились все гуще, все тревожнее, и что-то очень враждебное поднималось из глубины этих расщелин.

— Не хотел бы я почевать здесь, — сказал Фуст.

Но Гифт сейчас же откликнулся на его слова:

— В лунную ночь здесь почевать с читралской красавицей в палатке — просто феерия. Что скажет охотник?

Фазлур сказал просто:

— Не нравятся мне эти места. Точно черт играл здесь — нарыл, нарыл и ушел.

Иные острые конусы, поднимавшиеся из красного лабиринта, горели, как облитые кровью. Фуст фотографировал это необычное зрелище. И хотя все пространство, изрытое вулканическими силами, было чем-то действительно неприятно, но в то же время глаза не могли оторваться от этих пологих, высоких, полукруглых, как основание башен, и острых, как горные пики, холмов, которые под лучами вечернего солнца ежеминутно меняли окраску, и казалось, что близок момент, когда они снова расплавятся и станут красными неистовыми волнами, которые спихнутся в ярости, сдерживавшейся тысячелетиями.

Когда машина тронулась, Фуст и Гифт долго оглядывались на них. И холмы долго шли по сторонам, как бы не желая отпускать проезжающих. Но наконец все-таки исчезли за поворотом.

Неожиданно они увидели танки, стоявшие у дороги. Люки были открыты, и танкисты сидели и курили. В башне стоял офицер и шутливо приветствовал американцев.

Фуст что-то сказал так быстро Гифту, что всю фразу Фазлур не расслышал. Он уловил только слово «Кашмир».

Гифт подмигнул Фусту и ничего не ответил.

Рядом с дорогой, на поляне, грифы терзали тело павшего осла. Они, по-видимому, уже насытились и теперь лениво мотали головами и шаркали крыльями, похожими на грязные бурые одеяла, угрожая прилетевшим позже хищникам. Их противный лязгающий крик далеко разносился по дороге.

И тут Фуст почувствовал приближение томящей глухой тоски. Грифы вернули его к погребальному костру в Дели и сегодняшнему отъезду из Лахора. В сумерках раннего утра, когда они подъехали к колонке заправляться, Фуст вышел из машины прогуляться по дороге и увидел Фазлур с девушкой в тени большого дерева. Он засмеялся про

себя, и ему даже понравилось, что горец так сентиментально прощается с какой-то лахорской девчонкой, с которой провел эту прощальную ночь, но потом, когда девушка вышла на более светлое место, она напомнила ему ту, что собирала подписи и так была похожа на племянницу Аюба Хуссейна. Это ему не могло понравиться. Может быть, он ошибся снова? Какое дело этому молодому дикарю до блестящей красавицы, воспоминание о которой так живо в памяти Фуста? Нет, это все чепуха. Но какая-то тень сомнения осталась в нем, как неизгонимое чувство одиночества и тоски, которое вошло в него в час, когда горели костры и тот проклятый индеец вытащил зуб мертвеца и словно повесил его, как амулет, на шею Фуста. И ему нельзя порвать невидимую нитку, которая так крепко держит этот золотой зуб.

Чтобы прогнать это противное, гнетущее настроение, он велел Умар-Али пересесть на свое место, сам сел за руль, и это отвлекло его.

Быстрый ход машины хорошо успокаивал его нервы. Машина летела, обгоняя возы с сеном, тонги, грузовики, велосипедистов...

Как это случилось, трудно было потом установить, так мгновенно разыгралось это происшествие. Впереди из облака пыли вынырнул «джип», с такой же нелепой скоростью мчавшийся посередине дороги. Фуст мгновенно повернул вправо, и «джип» повернул вправо, как будто жест Фуста внушил ему повторить это движение. Фуст, не чувствуя холодного пота на лбу, повернул машину влево, и этот дьявол на «джипе» сделал то же. Ничего не оставалось, как свернуть с дороги в кювет, или машины разбились бы одна о другую.

Когда машина Фуста повернула в сторону кювета, он пустил в ход тормоза. Машина со скрежетом влетела в пространство между двумя громадными тамариндами. Если бы их не было, она бы скатилась в кювет. Огромный шершавый ствол великана преградил «доджу» дорогу к верной гибели. Он спас его своей могучей красно-коричневой грудью.

Все вышли из машины. Никто ничего не говорил. Фуст обнаружил, что все лицо его покрыто липким, холодным потом. Гифт закусил трубку так крепко, что казалось, он перекусит мундштук. В глазах Фазлура жили злые огоньки. Умар-Али смотрел, присев на карточки, под передние колеса.

Потом они молча ходили около тамариндов, пока Умар-Али убедился, что ничего не произошло опасного для механизмов. Все на месте, все движется, и он сел за руль и вывел «додж» из тамариндового тупика, поставил на дорогу и, такой же молчаливый, ждал приказаний.

Все уселись снова. Умар-Али только тем единственно нарушил правила подчинения, что, не спросив разрешения, снова сел за руль. Но Фуст промолчал, Гифт отрывисто бросил: «Поехали», — и они тронулись, как будто ничего не произошло. Только Фуст мрачно сказал:

— Да, плохо, но лихо! Это наш. Наверно, из Аризоны: там любят так ездить.

Они остались ночевать в Равальпинди. «Осматривать здесь было нечего», — сказал в начале этого столетия один путешественник. Это можно было подтвердить и сегодня.

В гостинице они получили, как просили, самые тихие номера в самом крайнем флигеле, за которым начиналась глухая стена и немного в стороне за углом располагались шоферы и другая прислуга; машины стояли прямо на дворе.

После ужина, за которым они, по принятому ими порядку, предпочитали не говорить о делах, в номере Фуста Гифт дал волю своей язвительной иронии:

— Что на вас напало, Фуст, что вы решили меня и себя угробить так решительно?

— Но вы же видели, что я не виноват. Я не искал столкновения. Наоборот, я считаю, что я спас всех своим хладнокровием. Одно неверное мое движение — и мы бы ужинали с вами в другом месте...

— Я подумал, что на вас снова напал мрак... — сказал Гифт. — А как вам нравятся наши спутники? — спросил он после недолгой паузы.

— Шофер, по-моему, на месте. Он молчалив, исполнительен, строг к себе, я думаю, что он человек неболтливый. Что касается Фазлура, то он дитя природы, лирический субъект, и диловатый притом. Из таких легко делать полезных нам фанатиков, если направить их в нужную сторону. С ним стоит повозиться. У него большое самолюбие, и мне кажется, ему не нравится, что вы зовете его «охотник». «Охотник» в этих краях не имя для сына богатого отца. Заметьте, что он ведь не спрашивает никакого вознаграждения за эту поездку. Я предложу ему путешествовать с нами до Барогиля и совершить весь круговой маршрут. Он нам сможет очень пригодиться. А потом, как

знать, одним нашим человеком в этой стране будет больше...

— В наше сложное время это не так плохо. Они, его земляки, симпатизируют нам и не симпатизируют англичанам. Тем более что мы дадим им хороший кусок Кашмира,— сказал Гифт.— Я помню, как трещали и корчились в огне эти маленькие городки. Пожары в Музаффарабаде, Домеле, Ури — это хорошая работа разбойников с гор. Их недаром тогда пригласили. Они хорошо попользовались всем. А помните Хейта, которым овладел дух разрушения? Он даже благодарил этих бандитов за «героизм и отвагу».

— Тсс, Гифт, вы говорите лишнее. Никогда не надо говорить лишнего. Хейт уже дома и пожинает лавры, а мы здесь и еще не свободны для отдыха.

— Я хочу только сказать, что это была хорошая охота на индийцев. Мы загоняли магараджу, как полумертвого от страха льва. Я не раскаиваюсь, что участвовал в этой охоте. Нам очень помогала тогда леди, о которой мы говорили с вами в Лахоре.

— Элен Ленсмонд?

— Да. Ее знают все от Катманду до дальнего Леха. Она знаток всего, и все знают ее тоже... Все знатоки...

— Вы, кажется, острите, Гифт. У вас это никогда не получалось.

— Нет, правда, все, кого судьба забросила в эти края, в эти горы, обязаны знать имя этой умницы, которой не клади пальца в рот.

— Класть пальцы в рот никому не надо,— сказал Фуст,— поговорим лучше о завтрашнем маршруте.

Пока они курили в комнате Фуста, Фазлур и Умар-Али в тесной компании шоферов разных машин, ночевавших в гостинице, сидели при луне, шутили и смеялись, перебирая случаи на дороге. Шоферы рассказывали о владельцах машин, своих хозяевах, всякое, большей частью нехорошее.

Умар-Али, как всегда молчаливый и осторожный, лежал рядом с Фазлуrom на свернутой попоне, которую они достали у заведующего гаражом.

Фазлуру был интересен этот нравившийся ему быстрый и сдержанный, гибкий человек с тонким лицом и узким ртом хитреца.

Умар-Али неожиданно сказал, придвинувшись к нему вплотную, так, что никто не мог бы слышать его слов:

— Как ты себя чувствуешь?

— Я,— сказал Фазлур,— думаю, что если я решился

на эту непонятную поездку, то только потому, что со мной рядом человек, которому я верю и Нигяр тоже верит.

Почему он сказал о Нигяр, он и сам не мог бы объяснить, но Умар-Али принял это как нечто вполне естественное.

— Чего, по-твоему, хотят эти люди? — продолжал Фазлур. — Они только ученые, богатые люди, которые едут, куда хотят, и делают, что хотят, или за чем-нибудь другим они приходят в нашу страну?

Умар-Али оперся на локоть.

— По-моему, надо быть с ними осторожным. Они хотят быть поближе к границе Советского Союза. Они из тех, кого это интересует. Когда Аюб Хуссейн говорил со мной, он сказал: «Ты должен ехать очень спокойно, не торопясь, ехать бережно. Это большие люди, и с ними не должно быть никакого несчастья».

— Они нас сегодня хотели отправить на тот свет, — усмехнувшись, сказал Фазлур. — Ты назвал Советский Союз. Я об этом не подумал. Ты знаешь, я прошлый год был в Лахоре, когда там открылся конгресс писателей. Мне было интересно видеть людей *оттуда*. Я их увидел. Они рассказывали много такого, о чем мы слышали в первый раз. Мы должны дружить с этим великим народом.

Умар-Али сказал почти шепотом:

— Я тоже видел нашего человека, побывавшего в Советском Союзе. Он рассказывал удивительные вещи.

— Так ты говоришь, — у Фазлура не выходило это из головы, — что они хотят видеть границу Советского Союза? Но ведь Пакистан не граничит с Советским Союзом...

— Они, я слышал, идут через Барогиль и дальше... Что там дальше? Я не бывал там, а ты оттуда сам...

— Там дальше Вахан, Афганистан. И за Пянджем — Советский Союз. Об этом стоит подумать. Ты коммунист, Умар-Али? Признайся, если хочешь; если не хочешь, не говори...

— Я коммунист, — сказал шофер. — Об этом в доме знает одна Нигяр и теперь ты. Я знаю, что ты не коммунист, но ты борешься за мир. Я знаю твои песни по радио. Скажи мне, ты говорил правду про отца и свое семейство?

— Нет, я почему-то не мог сказать им правды. Я бедный студент. Отец у меня старый охотник, бедняк, а мать хорошо ткала ковры, но теперь почти слепая. Они живут, как крестьяне. Я помогаю им своим заработком, как могу. Но им очень трудно.

— А почему ты не сказал так, как есть на самом деле?

— Я им не верю. Не знаю почему, но я им не верю. Помнишь, как он расстроился, что не произошло аварии с автобусом? А что у них на сердце, я тоже не знаю. И зачем они едут, не знаю!

Глава одиннадцатая

Гифт сказал, что он очень устал, почему — и сам не знает, и пойдет спать. Фуст не стал его задерживать, и он сидел еще некоторое время, делая записи в свой походный дневник, вспоминая отдельные удачные сцены, которые удалось ему заснять в дороге, думал о дальнейшем маршруте, потом долго мылся и хотел перед сном еще прочесть несколько страниц из книги Фрица Бетхольда «Немцы на Нанга Парбат». Он уже снял пиджак и тут услышал тихий стук, такой тихий, что сначала ему даже показалось — стучат не у него.

Вдоль одноэтажного маленького дома шла крытая галерея, как принято во всех гостиницах Северо-Запада. На нее и выходили двери номеров. Фуст прислушался. В дверь теперь даже не стучали, в дверь царапалась какая-то легкая рука.

Фуст подумал со злостью, что это новая шутка Гифта. Он был любитель всяких неожиданных шуток, которые временами ему вовсе не удавались, стоит только вспомнить случай с Гью Лэмом.

Фуст, убедившись, что в дверь все-таки царапаются, чуть приоткрыл ее и хотел сказать: «Уйдите к черту, Гифт, с вашими шутками!» — как прямо перед собой в синем сумраке — на галерею не горел свет — он увидел женщину; на него пахнуло острыми, пряными, чуть горькими духами, и тихий голос сказал:

— Не удивляйтесь, это я!

— Вы? — сказал он, искренне удивившись. — Элен Ленсмонд?

— Она самая. Да впустите же меня! Я не могу стоять перед дверью.

Она отстранила его легкой рукой и вошла в комнату. Он растерянно успел пробормотать:

— Я не одет...

— Вам придется одеться, Джон. Так повелевает обы-

чай, ничего не поделаешь. Надевайте пиджак, вот так. Вы готовы для разговора? Я сажусь. Вы удивлены? Обрадованы?

— Удивлен? Да, очень. Обрадован? Да, обрадован. Я думал о вас в Лахоре, но мне казалось, что вы в Кабуле. Мне сказал кто-то из проезжавших наших...

— Я только что примчалась сюда, и я тоже рада, очень рада, что застала вас здесь, дорогой! Вы одни?

— Нет, со мной мой друг и спутник Гифт.

— О, Джон Гифт!

— Не Джон, а Генри...

— Да, конечно, Генри и Джон — братья. Ну, все равно. Я ненавижу их обоих, я ненавижу всех Гифтов. Они бездарны, и я удивляюсь, что вы ведете с ними дела. К черту Гифтов! Они все жалкие эгоисты и предатели. Где он?

— Он спит в соседнем номере, как убитый буйвол.

— Не будите его. Вы должны мне помочь, милый, милый Джон...

— В чем помочь? Что случилось с вами?

Она встала перед ним и скинула легкий плащ. Фуст слишком долго жил в Азии и видел много, чего не увидишь ни в Европе, ни в Америке. Он привык ничему не удивляться. Но странность ее наряда в этот поздний час бросалась в глаза. Она была в золотистом богатом сари, по золотисто-теплому фону от плеч донизу блестели красноватые крапинки, придававшие особую остроту и изящество сари. Сильная и стройная Элен Ленсмонд выглядела в нем превосходно. Он видел ее босые ноги в золотых сандалиях, с ногтями, покрытыми красновато-золотым лаком. Он смотрел на ее голые руки с тяжелыми браслетами, в которые были вделаны большие круглые желтые прозрачные сердолики. Кольцо с квадратной надставкой из мелких смарагдов переливалось на среднем пальце левой руки, соседствуя с давно знакомым Фусту кольцом, в которое был вделан кусок старой бирюзы. В ушах были круглые клипсы из мелких золотых цветов с кошачьим глазом посередине. Эти клипсы вызывающе сверкали. Она снова села, тряхнула своими темно-каштановыми волосами, вынула из сумочки сигареты. Он дал ей огня. Она пустила два кольца дыма и сказала приглушенным голосом:

— Вы понимаете, Джон, что мне надо было бежать. Не медля ни минуты. Бывают такие обстоятельства. Вы это отлично можете представить...

— Допустим,— сказал он, встал и опустил темные занавески на окнах.

При этом его жесте она улыбнулась.

— Я здесь свой человек, Джон. И ни единая душа не знает, что я у вас. Знают только друзья. Так слушайте. Бывают такие обстоятельства. Вы же не хотели бы прочесть в газете, что я арестована или выслана из Кашмира, потому что действовала методами,— она презрительно усмехнулась,— как пишут в колониальных газетах, не принятыми в стране и наносящими ущерб безопасности и спокойствию этого тихого, идиллического уголка, этого сказочного княжества. Фу! Как все глупо! Не правда ли, вы не хотели бы это увидеть в газете, а меня под стражей? Я улыбалась бы на снимке между двух сикхов вот с такими тюрбанами. Я спешила, как могла. Иногда мне казалось, что мы мчимся на сумасшедшей лошади, а не на этом затасканном «пикапе». Я пролетела, как стрела, через Домел, Мури, Трет — другого пути у меня не было.

Он смотрел на нее с чувством удивления и восхищения. Он раскурил свою трубку, и теперь дым ее сигареты и его трубки смешивался.

— Вы не знаете, как я рада, что встретила вас!

— Откуда вы знали, что я здесь?

Она пересела ближе к нему и взяла его за руку:

— Но мы же всегда узнаем друг о друге. Откуда вы знаете, что я думала о вас? А я думала о вас весь вчерашний день. Я думала о том, что, если бы вы были со мной, может быть, все повернулось бы по-другому... Ну, ничего, вы мне поможете здесь, сейчас. Вы мне нужны. Мне и моему сердцу.

— Но как вам помочь? Устроить вам ночлег?

— Нет, я не нуждаюсь в нем. Сегодня я ночная перелетная птица. Я только присела на край вашего гнездышка.— Она оглядела комнату и сказала деловым тоном: — Вы знаете генерала Дембей?..

— Нет, я не знаю такого...

— Ну, это не важно. Он занимает место... В общем, он за чем-то наблюдает в Кашмире. Ему поручено это дело, он нейтральный наблюдатель.

— Там, кажется, много наблюдателей? — сказал Фуст.

— О да, миллион!

— Чем же они занимаются?..

— Всем чем хотите, но и хорошей спекуляцией тоже. Сначала они доставляли даже соль — да, простую соль,

в ней была нужда,— подумайте, в чем: в футлярах от пишущих машинок! Они вывозят кашмирские ткани, отрезыв на костюмы и сами доставляют контрабандой товары, подкупая население, как могут. Они не сидят без дела. Но хватит о них... Я потом могу вернуться к ним, если они вас интересуют. Сейчас я спешу, у меня нет времени...

Она закурила новую сигарету об остаток старой и поставила рядом ноги так, что стали видны все десять золотисто-сверкающих пальцев и золотые сандалии. Как бы проверив, что ноги при ней, она продолжала:

— Генерал Дембей просил меня доставить в Лахор два небольших ящика...— Она помолчала.— Это драгоценности, разные редкие вещи. Это не мои богатства. Я не имею к ним никакого отношения. Но дело не в этом. Ящики надо взять немедленно в комнату и переложить вещи в мешки и баулы, переменить упаковку. У меня не было времени для этого перемещения, а сейчас я не могу ехать дальше, не сделав этого...

— Хорошо,— сказал вдруг Фуст, слушавший ее, не прерывая.— Но почему вы в сари?

— Я приехала прямо с вечера, с шикарного танцевального вечера. Ах, если бы вы видели, как я бежала, выбрав момент, по ступенькам, и грум нес за мной плащ и сумочку, которую я забыла в гостиной! Мне казалось, что я участвую в фильме. Правда, это очень походило на кино.

— Где же ваши сенсационные ящики? В Гульмарге или в Домеле, на границе?

— Как на границе? Они со мной!

— С вами? Но где вы их оставили?

— Они лежат в моем «пикапе». Их надо перенести сюда. Но их не должен никто видеть. Есть у вас здесь свой человек, шофер или кто другой из туземцев?..

— Шофер? — сказал Фуст.— Нет, мы обойдемся без шофера. У меня есть молодой охотник с гор.

— Давайте охотника. Я, как пантера, люблю охоту. Где он, этот Актеон Кашмира?..

— Сейчас я его отыщу.

Фуст ушел. Элен Ленсмонд приоткрыла занавески и старалась рассмотреть, куда он пошел, но на дворе было темно, и она снова села, но сердце ее стучало и руки слегка дрожали. Она старалась потушить свое волнение, вынула зеркальце и пудреницу и попудрила обветренное, покрасневшее лицо.

Вошли Фуст и Фазлур. Рядом с тяжелым, костистым

Фустом Фазлур казался богом лесов. Загорелый, свежий, высокий и легкий, с белоснежными зубами и глазами, в которых был молодой огонь, он рассматривал женщину, как будто видел сон.

Фуст разыскал его, разбудил, сделал знак, чтобы он не будил Умар-Али, и привел его к себе в комнату, где сидела по меньшей мере жена магараджи.

— Какой красивый молодой человек! — сказала, без стеснения рассматривая его, Элен Ленсмонд. — Вы не из героев Гилгита?

К Фазлuru вернулось его обычное чувство иронии. Яркая высокая женщина с дерзкой манерой разговаривать казалась переодетой американкой или англичанкой. Смотря ей в глаза, он сказал:

— Нет, я не из героев Гилгита. Я вообще не герой.

— Это — прекрасный ответ, — сказала она. — Вы здешний?

— Да, я родился в горах Читрала. Я горец.

— О, горцы Читрала, я знаю, обладают бесценной добродетелью: они умеют молчать! Это верно сказано про них?

Дерзость этой женщины, ее вишнево-алый рот, прямой взгляд холодных синих глаз, ее острые, чуть горькие духи, похожие на запах горных сухих трав, немного смущали привыкшего к простым вещам Фазлурa. Он сказал:

— Если они дают слово, они его держат...

— Крепче смерти?..

— Крепче смерти, — повторил Фазлур.

— Вы сказали, — в ее глазах он прочел неожиданную благодарность, — как вас зовут?

— Меня зовут Фазлур, а один мальчик зовет меня Атеш Фазлур.

— Что это значит?

— Это значит: огонь. Огонь Фазлур.

— Ну что же, может быть, мальчик прав. Атеш Фазлур... — сказала она. — У вас красивое имя. У вас есть особые желания в жизни?

— У меня сейчас особое желание спать, — сказал он тоже дерзко и почти грубо.

Она засмеялась.

— Вы мне нравитесь, Фазлур. Вы дикий, я сама немного такая. Вы родились в горах, а я родилась на морском берегу, на Кипре. Есть такой остров. Я полугречанка, полуангличанка, полусирийка. В общем, я американка. Мои родители уехали в Америку. Но мне кажется иногда, что

я родилась где-то в воздухе, под облаками, на большом самолете, вроде «Констелейшен». И я отпущу вас спать, молодой человек, но сначала я вас попрошу вот о чем. Там, за вашим домиком, стоит желтый «пикап», такой замызганный, с деревянными полосами. На нем нарисован фантастический цветок. Это работа моего шофера, он думает, что нарисовал розу. Шофер сидит в «пикапе». Скажите ему, что мем-сагиб велела ему вместе с вами перенести два ящика из «пикапа» сюда. Принесите сначала один, потом пойдете за другим. Идите, там нет других машин, и там вообще никого нет...

Фазлур, ничего больше не понимая, ушел, однако не только живо заинтересованный этим приключением, но и тем обстоятельством, что волей судьбы он становится участником какой-то необыкновенной тайны.

Когда шаги его затихли, Фуст, с восхищением смотревший на нее, сказал:

— Элен, зачем вы болтали вздор этому горцу? Зачем вы рассказывали ему о Кипре, о самолете, все эти сказки?

— Джон, милый Джон Ламер Фуст! Раньше чем что-нибудь поручить, я должна своим нутром ощутить человека, почувствовать, доходят ли до него мои слова как нужно. Я хотела узнать, поверил ли он мне. И я узнала: он поверил. Больше мне ничего не нужно. А вы, вы ему верите?

— Да, верю, но как объяснить ему дальнейшее? Ваш шофер?..

— Мой шофер — могила. А так как он переполнен могилами тайн, то он целое кладбище... А ваш читралский охотник ничего. Как жаль, что я не могу поехать с вами или похитить этого Ганимеда! Вы едете на север, я — на юг. Только бы мне добраться до Лахора — и все в порядке.

— Что мы скажем Фазлuru, когда он увидит вещи?..

— Мы скажем, что я ликвидировала свою старую торговлю драгоценностями, золотыми и серебряными вещами. Для Кашмира сейчас это обычно. Он посмотрел на меня так, что больше ни на что не обратит внимания. Я еще молода, Джон Ламер Фуст. А вы находите меня молодой.

Но Фуст не успел ответить, потому что появились мокрые от пота Фазлур и тихий, мрачного вида шофер, которые принесли не очень большой, но тяжеленный ящик, оставив за дверью баулы и мешки.

— Селим-шах, давай сюда остальное...

Селим-шах поклонился и приволок в комнату баулы и мешки.

— Теперь,— сказала Элен,— надо открыть ящик. Нужно переменить упаковку. Я боюсь, что вещи пострадали в пути. Мы откроем сейчас ящик. Ах,— сказала она, обращаясь к Фусту,— знаете, когда приходится ликвидировать ввиду смуты и войны старую торговлю, так больно уезжать из любимых мест, и, однако, что же делать! Я слабая женщина. Семейные обстоятельства не позволяют мне оставаться, как вы знаете, Джон. Начинайте открывать, молодой человек, но только сейчас ночь, шуметь нельзя ни в коем случае. Надо вскрыть без шума, ни одного удара молотка. Я вам скажу, как вскрыть. Отогните эту скобку, отогните ее, вот так! Какие у вас сильные руки! Теперь просуньте эту стамеску под крышку и давите чуть вбок, подложите эту тряпку в щель, вот так! Дело пошло на лад. А ты, Селим-шах, помоги отсюда. Вот видите, как без шума мы открыли этот ящик!

Шофер, Фазлур, Фуст и Элен наклонились над куском толстой кошмы, которой было прикрыто содержимое ящика. Под кошмой было много разных предметов, завернутых в полотно и холст. Когда развернули холст, в руках у них оказался камень с каким-то узорным орнаментом, полустертым и старым.

— Что это? — спросила, прищурив глаза, нахмурившись, Элен.

— То, что в ящике, мем-сагиб.

— Посмотри дальше,— сказала она, и видно было, что она в замешательстве.

Развернули следующую вещь. Она оказалась кирпичом с какими-то таинственными буквами, пересекавшими его наискось.

Тогда стали разворачивать все подряд. На свет появились деревянные тарелки, каменные вазы, глиняные чаши с изображением листьев и цветов и каких-то животных.

Элен отошла от ящика в сторону и смотрела на него, что-то мучительно соображая. Наконец она сказала:

— Что там написано в углу на ящике?

Фуст наклонился, куда она указывала, и прочел:

— «Осторожно, не бросать: музейные вещи, Броссе».

— Броссе,— сказала она так, точно это имя было хорошо известно присутствующим.— Броссе — это археолог, старик француз.

Она села на диван и смотрела на ящик белыми от бешенства глазами.

Шофер и Фазлур дошли до дна. Камни, кирпичи, глина и деревянная посуда грудой лежали на полу.

Люди смотрели недоумевающе на ящик, на баулы и мешки и на хозяйку этих вещей, ставшую вдруг молчаливой.

— Можно перекладывать, мем-сагиб? — спросил, кланяясь, Селим-шах.

Элен встала и толкнула ногой большое деревянное блюдо.

— Положите все обратно в ящик, положите, как было!..

С удивлением, ничего не понимая, они завертывали как попало вещи и укладывали их снова в ящик. Фуст молчал и курил свою трубку. Элен торопила своих помощников.

Когда все вещи было уложены, Фазлур сказал с улыбкой идиота:

— Мем-сагиб так бесшумно открыла этот ящик, может быть, она научит нас так же бесшумно закрыть его?

Она ответила ему тихо и ясно:

— Идите спать вы оба, шофер и охотник. Все в порядке.

— А ящик?

— Вы придете за ним на рассвете и тогда заколотите его.

— А другой ящик?

— Оставьте его там, где он лежит. Его открывать не нужно. И эти камни сейчас закрывать не нужно. Это не те камни, которые могут исчезнуть ночью. Идите!

— Мы повезем их в Лахор, мем-сагиб? — спросил Селим-шах.

— Я бы охотно выбросила их под ближайший откос. Но их придется везти до Лахора, Селим-шах, примирись с этим. А оттуда ты отвезешь их в Барамулу.

— Обратно? — с ужасом воскликнул Селим-шах.

— Ну, ну, может быть, ты и не повезешь. Мы найдем в Лахоре средство переправить их обратно. А теперь все. Спать!

Когда они ушли, Элен дала волю своей ярости. Изорвав свой шелковый платок, она ходила из угла в угол, и следивший за ней Фуст вдруг сказал ей нежно и тихо:

— Элен, сядьте. Я, кажется, понял, но не все. Элен, прошу вас, успокойтесь!

Все стало походить на семейную сцену, и Элен стало смешно, хотя от ярости у нее на глазах выступили слезы. Она беззвучно ударяла кулаком по дивану и говорила, как будто диктовала своей секретарше:

— Это ящики Броссе. Он собирает этот древний хлам отовсюду. Так мне погрузили ящики Броссе! Или это недоразумение, или Дембей обманул меня. Но если он обманул меня, он дорого заплатит за это. О, он заплатит так, что последние волосы слетят с его желтого черепа! Я сейчас же изведу в Дели о его операциях, и ему не поздоровится. Я добьюсь своего, дорогой генерал! Я вас вышвырну из Кашмира, и вы долго будете меня вспоминать. Я кончу вашу карьеру раз и навсегда!

Сон у Фуста давно прошел! Теперь он даже с интересом наблюдал припадок ярости Элен. То, что она беззвучно била кулаком о диван, то, что все происходило в тишине и слова произносились почти шепотом, казалось ему театральным и смешным. Он не знал, как прервать этот поток чувств. Вдруг Элен резко остановилась и сказала совершенно спокойным голосом:

— Я голодна. Найдется у вас что-нибудь поесть?

Фуст достал из чемодана бананы, яблоки, шоколад, сыр и виски. И бутылку содовой...

Она жадно глотала ломтики шоколада, ела яблоки и сыр и выпила виски. Уничтожив этот маленький ужин, она лениво потянулась, и стало видно, что от усталости у нее дрожат веки.

Потом взяла коробку, принесенную Селим-шахом, и сказала:

— Все же мне надо переодеться. Маскарад кончился. Пора по домам. Где у вас ванная?

Он показал ей, и она ушла.

Элен появилась свежая, повеселевшая, в том же сари, подошла к выключателю и повернула его. Комната погрузилась в густой сумрак, и в ней было бы совершенно темно, если бы свет дальнего фонаря не проникал в комнату.

В этом густом сумраке Элен подошла к Фусту, он услышал шорох струившегося неудержимо, как золотистый ручей, сари. Шелк задевал его руки и грудь, он увидел, вернее — угадал, ее глаза рядом со своими и губы, которые произнесли:

— Вспомним Непал, Джон!

— Вспомним, — сказал он, найдя во мраке ее плечи.

...Фуст проспал, и Гифт долго стучал ему, напоминая об отъезде. Все равно, пока мылись, завтракали, собирали вещи, прошли часы. Выехали поздно. Сразу стало жарко, и пыль клубилась по дороге, и от нее некуда было спастись.

Гифт видел, что Фуст в каком-то рассеянном-добродушном настроении, и решил испортить ему это настроение. Он спел свой куплет самым вызывающим тоном:

В старой доброй стране,
Там я жил, как во сне...

Но пение никак не подействовало на Фуста. Он только вздохнул, и если бы можно было перевести этот вздох на слова, то они звучали бы так: «Если бы ты только знал, что ты проспал, если бы ты знал, что произошло рядом с тобой, пока ты спал, ты бы никогда не простил себе этого сна! Но поздно, поздно! А теперь можешь петь, что хочешь, это меня никак не трогает».

Перед тем как проститься с Элен, он подарил ей драгоценную иранскую миниатюру «Могольские принцессы, играющие в поло». Элен, взглянув на хорошенький ларец, поцеловала Фуста в щеку, но, когда открыла ларец и увидела миниатюру, засмеялась:

— Милый Джон, у меня уже есть точно такая миниатюра. Это подарок Аюба Хуссейна, не так ли? Он всем дарит эти копии. Он, по-видимому, очень любит эту вещь. Оригинал, по-моему, я видела в музее, в Дели.

Растерявшись, Фуст все-таки рискнул заметить:

— Не находите ли вы, Элен, что одна из этих паездниц похожа на вас...

— Которая, дорогой?

— Вот эта, которая сражается в центре. И потом — может быть, те поздние копии, но моя, уверял эксперт, современная оригиналу.

— Будем думать так, — сказала она. — Конечно, я заберу этот подарок на память о Равальпинди.

Когда она шла к своему замызганному «пикапу», только встало солнце. Элен выглядела тоже, как маленькое светило. Сари исчезло. На ней была нейлоновая вишневого цвета кофточка с короткими рукавами и юбка, расширявшаяся, как колокол, фиолетовая, светлая, с тремя спускающимися полосами-надставками, с большими круглыми пуговицами внизу. Она сменила даже украшения. На правой руке у нее был плетеный золотой браслет, а на левой

почти такой же, но рисунок плетения был более грубый. В ушах у нее были серьги с аметистами, а на шее ожерелье из розовых кораллов. Квадратное кольцо исчезло, осталось только то, которое никогда не снималось из суеверия...

Фуст мало смотрел сейчас по сторонам. Он думал о странной судьбе этой женщины, ум и энергия которой так привлекали его. В его скитаниях по Азии каждая встреча с ней давала ему новую силу, бодрила его, он ловил себя на том, что когда долго ее не видит, то начинает по-настоящему скучать о ней. Она права, презирая Гифтов. Гифт, злопамятный и завистливый к успеху других, никогда бы не мог оценить достоинства такой женщины, как Элен. Но чтобы не стать в его глазах смешным, Фуст в разговоре с ним, упоминая имя Элен, держался тоже немного иронического тона.

Когда ее ужасный «пикап» с этими идиотскими ящиками и мусором исчез в облаке пыли, Фуст долго с грустью смотрел ему вслед, на удивление Умар-Али, вставшему с рассветом, чтоб осмотреть машину.

...Аттокский мост остановил их внимание. Длинная громада с железными воротами и башнями, с пулеметными гнездами по сторонам, с огромными каменными быками, поставленными в желтые воды могучего Инда, и бесконечным переплетом металлических конструкций заставила Фуста выйти из мечтательного состояния.

— А вон, если хотите посмотреть, крокодилы, — сказал Фазлур.

В самом деле, когда они подъехали ближе, у самой реки, на отмели, у груды камней, лежали крокодилы, и были они похожи на бревна, зачем-то утыканые металлическими и острыми пластинками, — мокрые, скучные бревна, блестевшие на солнце. Фуст пробовал их снимать, но близко подойти к ним было невозможно. После разных неудачных попыток их вспугнули выстрелами, они полезли в воду и лежали там, положив на песок длинные чешуйчатые головы с черными наростами и с маленькими, немигающими глазками.

Второй раз за день Фуст оживился, когда дорога пошла по берегу широкой плавной реки, не похожей на Инд.

— Что это за река? — спросил он.

— Это Кабул, — ответил Фазлур.

Ехали весь день, питались консервами, обедали в Наушере, потом поехали по направлению к Малаканду,

и когда увидели старый форт с его стеной, похожей на кусок Великой Китайской стены, его башни с бойницами и укрепленный холм на фоне голых суровых гор, над которыми было синее, уже не равнинное, без единого облачка, небо, Фуст сказал:

— Каникулы кончились, начинается работа.

Что он хотел сказать этими словами, Фазлур не понял.

Глава двенадцатая

Горы! Они теперь окружали Фазлур со всех сторон. Но это еще не были те густо осыпанные снегами, красующиеся ледяными шапками великаны, которые заполняют весь простор и перед которыми все кажется малым. Река, ревущая в глубоком ущелье, и редкие рощи горной сосны, овцы, бродящие, как мухи, на серых уступах, и люди, не приметно идущие по узким тропам, опасливо прислушивающиеся к грохоту лавин,— все это подтверждало грандиозность особого мира, в котором горные боги существуют на самом деле и гnevаются на тех смельчаков, что хотят жить на склонах этих гор, погруженных в вечное безмолвие и вечное раздумье. Такими были горы его родины, к ним он приближался с каждым днем.

Сейчас же вокруг Фазлур были травянистые, сухие каменные увалы, на них стояли сосновые и кедровые леса, и ветер приносил смолистые откровения этих лесов вместе с благоуханием альпийских полей. Было и у этих высоких холмов свое очарование: глазу казалось, что их мягкие волнистые линии колеблются, двигаются, особенно когда тень облаков ложилась на них. Их жаркое, сухое дыхание пьяняще наплывало на человека, их краски успокаивали и радовали глаз.

В старину здесь жили воинственные, крепкие люди с патриархальными порядками, которые постепенно сменялись обычными отношениями помещиков, богатых навабов, маликов, ахундов и крестьян, захваченных цепкими лапами феодалов и ростовщиков. Юсуфзаи, населявшие эти места, много лет защищали свою свободу. Каждый мужчина, каждый юноша был у них воином. Есть еще старики, помнящие пограничные войны с красными мундирами, но сегодня и в эти места пришло новое, и это новое было и в железном мосту, перекинутом через непокорную реку у Чакдары, и в деревенской школе на откры-

том воздухе. Фуст долго смотрел на маленьких школяров, сидевших прямо на земле, вокруг них стояли их маленькие сандалии, избитые о горные тропинки. На головах у них были войлочные шапки с загнутыми краями. Учитель, тонкий, как кузнечик, в черном сюртучке и белых брюках, с крестьянской войлочной шляпой на голове, писал на доске, как в обычной школе, задачу. Школьники постарше сидели на другом конце поляны. И там учитель объяснял им урок, а за его спиной вставали горы, которые, казалось, хотели заглянуть в учебник, чтобы узнать, чем это интересуются маленькие горцы.

День проходил в дороге быстро. Фуст и Гифт останавливали машину и уходили вперед на целые километры, чтобы поговорить наедине, — в машине им мешали Фазлур и Умар-Али. Американцы шли с удовольствием, разминая ноги, и говорили о многом. Прохладный ветерок, мягкие горы, хорошее настроение — все располагало к прогулке.

— Как вы условились с Уллоу-ханом? — спросил Фуст. — Получим ли мы какие-нибудь сведения от него во время нашего пути к перевалу?

— Да, мы получим; он должен прислать свое сообщение с таким расчетом, чтобы оно застало нас приблизительно в этих местах, еще до Читрала. Я жду его с нетерпением.

— Но что это будет за форма извещения?

Фуст посмотрел на Гифта, чья круглая фигура, круглое лицо с крошечными усиками неожиданно навели его на мысль, что Гифт очень любит романтические проявления и паходки именно потому, что ни его внешность, ни содержание его души не имеют ничего общего с этим миром, где требуется наивность и свежесть сердца. «Все Гифты — жалкие эгоисты и предатели», — сказала Элен. В этом есть большая доля правды. Гифт не задумается предать его, если подвернется случай, он такой от природы, но и в самом предательстве он будет искать элемент романтического, злорадно подумал Фуст. Сейчас Гифт начнет распространяться о выдуманных им формах извещений.

Но Гифт пожал плечами и сказал, что Улла-хан на этот вопрос ответил вопросом: «Что вы имеете против небольшого предмета, не привлекающего внимания, ну, скажем, против маленького кисета или крошечной шкатулки?»

Тут Фуст не мог удержаться от замечания:

— Ох, они все так любят эти шкатулки! — Он вспомнил Элен и шкатулку, в которой лежала копия миниатюры «Могольские принцессы, играющие в поло». — Значит, мы получим что-то в этом роде!

— Я думаю, что это так! — сказал Гифт. — Мы на Востоке, а здесь записки, носимые просто за поясом, за неимением карманов или спрятанные в складках одежды, хранимые при себе долго и в разных обстоятельствах, превращаются в жалкий лоскут, на котором уже ничего не разберешь. Вот почему их лучше держать в более удобном месте. И потом, я предпочитаю получить записку в охранном футляре, чем из грязных рук туземца, который не мылся ни разу в жизни...

Так они шли, разговаривали, садились отдыхать у дороги, пили горячий чай из термоса, ели консервы и фотографировали все, что заслуживало интереса для редакции географического журнала, где был сейчас большой спрос на материал о Кашмире, Пакистане и пограничных краях, таких, как Гилгит, Вахан, Дир или Сват. Погуляв, они снова усаживались в машину. День, напоенный жаром горного солнца, запахом сосны и горных цветов, двигался к вечеру.

Дорога была пустынна, и только когда Фазлур остановил машину, не спрашивая разрешения, — что было дерзостью с его стороны, — Фуст увидел маленького мальчика. Он стоял над дорогой на груде камней, и его босые ноги были такого же цвета, как камни. Жалкие голые прутья какого-то куста торчали из камней, и сам мальчик был похож на такой же прут, дрожащий на ветру и совершенно одинокий. Он был закутан в большой старый, дырявый коричневый платок, концы которого он держал в руках, чтобы на них не наступить. Грусть, лежавшая на его лице, говорила о том, что он забыл, как улыбаются. Лицо его было в пыли и обветрено, как у маленького пастуха. Черные жесткие волосы выбивались из-под платка. За ним рисовался огромный провал в ущелье, где плыло большое белое облако.

— Что такое? — спросил Фуст, когда Умар-Али остановил машину по жесту Фазлура.

— Там что-то случилось! — воскликнул Фазлур, соскочив.

Он быстро пошел к неподвижно стоявшему мальчику. Фуст видел, как Фазлур наклонился и что-то спросил, но мальчик не пошевелился.

Фазлур вскарабкался еще выше и увидел лежавшего навзничь человека, борода которого своими растрепанными краями поднялась к небу и руки были раскинуты на камнях. Рядом с ним лежала палка, с какой ходят горцы в далекую дорогу. Фазлур стал на колени, расстегнул его старую черную жилетку и положил руку на грудь. Перед ним был мертвец. Печать долгих мучений лежала на его лице, — об этом говорили и глаза, застывшие в последнем, смертельном испуге, и морщины, бороздившие черно-коричневые щеки, и руки с толстыми синими жилами. Он лежал, холодный и одинокий. Казалось, прежде чем упасть, он толкнул мальчика вперед, чтобы тот шел, не оглядываясь. И мальчик не имел сил ни оглянуться, ни шагнуть прочь от этого близкого ему и страшного своим молчанием человека. Он стоял онемев. Сумерки спускались на дорогу, и облако, плывшее вниз, заполнило уже нижнюю долину и начало карабкаться на скаты горы, по которым шла дорога.

Фазлур обыскал мертвеца. Кроме маленькой тыквы за поясом для хранения нюхательного табака, он ничего не нашел в лохмотьях, в которые был облачен мертвец. Фазлур подошел к мальчику и снова спросил его, откуда они шли и кто они.

Мальчик не отвечал, потом посмотрел на него и сказал так тихо «Кашмир», что Фазлuru показалось, будто он прочитал это в мыслях у мальчика, а не слышал этого слова. Больше мальчик ничего не сказал, он сжался, как будто ему стало вдруг холодно.

Тогда Фазлур взял его за руку, и мальчик хотел сделать шаг, но его ноги подогнулись, и он упал бы на камни, если бы Фазлур не подхватил его. Он понял, что мальчик не держится на ногах, потому что он шел бесконечно долго и, по-видимому, ничего не ел, так как у мертвого не было с собой никакой пищи.

Фазлур взял мальчика на руки и понес к машине. Умар-Али хотел помочь ему устроить мальчика получше, но Фуст сказал резко, как выстрелил:

— Я хочу знать, что происходит?

— Там лежит умерший беженец из Кашмира...

— Очень интересно. Пусть лежит. А мальчик?

— Мальчик один. Его нельзя оставить здесь. Ночью придут шакалы, они напугают его.

— Оставь мальчика, Фазлур, там, где он был. Это не наше дело, — сказал Фуст, — и садись, надо ехать...

Фазлур держал мальчика, глаза которого тревожно перебегали с одного на другого. Он не понимал значения произнесенных слов.

— Мальчика нельзя оставить,— Фазлур смотрел на Фуста в упор,— надо довести его до селения, тут недалеко.

На холодном лице Умар-Али ничего нельзя было прочесть.

Гифт сказал в свою очередь:

— Садись, Фазлур, мальчика подберут. На свете много мальчиков, всех не увезешь. На что он тебе?..

— Мальчика оставить нельзя! — повторил с жестким упрямством Фазлур.

— Тогда останешься и ты,— заявил решительно Фуст.

Фазлур отступил от машины, как бы решая, что делать.

— Я не брошу его...

— Поезжай, Умар-Али! — закричал Фуст.

Машина тронулась. В присутствии шофера Фуст не хотел сказать вслух, что он думает обо всем этом, он только скрипнул зубами и сел.

Фазлур шел, прижав мальчика к груди и чувствуя его дыхание на своей щеке. Дорога вела в гору, и поэтому он делал небольшие шаги, но ступал уверенно и легко. Если бы он был городским жителем, попавшим впервые в такую обстановку, он был бы полон смятения и страхов, так как сумерки становились все гуще, и дорога белела все безжизненней, и горы становились такими темными, что от них рождалось чувство тревоги и неизвестности.

Но он был сыном гор и любил этот торжественный час тишины, мирного ухода в сон, когда спокойствие природы передается человеку. Так хорошо дышится в эти часы, так можно свободно думать о многом, как будто расширяется сознание, отходят все маленькие заботы и заменяются большими думами, а мальчик, как заблудившийся ягненок, спит и не знает, что с ним будет дальше.

Фазлур представил себе Нигяр, которая увидела бы его в эту минуту на пустынной дороге, несущего в неизвестность неизвестного мальчика. Этому бы не поверили и знакомые девушки-горянки, перед которыми являлся он, заткнувши полы своей горной свитки за пояс, с пучком цветов, торчащим из-за закатанных краев войлочной шапочки, с маленькой палочкой в руках, прыгая по камням горной тропинки, напевая песенку,— веселый красивый Огонь Фазлур.

Его крепким ногам и крепкому сердцу было нетрудно взбираться все выше и выше. Он шел, вглядываясь, не блеснет ли где-нибудь в темноте огонек близкого селения.

Но огонька не было. Перед лицом огромного проясневшего неба, на котором выступили звезды, Фазлур испытывал тот прилив радости и полноты жизни, какой всегда приходил к нему, когда он знал, что будет писать песни или стихи.

Он растворился в этом синем прохладном мраке, который касался его щек и рук. Ночь как бы хотела убедиться, что это идет именно Фазлур. Какая-то ночная птица пролетела низко около него, и куст, стоявший над ним, сначала очень походил на человека. Фазлур шел теперь как домой. Он не мог сказать, сколько шел, потому что не думал об этом. Он хотел только одного, чего не могло быть. Он хотел идти хоть всю ночь, но прийти в свой родной дом, открыть старую со щелями дверь и сказать матери: «Я принес тебе находку. Посмотри, что я нашел на дороге».

И ни за что он не хотел бы больше видеть этих надменных чужих людей, недобрых и темных, которые едут и везут его с собой непонятно зачем.

Сумрак вдруг стал таким густым, точно посреди дороги лег большой черный камень. Но в это мгновение вспыхнул свет, и при свете фар он увидел Умар-Али и машину. Умар-Али помог ему сесть. Фазлур сел и положил к себе на колени спящего маленького кашмирца. Американцы молчали, как мертвые.

После Умар-Али рассказал Фазлуру, что когда они почти доехали до маленького селения, где должны были ночевать, Фуст сказал шоферу:

— Останови машину, черт с ним, посмотрим, что он будет делать дальше с этим мальчишкой...

И они сидели, молча курия в машине, пока не дождались Фазлура.

Ночлег был предусмотрен заранее в маленьком селении, в доме у человека, которого рекомендовал Ассадуллахан. Аюб Хуссейн передал об этом Фусту.

Дом стоял на площадке над дорогой, и четыре высоких тополя как бы сторожили его. В свете восходящей луны была хорошо видна гора, с нее спускались потоки осыпей, на ней торчали отдельные скалы, казавшиеся в этом освещении зелеными.

В окнах небольшого двухэтажного дома виднелся мягкий свет. На дворе под навесом — на очаге стряпали, над

широким котлом поднимался белый пар, и сильно светились раскаленные уголья, которые помешивал время от времени человек в высоком белом тюрбане и в черной жилетке.

По двору сложились пестрые тени от тополей, кустов барбариса, каменной полуразрушенной стенки, от дома и людей, проходивших между домом и кухней. Фазлур сидел с местными крестьянами. Наступила их очередь служить помещику, они только недавно пришли в селение и теперь сидели, думая о своем оставленном хозяйстве, где с их уходом настало трудное время.

Тут же, несколько поодаль, на бревнах как будто дремали четыре человека. На самом деле они тихо переговаривались между собой. Это были бродячие торговцы, у которых существовали особые отношения с хозяином дома, разрешившим им ночевать у него во дворе. Сложив тюки со своим немудрым товаром и послав ишаков пастись на луг выше дома, они как будто грелись в белом свете луны, всходившей над горами и превращавшей двор в белоснежную площадку.

Умар-Али возился со своей машиной, поставленной под тополь рядом с кухней. Бродячий торговец подошел к Фазлуру, сел рядом. Фазлур невольно посмотрел на него внимательно. У него была небольшая бородка рыжего цвета, широкий халат, запахнутый на правую сторону, что говорило о том, что он мусульманин, широкие грязные белые шаровары, небольшой тюрбан и острая палка, которой он начал водить по земле, чертя какие-то буквы.

— Куда держит путь эта машина? — спросил он, показав палкой в сторону «доджа», под которым лежал Умар-Али, распластавшись, как черепаха.

Фазлур знал, что любопытство его земляков входит в их характер, и не видел в этом вопросе ничего необычного.

— Эта машина идет в Читрал, — сказал он, — а может быть, и дальше. А куда держит путь мой ночной друг, да процветет его торговля и приумножатся его богатства?

Торговец поблагодарил за добрые слова и снова спросил:

— Она идет к Барогилу, да?

Фазлур в свою очередь заметил, что торговец не ответил на его вопрос, куда идет он. Но торговец сказал:

— Мы идем в Амбелах. Там у нас есть дела и старые должники. А машина идет к Барогилу?

— К Барогилю.

— К Барогилю и дальше? — Торговец усмехнулся в смолистые усы.

— Может быть, — отвечал Фазлур.

Он почувствовал, что теперь ему нужна крайняя осторожность, потому что он находится с человеком, который знает больше, чем говорит.

Торговец наклонился к самому плечу Фазлура:

— Улла-хан, да?

Фазлур слышал первый раз в жизни это имя. Оно ничего ему не говорило, но он сказал так же тихо, как будто через силу:

— Да!

Тогда торговец ответил ему чуть громче:

— Ты очень осторожен, это правильно. Мы должны хранить осторожность, но можешь смотреть открыто. Я же узнал этого маленького, толстого, с усами, и о том высоком мне было сказано...

Фазлур слушал, и его подмывало взять за глотку этого страшного бродячего торговца и бить его головой о камень, пока он не расскажет всего. Но этого делать было нельзя. Поэтому он молчаливо признал справедливость сказанного.

— Они оба тут, — пробормотал он, — ты сам убедился...

Торговец довольно улыбнулся, как будто из него выглянул сразу другой человек, совсем другой, чем первый, что говорил о тайнах. Он сказал громким голосом так, что его могли слышать и крестьяне, сидевшие неподалеку:

— Предложи господам купить что-нибудь у бедного торговца!

— Что ты можешь предложить таким людям, для которых открыты все базары больших городов и все магазины, где продают товары из-за границы? А потом, кто покупает безделицы, идя в горы? Покупают, когда идут домой.

Фазлур засмеялся при мысли, что он говорит, как в кино, разыгрывая какую-то чужую роль. Но торговец принял его смех за хитрость и, подмигнув ему, стал говорить так громко, что крестьяне начали прислушиваться к его словам:

— За иные безделицы платят большие деньги. Если, конечно, безделицы понравятся. Может быть, твои господа расщедрятся на безделицу... какой-нибудь кисет...

«Они не мои господа», — хотел сказать Фазлур, но его уже увлек этот разговор намеками.

— Хорошо, приноси свои безделицы и пойдем в дом. Но я прежде должен предупредить их. Захотят ли они говорить с тобой?

Фазлур застал американцев сидящими за круглым низким столом на низких табуретках, покрытых подушками. Они ели плов и пили виски и даже не спросили Фазлура, где он устроился с шофером.

Они удивленно взглянули на его вторжение, но он объяснил, что бродячий торговец предлагает показать им, как он говорит, интересные безделицы, и если сагибам понравится, то может показать и другие товары.

— Мы идем в горы, ты знаешь, и нам ничего не нужно, — недовольно пробурчал Фуст. — Не понимаю, зачем нас отрывать от ужина.

— Я уже говорил ему, что вам ничего не нужно, — ответил Фазлур.

— Пусть он все-таки придет, — сказал Гифт, делая знак Фусту. — Позови его, охотник. Мы посмотрим. Иногда в глуши у таких бродячих торговцев есть вещи, стоящие того, чтобы их приобрести. Позови его, Фазлур!

Торговец вошел и, низко поклонившись, заговорил о своем товаре, сняв с плеча сумку, из которой он вынул ряд коробочек хорошей кашмирской работы, несколько статуэток из слоновой кости, изображавших разных животных, четки и браслеты из черепахи с золотым обрезом, нефритовые ожерелья.

Фуст и Гифт рассматривали вещи без всякого интереса. Гифт открывал коробочки и нюхал их. Они пахли терпким сандаловым деревом, и казалось, этот резкий сладковатый запах проходит в самый мозг. Но американцы не хотели покупать этих вещей.

— Мы идем в горы, — сказал Фуст, возвращая торговцу ожерелья, — зачем нам эти украшения?..

— Посмотрите эту коробочку для лекарств, — сказал торговец, не терявший надежды что-нибудь все же продать, — У нее внутри несколько отделений. Или этот кисет. Такие делают далеко отсюда и привозят из Вахана. Это за Барогилем. Пожалуйста, посмотрите этот кисет...

— Нет, нам ничего не надо, — сказал решительно Фуст.

Но Гифт, вдруг оживившись, протянул руку, взял кисет с нашитыми кусочками кожи и бирюзой, вставленной

искусно в узор, обрамлявший кусочки черной кожи, распустил ремешки, и пальцы его ощутили аккуратно сложенный лист бумаги.

Гифт, не выпуская из рук кисета, завязал снова ремешки.

— Я беру этот кисет...

Торговец, едва улыбнувшись, одними губами сказал:

— Я знал, что господин возьмет именно этот кисет. Я знал, что он не может не понравиться. Этот кисет красив, как хорошая вещь,— сказал он, нагло смотря своими кошачьими глазами на Гифта.

— Да, он мне очень нравится.— Гифт подкидывал на ладони кисет.— Я буду в нем хранить табак. Что он стоит?

— Раз эта безделица так пришлась по сердцу господину, мне трудно назначить цену. Господин сам назначает цену вещи, которую он выделил...

Гифт дал ему столько денег, что Фазлур, если бы присутствовал при этом, был бы крайне удивлен, но он сидел с Умаром-Али и крестьянами у костра, на котором они грели воду для чая. Торговец пришел прямо к костру, сел рядом и стал греть руки. Лицо его было преисполнено достоинства и хитрости. Усы он подкрутил, и кончики их были тонкие, как иголки.

— Я знал, что этим кончится,— сказал он, довольный и добродушный.— Улла-хан тоже так думал.— Он повернулся к Фазлуру и спросил: — Вы ждете их?

— Мы их ждем, как ждут родных,— сказал Фазлур.

Он не мог расспрашивать торговца о том, что за разговор он вел с американцами. Торговец явно принимал Фазлура за человека, посвященного во все. Фазлур уверенно отвечал на все его наводящие вопросы.

Торговец покачал головой. Он был полон сомнений, о чем сейчас же и поделился с Фазлуrom.

— Оттуда сейчас прийти трудно. Не многие, которым повезет, могут прийти. Легче идти по дорогам ада... Большие снега, ледяной ветер, белая смерть...

«Большие снега»,— подумал Фазлур и тут же спросил:

— Но ведь им помогают в пути?

Торговец защелкал своими четками и продолжал беседу. Он говорил теперь совершенно доверительно, как он сам себе представляет положение там, где «большие снега». Они уже за Касрабом, но это не близкий путь.

У них нет друзей в тех краях. Красные китайцы очень быстро идут по их следам. Они уже настигли многих.

Фазлур боялся спрашивать дальше. Он лихорадочно соображал. Значит, кто-то бежит из красного Китая, Фуст и Гифт идут этим людям на выручку, и за Барогилем их ждет Улла-хан. Вот какова история, в которую впутался Фазлур.

Он сильно поразился тому, что узнал. Эта горная лунная ночь, безмолвие огромных тополей, не шевеливших ни одним листом, крестьяне, сидевшие в ожидании, когда можно будет пить чай, торговец, щелкавший костяшками четок и пришедший откуда-то из-за снежной громады Гиндукуша, — все показалось ему выдумкой, сном. Но когда он увидел идущих к костру Фуста и Гифта, это ощущение пропало, вернулось хладнокровие, и темная злость стала расти в Фазлуре, — злость, которую он не мог объяснить. Эта бессознательная злость заполняла его, как кипящая вода заполняет чайник, и ему хотелось сказать этим мрачным путешественникам, что он все почти знает о них и что они не такие всемогущие, как им кажется. Но то же бессознательное чувство подсказывало ему, что рано еще предпринимать что-либо против них. Рано еще сказать, что Фазлур думает о них.

Фуст и Гифт стояли у костра. При их приближении один из крестьян хотел встать, но его одернули за латаный халат, и он снова сел и стал смотреть в огонь, точно боясь, что если он будет разглядывать пришедших, то они пронзят его своим господским взглядом. Фуст окинул глазами тихий двор, взглянул под навес, где догорали угли в очаге и теплая синева колыхалась в глубине, на тополи, словно гигантские колонны, устремившиеся к высокому темно-синему небу, где плавала такая большая жаркая луна, что глазам было больно, если смотреть на нее в упор.

— Фазлур, — сказал Фуст, — в такую хорошую ночь нам не хватает песен. Ты хвастал, что поешь хорошие песни. Спой сейчас у костра. Это то, чего мы еще не слышали в горном краю.

Фазлур передал крестьянам, не понимавшим, о чем говорил Фуст, что американский ученый человек, записывающий все о жизни людей этих мест и все желающий знать, хочет, чтобы он, Фазлур, спел песню, какую-нибудь местную песню.

— Я, — сказал Фазлур, — спою. Не знаю только попра-

вится ли она ему. Хорошо, я спою,— повторил Фазлур.— Я сказал этим людям,— перевел он,— что вы хотите послушать местную песню. Здесь народ очень воинственный, это юсуфзаи. И я спою вам одну из старинных песен: про поход англичан против горцев этих мест.

Слуги принесли из дома два складных стула, и американцы сели на них. Торговец опасливо подвинулся на другой край бревна. Крестьяне оставались молчаливыми и неподвижными. Но они приготовились слушать.

Фазлур встал перед костром. Освещенный ярким золотым пламенем, он походил на воина, идущего в бой и влекущего за собой других. Он запел очень высоким пронзительным голосом мисры о далекой войне, кипевшей в этих горах в прошлом столетии. Эту песню поют и до сих пор воинственные потомки славных отцов и дедов. Эта песня пахла дымом кремневых ружей, горящими лесами и селениями, рассветами в пламени и пожарищами боевых ночей.

Ференги на ислам поднялись издалека,
Кровь моет, как вода, цветы в саду пророка.

Английские полки в горах шагают скоро,
Есть кони, и слоны, и мулы из Лахора.

Язычников ряды — кто сосчитать их сможет?
И пушки есть у них, и сикхи с ними тоже.

Гром битвы загремел, из всех ущелий дунув,
Пришли к нам храбрецы из доблестных пуштунов.

Как будто порыв горного ветра пронесся над затихшим двором. Крестьяне подняли головы и смотрели на Фазлур, точно видели его в огне битвы. Два старых крестьянина сжимали и разжимали кулаки, третий сжал свой пояс, за которым торчала рукоятка ножа. Они жадно слушали, как пронзительно звенел голос Фазлур, и после маленькой паузы неожиданно громко запели вслед за ним хриплыми голосами:

Ференги на ислам поднялись издалека,
Кровь моет, как вода, цветы в саду пророка.

В изможденных телах этих тружеников трудной земли горячей забились кровь; они вспоминали какие-то другие времена, годы своей молодости, дни, когда они бегали, как олени, по этим горам и сами принимали решения о мире и о войне.

Фазлур продолжал петь, и голос его летел выше тополей, к тем острым скалам, что вырастали далеко над селением, над зелеными каменными башнями, над спящими садами у реки, боровшейся с камнями и сбрасывающей их с громом в свою глубину.

Но после долгих дней кровавой, жаркой схватки
Дорогами бегут ференги без оглядки.

Крестьяне стучали о землю кулаками в полном восторге. Их гортанные радостные поощрительные возгласы сопровождали теперь каждый стих:

Все проклинаят здесь: Бунир, долину Свата,
Готова пронасть тут для каждого солдата.

Они на дне лежат, их ветер зноем душит,
Их желтые ремни и волосы их сушит.

— Оах! — восклицали крестьяне.

Торговцы были тоже вовлечены в общее переживание, и слышно было, как они подпевают, не в силах удержать свои воинственные инстинкты:

Когда из Свата весть дошла до Баджаура,
Встал с нами Баджаур, как вихрь, от крови бурый.

Тут крестьянин, который хотел встать при появлении Фуста и Гифта, вскочил и прежде Фазлура начал петь заключительную мисру:

Ференги на ислам поднялись издалека,
Кровь моет, как вода, цветы в саду пророка.

В ошеломляющем порыве пели все этот последний куплет, и даже бесшумно приблизившиеся поварята и слуги из кухни подхватили его так, что долго в воздухе дрожали старые и молодые голоса, стараясь слиться в общий хор и напоминая лязг и крики битвы.

Песня смолкла. Фазлур стоял как победитель, высокий, сильный горец. Глаза его сверкали. Крестьяне вытирали пот, от волнения выступивший на их лицах.

— Хорошо сложил эти мисры Талиб Гуляб¹, — сказал Фазлур. «Пусть послушают эти чужеземцы, — подумал он, — как горный народ дрался за свободу».

— Может быть, мне спеть: «В старой доброй стране, там я жил, как во сне...»? — спросил Гифт.

¹ Талиб Гуляб — пуштунский поэт, писавший мисры — двустихия о войнах между англичанами и горными племенами.

— Вот, вот.— Фуст толкнул его под локоть.— Спойте, и эти сентиментальные чудовища заплачут, как дети на елке в приюте для сироток.

— Есть песни очень старые, как эта,— сказал старик крестьянин,— но есть поновее. Вот, я помню, двадцать лет назад мы, и крестьяне Баджаура, и горные команды шли на помощь восставшим в Дире. Тогда к нам пришли и краснорубашечники из Пешавара и Хазара. Вот тогда мы тоже пели, когда шли на ханов и помещиков. Спел бы ты такую песенку.

Фазлур сказал старику:

— Рано еще петь ее, рано, старый воин.

— Что ты нам спел, охотник? — спросил Фуст.— Это была народная песня?

— Да, народ поет ее,— ответил Фазлур.— Этой песне лет восемьдесят. В ней говорится про поход Чимбелин-сагиба, который потерпел поражение в здешних местах.

— Это, наверное, Чемберлен!

— Да, они говорят: Чимбелин, но это, конечно, Чемберлен. Англичане потеряли тогда много солдат и оружия.

— Эту песню я обязательно запишу,— сказал Фуст.— Для журнала с фото. Это будет замечательно. Они воинственный народ, твои земляки, а что они били англичан, тут уж мы ничем помочь не можем. А скажи, Фазлур, что-то я не вижу этого маленького чертенка, которого ты подобрал на дороге. Куда ты девал его?

— Тут у меня есть друзья. Я пока устроил его у них. Они завтра похоронят его отца, что остался лежать там, на камнях. Это беженцы из Кашмира. Тут на дороге увидишь всю жизнь — от рождения до смерти. Вы не сможете все заснять. У вас не хватит пленки...

— Ну, ну,— сказал Фуст, видя, что Фазлура раздражают его слова.— Ты пел действительно как артист. Такие песни надо петь ночью,— это производит наркотическое впечатление.

Фуст и Гифт долго прогуливались по двору и перед сном, лежа на низких диванах, покрытых войлоком, снова перечли записку Уллы-хана, извещавшего их, что, по сведениям из-за хребта, Кинк и Чобурн идут не одни. С ними два русских белогвардейца. Их покровитель, старый волк Хамед-бек, захвачен красными, но они пока двигаются без столкновений. Красные китайцы их, несомненно, преследуют.

— Вы знаете,— сказал Фуст,— в Лахоре один богатый купец спросил меня, почему победил народный, как они говорят, Китай. Я ничего не мог ответить ему. Мне кажется, это все происходит от чудовищного перенаселения. Миллионы людей, периодически голодающих, которым отрезали путь к образованию и к какому-либо обогащению, впадают в анархию. Мы не можем ничего с ними сделать... Их слишком, слишком много. Они размножаются, как муравьи.

Если через семьдесят лет население мира удвоится, то удвоившееся население Китая вы можете себе представить? Я не могу... Их надо остановить... Индия идет за ними. Как вы относитесь к тому, чтобы предоставить землю желтой, красной, черной расе? Это безумие. Это вырождение. Вы понимаете меня, Гифт?

Гифт лежал и курил и сквозь облако дыма отвечал спокойно:

— Вы слышали об опытах некоего американского биохимика, который работает над дешевым и верным способом остановить рождаемость?

— Что это за способ? — спросил Фуст.— Как только о нем узнают в этой или в другой азиатской стране, будет новый бунт. Эти недочеловеки видят единственный смысл существования в бесчисленном потомстве. Если от них, раздетых и голодных, отнимут это будущее, они будут сопротивляться как одержимые. К сожалению, их нельзя всех кастрировать, хотя кастрация отца семейства после рождения первого сына была бы очень хорошим средством. А употребление противозачаточных средств невозможно из-за полного невежества.

— Нет, речь идет о совершенно новом, научном подходе. Это будут дешевые и безвредные противозачаточные средства, которые в виде порошка можно примешивать в пищу. Вы делаете двойное добро: кормите голодных и уничтожаете возможность их размножения.

Фуст оживился. Его увлекла картина, нарисованная Гифтом.

— Это грандиозно! И ведь это средство вы можете применять так же незаметно, как если бы вы положили соседу в чашку чая лишний кусок сахара. Он выпил, не чувствуя, что он уже исполнил ваше желание — видеть его лишенным потомства. Но это средство надо засекретить, чтобы оно не попало в руки противника. Иначе мы окажемся в очень большой, неслыханной опасности.

Гифт ответил ему:

— Вы знаете положение Уолтера Питкина¹ о делении людей на две категории: дорогих и дешевых. Он ставит это деление в зависимость от количества продовольствия в стране. Где продовольствия мало, а народу много, там люди дешевы. Там, где продовольствие обеспечивает жизнь, там люди дороги. Но он идет дальше. Он считает, что человек — скажем, американец — это, конечно, дорогой человек, потому что это высокий продукт высокой технической культуры, человек свободного мира, обладатель многих материальных ценностей, организатор, производитель, инициатор, несущий всем народам плоды своего гения. Это вам приятно слышать, Фуст?

— А вам? — сказал Фуст, засмеявшись, что может поставить Гифта на место.

— И мне приятно. И вот будем откровенны. Дорогих — как мы, американцы, — людей очень мало. Ну, считая американцев миллионов семьдесят пять — восемьдесят — конечно, не все сто шестьдесят, будем справедливы — и столько же в других странах передовой культуры по эту сторону «железного занавеса», — вот и все. Остальные — это дешевые люди, которых жалеть нечего, потому что сама судьба ставит их в постоянное бедственное, безвыходное положение. Поднимать дешевых людей до дорогих — никому не нужная благотворительность...

— Гифт, сознайтесь, есть у вас уже порошок, о котором вы говорили?..

Гифт захохотал, посасывая трубку.

— А вам он уже так срочно нужен?..

— Да, я бы с удовольствием подложил свинью Фазлуру и всыпал ему этого порошка в утренний чай. Мне кажется, я что-то начинаю понимать...

— А что именно? — спросил Гифт. — Мне, признаться, не понравилась его воинственная песня и разгоряченные морды аборигенов, так охотно ее подхвативших...

— Эти дешевые люди, по вашей терминологии, обойдутся нам дорого, — сказал Фуст. — Я тоже видел, как раскрылась их кровожадная натура, когда он пел. Но как вы думаете, зачем он спел именно эту песню? Напугать нас?

— Не знаю, — сказал Гифт, — это не приходило мне в голову. Они ненавидят англичан, и поэтому он, может

¹ Уолтер Питкин — американский экономист, написавший предисловие к книге американского эксперта по вопросам населения Элмера Пенделла «Безудержный рост населения».

быть, хотел нам доставить приятное, зная, что мы не будем иметь ничего против.

— А его упрямство в случае с тем щенком, стоявшим у дороги! Если бы я не подождал его, что было бы, Гифт? Он бы ушел, и больше мы бы его не видели.

— Может быть. Но почему вы остановили машину? Мне не совсем понятно, зачем мы его ждали?

— Я не хотел, чтобы он исчез...

— Он бы не исчез...

— Почему вы так думаете, Гифт? Мы его обидели, он дикарь, упрямство у него в крови. И кроме того, у меня какое-то темное подозрение: он не то, чем нам кажется.

Гифт докурил трубку, выбил ее и повернулся к Фусту.

— По-моему, он бы не исчез. Он следит за нами так же, как и мы за ним.

— Гифт, что вы сказали сейчас? Такие вещи не говорят громко.

— Фуст, не будьте мальчиком! Мне кажется, что с этим молодым человеком вы можете говорить не об охоте на горного козла, а о политике Советов на Востоке и о том, как выбросить империалистов за пределы страны. И он вам даст в порядке обмена опытом кое-какие любопытные сведения. Помните, как я ошибся в веселом Гью Лэме, этом паршивом краниологе, будь он проклят с его доисторическими мозгами!

— Еще бы не помнить! — сказал Фуст. — Этот факт я запомню надолго.

— Мне кажется, что на этот раз ошиблись вы, и я буду иметь некоторое удовольствие вам это доказать.

— «Некоторое» — вы сказали совершенно правильно, потому что если все подтвердится, то обманут не я один, а мы оба. И мы оба жестоко поплатимся. Но у вас есть доказательства?

Гифт, быстро вскочив с дивана и подойдя к двери, распахнул ее. Он невольно задержался перед дверью. В ее квадрате висели огромные зеленые горы, и луна глядела на эту горную страну с недостигаемой высоты с такой железной жестокостью, что Гифту стало холодно. Ни души не было за дверью. Он вернулся на диван.

— Так чем вы предлагаете кончить веселое приключение, называемое «Фазлур»? — спросил он, закутываясь в одеяло.

— Мы возьмем его с собой до конца! — сказал Фуст.

— До какого конца? Что вы называете концом?..

— Концом я называю такой день нашего путешествия, когда друзья будут с нами, когда все будет ясно. С завтрашнего дня мы займемся Фазлуром всерьез. Я уже сказал, что каникулы кончились, начинается работа.

— Фуст, прежде чем закрыть глаза, скажите: он знает про нас и про нашу задачу? — спросил Гифт.

— Он может считать себя конченным в тот день, когда он узнает об этом, — сказал Фуст.

Глава тринадцатая

— Если вы хотите снять жизненную сцену для журнала, то вот самая подходящая, — сказал Фазлур. — Для этого стоит остановиться.

— А что там такое? — спросил Фуст, отдавая приказание Умар-Али.

Они вылезли из машины и увидели неподалеку крестьянский двор. Ближе к дороге, на железной кровати без матраца, сидел, скрестив ноги на веревочной сетке, толстый человек, весь в белом. Он был так погружен в свое занятие, что ни остановившаяся машина, ни идущие по дороге пешеходы, ни вереница ослов, везущих дрова, ни всадники, проезжающие мимо, не могли оторвать его толстых темных пальцев от костяшек счетов, от вечного пера, которым он записывал свои подсчеты на длинном листе бумаги.

В его лице были сосредоточенность, гордость, вера в собственную непогрешимость и сознание своей правоты и силы. Его тюрбан был такой белизны, точно с далеких облаков долетел нежный кусочек облачной ваты и обвил его голову. Его туфли стояли под койкой на зеленой траве, и все могли видеть, что это туфли с толстой подошвой, крепкие, новые, такие же полновесные, как и владелец.

За койкой, прямо на земле, сидел чернобородый крестьянин, и на лице его было написано отчаяние.

— Вот печальное зрелище, — сказал Фазлур, — обычное для наших мест: ростовщик, пришедший за расплатой и подсчитывающий долги. Где-то рядом лежит его палка, оружие пуштуна-ростовщика, которого в народе называют «кабули», и когда он убедится, что не сможет сразу получить долг, — а это уже видно по лицу крестьянина, — то он возьмет палку и будет его бить до потери сознания. И будьте спокойны, если не долг, то проценты он выбьет из этого тихого дурня!..

— Но я не буду ждать, пока он кончит свои подсчеты,— сказал Фуст.— А кроме того, такой сцены, дикой и варварской, я не хочу снимать. Не забудь, Фазлур, что я как друг хочу показать Пакистан в своей книге и в журнале.

— Как хотите,— сказал Фазлур,— но если вы ищете характерное, то это очень характерное и очень правдивое. Мне пришлось однажды спасти такого должника,— начал он рассказывать, когда Фуст все-таки сфотографировал эту придорожную сцену и они двинулись дальше.— Вот так же он подсчитывал, и приближался страшный момент, он наступил раньше, чем я успел подъехать на своем муле. Кабули так бил свою жертву, что до меня долетали и удары его палки, и хриплые стоны, которые издавал избиваемый. Я сообразил, что, если просто вмешаюсь, из этого ничего хорошего не выйдет. И действительно, когда я подъехал и крестьянин понял, что я заступлюсь, он закричал мне голосом, таким горестным и безвыходным, что и камень бы заплакал. Он закричал: «Не мешайте, добрый сагиб, я чувствую, что злоба его скоро истощится и я освобожусь от его палки, а если вы вступитесь, он будет еще терзать меня, будет бить снова и без конца».

«Дурак! — закричал я.— Неужели ты думаешь, что я буду мешать справедливому действию этой палки на твоей спине и плечах и что для этого я прервал свой путь? Я должен сказать два важных слова доброму Аягляр-хану и прошу его склонить свой слух ко мне».

Ростовщик, видя, что я прямо задыхаюсь от волнения, остановил избиение и ждал. Я сказал: «Я гнал мула, зная, что тебя застану здесь. Я не был бы хорошим человеком, если бы не сказал, что за мной вслед скачет сюда Матин Али и кричит, что он наконец ухнет твоей кровью». — «Он один?» — спросил, побледнев, Аягляр-хан. «Нет,— воскликнул я,— с ним целый отряд головорезов!»

Сказав, что он мой должник на всю жизнь, Аягляр-хан вскочил на коня и бросился вниз по долине, потому что они были кровники с Матином Али, и если бы тот поймал Аягляр-хана, он бы зарезал его, как овцу. Крестьянин не знал, как благодарить меня, а ведь я выдумал, что кровник гонится за Аягляр-ханом. Но я знал, что они кровники, и действовал наверняка. Тогда я знал почти всех ростовщиков. Теперь их заменили более деловые люди, они бы не поверили в кровника и выпили бы по капле кровь своего должника.

— Ты хитрый, Фазлур! Я это давно заметил!

Фуст посмотрел не мигая на Фазлура, но Фазлур оставался совершенно спокойным.

— Мы, горцы, все хитрые. Если бы мы не были хитрыми, нас всех давно бы истребили. Даже когда мусульмане-шииты ездят в Мекку и Медину, никто из них не признается, что он шиит. Они называют себя «шафитами»¹ и так въезжают в святые города.

— Вот ты кстати заговорил о мусульманстве, — добавил Фуст. — Посмотри, такого красочного пилигрима мы давно не видели! Остановимся здесь, чтобы не спугнуть его, я чувствую, что это богатая добыча. — Он показал на холм, где под широкой листвой большого чинара отдыхал, судя по костюму, мусульманский пилигрим. — Мы должны с ним поговорить, Фазлур, и кстати устроим перед Ловарийским подъемом небольшой привал. Ты иди вперед и предупреди его, что мы хотим с ним поговорить и снять его для журнала, который читает весь мир, его портрет будет известен всему миру. Обязательно скажи это ему, потому что все эти хаджи очень тщеславны и любят поклонение.

Фазлур был зол за это поручение, потому что ему не было никакой радости говорить с фанатиком, который проклянет его и ференги. Но сидевший был так добродушен в своей позе отдыхающего, со своей длинной бородой, давно не подкрашиваемой, так что из красной она стала рыжей, и коричневым лицом с глубокими морщинами, с печальными глазами и выглядел так миролюбиво, что Фазлур приветствовал его и сказал, что путешественники, американские ученые, хотят поговорить с ним и поместить его портрет в журнале, который читают во всех странах.

В печальных глазах сидевшего мелькнул какой-то огонек и сейчас же погас. Он сказал, что готов говорить с иностранцами, «хотя мир спустил на их очи покрывало и они ничего не видят». Фазлур вернулся на дорогу и сказал, что, по-видимому, этот человек имел дела с иностранцами и готов с ними разговаривать, однако, судя по всему, он фанатик и будет говорить в этом духе.

— Пусть он говорит что хочет, — сказал Фуст. — Нам все пригодится. И переводи нам, пожалуйста, без сокращений, и даже, если он будет груб, переводи и его грубости.

¹ Шафит — шиит-паломник, признающий формально учение одного из четырех известных сунитских богословов Шафи.

Они сидели на больших корнях столетнего чинара. Здесь была тень и тишина. На пилигриме, несмотря на полдень, был накинута желто-зеленый плащ, рядом лежала трубка с длиннейшим чубуком и палка темного дерева, небольшой мешок был прислонен к стволу чинара.

— Спроси его, куда он идет. На богомолье?

К этому вопросу Фуста Фазлур не без ядовитости добавил:

— Ты что, идешь на могилу Диваны Шурфхаана в Тетте, или к шаху Абдулле Латифу в Бхите, или ты держишь путь в Бадшахи Масджид? А может быть, ты хочешь совершить паломничество к самому Джахангиру? — Фазлур называл почитаемые мусульманами места в Свате и в Лахоре, места, куда обычно держат путь паломники, но называл их подряд, несколько пренебрежительно, так как знал, что для подобных пилигримов все равно куда идти. Лишь бы знать, что они идут в святое место.

Рыжая борода, видя, что иностранцы даже не приветствовали его, произнес с большим достоинством слова Корана:

— «Разве не из капли воды негодной создали мы вас! Чего же они гордятся?»

— Они гордятся потому, что считают нас ниже себя, — сказал Фазлур, которому ответ старика понравился. — Мы не помешали тебе есть и пить?..

— Бык насыщается медленнее воробья, — старик лукаво усмехнулся, — я уже насытился и слушаю тебя. Кто это с тобой — англичане?

— Нет, они приехали издалека, из Америки...

— Из Америки? — повторил, не удивившись, старик. — Да, я слышал, есть такая большая, богатая страна.

Фузлур перевел, и Фуст обрадовался: это не такой глупец, как кажется. Тут старик сам спросил Фазлура, бесцеремонно рассматривая его походный сюртук и штаны:

— А ты идешь проповедовать Али-Аллаи?

Это была насмешка правоверного суннита над исмаилитом, так как в Фазлуре он сразу узнал читралца по произношению.

С тех пор как в исламе появилась новая секта исмаилитов и раздробилась на множество мелких сект, — а это было тысячу лет назад, — всех исмаилитов без различия называли «Али-Аллаи». В долине Читрала, где родился Фазлур, можно встретить сколько угодно исмаилитов, к ко-

торым мусульмане-сунниты относились в старину враждебно, а сегодня относятся вполне мирно, но подчеркивая собственное превосходство.

— Если бы я даже был шиитом,— сказал Фазлур,— то разве я сказал бы перед тобой после молитвы «Аллиун Вели-уллах» — возвышенный аллахом? Что ты насмеяешься надо мной?

Фазлур знал, что шиит, кончая молитву, должен повторить имя Магомета, обязательно добавив «Аллиун Вели-уллах» (этой добавки в Коране нет), знал что суннит-фанатик выхватывает нож при этих словах, но пилигрим устало вздохнул и сказал:

— Суннит молится при восходе солнца, во время обеда, перед закатом, при закате и через два часа после заката. Ты видишь, я знаю, что отличает истинного мусульманина, а шиит молится только три раза. А сколько раз в день молишься ты, чтобы я знал, кто ты, остановившийся на дороге и расспрашивающий меня?

— Если хочешь знать, то мои родные исповедуют того же бога, что до них исповедовали Авраам, Моисей, Магомет и Исмаил.

— Ах, ты все-таки Али-Аллаи! — сказал, победоносно огладив бороду, пилигрим.

— Я не договорил,— продолжал Фазлур.— И не принимай меня за человека, желающего вступить с тобой в религиозный спор. Если уж Исмаил говорил, что каждый человек должен стремиться улучшить свою жизнь на земле, достичь счастья и иметь радость, то я иду дальше и хочу содействовать тому, чтобы людям действительно жилось хорошо. И не принимай меня ни за фанатика, ни за дурака. Я вижу, что ты достойный собеседник. Но скажи, что я должен передать этому человеку из Америки, который снимает тебя со всех сторон...

— Скажи ему, что я пилигрим, который находится в пути уже много лет...

Фазлур перевел. Фуст был очень заинтересован.

— Кто он? Спроси, кто он?

— Я,— сказал пилигрим,— сын этих гор! — Он обвел пространство рукой, как будто благословляя эти горные просторы.— Я бывший заминдар.

Услышав, что старик бывший заминдар, Фуст даже привстал. Ему пришла в голову неожиданная мысль:

— Бывший заминдар — это великолепно! Его разорили красные? Крестьяне отобрали его имение? Удивитель-

но! Нам просто повезло. Скажи, что мы выражаем ему сочувствие.

Фазлур перевел старику эти слова, и удивление отразилось на лице пилигрима, затем он слегка поднял руку и сказал:

— Я не помещик, я самый простой крестьянин. Это в Индии заминдарами зовут богатых землевладельцев, а у нас в горах богатые — это ханы и малики, а крестьяне — это заминдары. Я разорившийся крестьянин. Я как нищий. Я все хожу. Я должен менять места, но мое странствие не без смысла. Я борюсь...

— С чем же он борется? — спросил, насторожившись, Гифт. — Если он не пилигрим, то он агитатор. За что он агитирует, спроси его...

— Я странствую ради земли и правды, — сказал старик, — я бился за землю в Дире, когда там подняли восстание, и в Малаканде, и в Баджауре; в другом году я сражался за землю в княжестве Пульра в округе Хазара. Если ты не веришь, то я могу показать...

— Прости меня, отец, — сказал Фазлур, — за мои ранее сказанные поспешные слова. Я не знал что ты старый воин, борец за народ.

Старик подозвал жестом Гифта и Фуста, и когда они приблизились, он сказал:

— Переведи им... Разве не открыли мы сердца своего? А чем вы ответили нам?

Он сбросил желто-зеленый плащ и спустил рубаху до пояса.

— Как, ты обнажаешься при ференги! — сорвалось невольно с губ Фазлура.

— Пусть смотрит, — сказал старик. — Вот пуля ударила сюда — видите ее след? — это Дир; вот шрам, смотри, от удара саблей, — это Хазар. — Он повернулся спиной. — Вот след плетей Баджаура. Пусть они смотрят, пусть, как ты говоришь, их журнал читают во всем мире, пусть снимают! Вот рубцы Малаканда. А вот эти рубцы я заработал три года назад в округе Мардан.

Фуст, сжав зубы, фотографировал его. Гифт смотрел злыми глазами, точно видел перед собой врага, которого обстоятельства не позволяют уничтожить.

Фазлур сказал:

— Закройся, отец. Недостойны они смотреть твои раны, следы твоей чистой, большой жизни...

— Они сняли меня, да? — ответил пилигрим. — Ну,

это хорошо, что они сняли меня. Я горжусь своими отметками, как медалями!

Фуст спросил:

— Кто же он в конце концов, этот чертов мошенник, который, по-видимому, проводил свою жизнь в тюрьме, как бродяга? Кому же он поклоняется в конце концов?

— Надо отвечать на этот вопрос? — спросил старик Фазлура.

— Хочешь отвечать — отвечай, не хочешь — молчи.

— Нет, скажи ему так: я поклоняюсь земле, ищу правду. И скажи ему еще, что я воин, готовый к бою.

— Он красный? — спросил Гифт.

— Ты красный? — повторил Фазлур.

— Это спрашивает уже другой? Скажи, что я был членом Кисан-джирги, если он понимает, что это такое, — боролся против помещиков. Но в красных рубашках я не был. Старая пословица юсуфзаев Свата говорит: если сильный имеет достаточно силы, то земля переходит к нему. Мы не имели достаточно силы, и вот копим ее. Я хочу видеть своими глазами, как она копится.

Фазлур перевел только часть того, что ему рассказал пилигрим.

— Спроси его еще, как он относится к Советскому Союзу и кого он оттуда видел последний раз.

Вопрос был провокационный, и Гифт даже наклонился вперед, чтобы слышать лучше ответ, хотя он и не понимал языка. Но ему была важна интонация.

Старик ответил спокойно, что он никогда в жизни не видел советского человека. А к Советскому Союзу относится хорошо. Страна, где у людей есть земля и нет помещиков, уже хорошая страна.

— Он коммунист? — спросил холодно Фуст.

Пилигрим ответил:

— Если коммунисты те, кто хочет дать народу землю, то я коммунист!

— Хорош пилигрим! — воскликнул Фуст. — Хватит этой пропаганды, поехали!

Так как они ушли, не поблагодарив старика за беседу и не простившись, то Фазлур, довольный происшедшим, сам приветствовал пилигрима и расстался с ним очень сердечно. Старик проводил его до тропинки, которая вела вниз к дороге, и, прощаясь, поднял руку:

— Они забыли, что сказано: «Берегись оттолкнуть нищего». И еще сказано: «Будешь ты кусать тыл руки

своей». Это про них. А я, что я? Я пережил много бедствий. Я потерял семью, друзей. Я похож на деревянную чашку. Сколько ни бей ею об землю, она не разбивается. Вот это — все мое, — сказал он, как бы обнимая дорогу, горы и небо. — Это — все мое. Этого от меня не отнимут. Он правильно понял, этот ференги, что я помещик, заминдар. Да, я богат, как и ты, великодушный друг. — Лицо его сморщилось в улыбку. — Эх ты, Али-Аллаи, ничего, я не смеюсь!

— Так сунниты молятся пять раз в день, а шииты три? — спросил, улыбаясь, Фазлур. — Я благословляю тот час, что встретил тебя.

— Я тоже, — сказал пилигрим. — Приходи еще в эти края, и жизнь снова столкнет нас. Жизнь — мудрый и справедливый хозяин пути.

Когда пилигрим остался далеко позади, Фуст и Гифт засыпали Фазлура вопросами: что такое Кисан-джирга, что он думает о старике, и не советский ли это агент, пришедший через Вахан?

Фазлур, посмеявшись про себя тревоге, которую они сами же вызвали, разъяснил, что старик пуштун, местный житель, который, претерпев гонения, потеряв семью и разорившись, явно нищенствует и горд при этом; он принял вид странствующего пилигрима, потому что — это обычай — пилигримам дают еду и приют и относятся к ним с уважением. Кисан-джирга — крестьянские союзы в северо-западной провинции, требовавшие раздела земли. Но многое, что старик рассказывал, относится не к сегодняшнему дню, а было чуть не двадцать лет назад. За последние годы помещики сами сгоняют с земли арендаторов и батраков, и положение крестьян в Хазаре, Мардане, в Свате и Дире очень трудное.

Эти ответы пришлось по душе Фусту. Когда они с Гифтом шли сзади машины на подъеме к перевалу, Гифт сказал:

— Я думал сначала, что ваши снимки можно бросить в канаву, но мне пришла в голову неожиданная мысль, вы должны ее оценить: старика надо поместить в журнале с подписью, что это мусульманский пилигрим, ставший жертвой красных. Его рубцы и раны свидетельствуют о перенесенных пытках.

— Я думаю тоже об этом, — сказал Фуст, — и ваше предположение меня устраивает. Но у меня есть другие соображения, о которых я вам скажу позже.

Они остановились, невольно залюбовавшись широким простором, открывавшимся с Лаварийского перевала. Внизу темнела долина Читрала, над ней, над почти голубыми утренними предгорьями, на которых уже лежали тени облаков, подымались многоярусные снежные глыбы Гиндукуша, и среди них выделялась своими необъятными ледяными стенами одна вершина, которая была, казалось, сложена из отвесных каменных и ледяных плит. Черные пятна обнаженных скал говорили об этой отвесности даже на таком большом расстоянии.

— Это Тирадж-мир! — сказал Фазлур. — Никто еще не победил этого великана.

Фазлур не мог предвидеть, что спустя небольшое время отважные норвежские альпинисты первыми взойдут на эту неприступную вершину.

Дальше в легком тумане вставал Сад-иштраг, и дрожащая дымка мешала рассмотреть его.

В этот же день начался Читрал. Фазлур изменился. Ощущение родных мест, где все ему было так знакомо, вид Кунара, катившего свои мутные воды, так как наверху, в горах, шли дожди, чистый прозрачный воздух — все это наполняло грудь Фазлура сознанием, что он дома.

Пусть этот край был беден и селения с квадратными глиняными домами или деревянными маленькими рублеными избушками, стоявшими на узкой площадке на склоне горы или внизу у реки, говорили о скромной трудолюбивой жизни; пусть просто одетые люди, расчищавшие арыки или ходившие за сохой, могли угостить только хлебом и молоком; пусть не пышные леса встречались на пути в этих долинах, а горный тополь, береза и верба или старый орех стояли над обычной горной рекой, — но это был его мир, полный для него такой отрады, такой радости, что он чуть не выпрыгнул из машины, чтобы почувствовать ногами каменистую, сухую, любимую землю.

Над долиной со всех сторон стояли горы. Она была коридором, уводившим в самое сердце хребтов и высоких вершин. Несмотря на дикую суровость пейзажа, все в долине, начиная с уютных садов, где росли яблони, абрикосовые деревья и туты, до тщательно возделанных маленьких полей и аккуратно сложенных из камней оград, говорило о том, что здесь любят тяжелый и благодарный труд и с незапамятных времен украшают эту долину садами и полями, на которых научились выращивать пшеницу, горох, ячмень и бобы.

Фазлур знал, что долину населяют крестьяне, полные суеверий, спокойные и мягкие в жизни, выносливые, неустойчивые в работе. Еще недавно мужчины и женщины любили носить разные талисманы, подвешенные к шляпе или пришитые к платью, еще недавно вдова умершего мужа выходила за его брата, как требовал обычай.

Фазлuru хотелось рассказать Фусту и Гифту как можно больше о своем родном крае, о людях, которые тоже хотят жить другой, лучшей жизнью. Фазлур теперь знал, что его спутники совсем не потому избрали этот маршрут, чтобы, как ученые, видеть и записывать жизнь народа. Все это выдумка, все ложь! Он знал, что им не нужны ни горы, ни песни, ни встречи. Они служат другому, хотят другого. И все же он рассказывал им о Читрале и не мог удержаться, чтобы не рассказывать. Он говорил, захлебываясь:

— Мы будем строить школы, много школ. Мы будем иметь низшие и высшие учебные заведения. Мы уже начали строить их. Мы имеем в Читрале марганец, медь, мышьяк, свинец, сурьму. Все эти богатства скоро будут разрабатываться. А какой талантливый народ читралцы! Вы посмотрите их танцы, послушайте, как они поют!..

— Мы уже слышали,— сказал Фуст,— мне нравится.

— Где вы слышали?

— Ты же пел нам воинственную, очень красивую песню. Я записал ее.

— А! — сказал Фазлур. — Разве я пою? Наши девушки поют — вот это поют! У них длинные, мягкие, такие волнистые волосы и такие же, как ночь, глаза.

— Говорят, около Тирадж-мира есть озеро, окруженное утесами из белого мрамора? — спросил Гифт.

— Есть и озеро, и не одно озеро, есть и мраморные скалы. Все есть,— сказал Фазлур, продолжая расхваливать родную долину.

День прошел в дороге незаметно, и они подумали о ночлеге, когда горы уже потемнели и свежий ветер пронесся из глубины ущелий. Они были в неширокой части долины, перед началом узкого ущелья, и ламбадар — староста деревни — оказал им гостеприимство. Он пригласил их в свой дом, отвел комнату, где даже стояли походные кровати, накормил их отличным пловом и охотно отвечал на все вопросы.

Фуст и Гифт лежали на складных кроватях, отдыхали и курили. Фазлур ушел в селение. Его окликнули. Он оглянулся. Его звали, ему кричали из небольшого дома, в

саду которого сидело несколько человек. Перешагнув за ограду, Фазлур радостно удивился:

— Я вижу старого охотника! О, как я рад тебя приветствовать, Селим Мадад! Что привело тебя в наши края?

— Слыхал я, брат, что какие-то иностранцы собираются на Тирадъж-мир. А может быть, на Белое Чудо! А я здесь ходил с одной экспедицией, и она кончилась. Люди поехали в Лахор, а я вот остался. Может быть, понадобятся люди из Хунзы? Мы ходим по горам, ты знаешь как... А что делаешь ты?

— Я только что приехал с равнины. Со мной два американца, которые хотят прогуляться к перевалу Барогиль, а может быть, тоже попробовать Тирадъж-мир. У них есть и ледорубы, и веревки, и теплое белье. Я не знаю их планов, но слышал об этом.

Старый охотник нахмурился. Он даже сдвинул на затылок мягкую круглую горскую шляпу. Его исполосованное горным ветром лицо было цвета красного металла, глубокие морщины лежали на лбу, и темная борода покрывала только подбородок. Его всегда прищуренные — привычка больших высот — глаза смотрели, как глаза ястреба, усы были подстрижены. На нем была темная в синюю и белую клетку рубашка с воротом на молнии, альпийские толстые штаны и горные ботинки с тригонями.

— Я видел их сегодня обоих, когда они гуляли по берегу. Я знаю их. Зачем ты идешь с этим страшным волком в образе человека?

— Кто это? Фуст? — спросил Фазлур, которому сразу стало не по себе. — Откуда ты его знаешь?

— Я ходил с ним на Белое Чудо. Но пускай отсохнут мои ноги и руки, если я когда-нибудь еще пойду с ним.

— Я знаю, что там случилось какое-то несчастье, — сказал Фазлур.

Охотник взволнованно растирал песок своим громадным ботинком с тяжелыми набивками.

— Там было убийство, и я тебе расскажу, чтобы ты знал. Они пришли через Гилгит в Хунзу и взяли носильщиков. Просили меня. Я пошел. Там, на высоте, начались метели. Фуст возвращался в нижний лагерь, струсил в метель и, чтобы уйти быстрее самому, отвязался от носильщиков и бросил их. Они блуждали в снегах одни. Мы пошли спасать носильщиков. Они чуть не погибли. На другой день я выхожу из палатки. Они сидят такие, как будто у них все в семье умерли. У кого завязана рука, у

кого обе ноги в бинтах, у кого руки и ноги. Оттого они и сидят такие. Посмотрят на свои ноги и руки и еще больше мрачнеют. Отморозили. Ночевали без палатки, без спальных мешков. Разве так люди делают? Слушай, я много ходил по горам, но тут было особое дело. Слушай дальше. Мы начали ставить лагерь за лагерьем, чтобы идти вверх. И так шли до восьмого лагеря. Ты знаешь, какие силы нужно иметь там, наверху. Один я нес груз до восьмого лагеря, и с нами был Найт, хороший человек, простой, добрый. Он уже не мог идти вперед. Мы забрали продукты и пошли выше. Трудно идти, очень трудно идти. Ничего не выходит. Продукты кончились. Спускаемся в восьмой лагерь. Опять берем продукты, опять идем вверх. Буря. Занесло выше головы. Отлеживаемся. Опять вышла вся еда. Спускаемся к Найту. А он лежит и не может встать. Мы его спустили в седьмой лагерь, а здесь ни еды, ни спальных мешков. Он не мог спускаться больше. Мы его оставили в седьмом лагере. Фуст спустился со мной в шестой лагерь, а там никого. Он пуст, и все лагери тоже пусты. Одни носильщики, и еще человек с усами, и еще один, а больше никого. Все ушли. Куда? В Китай. «Как в Китай?» — скажешь ты. Я тоже тебе скажу. Шли на гору, а ушли в Китай. Я ничего не понимаю. А тот там, наверху, начал кричать.

Я иду к Фусту, он лежит у палатки, лицом вниз. Я на всю жизнь запомню это. Он лежит, закрыв лицо руками, в толстой своей штормовой куртке, в зеленых штанах, — лежит прямо на камнях и не шевелится. Я ему говорю: «Он кричит. Послушайте, как он кричит». Он сел на камнях, смотрит на меня бессмысленными глазами. Я говорю: «Послушайте, как кричит человек. Это Найт, надо его спасать». А он лязгнул зубами и сказал: «Не надо туда ходить, не смей, так ему и надо».

Я не понял, что он хотел сказать, но идут носильщики. Вид у них страшный, очки на лбу, глаза слезятся, лица как у мертвецов. Говорят, надо идти спасать. Будет буря, и он погибнет. «Он кричит, — говорят они, — слышите, как он кричит!» Мы пошли к Фусту: «Вот носильщики хотят идти спасать. Надо бы и всем другим его спасать. Что же вы лежите?»

Он вскочил и схватил ледоруб и чуть не ударил нас ледорубом, но сжался как-то и говорит: «Если хотите — идите. Я с вами не пойду. Пусть он там подыхает. Так ему и надо».

А тот так кричал, что мы не могли слушать. И носильщики ушли спасать. Мне они сказали: «Ты не уходи, а то и нас бросят наверху». Я еще видел в бинокль, как они карабкались по обледенелым скалам. И потом пришла темнота, пришла буря. Наши палатки завалило доверху. Утром всюду чистый, новый снег и тишина... знаешь, какая. Ни одного крика. Никто не вернулся. Теперь слушай: этот волк хотел загрызть того, Найта, но внизу побоялся, загрыз наверху.

— А зачем другие ушли в Китай? — спросил один из сидевших крестьян.

— У них были темные дела, — сказал Селим Мадад, — и мы все рисковали жизнью неизвестно за что. Я едва уцелел. Слушай, если бы мы все пошли, как это делают люди, мы бы спасли его. Но у наших людей не было ничего, кроме ледорубов и желания прийти на помощь. Того бросили нарочно. Это мне стало ясно, когда мы спустились и всем стало известно, что люди погибли. «Дураки, — сказал он, этот Фуст, — никто не гнал их туда. Они пошли сами — и вот получили». Скажи мне теперь, что это за человек? А он все написал по-другому в книге. Мне рассказывали, что он все написал не так. Он волк. Зачем ты идешь с ним? Куда они идут?

Фазлур хотел сказать: они идут выручать тех, кто тогда ушел в Китай, а сейчас бежит из Китая, — но удержался и повторил, что они хотят только сделать небольшую прогулку, пройти по горам и выйти перевалом Дора к Тирадж-миру и посмотреть на него...

— Смотри, Фазлур, я не верю, что они не имеют других дел; получится, как тогда. Шакалы идут всегда на падаль, а эти люди, как шакалы, чувствуют, где гниет. Будь осторожен. Что ты смеешься?

— Я смеюсь потому, что перед отъездом мне эти самые слова сказала одна женщина в Лахоре...

— А теперь это тебе говорит мужчина. Если двое, не сговариваясь, говорят одно и то же, надо верить им.

— Вы хотите ехать до Барогия на машине, — сказал один из собеседников, — это не удастся. Река начинает разливаться. В горах обвалы и дожди. Не знаю, как вообще вы проберетесь.

— Вы еще сможете пробраться, — сказал другой крестьянин, — но машина не пройдет никак. Мы ждем большого наводнения. Надо собирать караван, если хотите идти на Барогий. Он еще весь в снегу. Вам туда не проехать.

— Вы думаете, что пора оставлять машину? — спросил Фазлур.

— Еще немного, завтра вы еще сможете проехать, но дальше это будет невозможно. Вы сами убедитесь.

Они сидели дотемна. Фазлур рассказывал о Лахоре, охотник — о своем путешествии по ущелью Сакиз-джары, местные жители делились разными новостями, — главная из них была ожидание наводнения, которое в это время года всегда затопляет верховья реки.

— Еще раз говорю тебе, — сказал старый охотник, — брось его! Если бы я знал, что он человек, я убил бы его из своего охотничьего ружья, но так как он волк-оборотень, я боюсь иметь дело со злыми духами, — добавил Селим Мадад, прощаясь с Фазлуром.

Фазлур встретил Фуста на тропинке. Он возвращался с прогулки. Когда Фазлур сказал ему о слышанном от местных людей, что река с каждым днем все более становится мутной — первый признак дождей наверху и будущего наводнения — и что это сигнал большой опасности, Фуст, выслушав, остановился перед Фазлуром, испытующе посмотрел на него и сказал:

— Ты веришь всей этой болтовне?

— Верю, не могу не верить. Так бывает каждый год.

— Что ты предлагаешь?

— Оставить машину, отправить ее в Лахор. Надо де-
лать караваны, собирать носильщиков, проводников.

Фуст усмехнулся:

— Ты поешь лучше, чем говоришь. Я сам все знаю. Мы будем продолжать путь. Мои сведения точнее. Но теперь я хочу поговорить с тобой. Ты дошел до своих мест. Ты был хорошим проводником, и кое-что из твоих рассказов я даже записал. Я простил твое своеволие, которое ты проявил несколько раз в дороге. Об этом не будем говорить. Я предлагаю тебе продолжать с нами путь дальше.

— Куда? — спросил Фазлур.

Он не хотел показать, что начинает волноваться.

— Мы пойдем через перевал Барогиль, немного по-
странствуем по горам Вахана для тренировки и через перевал Дора вернемся в твои места, к Тирадж-миру. Мы обеспечим тебя теплой одеждой и сговоримся о плате. Ты будешь помогать нашему маленькому каравану. Будешь помогать в охоте и в горах. Эта прогулка не займет много времени.

— Я согласен,— сказал Фазлур,— мне не к спеху возвращаться домой. Я отсюда извещу своих, и все будет в порядке. Хорошо. Я пойду с вами.

Фуст сказал Гифту этим же вечером:

— Дитя природы у нас в руках. Фазлур согласился идти с нами в горы. Теперь мне ясно все...

— Что все? — спросил Гифт.— Все, о чем я вам говорил?

— Возможно,— сказал Фуст заговорщицким тоном.

Когда наступил вечер и под луной в холодном воздухе появились белые осколки звезд и замерцали дальние снега, а деревья стали тихими и черными, ламбадар устроил по просьбе Фуста танцы. Танцевали крестьяне — погонщики ослов, пришедшие из Кали и Дроша. Они ходили по кругу, и в их танце было что-то женственное, отсутствовала та страстная воинственность, какой полон танец сабель у белуджей или афганский военный танец. Поэтому, поглядев немного, Фуст сказал, чтобы они спели. Они пели грустные, лирические песни, которые не доставили ему тоже особого удовольствия, и он сказал Фазлуру:

— Спой ты. Покажи им, как поет настоящий горец. Может быть, они проснутся тогда. Спой что-нибудь дикое, такое воинственное, как будто идет война со всем миром.

Фазлур усмехнулся. Он пел на этот раз песню, которую, по-видимому, никто не знал, потому что ее слушали внимательно и причмокивали от удовольствия, но никто не подпевал.

Мы не те, что живут в золотых дворцах
Наше знамя теперь во всех мира концах.
Наше знамя в наших руках!

И ни голод, ни мор не могли нас убить,
Потому что нам нужно трудиться и жить.
Наше знамя в наших руках!

Мы на стовор с врагом никогда не пойдем,
Небеса задрожат, когда мы запоем:
Наше знамя в наших руках!

И мы мира хотим для любой страны,
Все мы мира хотим, не хотим войны,—
Наше знамя в наших руках!

Что нам пушки захватчиков черной орды,
Мы смеемся над смертью, сплотив ряды,
Наше знамя в наших руках!

Он кончил и под шум восклицаний сказал:

— Больше петь не буду.

Фуст не знал, о чем он спел, но мужественные слова далеко были слышны в вечерней тишине долины. Фазлур перевел так, что это военная песня, тоже старая, о людях, которые боролись с угнетателями.

— Опять с англичанами? — спросил Фуст.

Фазлур сказал:

— Нет, вообще с угнетателями.

И, сказав, растворился во тьме. Но его остановил полицейский сержант. Он считал своим долгом присутствовать на этом случайном вечере. Тронув свои длинные тараканьи усы, острия которых устремились к небу, он взял за локоть Фазлура и спросил:

— Это что за песню ты спел? Я такой не слышал еще...

— Она не дошла до этих мест, — сказал небрежно Фазлур, — в Лахоре ее поют уже. Народ поет...

И он ушел. Ламбадар, человек с большим носом, в легком суконном пиджачке, в рубашке навыпуск, с умными и внимательными глазками, сказал Фусту:

— Он перевел вам песню неправильно. Он пел не о войне, а о мире.

И он рассказал истинное содержание песни. Фусту и Гифту это содержание вовсе не понравилось.

— Где он? — спросил Фуст.

— Он ушел, — ответил голос Умар-Али из темноты от дома.

— А кто он в конце концов? — спросил Фуст.

— А разве вы не знаете? — удивился ламбадар. — Он же приехал с вами!

— Мы знаем, что он сын богатого землевладельца, управляющего имением богача. Его отец иногда из особого уважения сопровождает знатных гостей на охоту в горы, как знаток гор.

Ламбадар и полицейский сержант захохотали, как дети.

— Он — сын богача! — сказал, отдышавшись, ламбадар. — Так можно насмешить насмерть. Богатый землевладелец, знатные гости, старик знаток, ох-хо, можно ли так смешить! Он сын нищего. Его отец — охотник, нищий. Кто его не знает! А он, Фазлур, студент. Он сочиняет всякие песенки, очень такие политически острые да нехорошие песенки. Власти не боится, людей тоже. С ним связываться — время терять. Вы же видите, какой вздор он вам наболтал. Я не удивлюсь, если в конце концов окажется, что он коммунист...

— Так,— Фуст почесал бровь и взглянул серьезно на Гифта, мрачно затаившегося за спиной ламбадара,— но это ничего, он славный парень. Мы хотим его взять в горы с собой.

— Не советую вам,— сказал ламбадар.— Вы наши гости, а он человек, прямо сказать, опасный политически. С ним в горах могут быть серьезные неприятности.

Фуст вдруг оживился, точно ему сказали что-то очень его устраивающее.

— Но мы люди храбрые,— сказал он.

— Смотрите,— ламбадар погрозил пальцем в темноту,— будьте настороже. Я бы вас все-таки с ним не пустил. Но вам виднее. Я сказал...

— Вы не можете представить себе, как вы обязали меня вашим разъяснением...— произнес торжественно, как тост, Фуст.

— И я хочу сказать,— добавил полицейский сержант,— вот ведь эта песенка: так посмотреть — как будто в ней ничего нет. А что такое «Наше знамя в наших руках»? Какое знамя? Если наше, пакистанское,— это хорошо; но почему мы против войны, не понимаю. Значит, нехорошо. Мы не боимся никого — хорошо; но почему во всех концах мира это знамя — непонятно. А что плохого жить в золотом дворце? Но он поет так, что эта песенка, выходит, против богатых людей. Видите, сколько в одной песенке смутного и, я бы сказал, революционного! Мне, пожалуй, надо это записать. А вы хотите с ним в горы идти. Да его нужно было давно запрятать куда-нибудь подальше...

— А вы не можете сделать это здесь? — спросил Гифт совершенно неожиданно.

— Я? — Полицейский сержант немного смутился.— Да ведь что же я с ним буду делать? Он ничего такого особенного не говорил. Я, конечно, это запишу для памяти. Вот если бы в Лахоре решили — это другое дело. А мое дело — вас предупредить, чтобы вы опасались.

— Ага, я понимаю вас,— сказал Гифт,— этого недостаточно для ареста.

— Да, да, вы меня совершенно правильно поняли.— Полицейский сержант поправил ремень своего охотничьего ружья, перекинутого через плечо.

— Ну-с, Гифт,— сказал Фуст, когда они остались одни в комнате,— дело проясняется с каждым днем! Мне понравились слова ламбадара о том, что с Фазлуром в горах

могут быть серьезные неприятности. И они будут,— правда, Гифт? Вы согласны, что они будут, что они не могут не быть?

— Мы в опасности,— Гифт даже почесал свои усики,— и это реальная опасность. И мы попали в нее благодаря вам, Фуст...

— Благодаря мне?.. Я не понимаю вас...

— Вы упрекали меня за мою неосмотрительность с Гью Лэмом. Но то были пустяки в сравнении с вашей неосмотрительностью. Вы даже не знали, кого мы везли. И он дал вам сегодня хорошее доказательство. Что будем делать.

— Дайте мне еще двадцать четыре часа, и я вам все раскрою как на ладони. Не думайте, что я только сейчас узнал, что Фазлур не тот, за кого он себя выдает. Но мне нужно еще одно доказательство, и я это доказательство буду иметь завтра...

— Что это за доказательство? — спросил Гифт. — Не будет ли поздно завтра? Может быть, его надо искать сегодня?..

— Вы забыли, Гифт, что дело не в прояснении: важно, чтобы птичка не упорхнула, ведь мы ее берем с собой. И как хорошо, что он согласился!..

На другом конце селения шофер Умар-Али говорил закутанному в плащ Фазлuru:

— Может быть, самое время тебе смыться, дружок? Я тебе рассказал ведь, что произошло после твоего ухода. Ты лезешь в большую опасность. Уходи домой, Фазлур. А я тоже скоро поеду домой. Все говорят, что машине ходу нет дальше по реке.

— Нет,— сказал Фазлур,— я не уйду домой! Я буду до конца. Это будет хороший жизненный урок, который послужит мне для будущего. Спасибо тебе за доброе слово, Умар-Али!

Глава четырнадцатая

Перед ними раскрылось настоящее глухое ущелье во всей его дикой прелести. Посередине клочкотала и пенилась река, неся бурю массу воды через большие камни, скатившиеся когда-то в ее русло. Только кое-где их черные, сглаженные водой спины показывались из-под бешеной воды. Река была такой многоводной, что казалось: еще

один хороший дождь в верховьях, и она смоеет дорогу, пена взлетит до утесов, стоящих по другую сторону дороги, и камни, торчащие повсюду из воды, утонут навсегда в ее полноводной ярости.

По сторонам реки стояли стены ущелья. Там, где они чернели боковыми щелями и узкими проходами, хлестала вода ручьев и маленьких речек, гулко гремя в коридоре, криво идущем вверх, к ледникам и вершинам, закутанным большими серыми и синими тучами. Стены ущелья то были совершенно отвесными, гладкими, как отполированные, то пестрели желобами и морщинами, бороздившими их доверху.

Над их складчатыми вмятинами иногда мелькала зеленая площадка, над которой снова нависали скалы, и не было конца этим поднимавшимся в бесконечность ярусам, где уже свистел только ветер. Сверху, из-под гребня, срывались тяжелые, истертые бурями, острые каменные осколки, чтобы вызвать ниже целую каменную лавину, с грохотом летящую дальше в облаке пыли. Иногда обламывались целые скалы, падали прямо на дорогу, и надо было останавливаться, чтобы расчистить путь. Так и случилось во вторую половину дня с машиной Фуста. Целыми часами окрестные крестьяне, которым обещали хорошо заплатить, разбирали завал.

Полдня ушло на эту работу. Умар-Али отвел машину несколько назад и сидел около нее, смотря, как десятка два горцев с ломами и лопатами сбрасывали в реку камни; и каждый раз, когда камень рушился в воду, шум реки как будто увеличивался и с каждым брошенным в нее камнем становился грознее. То, что голос ее изменился с вчерашнего дня, было заметно даже непривычному уху. Что-то ужасающее и злобное было в этом голосе и в быстроте пронесшейся воды, какая-то безудержная жестокость. Фазлур помогал сбрасывать камни с дороги, умело ворочая ломом. Он был таким ловким и сильным, что крестьяне охотно шутили с ним и перекидывались словечками по поводу происходящего.

— Проедем дальше? — спрашивал он этих горцев в запыленной одежде, по лицам которых катился пот.

— Дальше? А куда дальше? — спросил один из горцев, в войлочной шляпе с закатанными полями. У него были жесткие короткие усы и небольшая, такая же жесткая борода.

— Дальше к ущелью, — сказал Фазлур.

— К самому Кучу или к Чилмаррабату?

— К Кучу...

— Не проедете,— сказал жесткобородый, отирая пот тыльной стороной руки.

— Не проедете,— сказал другой, с чуть косыми глазами. Его широкоскулые бронзовые щеки лоснились от пота.

— Там обвалов ждут на дороге и наводнения. Поток на днях все снесет. Проехать нельзя. Машина будет там...

Он показал в реку, и крестьяне засмеялись при этих словах.

— А пешком пройти можно? — спросил Фазлур.

— Если пойдешь ты — пройдешь, а если господа — утонут, не сумеют. Буйвол в такой воде тонет: не осилит.

— А как же я пройду? — спросил Фазлур, помогая оттащить большой обломок скалы с дороги.

— Ты молодой, а молодой везде пройдет...

Фуст и Гифт сидели на камнях и курили с таким безразличным выражением лица, как будто не ущелье заставило их ждать освобождения дороги, а они сами решили сидеть и думать столько, сколько им захочется. Они даже не разговаривали, а только пыхтели трубками и поглядывали исподлобья на отвесные стены ущелья, возносившие свои уступы в синюю пустыню неба, где, легко распластав крылья, висел орел, следивший с километровой высоты за суматохой на дороге.

— Что вы там ищете, в конце ущелья? Там нет хода никуда,— сказал молодой парень, сталкивая в пропасть очередной камень.

— Они ищут вчерашний день,— ответил ему, опередив Фазлура, человек с лицом ладакца.

Парень засмеялся.

— Тогда им нужно ехать в обратном направлении.

Фазлур ответил:

— Они интересуются, как живут люди в горах, как выглядят эти места.

— Значит, они как шпионы, которые все выглядывают,— сказал парень.— А много им за это платят? Тут были уже такие, и нам говорили, что они шпионы. Как твои, они все разглядывали.

— Они ученые.— Фазлур вонзил лом в груды камней.— Тот, что с усиками, больше пишет, а тот, что выше ростом, больше фотографирует. Я не знаю, шпионы они

или нет. И сколько им платят, я не знаю. Во всякому случае, они люди не военные.

— А нам заплатят за работу? — спросил другой горец.

— Если не заплатят, — сказал парень, — я снова завалю дорогу. Это нетрудно. Кто это слышал, чтобы такую работу я делал даром?

— Ты сначала сделай, — усмехнулся Фазлур. — Я сам похлопочу, чтобы вас не обманули при расчете...

— И ламбадар говорил, что будут платить, — сказал горец с лопатой. — Теперь уже скоро конец. Еще немного осталось, и они поедут.

Все труднее и труднее становилось пробираться по ущелью к северу. Подмытая рекой дорога местами становилась такой узкой, что казалось — невозможно пройти машине. Она прижималась к скале и, дрожа всеми винтами, пробиралась дальше. Через дорогу бежали ручьи, и, казалось, что машина, того и гляди, засядет в каше из грязи и расползавшихся камней и останется навсегда среди пенистых струй бокового потока, — но она вылезала из камней и шла. На остром повороте дороги можно было ожидать, что машину занесет за край площадки и она упадет под откос, — но она не упала.

Сколько раз выходили из нее, сколько раз подкладывали под нее камни, сколько раз с опасением смотрели, как она ползет по крутому подъему со стоном раненого животного! Умар-Али не говорил ни слова, но его сухое серьезное лицо отражало все страдания его машины.

Вечер застал их на своеобразном месте, где скалы были расположены полукругом, и от них спускался к реке мягкий склон, покрытый травой. На зеленом выступе, отдельно друг от друга, стояли маленькие горные хижины. Вернее, это были каменные домики, очень маленькие, в одну-две комнаты, с навесом и крышей, на которой лежали камни, чтобы крышу не сорвало суровым горным ветром.

Самый вид этих домиков под серыми некрасивыми скалами в другое время вызвал бы чувство успокоения; все же это было место, где есть люди, где можно отдохнуть. Но приехавших поразило то, что домики казались совершенно пустыми и вокруг них было полное безлюдье.

Они увидели старика, нагруженного небольшими мешками и корзинками. Тяжело опираясь на палку, он шел, согнувшись под тяжестью своей ноши, и, когда его оклик-

нул Фазлур, недовольно пробурчал что-то, чего Фазлур не понял.

Но он догнал старика уже на едва заметной тропинке, которая извивалась между скал и шла в гору. Фазлур поговорил с ним и вернулся к ожидавшим у домиков Фусту и Гифту.

— Что здесь случилось? — спросил Фуст.

— Старик говорит, что все жители ушли на гору, потому что здесь будет сайлаб: эта гора неверная, она оползает, и они не хотят погибать.

— Что такое сайлаб? — спросил Гифт.

— Сайлаб — это наводнение. Старик показал на реку и сказал мне: «Посмотри. Видишь, какая она? И уходи. Больше тебе здесь делать нечего». Взгляните!

Они взглянули, куда указывал Фазлур, и увидели, как по тропе вверх, высоко над зеленой лужайкой, как бы повисшей в воздухе, идут люди, и их крошечные фигурки, освещенные вечерним солнцем, поблескивают серебром и золотом. Это солнечные лучи скользили по медным кувшинам и посуде, одежде и вещам домашнего скарба, которыми люди были нагружены. Они шли не прямо вверх, а уходили в сторону, и в их движении было что-то тревожное и грустное.

Фуст и Гифт переглянулись.

— На сегодня хватит, — сказал Фуст, — мы с Гифтом остановимся здесь.

Он вошел в домик, где почти ничего не было. Пустые лари, пустые шкафчики и сундуки, несколько низких табуреток, очаг и деревянные кровати без матрацев. Рядом с очагом лежала связка сухого хвороста.

— Машину сюда не поднять, — сказал Фазлур.

— Машина пусть останется у того низкого домика, и вы там устроитесь вместе. Странно, в чем они видят опасность?

Фуст велел Умар-Али принести в домик консервы, свечи, одеяла и другие необходимые вещи из машины и растопить очаг, чтобы было немного теплее в комнате, где от стен веяло сыростью.

Пока они переодевались во все теплое, пока Умар-Али разводил огонь, стало заметно темнеть. В ущелье как-то сразу все звуки стали глуше, и даже рев нарастающей воды стал более однотонным, как будто уменьшился. Гифт вышел из домика, он хотел спуститься вниз и пройти немного вперед по дороге, пока еще не упала темнота.

Фазлур поднялся выше площадки, на которой стояли домики. Тут за скалами он услышал какой-то новый звук, который поразил его. Казалось, рядом с ним или под ним бушует водопад, но его нигде не было видно. Когда он обогнул скалу, то очутился перед ослепительным и оглушительным потоком, который несся со стремительностью поезда прямо вниз и сливался с рекой чуть правее этого маленького мягкого склона, где стояли домики. Для Фазлура было ясно, что если поток получит новую силу от дождей наверху, то он выйдет из берегов, захлестнет домики и обрушится в реку с такой яростью, что его разрушительной силе нечего будет противопоставить. Он знал такие потоки и беды, которые они несли. Ничто живое, попав в них, спастись не может. Этого потока боялись жители или ожидали общего наводнения? Ясно было и то, что дальше путь машине прегражден.

Фазлур прошел мимо верхнего домика и вступил на тропу, уводившую в гору. С этой тропы хорошо был виден кусок дороги внизу. Над самой дорогой он увидел утес, с вершины его можно было попасть на тропу, на которой стоял сейчас Фазлур. Если даже прибежать снизу к этому утесу, то никакими силами на него не взобраться. Но если иметь при себе веревку и бросить ее с утеса вниз — это в случае наводнения хороший выход. О нем стоит подумать. Он прошел к утесу довольно легко и внизу увидел Умар-Али, который стоял около машины. Он закричал ему, и тот сначала недоуменно водил головой, не понимая, откуда кричат. Увидев на утесе Фазлура, он закричал ему в ответ, думая, что Фазлур просто для забавы лазит по скалам.

Возвращаясь на тропу, Фазлур вышел из-за камней и хотел направиться к домику. Впереди него по тропе к домику спускалась горянка. Он не мог видеть ее хорошо, потому что она шла быстро, ее закрывали повороты тропинки, и он ускорил шаги, чтобы поспеть за ней. Он видел, как в открывшееся окно высунулся Фуст, взглянул вверх, взгляд его скользнул по горянке, и Фуст скрылся. Горянка не видела его. Она быстро вошла в дверь. Фазлур бежал изо всех сил к домику. Там сначала была полная тишина. Потом он услышал резкий крик. Кричала женщина. Фазлур, добежав до двери, рванул ее и очутился в комнате, слабо освещенной свечой и огнем очага.

Перед ним был Фуст и девушка-горянка, которую Фуст держал за руки. Девушка, войдя в дом и не ожидая

никого встретить, направилась сразу в угол комнаты, потом наклонилась, ища вещь, за которой пришла, а когда выпрямилась, кто-то схватил ее за руки. От неожиданности она дважды закричала. Но при виде Фазлура, в котором сразу признала читралца, успокоилась и только удивлялась тому, что незнакомый сагиб крепко держит ее за руки.

Фуст, выглянув в окно и увидев девушку, решил, что она идет в дом. У него мелькнула мысль, что девушка подслана Фазлуrom. Он сам не мог объяснить с девушкой, которая, как ему показалось, рылась в его вещах, разбросанных на деревянной кровати, и он решил задержать ее. Крика ее не слышал ни Умар-Али, стоявший над рекой, ни Гифт, ушедший далеко по дороге вперед и неожиданно встретивший человека, который ехал на высокой лошади в сопровождении конного слуги.

Фазлур смотрел на девушку; ее чуть испуганные, чуть удивленные глаза с удовольствием рассматривали его. Девушка была не пугливая, очень задорная и острая на язык, как все горянки.

— Что он держит меня за руки, этот старый козел? — сказала она. — Если он испугался меня, так скажи, что я его не укушу.

— Что ты здесь делаешь? Ты взяла что-нибудь здесь?

— Мне нравится, когда только что вошедший в дом, где я живу, спрашивает, что я здесь делаю...

— Но ведь все твои ушли в горы?..

— И я ушла, но я забыла свой новый платок и вернулась за ним. Я не думала, что этот дворец, как только я его покину, понадобится богатому князю и его свите.

— Ох, сестренка, ты говоришь правду?

— Сначала пусть он меня отпустит, а то в самом деле он попробует моих зубов.

— Отпустите ее, — сказал Фазлур, — она пришла за платком, который забыла здесь... Это ее дом...

— А где же этот платок? Она лжет... — сказал Фуст, но отпустил руки девушки.

— Ищи свой платок, — сказал Фазлур.

Девушка мягко, как кошка, нагнулась, пошарила под кроватью и вытащила зеленый с золотыми блестками дешевый хрустящий платок, которым сейчас же повязала свою голову поверх белой косынки. Она хотела прошмыгнуть в дверь, но Фуст, загородив дверь, снова взял ее за руку. Освещенное светом очага, лицо его показалось Фаз-

луру красным, одутловатым и очень неприятным. Фуст глядел на Фазлур злыми, холодными глазами:

— Скажи ей, что я и мой друг — мы хотим, чтобы она осталась с нами. Скажи, что мы ее не обидим. Мы ей хорошо заплатим, скажи ей.

Фазлур взглянул на пламя свечи, которое колыхалось из стороны в сторону, на девушку, смотревшую теперь на Фуста, который сказал что-то ей непонятное, но касающееся ее. «А что, если кончить все разом,— подумал он.— Свалить Фуста с ног хорошим ударом, проводить эту девушку к ее родным там, на горе, и плюнуть на всю эту историю?»

Но его поэтическое, постоянно играющее разными образами воображение тут же нарисовало ему другую картину, причем нарисовало так мгновенно, что он снял с руки девушки руку Фуста и, гипнотизируя ее строгими глазами, смотря на амулет, висевший на ее шее, сказал Фусту:

— Ее нельзя трогать. Она приносит несчастье. Девушки этих мест — колдуньи, они все ведьмы. Она принесет и вам и нам всем несчастье. Не надо иметь с ней дела.

Фуст недоверчиво и зло рассмеялся:

— Ты, значит, сам хочешь иметь с ней дело?

— Я не хочу иметь с ней дела, потому что она ведьма, а я не люблю, чтобы со мной случалось что-нибудь неожиданное и неприятное...

Пока они перекидывались быстрыми фразами, девушка с интересом переводила глаза с одного на другого. Она понимала, что речь идет о ней и что Фазлур на ее стороне.

Он был красив, он ей нравился.

— Ты говоришь вздор,— сказал Фуст.— Если с ней нельзя спать, пусть она погадает. Я ей заплачу за гадание. Я хочу знать, какие тут колдуньи. И если вы врете оба, тогда поговорим по-другому.

— Что он хочет, этот человек с мертвыми глазами?

— Он хочет тебя...

Девушка замеялась:

— Пусть присылает сватов к отцу на ту гору над рекой. Что он еще хочет?

— Он хочет, чтобы ты ему погадала. Я сказал, что вы все колдуньи и ведьмы. Я убеждаюсь в этом, когда смотрю на тебя.

Девушка тихо засмеялась:

— Я не умею гадать.

— Что она говорит? — нетерпеливо спросил Фуст. — Почему она засмеялась?

— Она засмеялась потому, что, говорит, никогда не гадала такому важному сагибу. Но она говорит, что может убить своим гаданьем. «Пусть он побережется», — сказала она.

— Не ей заботиться о моем здоровье, — сказал Фуст, — пусть гадает сейчас же...

— Он хочет, чтобы ты погадала ему, иначе он тебя не отпустит.

— А он даст за гадание деньги?

— Даст, конечно.

— А много он даст денег?..

— Много.

— А как гадают? Я не умею.

— Слушай, мы сделаем так. Я буду тебе говорить, что делать. Ты ничему не удивляйся. Будь только серьезной. Если ты фыркнешь, все пропало, и тебя выгонят и не дадут ни анны. Сначала сиди тихо, я скажу, что тебе надо подготовиться... Она согласна гадать, но говорит, что ей нужно собрать в себе силу, чтобы видеть. Нужно вспомнить заклинания.

Фазлур с удивлением увидел, что Фуст верит его словам. Обстановка была самая подходящая для гадания. Темноту рассеивала только свеча и дрожащий свет очага, треск сухих сучьев нарушал тишину. Девушке нравилась эта игра, и она тоже начала волноваться, входя в роль. Ее веселые глаза померкли — в них было что-то тяжелое и тревожное, голые руки с браслетами, где блестела бирюза, она вытянула перед собой, как бы намереваясь схватить Фуста. Вся она точно отяжелела и походила на огромную дикую кошку, приготовившуюся к прыжку.

Тишина стала гнетущей. Снизу от реки шел неясный гул, как бормотание тысячной толпы. Холодный ветер проходил в щели окон и дверей, колебля дым над очагом.

— Мы будем гадать на саже, — сказал Фазлур, и она повторила его слова. — Не повторяй слова мои, — продолжал он, — мы должны говорить разное. Я буду незаметно шептать тебе, а ты это говори громко, вслух... Она говорит, — сказал Фазлур, — что она будет гадать на саже. Она просит вас взять из очага сажи и густо положить на ладонь левой руки.

— Нельзя ли гадать на чем-нибудь другом? — спросил Фуст, которому пришло в голову, что все это комедия и он играет роль дурака.

Но странно помертвевшие губы девушки, дрожащие ее руки (ей стало от волнения холодно) произвели на него впечатление, и он почувствовал, что хочет знать будущее каким угодно образом. Девушка шепнула:

— Надо гадать, а то он догадается об обмане.

— Она говорит, — перевел Фазлур, — что самое сильное гадание на саже из очага.

Фуст покорно нагнулся и взял щепкой сажи, которой было столько, что можно было рисовать целые картины. Сажа легла на его левую ладонь, и он размазал ее плотным слоем. Девушка взяла его руку в свою и стала вдруг такой серьезной, что Фазлур подумал, что они в самом деле далеко зашли. Но отступать уже поздно

— Ты желаешь зла этому человеку? — спросила она.

— Да, я желаю ему зла, — поспешно ответил Фазлур и перевел: — Теперь я вам не буду переводить. Она сосредоточивается. И я буду говорить с ней только шепотом.

— Но не говори ему страшного, а то мне будет тоже страшно, — сказала девушка, и он почувствовал, что они все трое втянулись в игру, которая стала волновать их всех.

— Только ты не смейся, — шепнул он, но это было лишнее предупреждение. Девушка не смеялась.

Она сжимала своими сухими длинными смуглыми пальцами большую руку Фуста. Никогда в жизни он не переживал подобного напряжения. Девушка бормотала какие-то слова. Она просто шептала, что на саже есть действительно какие-то рисунки, которые она с интересом рассматривала.

— Она говорит, что видит, как ты ждешь кого-то... Ты ждешь двоих и еще двоих...

Фуст вздрогнул. Девушке передалось это движение, и она, чтобы не выдать волнения, сжала сильнее его руку. Ее глаза не отрывались от черной ладони. Губы ее шептали:

— Я не могу долго выдержать это.

— Она говорит, что ты их напрасно ждешь. Она спрашивает, кто они и где они. Ей будет легче видеть.

— Не все ли ей равно! — сказал Фуст.

Сердце его билось, как будто эта маленькая смуглая девушка читала его мысли.

— Она говорит: «Они не придут». Она говорит: «Я вижу снег, снег, ночь, снег, много снега, горы. Они идут все четверо...»

Он замолчал. Девушка закрыла глаза, закусил губы. При свете свечи по ее лицу двигались какие-то полоски, отражения от золотых полосок на зеленом платке. Она сидела с закрытыми глазами. Фазлур наклонился к ней. Она шепнула:

— Кончай гадать, я больше не хочу.

Фазлур выпрямился.

— Она говорит: «Я вижу снег, горы, мрак, ночь, снег. Пусто все. Больше ничего не вижу. Снег падает. Они не придут. Я устала...»

— Этого не может быть,— сказал Фуст.

Зубы его стучали. Он отдернул руку и запачкал руку девушки сажей.

— Что не может быть? — спросил Фазлур, сам чувствуя, что нервное волнение Фуста передается ему. — Что не может быть?

Ему казалось, что сейчас случится что-то неожиданное. Губы Фуста дрожали, как будто он хотел что-то громко сказать и не решался.

Девушка сказала:

— Я уйду. У меня болит голова.

— Она просит денег,— перевел Фазлур.

Фуст машинально вынул деньги и дал ей десять рупий. Девушка, также не глядя, спрятала бумажку.

— Этого не может быть,— говорил Фуст, счищая платком сажу с ладони.

— Беги,— сказал Фазлур девушке,— но подожди меня на тропинке, теперь луна, и там светло.

— Я подожду тебя,— сказала она и быстро выбежала из домика, так сильно хлопнув дверью, что Фуст поморщился.

Он сидел на кровати, заваленной мешками с провизией и одеялами, и хмурил брови. Фазлур стоял перед ним и растерянно говорил:

— Вы хотели, чтобы она вам гадала. Я не знаю, почему вы расстроились. Ведь это же не относится к нам.

— Да,— сказал Фуст, погруженный в свои мысли, как бы отвечая сам себе.— А если это относится именно к нам? Что я говорю!..— Он вдруг, тряхнув головой, обрел снова спокойствие.— Фазлур,— сказал он,— она ведьма,

ты прав. Но что это? Мне стало жутко и противно. Я ненавижу ее, и тебя, и всех, я ненавижу...

— Что вы говорите! — воскликнул Фазлур.

Но в это мгновение он услышал голоса, в дверь сначала постучали, а потом две темные фигуры возникли на пороге.

Первым вошел в комнату Ги́фт, на нем был теплый свитер и теплая куртка, на голове мягкая шляпа с узкими полями. Он успел переодеться перед прогулкой. За ним шел, опираясь на палку, прихрамывая, человек явно азиатского происхождения. Он был в халате, из-под которого виднелась толстая вязаная куртка, на голове у него была вязаная шапка. Толстые выпяченные губы, широкий плоский нос, скулы, узкие косые глаза, большой шрам на лбу, доходивший до носа, вздувшиеся жилы на висках, молодое лицо, перекошенное гримасой усталости.

Войдя, он прислонился к стенке, точно не мог стоять на ногах. Фазлур понял, что этот человек оттуда, с той стороны, иначе его не привел бы Ги́фт в таком виде к Фусту. Однако он решил это проверить.

— Если вам не нужен переводчик, то я хотел бы пойти посмотреть, как и где устроиться для ночевки, — сказал он, думая, что Ги́фт его остановит, но Ги́фт сказал:

— Он говорит немного по-английски, мы его пойдем.

Когда Фазлур ушел, Ги́фт подставил пришедшему табурет.

— Ему надо выпить, он озяб.

Когда гость выпил виски, он осмотрелся, и его взгляд был явно разочарован убожеством обстановки, в которой его принимают.

— Я с ним уже говорил. Он плохо говорит по-английски, но я его понимаю. Он пришел от Уллы-хана.

— И что же? — Фуст почувствовал озноб, который невольно пробежал по его спине. — Что сообщает Улла-хан, где записка?

— Он потерял записку, — сказал Ги́фт, — вот он в каком виде. Сумка, в которой была записка, утонула при переправе...

— Да. — Оживившись, пришелец сделал несколько круговых движений руками, сопровождая их шипением и свистом. — Река плохая, очень плохая. Дороги нет, плохая, очень плохая.

Он забулькал, и в этом бульканье Фуст увидел, как сумка, где была записка, тонет в водовороте.

— И он не знает, что было в записке?

— Он знает, он сказал мне, что он прочитал записку и запомнил, что там было.

— Там было так,— медленно подбирая слова, говорил посланец: — Не обижаться просит Улла-хан за вести. Вести худые сообщает. Кажется, их всех убили китайцы. На границе всех убили. Но это еще слухи. Пришли с гор. Так в записке. Больше ничего нет. Просит не обижаться Улла-хан. Вся записка тут.

Фуст спросил, помрачнев:

— Откуда ты?

— Яркенд,— сказал сидевший,— я из Яркенда. Шел нелегко. За перевалом плохо, очень плохо. Я погибал чуть, но вот ничего, записка — нет. Вода худая.

Было ясно, что спрашивать его больше не о чем.

— Куда же ты идешь? — спросил Фуст.— Или останешься?

— Нет останешься,— сказал яркендец.— Иду вниз по реке. Читрал иду. Там есть кто-то. Туда иду.

— Ночью же ты не пойдешь? — сказал Гифт.

— Зачем не иду? Иду ночью. Днем спал. В пещере. Высоко горы обходил, река очень плоха. Смерть река.

— Ну, иди,— сказал грустно Гифт и дал ему денег, и он ушел во тьму этой непонятной и настороженной ночи.

— Странно все это, очень странно,— сказал Фуст.

— Что странно? — Гифт грел руки перед разгоревшимся очагом.

— Странно — о том, что они могут не прийти, я узнал час тому назад в этой комнате.

— От кого? — спросил Гифт, удивленно подняв брови.

— От духа, от горной макбетовской ведьмы.

— Может быть, и она на службе у Уллы-хана?

— Я боюсь, что если она на службе, то не на нашей стороне...

Фазлур ждал яркендца и, когда тот пошел прямо к догге, догнал его.

— Ты голоден? — спросил он.

— Нет, я сыт,— отвечал яркендец,— но я спешу. Я ухожу вниз.

— Ночью? А ночевать здесь не хочешь?

Яркендец посмотрел на него искоса и сказал:

— Время сейчас такое, когда нельзя доверить бритье своей головы другому, не рискуя головой.

— А они? — сказал тихо Фазлур. — Они идут к нам из Китая?

Яркендец провел рукой по своему горлу.

— Им всем конец, — сказал он, нахлобучивая свою высокую толстую вязаную шапку, поверх которой были прикреплены горные очки в блестящей белой металлической оправе.

Фазлур простился с ним у дороги и пошел вверх, к той тропе, где должна была его ждать девушка. Уходя с ней по горе, он не мог видеть, как появились два всадника. Один из них, бросив повод другому, начал подниматься прямо к домику, где сидели Фуст и Гифт, а другой, взяв обеих лошадей, повел их к реке, к дороге.

Когда приехавший постучал в двери домика, ему открыл Гифт и приветствовал его, как лучшего друга.

— Входите, мистер Риклин, мистер Фуст уже осведомлен о нашей с вами встрече. Мы очень рады, что в этом тесном домике сможем организовать маленький ночлег. Мистер Риклин — инженер и знаток горных дорог...

— А, будь они прокляты, эти дороги! — сказал Риклин, и по его лицу пастора-проповедника прошло нечто вроде судороги. — Когда я тридцать лет назад приехал в Индию, я не думал, что буду кончать свою жизнь здесь.

Пришел Умар-Али, и в доме начали наводить порядок. Огонь в очаге вспыхнул ярко. Комнаты были выметены, походные постели разложены. Чайник кипел на огне. Виски было открыто. Консервы тоже. Сухари и печенье лежали рядом. Вестовой мистера Риклина принес ему спальный мешок и надувную подушку. Можно было чувствовать себя не так одиноко, тем более что появился новый собеседник с язвительной и острой тенденцией разговора, что обещало еще и хороший спор перед сном.

Риклин и Гифт расположились в задней комнате. Переднюю предоставили Фусту. Сейчас они все сели вместе и начали насыщаться как следует, потому что этот день для всех присутствующих был трудным и голодным. Надо было хоть вечером наверстать потерянное.

— Вы ветеран в этих краях, — сказал Фуст. — Никогда не думал встретить человека, который был бы так верен одной стране. Что же вас удерживало здесь и удерживает сейчас?

— Неудачи, сэр, — ответил Риклин, — ужасные неудачи, которые я терпел всю свою жизнь. Я болен, и помочь мне могут только те места, где я проводил молодость.

Я болен болезнью воспоминаний. Я похоронил в Индии жену, всех детей, всех друзей, и теперь я человек вполне одинокий, вполне свободный и вполне на своем месте. Я строю мосты, которые непрерывно снова сносятся сумасшедшими реками; я строю дороги, которые падают в те же безумные реки; я странствую по стране, которая вся стала безумной; я должен непрерывно передвигаться. Если прекратятся странствия, я умру в тот же день.

Он выпил стакан виски, сморщился, съел кусок паштета, намазанного на бисквит, и его вялое бледно-красное лицо покрылось пятнами.

Фуст, перед которым неотступно стояла картина дикого гадания и появления яркендца, курил, кутаясь в плед. Гифт пробормотал, скандируя:

В старой доброй стране,
Там я жил, как во сне...

— Это вы хотите сказать про Индию, но ее уже больше нет. Есть Индия — Бхарат, и есть Пакистан, и даже два: Восточный и Западный, — сказал Риклин. — О какой стране ваша песенка? Я сам сначала думал, что это все одно, что это — мое богатство. Я влюбился в Индию в своей молодости. Нет, не в женщин, избавь меня бог от страсти этих черномазых красоток, хотя, надо признаться, в молодости я встречал интересные типы. Я влюбился в возможность поглощать Индию как роскошное блюдо. Я хотел богато жить — я жил, я хотел раболепия — я его имел. Хотел богатеть — богател. Не было преград этой энергии, для меня не было закона.

Гифт сказал:

— Закона не было, но зато вы и дошли до того, что мы видим вас ищущим приюта в этом гнусном домишке. Вы в сопровождении паршивого вестового скачете ночью по долгу службы. Где же ваша энергия, не знающая преград? Где же ваше всемогущество?..

— Да, ничего нет. Фью, фью! Все ушло. Но я здесь. И у меня воспоминания. Не будем говорить об этом, — сказал Риклин. — Вы можете, как молодой народ, ругать нас за многое, но история Индии, сделанная англичанами, это блестящая история. Сколько нужно было искусства, дипломатии, храбрости, жестокости, цинизма, лицемерия, чтобы удерживать такую страну и довести ее границы вот до этого места, где мы сидим! Раньше я так не говорил. Почему говорю теперь? Потому, что я весь в прошлом.

Я измотал жизнь здесь. Через мои руки проходили состояния. Я их растратил, как и здоровье. И я никуда не могу уехать, проклиная эти дороги, эти края, этих людей, которые сходят с ума сегодня. Я никуда не могу уехать, я не могу уехать. У меня столько болезней, что я могу быть экспонатом нескольких клиник. Но дело не в этом. У меня есть еще силы сесть в седло и скакать по этим дьявольским дорогам. Настали жуткие времена. Мы ушли из Индии. Но я не ушел. Я — инженер Риклин, на которого смотрят как на безумца, — я не ушел и не уйду. Называйте это все как хотите, для меня это была, есть и будет Индия. Я не верю, что они могут управлять. Это стоило уже миллионов жертв и будет стоить еще немало.

Они выпили еще по стакану виски и сидели, погрузившись в свои мысли.

Потом Гифт прервал молчание:

— Если английская империя сошла с арены, мы охотно будем ее наследниками. Это звучит не так плохо. Мистер Риклин завещает Индию, скажем, мистеру Гифту.

— Вам? — сказал Риклин, щеки которого после третьего стакана виски заалели. — Вам завещать Индию? Охотно. Но, джентльмены, вам понадобится для ее изучения и овладения ею тоже двести лет. Я желаю вам успеха, но прошу помнить, что, не зная народа, нельзя управлять им.

— В наше время все достигается быстрее, — сказал Фуст. — В Индии, в Пакистане — все равно — не может сейчас произойти ни одного события, чтобы об этом не знали американцы, какие бы тайные это ни были события. Техника в наше время, мистер Риклин, была другая. Даже когда вы дрались с вашими колонизируемыми, техника того времени и то давала вам крохотное преимущество. Сейчас мы должны обойтись без академического ознакомления с так называемым народом. Техника позволяет обходиться без него. Нам нужны аэродромы, дороги и стратегическое сырье — и слово, что вы нейтральны. Остальное мы берем на себя. Если вы построили аэродромы и дороги и у вас в резерве атомные бомбы, а в авангарде банки, где вы хозяин, — вы подписываете любой договор о мире, дружбе и взаимной помощи, и не надо нам никакого народа, которого вы так боялись в Индии. Его традиции, его права останутся при нем. Но в нашем веке сила решает все. Мы живем в новом веке, мистер Риклин... Англия устала, пусть она немного отдохнет. Не правда ли? Ваше здоровье! С благодарностью за щедрый подарок! Мы

принимаем Индию, Гифт! А зовут ли ее сейчас Бхаратом или Пакистаном, это не имеет значения.

— Ну что же,— сказал опьяневший Риклин,— сила решает все. Это хорошо сказано! Я согласен. Но я бессилен. Если вы так хотите, берите их всех к чертям, но помните завет Риклина: не кормите их, не лечите их, держите их в голоде. Это будет хорошо. А я буду проводить дороги. Не думайте, что я уступил Индию спьяна. Нет, я отдал потому, что она все равно ничья. Пусть будет ваша. А я буду строить дороги. Это очень важная вещь, господа. Сейчас никуда не надо ехать. Я тут все знаю. Сейчас все обвалится, будут наводнения, мосты все снесет к черту вплоть до Читрала. Каждый год одна и та же история. Зачем вам ехать? Кто вы — тоже специалист по горным дорогам? — спросил он Гифта, наливая себе новый стакан.

— Я? Нет, я не горный инженер, я ботаник. Я собираю травки, разные цветы на лугах в альбом, в книгу, я с дорогами дела не имею...

— Может быть, вы дорожный инженер? — спросил Фуста Риклин, становясь багровым от выпитого.

— Нет, он географ, известный путешественник, член Гималайского клуба,— ответил за Фуста Гифт.

— Почтенные люди, почтенные люди! — Риклин положил в рот огромный кусок сыру и говорил, прожевывая его.— А что занесло почтенных людей в эту чертову дыру, где я наживаю новые болезни только для того, чтобы свидетельствовать, что наводнение обязательно? Об этом знают даже последние мальчишки-пастушата. Но нужен рапорт. Меня здесь забыли,— вдруг сказал он,— а все туземцы, эти коричневые утконосы, коварны и все предатели. Не верьте им. Они вас предадут. Так что же тут для вас интересного? Вы тоже напишете рапорт? — Он засмеялся довольным, пьяным смехом.

— Мы занимаемся горным туризмом, а также пишем для географических научных журналов. Мы сейчас идем к Барогилю.

— От Барогиля до Советского Союза рукой подать,— сказал, прищурившись, Риклин,— идите посмотрите на эту страну, стоит посмотреть...

Фуст и Гифт, полупьяные, бросили на него презрительные взгляды. Гифт спросил:

— А мы хорошо доедем до Барогиля?

— Куда? — спросил как будто издалека Риклин.— Доедете? Зачем?..

Он был уже пьян, но все-таки храбро выпил еще стакан.

— Хорошо, что ему не надо ехать ночью, а то он упал бы с лошади.

— Кто упал с лошади? — сказал Риклин. — Тут нет лошадей. Есть ослы, а лошадей тут нет. Есть только моя лошадь. Из Кветты. Хороший жеребец. А тут нет лошадей. Ехать, куда ехать? Барогиль... — Он что-то вспомнил. — Ха-ха-ха! Какой Барогиль? Завтра тут будет дно морское.

— Он совершенно пьян, — сказал Фуст. — Что мы будем с ним делать?

— Дадим ему еще один стакан. И сонного я его уложу в спальный мешок. А нам нужно поговорить серьезно. Этот англичанин нам не помешает.

Раздались гулкие шаги по камням, и кто-то ударил в дверь сильно, но почтительно.

— Тут просто как в большом городе. Визитеры будут идти всю ночь, — сказал, вставая, Гифт. Он открыл дверь.

На дворе было ясно и холодно. На зеленом небе четко виднелись зубчатые скалы над рекой.

Перед Гифтом стоял мокрый полицейский, в нем Гифт узнал старого знакомого, рассуждавшего о песне мира, пропетою Фазлуrom.

Его мокрые усы блестели, воротник куртки был поднят, через плечо висел патронташ, за спиной — охотничье ружье.

— Я к вам, — сказал он, вытирая ноги о порог.

Свеча от порыва ветра погасла, и пока Фуст зажигал ее, Гифт спросил полицейского:

— Отчего вы мокрый?

— Только что прошел дождь и к утру будет еще, — он взмахнул рукой, — там, в горах, обязательно. Я привез вам записку от ламбадара.

— Погрейтесь, вы озябли, — сказал Фуст, наливая ему виски.

Полицейский поклонился и, поморщившись, выпил, как лекарство, полез в боковой внутренний карман, достал кожаный бумажник и вынул из него записку. Ламбадар предупреждал, что ехать дальше нельзя: ждут больших обвалов и наводнения. Он очень просит вернуться в селение, где все приготовит для их пребывания. Население уже покинуло угрожаемые места.

— Это правда, что жители уходят от наводнения? — спросил Фуст.

— Да, все уже ушли. Если вы обойдете эти дома, увидите — они уже все пустые. И река готова броситься. Пойдите к ней. Она как зверь. Это тут каждый год. Сейчас самое время наводнений. Что сказать ламбадару?

— А разве вы поедете сейчас обратно?

— Нет, я лошадь отпустил, тут остается слуга дорожного инженера, он попасет. А я найду, где спать. У меня есть теплое одеяло, не беспокойтесь.

— Мы решим на рассвете, — сказал Фуст. — Где мы вас найдем?

— Я сам вас найду, — сказал он, — но я думаю, что вы вернетесь к нам. Мы будем ждать вас. Хороший вечер тогда был. Еще устроим, завтра же...

Он ушел.

Фуст и Гифт вышли из домика. Кругом, кроме глухого шума реки, не было других звуков. Темные домики стояли на маленькой горке, в которую пониже дороги били сердитые волны. Казалось, что кто-то там, на севере, все больше и больше наполняет реку, и воде некуда деваться, и она ревет от безвыходности и отчаяния.

Они вернулись в комнату. Риклин храпел, засунутый в спальный мешок. Рот его был полуоткрыт, он лежал скрючившись, маленький и жалкий, и напоминал Фусту покойника на корабле, которого зашьют в парусину и бросят в море. Фу, что за мысли приходят в голову!

Глава пятнадцатая

Фуст и Гифт сидели, прислушиваясь к тому, что делается на дворе, но только порывы ветра иногда долетали до них. Ветер тряс ставни и дверь. Было неуютно и холодно. Они пили виски и больше не пьянели.

— Гифт, — сказал Фуст, — что вы думаете о создавшемся положении?

— Скажите, откуда вы знали, раньше чем пришел яркендец, о том, что с теми, — он не хотел называть имен, — по слухам, все кончено? Кто вам сказал, что они не придут?

— Я же вам сказал: одна ведьма...

— Нам не до шуток, Фуст...

— И, однако, это правда. Послушайте, как было. —

И он рассказал Ги́фту, слушавшему его с большой озабоченностью, как горская девушка, которую он видел первый раз в жизни, нагадала, что они не придут. — Что это такое? — сказал, окончив рассказ, Фуст.

Ги́фт стал серым и заговорил, как будто рассуждал сам с собой:

— Одно из двух: или это мистика, в которую я не верю, или это двойная игра. Девушка в этой игре — участница, и она знала все раньше нашего гонца. А если им в руки попала записка яркендца?

— Но она же утонула! — воскликнул Фуст.

— А если яркендец не тот человек, которого послал Улла-хан, а послан совсем другими, чтобы ввести нас в заблуждение? — сказал Ги́фт. — Я начинаю сомневаться в этом яркендце. Мы поверили ему слишком быстро. Мне показалось, что когда он оставил нас и пошел к дороге, то с ним шел кто-то, похожий на Фазлура. Все...

— Что все? — спросил Фуст.

— А то, что мы начали распутывать эту нить... Вернемся к началу. В чем заключалась задача тех, кто хотел нам противодействовать? Надо было, чтобы мы не дошли, чтобы мы вернулись. Теперь мы стоим перед решением.

— Вы хотите сказать, что все сделано, чтобы мы вернулись...

— Да, — сказал Ги́фт. — Но давайте разберемся по порядку. Какие у вас факты?

— Вот мои факты. В день нашего отъезда, на рассвете, в Лахоре наш шофер не без умысла повез нас к бензиновой колонке, где я увидел Фазлура и племянницу Аюба Хуссейна. Это было подстроено, чтобы Фазлур получил последние инструкции.

— Это серьезно, Фуст. Почему мы не обратили на это внимания?

— Я обратил. Слушайте, Ги́фт. До этого я видел ее на демонстрации, где собирали подписи под лозунгами борьбы за мир. Она была там резко активной и держалась очень независимо. Тогда я думал, что обознался, но теперь я утверждаю, что это она. Ее изменил наряд. На вечеро она была в роскошном сари, а там — в одежде работницы. Дальше... Наш шофер, этот вечно нахмуренный и молчаливый человек, неразлучен с Фазлуrom. А сам Фазлур — сын нищего, студент-революционер; ламбадар сказал, что он, наверное, коммунист. Вы видите, как все складывается...

— Подождите, Фуст. А этот странный пилигрим, который оказался просто агитатором коммунистической крестьянской партии, бунтовщик, резавший помещиков? Разве Фазлур не устроил этой встречи? Несомненно, это один из его агентов.

Фуст перебил его:

— Вы совершенно правы, Гифт. Но тогда, если мы всю эту цепочку доведем до девушки и купца, то от мистики ничего не останется. Но я должен вам сказать, что сердце мое билось, когда я слушал эту девушку, как она страшно читала по саже на моей ладони. Все-таки исключим пока колдунью. В ней что-то было. Я это чувствовал.

Гифт зловеще усмехнулся.

— Ну, исключим девушку. Все равно, линия непрерывна и направлена на наше окружение.

— Но тогда она начинается с купца! — сказал Фуст, глядя прямо в глаза Гифту. — А что, если она действительно начинается с него? Ведь подарил же он мне под видом особого уважения персидскую миниатюру, которая оказалась жалкой копией, преподнесенной в насмешку.

— Откуда вы это знаете? — спросил Гифт.

— Я установил это случайно. — Фуст не хотел больше вспоминать об этой миниатюре.

— Тогда я скажу вам, что это купец есть начало цепи. Кто вас познакомил? — Гифт так пристально смотрел в упор на Фуста, что тот ответил с презрительной поспешностью:

— Он принес мне письмо Ассадуллы-хана.

— Хм! — Гифту стало холодно, он налил себе виски и выпил стакан залпом. — Тогда все это направлено против вас, Фуст.

— Что значит направлено против меня, Гифт? Ловушка рассчитана на нас обоих.

— Да, но...

— Вы привели Гью Лэма, Гифт. А что, если этот наивный сторонник мира — тоже коммунист и агент той стороны? Забавная получается картинка, скажу я вам! Я чувствую себя, как в восьмом лагере на Белом Чуде...

Гифт вздрогнул, лицо его побледнело:

— Но я не Найт, помните это, Фуст! Меня забыть на горе не удастся!

— Что вам только приходит в голову, Гифт? Я сравниваю опасность, а не участников.

— Раз вы сравниваете опасность, вы сравниваете и тех, кому она угрожает. Оказывается, мы в очень прочной ловушке, Фуст.

Фуст невесело усмехнулся:

— Может быть, вы скажете, поедем обратно? Природа против нас — чудная отговорка. И ламбадар ждет с полицейским показать нам танцы пастухов, а?

Гифт ответил не сразу.

— Да, мы в ловушке. Мне это тоже ясно. Все это организовано. Я не видел вашей ведьмы, но мое чутье говорит, что ее появление тоже организовано.

— Если бы вы видели ее, вы так просто этого не говорили бы, — неожиданно сказал Фуст.

Но Гифт не сдался. Он ответил, и в его голосе было какое-то мрачное торжество, точно он радовался поражению Фуста:

— Я не говорю просто. Я говорю обоснованно. Если считать ее звеном общей цепи, то она и яркендец очень хорошо входят в общую цепь. Без них в цепи явный недобор колец. Таким образом, перенесем девушку из области мистики в реальный мир. Кто первый заговорил о невозможности пути дальше? Фазлур. Кто последний сказал, что ехать нельзя? Полицейский...

— Но тут нет связи...

— Как нет?! Этот полицейский сказал же, что арестовать Фазлuru он не может, так как нет оснований. Песенка против правительства не основание... Это сказал нам полицейский. А сегодня он является с запиской... Я уверен, что когда мы завтра приедем к ламбадару, поверив записке, ламбадар скажет, что он ее не писал. А кто писал? Тут-то мы снова и увидимся с нашим дружкой Фазлуром, который нас встретит насмешливой улыбкой. Охотника перехитрила дичь...

— Черт возьми, Гифт, я больше не могу! У меня сдают нервы. Я не могу закрыть глаза, чтобы не видеть или пустыню с горами, где кричат какие-то голоса, или этот погребальный костер и этого индуса с зубом мертвеца, как наваждение.

— Выпейте еще. Сегодня нужно пить. Это проясняет мысли.

— Я начинаю думать, что все это задумано уже давно.

— Что задумано, Фуст?

Гифту стало жарко. Он снял свою куртку и сидел, раскуривая трубку. В зажигалке не было бензина. Спички

ломались, хотя они и были восковые и взяты из альпийского запаса.

— Наступление на меня, — сказал Фуст, став у стены так, что при свете догорающего очага тень его дошла до потолка и переломилась. — Меня послали сюда, чтобы я погиб. Вы думаете, они живы, те, которые идут из Китая? Как вы думаете? Может быть, нас послали спасать мертвых? Мертвые спасают своих мертвых... Как вы думаете?

Гифт мрачно пожал плечами.

Фуст ударил кулаком по стене.

— Нет, а я еще жив! Пусть мои враги не торжествуют. — Он говорил, обращаясь к двери. — Вы все хотите мира, но вы его не получите. Я, Джон Ламер Фуст, не дам вам мира! Вы ненавидите меня, но я вам тоже отвечаю ненавистью. Давайте продолжим эту войну одного против всех, войну всех против всех, Гифт! Нам, может быть, суждено стать теми людьми, которые начнут первыми новую мировую войну. Мы должны перед этим знать всё: все холмы, горы, перевалы, проходы, души и сердца. Кто разгадает, кто мы? Сколько там, в Китае, наделали Кинк и Чобурн, сколько они там разгромили, убили, запугали? Никто не знает, сколько они вложили палок в колеса красному Китаю, и никогда не узнает. Наше искусство — искусство невидимых мастеров. Азия, кажется, сожрала Кинка и Чобурна, и нас сожрут азиаты. Их слишком много, Гифт. Россия — враг номер один, и она — тоже Азия.

— Фуст, ложитесь, хватит! — сказал Гифт, вставая. Его трубка раскурилась, и он в облаке дыма шагнул к Фусту. — Ложитесь, Фуст. У меня голова идет кругом...

— У меня тоже. — Фуст ударил кулаком по столу. — Но мы не дадим им триумфа. Мы начнем наступать. Завтра же. Первым делом уберем этого Фазлура... Какой ветер!..

— Вам кажется, Фуст. Никакого особого ветра нет...

— Ничего, мне легче. Есть еще виски?..

— Не пейте больше, Фуст. Завтра трудный день!

— Гифт, это была мистика или реальность?

— Я не понимаю, о чем вы говорите...

— Я говорю о гаданье...

— О дьявол, ну покажите мне эту девушку, и я вам все скажу!

— Как я покажу? Она ушла с Фазлуrom. Нет, она ушла раньше. Но все равно вместе с Фазлуrom. Я убью его! Завтра же...

— Спите, Фуст, не будем говорить лишнего. Тут мы одни. Но вы верите в мистику. Ложитесь.

— Вы правы.— Фуст тряхнул головой.— Подумайте, я могу столько выпить, что у другого искры пойдут из глаз. Я не пьянею. Но сегодня я не в себе. Нервы — это дрянь. Нельзя так много слоняться в дебрях, где человеческая жизнь ничего не стоит.

— Она нигде ничего не стоит, Фуст.

— Да,— Фуст рассмеялся холодно и трезво,— вы правы, надо спать. Она нигде ничего не стоит. Ложитесь и вы, Гифт. Оружие держите под рукой. Обязательно! Ложитесь! — И он сел на постель, которая отвратительно закрипела.

Он проснулся так же неожиданно, как заснул. Что за сон? Он подходил опять к погребальному костру, когда его зажгли, костер вспыхнул, осветив так ярко все пространство, что Фуст закрыл глаза рукой. Но когда он снова взглянул, никакого костра не было. Снежная пустыня окружала его. И ночь прорезал крик. Фуст бросился туда, чтобы кончить того, кто кричит. Он надоел. Пусть он замолчит навсегда! Фу! И тогда лежащий встает, идет к нему, останавливается перед ним и хохочет. Фуст видит, что это Фазлур.

Фуст проснулся. Обрывки мыслей путались в голове: «Фазлур, Фазлур смеется над нами! Сам спит с той колдуньей и смеется. Пора с ним раздаться. И нечего ждать утра. Голова как каменная, но сознание свежее, руки не дрожат».

Он надел теплую штормовую куртку, капюшон и вышел из дому. Луна стояла над рекой, которая глухо рычала внизу. Темные скалы вокруг, маленький склон, как островок, на котором разбросаны домики. Кто это спит рядом с дверью у стены, под навесом? Закутанный в черное толстое одеяло, спал полицейский, и его охотничье ружье прислонено к стене. Он никуда не ушел. Подслушивал? Фуст постоял над спящим, но тот даже не шевельнулся. Так спит усталый человек. Может, он и не подслушивал? Не разберешь. Больше ничего не разберешь. Ветер утих. В какой хижине почует Фазлур? Он, наверное, вместе с шофером. Они два сапога пара. Оружие надо держать наготове. Теперь игра идет всерьез. Он осторожно крался по тропинке к темному домику.

Что это за тени на пригорке? Два высоких странных силуэта! А! Это пасутся лошади. Откуда они? По-видимо-

му, одна англичанина, другая его вестового, а откуда еще третья? Он взгляделся. Это не лошадь, это мул полицейского, того, что храпит там, под навесом.

Фуст обошел домик. Там кто-то шевелился во сне. Это хорошо, что спят. Хорошо неожиданно войти. Он ступал по камням, но они были гулки и неровны, оседали под ногами,— нельзя бесшумно открыть дверь, все равно там, внутри, будет слышно.

Фуст остановился у двери и слушал. Она подалась и открылась. Он вошел. Тут было немного темнее, чем на улице, холодно и сыро. Тут даже не было очага. Вернее, он где-то был, но огня в нем не разводили или он погас давно. В углу что-то темное под грудой одеял. Без света не разберешь. Он вынул фонарик и держал его в одной руке, в другой сжимал пистолет. Свет фонарика упал на спящего. Но тот крепко спал или притворялся. Фуст кашлянул и постучал ногой о пол. Сверток заворочался. Из груды одеял высунулось лицо с большими глазами и хитрым острым носом. Фуст наклонился, осветив лежащего, хотя он уже знал, кто это. Это был Умар-Али. Шофер узнал в мрачной ночной фигуре Фуста. Солдатская исполнительность, умение вставать по тревоге никогда не покидали его. Отбросив одеяло, он поднялся во весь рост и, стоя без обуви на каменном полу, ждал приказаний. В этом сумасшедшем мире все так устроено, что даже нельзя выспаться. Что хочет этот американец ночью от шофера, когда ехать некуда?

— Где Фазлур? — спросил Фуст, и свет его фонарика ударил прямо в лицо.

Умар-Али молчал, точно он не слышал вопроса.

— Где Фазлур? — повторил Фуст.

Тогда Умар-Али с лицом каменным, как эти стены, ответил:

— Фазлур ушел в горы. Он с нами не пойдет дальше. Он сказал, что пришел домой. Куда же ему еще идти?

— Ты ему сказал что-нибудь? Да, сказал? И он поэтому ушел? Ты сказал, как ламбадар разоблачил его, ты сказал ему?

— Я ему ничего не говорил. Я ничего не слышал. Я ничего не знаю. Что я могу ему сказать?

Фуст дрожал от ярости. Он охотно схватил бы сейчас этого жесткого, крепкого, как воловий бич, человека за горло и бил бы по голове рукояткой пистолета, пока тот

не ответил бы на все вопросы. Вместо этого Фуст громко сказал:

Все вы обманщики и трусы, бродяги, клятвопреступники! Ты тоже вместе с ними! Ты тоже скажешь — ехать нельзя.

— Ехать нельзя! — как эхо, ответил Умар-Али.

— Почему? Тысяча дьяволов, почему нельзя?

— Потому что ждут обвалов с часу на час. И большой воды. Посмотрите на реку. Она уже не похожа на себя. Ехать нельзя.

Фуст стоял, переминаясь с ноги на ногу. Порыв злобы охватил его.

— Ты поедешь! Ты поедешь, хотя бы небо опрокинулось на землю! Я прикажу тебя бить, пока из тебя не выйдет твой поганый дух. Все равно, и мертвый ты поедешь! Я тебя посажу за руль и мертвого... Где Фазлур?

Непроницаемое лицо перед Фустом корчит какую-то гримасу. Или это игра теней?

— Где Фазлур?

— Фазлур в своем доме! — сказал Умар-Али.

— Где он, где его дом? — закричал вне себя Фуст.

— Я не знаю, где его дом. Спросите у народа. Тот скажет. Я только шофер. Народ вам скажет: Фазлур вернулся к своему народу, сагиб.

А! Почему нельзя тут же убить этого человека? Фуст молча повернулся и медленно-медленно, не глядя под ноги, начал подниматься к себе. Луна зашла за тучи.

«Река не похожа на себя», — сказал Умар-Али. Что значит: похожа или не похожа? Вода в ней тяжелая, как ртуть, но не ртутного цвета, она темно-коричневая, бронзовая какая-то. Фуст вошел в дом, снова лег, сунув пистолет под мешок, который служил ему вместо подушки. И сон принял его на свои легкие руки.

Эта ночь не имеет конца. Снилось ему или он действительно стоял сейчас в домике, где спал Умар-Али? Не хватает теперь, чтобы ему снова приснился Фазлур.

Он открывает глаза. Это настолько неожиданно, что он садится на кровати. Луна светит так ярко в окно, что не надо свечи. Перед ним стоит Фазлур. В белом сиянии луны он такой же, как и днем. Давно знакомый Фазлур. Его-то и не хватало. Его, наверное, отыскал со страху шофер. Это хорошо. Значит, страх еще существует... Ну что ж, поиграем.

— Это ты, Фазлур?

— Это я, Фазлур.

Тогда Фуст начал тихо хихикать:

— Ты привел эту девчонку? Где она? Ты не ушел к своему народу, как сказал этот дурак сейчас?..

— Какой дурак вам это сказал?..

— Твой дорогой приятель, с которого я сниму шкуру. Умар-Али... Дурак Умар-Али...

— Он не дурак... Я его не видел...

— Что же, ты сам пришел? Гадалка-ведьма сказала, что я тебя зову и жажду видеть?

— Нет, я пришел сам. Ни шофер, ни девушка мне ничего не говорили. Я пришел поговорить с вами. Теперь я знаю все. Мой путь пришел к концу, и я хочу поговорить с вами первый раз за всю дорогу, так как больше нам не придется разговаривать.

Я пришел поговорить о моей стране, о моем народе, о себе и о вас. Я знаю все: вы не те, за кого себя выдаете. Вы велели арестовать Арифа Захура. По какому праву вы, чужой человек в нашей стране, это могли сделать, я не знаю. Вы погубили своего друга Найта на горе Белое Чудо. Из-за вас погибло трое храбрецов, пожертвовавших жизнью, чтобы спасти чужого им человека во имя человеческого чувства. Вы трусы: вы бросили носильщиков в снежной пустыне, чтобы спастись самому... Сегодня вы испугались,— я видел, как вы испугались слов простой горской девушки, которые я говорил за нее! Вы поверили ее гаданью. Вас свела судорога от страха.

Я знаю, кто вы и зачем идете на Барогиль и дальше. Я узнал все от людей Уллы-хана. Те, кого вы ждете, погибли, но мне их не жаль, потому что они были подобны вам. Я не знаю всего грязного и кровавого, что вы сделали в своей жизни, но я презираю вас и хочу спросить: зачем вы приходите в нашу страну, к моему народу, чтобы проливать кровь и сеять недоверие? Не думайте, что мы доверчивы и беззащитны. В этих горах знают, что такое храбрость и что такое оружие. В Читрале лучшие мастера делают оружие для храбрецов. У нас также легко исчезнуть человеку, как камню, упавшему в реку. Я бы мог сделать, чтобы эта ночь была вашей последней ночью на свете, но я не хочу. Я скажу больше: я хочу, чтобы вы ушли из нашей страны и больше в нее не возвращались. И последнее, что я хочу сказать: не надо вам ехать завтра. Завтра ждут обвалов и наводнения. Я говорю это пото-

му, что не хочу вашей гибели, которую вы трижды заслужили.

Фазлур видел, как Фуст во время его речи, не поворачивая головы, судорожно шарил рукой за мешком, лежавшим в головах, потом резко приподнялся, когда Фазлур кончил говорить. В то же мгновение Фуст снова услышал снокойный голос горца:

— Сидите. Вы ищете ваш пистолет, вот он. Я взял его, когда вошел и вы спали.

Фазлур протянул ему пистолет. Фуст, как лунатик, схватил его и сказал злорадно:

— Стой! Ты сказал свою последнюю речь, а не я. Пусть эта ночь будет для тебя последней.

Сухо щелкнул курок. Фазлур открыл дверь и ушел. Дверь еще шаталась от толчка, когда Фуст выхватил из заднего кармана брюк новую обойму, перезарядил пистолет и подошел к окну. Оно распахнулось с сухим треском.

Он стал целиться в камни, ожидая, что появится Фазлур. Ему показалось, что какая-то тень скользнула меж камней на тропе. Он выстрелил. Эхо выстрела раскатисто повторило горы.

Но река ревела сильнее. Бурая грива ее вспухала все выше. Полицейский даже не пошевелил бровью во сне. Англичанин повернулся на другой бок. Гифт вошел в комнату и оглядывался с некоторой растерянностью.

— Гифт, не пугайтесь. Вы думали, что я застрелился? Так вот взял и выстрелил в себя? Нет, Гифт, давайте говорить как мужчины. Мы окружены врагами, и я был прав. Улла-хан нас предал...

— Какая ведьма во сне это вам нагадала?

— Не ведьма, дорогой Гифт. Там, где вы сейчас стоите, стоял только что наш дорогой Фазлур, и он сам это сказал мне. Я стрелял в него и не попал. Он умеет бегать от пуль. Колдунья его заворожила.

Он рассказал про посещение Фазлура и про его прощальные слова.

— И вот теперь действительно скажите мне: если вы ставили на Уллу-хана и он нас предал, что вы скажете в свое оправдание, Гифт? Я вам не верю, Гифт, я вам больше не верю! Может быть, все это подстроено вами? Почему вы так спокойны? Вы давно точите зуб против меня. Вы хотели моей гибели и подстроили все это?

Гифт посерел, как его штормовая куртка. Глаза Гифта стали темными, как будто провалились и смотрели из какой-то далекой глубины. Он прохрипел придушенным голосом, точно кто-то сжал ему горло:

— Вы всегда думали, Фуст, что только вы такой сильный, а Гифт всегда такой слабый и ничтожный. — Тут он сделал дикую гримасу и сказал, растягивая слова: — «Все Гифты бездарны. Все они эгоисты и предатели. Не будите его». Я все слышал. Вы думали, что я не слышал, как вы укладывали ворованное богатство в ящики в Ривальпинди, потом спали с этой стервой, которую я всегда презирал? Я не хотел говорить об этом, но сегодня вы меня вынудили.

Фуст долго молчал. Потом он начал говорить прерывающимся голосом, и Гифту показалось, что он сейчас заплачет. Но он не заплакал. Он сказал:

— Никаких богатств не было. Там были камни, не имеющие никакой ценности, простые, как булыжник...

— Не пробуйте меня обманывать, Фуст. Может быть, мы сегодня с вами умрем. Все бывает. Не хитрите хоть в последний момент.

Фуст улыбнулся, но полумрак помешал Гифту увидеть эту улыбку. Голос Фуста окреп, стал звучным и бодрым:

— Вот что, Гифт, вы сказали настоящие слова, единственные, может быть, за эту ночь. Может быть, мы сегодня с вами умрем. Это так. Для нас выхода нет. Это ловушка. Ее подстроили ловкие руки. Может быть, мы сами ее создали. Не будем больше ни о чем говорить. Мы облегчили, как могли, наши души. Сейчас я хочу подытожить нашу беседу. Я верю вам, Гифт, я верю, — не знаю почему, — что Улла-хан не предал. Это ловкий ход Фазлура. Я верю, что наши друзья живы и мы еще насолим нашим врагам.

Англичанина будить не надо. Что толку в нем! Он спит как мертвый. Пусть спит. Он все проспал, даже Индию, даже самые последние трущобы в этих диких горах. Я был бы рад, если бы у него этой ночью украли лошадь и ему пришлось бы идти пешком в Читрал. Гифт, мы живы, мы бессмертны! Мы знаем все! Только вперед! Вы согласны?

Гифт смотрел прищурившись, втянув голову в плечи. Он сказал:

— Согласен.

Фуст добавил:

— Речь Фазлура была объявлением войны. Да здравствует война! Давайте выпьем за это! Я готов спеть с вами первый раз дуэтом, как это вы поете:

В старой доброй стране,
Там я жил, как во сне...

Страна-то оказалась злой...

Они достали виски, налили стаканы, выпили, и то ли от нервного переутомления, то ли от усталости, но они не заметили, как уснули, где сидели.

Они проснулись, когда было уже позднее утро. Свет проникал в комнату, и было ужасно холодно. Они недоумевающе смотрели друг на друга. Потом разом поднялись.

Они вышли из домика. Холодные скалы громоздились над ними. К грохоту реки присоединился какой-то отдаленный гром, как будто далеко-далеко перекачивалась гроза... Они пошли к домику, где ночевал Умар-Али.

— Странно, что нигде нет англичанина, — сказал Гифт, — он сбежал спозаранку.

— Ему стыдно за вчерашний пьяный разговор, — ответил Фуст, — но я думал, что мы хоть наступим на этого идиота полицейского, который спал у нас на пороге. Но и его не видно. Хорошо, что машина внизу.

Да, машина была внизу, и около нее возился Умар-Али.

— Умар-Али, где все?

— Все ушли, — сказал шофер таким обычным тоном, как будто все, кто был в деревушке, отправились на прогулку перед завтраком.

В его голосе не было и намека на усмешку. Он стоял подтянутый и строгий, как всегда. Можно было подумать, что не было этой кошмарной ночи.

— Пойди собери вещи и принеси все в машину, — сказал Фуст, — и поживей! Ты видел, когда они уехали?

— Да, они уехали все вместе — англичанин, вестовой и полицейский, — как только рассвело.

— Они ничего не говорили тебе?

— Со мной им говорить было не о чем. Но полицейский сказал, что мы увидимся вечером в Читрале у ламбадара.

— Да? Так сказал? Хорошо, иди и возвращайся поскорей.

Пока шофер переносил вещи и укладывал в машину, Фуст и Гифт смотрели на реку, мутные желтые воды которой как будто вспухали на глазах.

Они стояли и прислушивались к грохоту, который, казалось, шел откуда-то сверху и глухо рос. Он уже перекрывал рев реки и существовал совершенно отчетливо.

Они не заметили сначала, что Умар-Али тоже прислушивается к этому все приближающемуся грохоту. Казалось, что где-то в горах идут тяжело нагруженные поезда за поездом.

Оглянувшись, Фуст увидел стоявшего с озабоченным лицом шофера.

— Все убрано? — спросил Фуст.

— Все убрано. Все готово.

— Скоро поедем.

— Хорошо бы ехать скорей. Все уже ушли.

— Почему они ушли?

— Всегда уходят, когда ждут беды.

— А ты боишься? Чего же ты не ушел?

— Я не боюсь. Я думаю, что мы поедем тоже, пока есть время.

— Куда же, по-твоему, мы поедем?

— В Читрал.

— Ты смеешься. Мы поедем вперед.

В лице шофера не изменилось ни одной черточки. Только глаза стали какими-то узкими и по-ястребиному заблестели.

— Я не поведу машину, — спокойно сказал он.

Фуст отступил на два шага.

— Ладно, — сказал он. — Я поведу сам. — Он подмигнул Гифту. В руках у Гифта шофер увидел пистолет. Пистолет был направлен на него. — Ты сядешь сзади и будешь вести себя тихо, — сказал Фуст, — или... — Он взмахнул рукой и пошел к машине.

Когда Фуст влез в нее и Гифт велел шоферу идти, тот покорно сделал три шага, обернулся, стремительным ударом вышиб пистолет из руки Гифта, подхватил его и побежал по холму к отвесному гладкому выступу, стоявшему над дорогой.

Гифт остановился и смотрел ему вслед, не зная, что делать, потому что совсем рядом раздался такой удар, как будто упал многоэтажный дом и разбился на куски и земля раскололась.

Грохот перешел во всеоглушающий рев, и там, за последним верхним домиком, начало расти и вспухать что-то бесформенное, коричневое, и это непонятное выросло в стену, которая обрушилась вниз, и за ней появилась другая коричневая стена. Гифт побежал к той отвесной скале, куда уже добегал Умар-Али. Он не знал, почему он бежит. Его гнало такое чувство страха, которое лишает человека всякой сообразительности и не дает ему остановиться. Он только знал, что сзади него мир рушится. Там что-то бесновалось, несло, грохотало, и этот грохот потрясал все его существо. Он скользил по сухой траве, падал, снова подымался и бежал. Он видел, как на скале показались человеческие фигуры и сбросили Умар-Али длинную веревку, шофер ухватился за нее.

Его втягивали наверх. Одна мысль была у Гифта в голове: если ему не сбросят веревку, то это конец. Ему казалось, что страшная волна грязи, камней, воды накрывает уже его с головой. Он задышался. Сердце билось, казалось, поперек горла.

Он лез на четвереньках последние метры к этому шершавому отвесному уступу. Высоко над ним стояли люди. Что-то ударило его по плечу так, что он вскрикнул. Это была веревка. На ее конце была петля. Он накинул ее себе на грудь, пропустил под руки и прислонился к скале. Его втянули сильные руки людей на скале. И когда он увидел, что рядом с ним стоят Фазлур, Умар-Али и неизвестные ему люди в крестьянских одеждах, он хотел что-то сказать, но все они смотрели вниз широко раскрытыми глазами, и он тоже повернулся и замер.

Там, где стояли домики, подымались и дышали, как живые, волны коричневой грязи, в которой то появлялись, то исчезали огромные камни, куски скал, одинокие стволы деревьев, вертевшиеся между камней. Казалось, что коричневые волны перетирают камни, как орехи, и грохот этого перемалывания висел в воздухе. Прорвавшаяся вниз часть грязевого потока и вода реки встретились на дороге, и в их сшибке, в неимоверном всплеске пены мелькнула несколько раз черная машина, которая разрезала эту массу и углублялась в нее, как подводная лодка, погружающаяся в бездну моря. Потом над черным верхом машины навис новый коричневый вал и упал всей тяжестью вниз, закрывая ее. Воды реки, как будто их подстегнули гигантским бичом, уже буйствовали на дороге, и смешение камней, грязи и воды с могучей силой и стремительностью

рождало все новые и новые грохоты. С особым звуком разорвался и пополз вниз по скале тот кусок горы, на котором стояли домики. И когда сползшая земля и камни упали в кипящую воду, река всплеснула так, что пена долетела до стоявших на скале.

Все кругом было необыкновенно и удивительно. Верхушки скал порозовели и потеплели. Но все кругом неистовствовало, и сверху по тропинкам бежали к обрыву крестьяне, чтобы увидеть, что происходит внизу. Они давно ждали этого, но никогда не могли представить себе всю невероятную картину обвала и наводнения. И когда они стояли на обрывах и смотрели в кипевшую под ними пропасть, ими овладевал страх. Они садились на камни, у них подкашивались ноги, женщины вскрикивали и хватали друг друга за руки. Дети плакали, собаки выли.

Но глаза Фазлура, Умар-Али, Гифта и всех, кто был на склоне, упорно возвращались к тому месту, где была машина Фуста, и это место уже нельзя было найти в клочковатом и постоянно изменявшемся движении могучего грязного потока, в который непрерывно сверху прибавлялись все новые волны жидкой грязи, новые камни, ударявшие друг о друга, а кругом обваливались скалы и вверх били огромные фонтаны бешеной воды. И казалось, этому не будет конца.

Глава шестнадцатая

Был очень жаркий вечер. Фазлур и Нигяр сидели рядом на окне и слушали, как дышит вечерний город, как жаждут глотка прохлады люди и животные. Едва заметная влажность, предвещавшая конец сухой жары, ощущалась в воздухе, и все знали, что скоро придут дни, когда теплые дожди хлынут на иссохшую землю и она напьется досыта влаги. Но сейчас даже свистки и гудки маневрирующих на станции паровозов и звонки велосипедистов, разукрашенных тонг и дребезжащих эрк¹, несущихся педикапов и резкие, дребезжащие сигналы трамваев звучали с особенной сухостью.

В черном море крыш и тяжелой листвы светились острыми разноцветными огнями базары. И люди, несмотря на жаркий, душный вечер, двигались большими тол-

¹ Эрка — легкий экипаж.

пами, шелест шагов издалека казался рокотом набегающих на низкий берег волн. Торговцы и покупатели, размоленные жарой, все же склонялись над материями, казавшимися в ярком свете лавок особо заманчивыми и красивыми. Жарко блистали украшения — все эти браслеты, кольца и ожерелья, перед которыми останавливались женщины, молодые и старые. К начищенным до ослепляющего блеска медным блюдам и кувшинам нельзя было притронуться, они казались раскаленными. Красные, желтые, оранжевые и зеленые воды в бутылках не приносили облегчения, сколько бы их ни пили. И там, где пекли, варили, жарили на улице, где стояли облака пара и слышался лязг ножей и стук черных котелков, сковород и чашек с дымящейся пищей, тоже толпился народ, оглушаемый криком продавцов, предлагавших попробовать горячих блюд, горьких и сладких. В пыльной мгле поднимались к небу толстые двухохватные стволы фикусов. Со старых чинар с шершавым шорохом слетали листья. Тополи в садах казались завернутыми в черные запыленные чехлы. Пыльные пальмы в зеленом воздухе вечера были словно вырезанные из металла. Тамаринды, как слоны, спали, прижавшись друг к другу.

На траве бульваров, в кафе на открытом воздухе, в садах, на крышах старых домов, на окнах и скамейках, на берегах арыков — всюду сидели люди, отдыхали и делились разными городскими новостями, и хороших рассказчиков слушали с таким же вниманием, с каким Нияр слушала вернувшегося только что Фазлура. И хотя она уже говорила с ним днем, но теперь он рассказывал по порядку, потому что ему самому доставляло странное удовольствие шаг за шагом проходить этот недолгий, но длинный путь от прощального поцелуя Нияр в рассветный час за будкой с бензоколонкой до расколовшегося мира, в гневе своем погубившего человека, которого старый охотник назвал оборотнем.

Нияр слушала его, и ей было радостно и страшно представлять себе Фазлура среди тех опасностей, которые ему угрожали. Она видела этот «додж», управляемый безумцем и мчавшийся навстречу своей собственной гибели; женщину, явившуюся ночью, как привидение, полное угроз; путь по обваливающейся дороге над пропастями. В ее ушах жил грохот стихии, валившей скалы, рев разъяренной реки, сметающей с лица земли все живое.

Фазлур выносил все на ее суд, и сердце Нигяр, как настоящий прокурор, хотело, чтобы не оставалось никаких неясностей.

Она следовала мысленно за Фазлуrom по бесконечной Пенджабской долине, по берегам Инда и Кабула, взбиралась на Ловарийский перевал, удивлялась миру вершин и старому пилигриму, искателю народной правды, воину классовых битв, нестареющему горцу.

Ей хотелось знать, что было с теми, кто пробирался оттуда, из далекого китайского мира, бежал в страхе перед революцией, какая судьба их постигла.

— Это были такие же, как Фуст, оборотни, — сказал Фазлур. — Под видом дружбы с китайским народом они заключили союз со всеми бандитами, проливавшими кровь крестьян Синьцзяна, их путь залит слезами и кровью многих жертв. Они бежали от суда народа, но суд все равно свершился...

— Их схватили? — спросила Нигяр. — Кто же их судил?

— Их судили горы. Каракорум! Это строгий и суровый судья. Они попали в снежную бурю и замерзли в снегу. Их трупы нашли на перевале караванщики, шедшие из Яркенда в Вахан. Об этом есть уже в газетах и есть официальное сообщение государственного департамента, поскольку они были американцы.

— А что случилось с Гифтом после того, как ты его спас? Он не мог донести, чтобы тебя потом обвинили в смерти Фуста?

— Ну, видишь, Нигяр! — сказал, рассмеявшись, Фазлур, и от всей его фигуры повеяло такой молодостью, спокойствием и силой, что и она засмеялась и погладила его руку. — Не знаю, успел ли сказать Фуст про мой разговор с ним о том, что я о них думаю, но приписать мне все, что случилось утром в ущелье, — значит, возвести меня в божественное достоинство. Гифт вел себя как человек, который благодарен мне за спасение, но, потрясенный происшедшим, нуждается в отдыхе. Мы доставили его в Читрал и там с ним расстались, — я думаю, навсегда. Мне только жаль, что он не разделил судьбу Фуста в тот момент, когда начался конец мира. Я отправился домой повидать своих, а Умар-Али благополучно добрался до Лахора. Он сначала шел до Дира, я знаю, с караванщиками, которые возвращались от подножия Тирадж-мира, куда пришли с норвежцами-альпинистами, неся их грузы, а от Дира на попут-

ной машине до Малаканда, дальше уже было легче. Ламбадар дал ему справку о гибели машины, и об этом уже известно из газет.

Нигяр задумалась. Она сидела молча, как бы прислушиваясь к звукам города, невидимого в душной темноте вечера.

Потом она сказала:

— А та девушка-предсказательница, была она красива?

— Да, она была красива, настоящая читралская горянка: мягкие длинные каштановые волосы, дерзкие глаза, дерзкий язык. Я не думал, что она окажется такой предсказательницей.

— Предсказателем был ты,— сказала мягко Нигяр.— Эта сцена была как в кино, не правда ли? Темная комната, свеча, девушка наклонилась к руке. А откуда ты взял, что гадать надо на саже?

— Это старый народный способ. В Индии наливают на ладонь чернила, у нас гадают на саже. Но, конечно, это только обман, и это старина. Девушка не знала уже такого гадания. Она вообще не умела гадать.

— Она ждала тебя на троне?..

— Да, она привела меня к своему отцу, который рассказал об опасности, угрожавшей нам, пошел вместе с девушкой и со мной, указал на ту скалу, где можно спастись, если поток ринется с горы и река выступит из берегов. Я уговорился с Умар-Али, что если они не согласятся ехать в Читрал обратно и если будет наводнение, то с этой скалы я брошу ему веревку, хорошую толстую веревку, которую мы возили с собой...

— Но ты, значит, взял у Фуста его веревку? — спросила Нигяр.

— Нет, это не была альпийская веревка Фуста, это была веревка, которую Умар-Али всегда берет в горы.

Он кончил свой рассказ, и они сидели и смотрели на движущиеся, как на сцене, огни большого Лахора и слушали шум голосов вечера. Откуда-то долетали приглушенный смех и песня. Им было хорошо так сидеть, как будто они были на высокой горе и внизу шла жизнь, которую они могли окинуть взглядом,— жизнь, которую ничем нельзя было остановить, как тот поток, сломавший каменные преграды и вырвавшийся на свободу.

— Как разумна, как удивительна могла бы быть жизнь! — сказала Нигяр.

— Если бы ты видела детей Свата, сидящих на земле и с широко открытыми от восхищения глазами слушающих учителей, ты бы порадовалась. Ты, как и я, знаешь нашу богатую и нищую страну. Сейчас, кажется мне, пришла пора, когда уже ясно многим, что довольно нашему народу ходить с завязанными глазами за чужим поводырем, точно наш народ в самом деле слепой...

Нигяр прижалась к нему плечом и сказала горячим шепотом:

— Когда у нас будет сын и мальчик вырастет, тогда ты возьмешь его с собой, пусть он пройдет все тропинки и дороги на равнине и в горах, которыми ты когда-то ходил в своей молодости. Но когда он вырастет, жизнь будет совсем другой, и ты сам не узнаешь дорог своей молодости, так они изменятся. Посмотри, как хорош наш любимый город!

Они смотрели, и перед ними в черной зелени садов переливались огни Лахора, как будто в черном бархате неба плавали звезды или в озере черного вина вспыхивали и гасли золотые, синие, зеленые, белые искры.

— Если бы меня навсегда изгнали из Лахора, из страны,— сказал Фазлур,— я поселился бы по ту сторону границы, в деревушке, на ближайших к границе холмах, чтобы каждый вечер смотреть, как горят и переливаются огни Лахора вдаль, в темноте ночи.

Ночь наступала. Затихали базары, закрывались лавки. С улиц уходили толпы, таяли огни в домах и на улицах. Город отходил ко сну, засыпали люди и животные в караван-сараях, засыпали сады и дороги, засыпали путники на дорогах, чтобы с первыми лучами продолжать свой путь.

Нигяр и Фазлур смотрели в эту жаркую, пропитанную иссушающими запахами сладковато-душную тьму, и на ней, как на экране, мелькали сонные, тихие видения прошедшего дня.

Они видели и маленького Азлама, сидящего за книгой в этот час,— мальчика с глазами мудреца и добрым сердцем; старую Мазефу, которая укачивала чужого младенца, родившегося в эту ночь; и в далеком маленьком городке, затеряншемся в предгорьях,— Арифа Захура, пишущего в этот поздний час о своем народе, который прошел тысячелетний путь и теперь хочет жить по-другому, как живут сильные и свободные люди.

В горной глуши, в домике дорожной службы, спал старый дорожный специалист — маленький англичанин Рик-

лин, во сне бормотавший какие-то бессвязные слова о наводнениях и мостах. Ему снилось, что он без конца строит мосты — и река сейчас же сносит их, он строит новые — и река гневно обрушивает их. Яростная пена реки летела ему в лицо, он хотел закрыться от нее, хотел поднять руку и не мог. Он мучился этим кошмаром, беззвучно кричал во сне и не мог проснуться.

Спал, сидя в самолете, уйдя глубоко в откинутое кресло, усталый пассажир по имени Генри Гифт. Самолет шел над морем. Внизу, как в бездне, мелькали красные и белые вспышки маяков, в самолете была сонная, мягкая мгла, свет был потушен. Генри Гифт летел на Запад, и тело его проносилось с громадной скоростью через темные небесные пространства, как мертвый тук, неподвижный и лишенный сновидений.

И глубоко под грудой скалистых обломков и валунов, над которыми проносилась неистовая, бешеная вода, швыряя вверх пригоршни взмыленной пены, лежало то, что осталось от Джона Ламера Фуста, любителя природы, участника многих экспедиций, члена Гималайского клуба, сотрудника известного географического журнала.

Горная ночь, холодная, серебряно-зеленая, над которой возвышалось ледяное тусклое сияние дикой громады Тирадж-мира, стояла над бегом безумной реки, как бы хотевшей своим непрерывным грохотом заглушить все слова, которые он мог бы сказать, проснувшись, Джон Ламер Фуст. Но он уже не мог проснуться.

ПРИМЕЧАНИЯ

ОТ МОРЯ ДО МОРЯ

Повесть была написана в 1926 году и тогда же опубликована отдельной книгой в ГИЗе, М.—Л.

В основу ее положены действительные события из времен гражданской войны.

Многими своими мотивами повесть эта связана с другими произведениями Тихонова. Первые страницы ее, рассказывающие о действиях военных соединений русской армии, которые находились в конце империалистической войны в Прибалтике, близки стихотворениям цикла «Из походной тетради» и стихотворению «Осень в Латвии 1917 года» (см. I том наст. Собр. соч.). Краткие, но выразительные описания гор словно предвещают многочисленные, яркие и разнообразные горные пейзажи в стихах (циклы «Стихи о Кахетии», «Горы», «Чудесная тревога», «Грузинская весна») и прозе («Клятва в тумане», «Кавалькада») Тихонова, посвященных антимеркантильной теме, отчетливо выступающей в ряде книг писателя, как проявление его ненависти к стяжателям и собственникам, которым противостоят бескорыстные, смелые и самоотверженные люди, спокойно выполняющие свой гражданский и воинский долг.

ВОЙНА

Повесть была написана в 1931 году и тогда же вышла отдельной книгой в Издательстве писателей в Ленинграде.

Первоначально она предназначалась для готовившегося к изданию группой ученых и писателей альманаха «Наутилус» (Наука, техника, литература). Работа над выпуском этого альманаха по

техническим причинам не была доведена до конца, но принципы, положенные в основу данного издания, получили отражение и в максимальной сжатости повести, и в отборе фактов, ею охваченных.

Написанная в период захвата власти гитлеровцами, повесть эта раскрывает потаенные планы организаторов новой мировой войны, разоблачает попытку сговора недавних врагов — английских и немецких империалистов, и одновременно характеризует развитие человекоистребительной техники в войне 1914—1918 годов. Писатель опирается здесь на достоверные данные, приводившиеся в специальной литературе.

Главные действующие лица повести имеют реальные, существующие в действительности прототипы: профессор Фабер — известного ученого, немецкого химика Габера, майор Штарке — изобретателя гранатомета Ротермана, лейтенант Хитченс — изобретателя газомета Ливенса.

В повести «Война» получили свое дальнейшее развитие антиимпериалистические мотивы творчества Тихонова, отчетливо выразившиеся в написанных уже к тому времени целом ряде его стихов и рассказов: цикл «Из походной тетради», стихотворение «Привал инвалидов», рассказы «Легкий завтрак», «Вилла «Мечта», «Военные кони» и др.

Поставив перед собой строго ограниченную цель — осветить «несколько трагических эпизодов периода так называемой газовой и огнеметной войны», писатель дал вместе с тем острую публицистическую характеристику политики империалистов, их «теорий» расистского порядка и их агрессивной практики.

БЕЛОЕ ЧУДО

Впервые повесть опубликована в журнале «Огонек», №№ 18—28 за 1956 год.

В основу ее положены впечатления от поездки Тихонова в Пакистан осенью 1949 года (см. примечания к II тому), нашедшей отражение в стихотворном цикле «Два потока», «Рассказах о Пакистане» и «Рассказах горной страны». В отличие от этих произведений, наблюдения и факты, человеческие судьбы и конфликты большого общественного значения связаны в повести широко разветвленным, но единым течением сюжета. В «Белом чуде» речь идет о событиях чрезвычайно остро и напряженно развивающихся. За ними — упорная борьба между патриотами — защитниками мира и колонизаторами — сеятелями смут и кровопролитий.

В условиях послевоенного изменившегося мира агенты капиталистических разведок пытаются найти новые способы шпионских

диверсий и провокаций. Но им противостоят мужественные и свободолюбивые люди, подлинные патриоты, борющиеся за независимость своей родины.

На страницах повести возникает многоликий образ смелого, доброго и талантливого народа. С обычным своим стремлением к достоверности Тихонов дает ряд точных характеристик людей разных судеб, поколений и профессий. Верность фактам сочетается в повести с острой и отточенной изобразительностью. Мастерство рассказчика сказывается и в свободном и драматическом развертывании фабулы, и в обрисовке действующих лиц — экономной и рельефной, и в красочном многообразии речевого строя. Со страстью, с увлечением и вместе с тем строго объективно рассказывает Тихонов о богатстве и бедности одного из народов Востока, как бы провидя его будущее.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ МОРЯ ДО МОРЯ	7
ВОЙНА	99
БЕЛОЕ ЧУДО	225
<i>Примечания</i>	441

Тихонов Н.

Т 46 Собрание сочинений. В 7-ми томах. Т. 5. Примеч. И. Гринберга. Оформл. худ. В. Максина. М., «Худож. лит.», 1975.

448 с.

В том включены три повести писателя.

Первая из них «От моря до моря» создана на основе событий, происходивших во время гражданской войны.

Повесть «Война», написанная в период захвата власти гитлеровцами, рассказывает о развитии человекоистребительной техники в первую империалистическую войну и разоблачает планы агрессоров, мечтающих о развязывании новой мировой войны.

Повесть «Белое чудо» посвящена жизни народа Пакистана, его борьбе за свободу и независимость своей страны.

Т 70302-168
028(01)-75 подписное

P2

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ТИХОНОВ

Собрание сочинений

Том V

Редактор *З. Кондратьева*
Художественный редактор
В. Горячев

Технический редактор
Л. Вигушкина

Корректоры
М. Пастер и И. Филатова

Сдано в набор 21/VIII 1974 г. Подписано к печати А02073 от 10/IV 1975 г. Бумага типографская № 1. Формат 84×108¹/₃₂. 14 печ. л. 23,52 усл. печ. л. 24,23 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ 1489. Цена 1 р. 50 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Минск, Красная, 23

НИКОЛАЙ
ТИХОНОВ

5